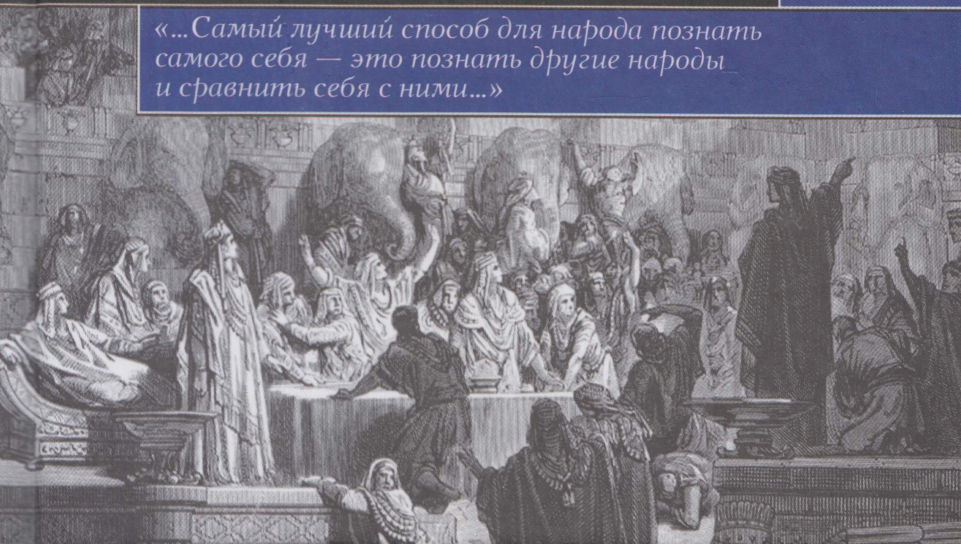


Сергей
СОЛОВЬЕВ



Наблюдения над исторической
жизнью народов

«...Самый лучший способ для народа познать
самого себя — это познать другие народы
и сравнить себя с ними...»



Сергей
СОЛОВЬЕВ

Наблюдения над исторической
жизнью народов

Мои записки для детей моих,
а если можно, и для других

Исторические письма

Прогресс и религия

УДК 94(100)
ББК 63.3(0)
С60

Серия основана в 2001 году

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.10.2002.
Формат 84×108¹/32. Бумага типографская. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,88. Тираж 5100 экз. Заказ 281.

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953005 — литература учебная
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.11.953.П.002870.10.01
от 25.10.2001 г.

Соловьев С. М.

С60 Наблюдения над исторической жизнью народов/
С.М. Соловьев. — М.:ООО «Издательство Астрель»;
ООО «Издательство АСТ», 2003. — 511, [1] с. — (Историческая библиотека).

ISBN 5-17-017475-6 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-05705-4 (ООО «Издательство Астрель»)

В книгу включены четыре работы знаменитого историка XIX века Сергея Соловьева.

Работа «Наблюдения над исторической жизнью народов» посвящена цивилизациям Древнего Востока (Китая, Египта, Ассирии, Вавилона, Мидии, Финикии) и античности (Древней Греции и Древнего Рима).

В автобиографической работе «Мои записки для детей моих...» — впечатления детства, размышления о судьбе духовенства в России, словесные портреты старых московских профессоров, яркие и живые впечатления о поездке в Западную Европу.

«Исторические письма» — обстоятельное доказательство неизбежности исторического прогресса в обществе.

В статье «О прогрессе и религии» ученый пытается решить вопрос о соотношении прогресса и религии, который до сих пор волнует человечество.

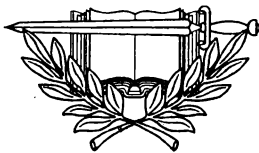
Орфография и пунктуация автора частично сохранены.

УДК 94(100)
ББК 63.3(0)

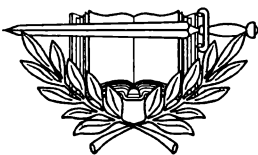
ISBN 5-17-017475-6 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-05705-4 (ООО «Издательство Астрель»)

© «Издательство Астрель», 2003



**НАБЛЮДЕНИЯ
НАД ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЖИЗНЬЮ НАРОДОВ**



Часть первая

[ДРЕВНИЙ МИР]

История первоначально есть *наука народного самопознания*. Но самый лучший способ для народа познать самого себя — это познать другие народы и сравнить себя с ними; познать же другие народы можно только посредством познания их истории. Познание это тем обширнее и яснее, чем большее число народов становится предметом познания, — и естественно рождается потребность достигнуть полноты знания, изучить историю всех народов, сошедших с исторической сцены и продолжающих на ней действовать, изучить историю всего человечества, и, таким образом, история становится наукою самопознания для целого человечества. Изучение истории отдельного народа и целого человечества, или так называемой всеобщей истории, представляет одинаковые общие трудности. Внешний, окружающий нас мир легко поддается нашему изучению; вооруженные могущественными орудиями, мы проникаем и в небо, и в море, и в недра земли; посредством телескопа приближаем к себе тела, отстоящие от нас на громадное расстояние; посредством микроскопа наблюдаем за жизнью существ, не видимых простым глазом; но существо человека для нас темно; завеса, скрывающая тайны его жизни, едва приподнята, а история имеет дело с человеком,

с его жизнью во всех ее проявлениях. Притом в истории мы не можем наблюдать явления непосредственно; мы смотрим здесь чужими глазами, слушаем чужими ушами. Внимательное изучение внешней природы уяснило для нас многое относительно влияния этой природы на жизнь человека, на жизнь человеческих обществ, но это только одна сторона дела, ограничиваться которою и увлекаться опасно для науки.

Другая причина трудности при изучении истории заключается в близости ее к нашим существенным интересам. Не будучи в состоянии отрешиться от сознания, что история есть объяснительница настоящего и потому наставница (*magistra vitae*), человек, однако, хлопочет часто изо всех сил, чтобы высвободиться из-под руководства этой наставницы. Покорствуя интересам настоящей минуты, он старается исказить исторические явления, затемнить, извратить законы их. Понимая важность истории, он хочет ее указаниями освятить свои мнения, свои стремления и потому видит, ищет в истории только того, что ему нужно, не обращая внимания на многое другое: отсюда односторонность взгляда, часто ненамеренная. Но когда ему указывают на другую сторону дела, неприятную для него, он начинает всеми силами отвергать или по крайней мере ослаблять ее: здесь уже искажение истины. История — это свидетель, от которого зависит решение дела, и понятно стремление подкупить этого свидетеля, заставить его говорить только то, что нам нужно. Таким образом, из самого стремления исказить историю все-го яснее видна ее важность, необходимость; но от этого науке не легче.

Первый вопрос в истории каждого народа: где живет народ? Сильное влияние местности, ее природных условий на жизнь народа бесспорно, но мы уже сказали, что здесь должно избегать односторонности. Если народ, особенно во время своего младенчества, сильно подчиняется природным условиям обитаемой им местности, то с постепенным развитием его духовных сил замечается обратное действие, изменение природных условий под влиянием народной деятельности: места непроходимые являются проходимыми, пути неудобные — удобными, пространства сокращаются,

иссушаются болота, редеют леса, являются новые растения, животные, прежние исчезают, климат изменяется. Природные условия продолжают действовать, но это уже другие природные условия, на которые воздействовал человек. Народный характер, нравы, обычаи, занятия народа мы не усомнились бы рассматривать как произведение природных условий, если бы имели основание считать каждый народ автохтонами. Но если бы мы даже предположили не одного, а несколько родоначальников для человечества, то и тогда движение и переселение родоначальников народных и целых народов должны заставить нас взглянуть на дело с другой стороны. Если в установившихся уже и развитых обществах человек избирает себе деятельность по своим личным наклонностям, по условиям своей личной природы, то это же самое должно было быть и во времена отдаленные, времена расселения племен и народов: неизвестная местность своими природными условиями первоначально создала характер ее жителей, но люди выбрали известную страну местом своего жительства по своим наклонностям, по своему характеру. Народ, принужденный двинуться из прежнего места жительства, вступает в степи, приглашающие его к кочевому быту, но он останется в степи и предастся кочевому быту только в том случае, если чувствует внутреннее влечение к нему; в противном случае он пройдет степь и устремится на искание других стран, именно соответствующих его природным наклонностям. Живет один народ у моря, и море не оказывает на него никакого влияния, не тянет его к торговой деятельности; другой народ пользуется близостью моря и стремится на открытие новых земель, новых рынков — для себя. Следовательно, народ носит в самом себе способность подчиняться и не подчиняться природным влияниям, и отношения потому изменяются, являются более свободными.

Но откуда в народе эти внутренние условия, вследствие которых он подчиняется или не подчиняется влиянию природы и подчиняется в той или другой мере, ранее или позднее выходит из своего подчинения и начинает бороться и преодолевает условия обитаемой им страны? Мы отличаем племена; мы говорим, что известный народ принадле-

жит к племени более даровитому, более способному к развитию, другой — к менее способному; но откуда такое различие в племенах? Для решения этого вопроса справимся с преданиями народов о их происхождении и первоначальном быте, — с преданиями, которые кроме всякого другого авторитета находят подтверждение в ежедневном опыте. У патриарха Исаака двое сыновей; они близнецы, и, несмотря на то, с противоположными характерами; между ними возникла борьба, вместе они жить не могут, расходятся и становятся родоначальниками двух разных народов. В еврейском народе, в его характере, стремлениях, историческом значении нельзя не признать потомства Авраама, Исаака и Иакова. Народ похож на своего родоначальника не вследствие одного физического происхождения от него: народ воспитывается в преданиях, которые идут от этого родоначальника и в которых отразилась его личная природа, его взгляды и отношения; эти предания составляют святыню, которой верят, которую хранить считают главной обязанностью. Так составляется народный образ. Природа страны, где народ основывает свое пребывание, и многие другие условия обнаруживают более или менее сильное участие при этом составлении; но влияние природы, родоначальника и предания, от него идущие и отражающие эту природу, необходимо должны быть предполагаемы, если не могут быть указаны. Что справедливо относительно народов, то должно быть справедливо и относительно целых племен. При нашей мифомании, при нашей дурной привычке заставлять народы все жить ложью мы говорим, что они создают образ своего родоначальника по себе, приписывают ему те качества, которые сознают в себе, но при этом забывается наследственность качеств, переход их от предка к потомству.

Мы сказали, что кроме влияния личной природы родоначальника и природы страны многие другие условия обнаруживают более или менее сильное влияние при составлении народного образа. Здесь важное место занимает движение народа, начинает ли народ свою историческую роль после сильного движения, или история застаёт его долго сидящим в известной стране, без особенных побуждений к

движению. Движение развивает силы народа преодолением опасностей и препятствий, вселяет отвагу, расширяет его горизонт, производит именно такое же влияние, какое производит путешествие на отдельного человека, развивая его умственные силы знакомством с разнообразием стран и народов. Но разумеется, здесь надобно обращать внимание на причину движения, потом на то, как происходит оно, в какие страны направлено, с какими народами сталкивается известный народ и какие следствия этого столкновения.

Причины движения народа могут быть внешние и внутренне. Причины внешние — натиск другого народа, недостаток средств к жизни в известной стране — могут заставить целый народ или часть его выселиться из своей земли и искать других жилищ. Но иногда причины внутренне — внутренний разлад и борьба, вследствие его происшедшая, — заставляют часть народа, меньшинство, покинуть родину. В какой форме происходило движение, переселение — это особенно важно для исторического наблюдения.

Успех в изучении истории зависит именно от внимательности этих наблюдений, от многосторонности взгляда; ошибки происходят не от неправильности только взгляда вообще, но от того, что мы глядим на одну сторону явления и спешим из этого рассматривания вывести наше заключение, вывести общие законы, объявляя другие взгляды, то есть взгляды на другие стороны явления, ложными. Взгляд вполне правильный есть взгляд всесторонний; разумеется, он может принадлежать существу совершенному, боже-ству; человек не может иметь притязаний на всесторонность взгляда, но должен стремиться к возможному для него совершенству, к многосторонности изучения. Иногда идет долговременная и ожесточенная борьба между учеными, между целыми школами, идет борьба не оттого, что одни смотрят правильно, а другие — неправильно на явление, а оттого, что одни смотрят на одну, а другие — на другую сторону явления и не догадаются соединить свои взгляды, дополнить один другим. Многостороннее наблюдение, разумеется, легче относительно явлений внешней природы, к которым мы относимся непосредственно; оно крайне труд-

но относительно исторических явлений, к которым непосредственно мы относиться не можем, а должны ограничиваться чужими наблюдениями, но от трудного до невозможного еще далеко.

До какой степени при изучении истории мы не привыкли к внимательному, многостороннему наблюдению, показывает всего лучше книга Бокля «История английской цивилизации». Автор оплакивает судьбу исторической науки, жалеет, что «историю писали люди, вовсе не способные к решению своей великой задачи, что до сих пор мало собрано нужных материалов. Вместо того чтоб говорить нам о предметах, которые одни имеют значение, вместо того чтобы излагать нам успехи знаний и путь, на который вступает человечество при распространении знаний, — вместо этого большая часть историков наполняют свои сочинения самыми пустыми подробностями, анекдотами о государях, о дворах, бесконечными известиями о том, что было сказано одним министром, что думал другой, и, что всего хуже, длинными известиями о войнах, сражениях, осадах, вовсе бесполезными для нас, потому что они не сообщают новых истин и не дают средств к открытию их. Наши политические компиляторы занимаются слишком много отдельными лицами и слишком мало характером времени, в которое эти люди живут; эти писатели не понимают, что история каждой цивилизованной страны есть история интеллектуального развития, которое государи, государственные люди и законодатели более замедляют, чем ускоряют, потому что, как бы ни было велико их могущество, все же они случайные и неполные представители духа своего времени».

Прежде всего заметим, что иеремиады автора написаны задним числом, что история интеллектуального развития в народе уже давно занимает достойное ее место в исторических сочинениях. Заметим, кстати: Бокль не знал, что делалось в этом отношении у нас в России. Здесь очень долго утверждали, что русская история начинается только с Петра Великого, потому что с этих пор только начинается история русского просвещения, история интеллектуального развития, и что история до Петра не представляет никакого интереса. Эта крайность вызвала, как обыкновенно бывает, дру-

гую крайность; но как бы то ни было, верно одно, что очень задолго до Бокля в одной стране громко проповедовались его положения.

История цивилизованной страны есть история интеллектуального развития, которое правительства более замедляют, чем ускоряют, — вот основное положение Бокля. Но прежде чем следить за интеллектуальным развитием в стране, надобно уяснить: что сделало эту страну способною к интеллектуальному развитию, какие условия приготовили известную почву для интеллектуального развития, вследствие чего интеллектуальное развитие приняло то или другое направление? Так, например, у нас интеллектуальное развитие начинается с Петра Великого; но почему оно начинается так поздно и именно с этого времени; почему оно принимает такие формы при Петре и его преемниках; почему Россия теперь находится на известной ступени интеллектуального, государственного и общественного развития? Все это останется для нас тайною и поведет к бесчисленным ошибкам в теории и практике, если мы не изучим подробно нашей древней, допетровской истории. Но оставим Россию и посмотрим, как Бокль обращается с историей своих западных государств, с историей своей Англии, в цивилизации которой видит самое правильное развитие. В истории Англии он точно так же отзывается о времени до XVI века, как у нас еще недавно отзывались о допетровском времени, именно — как о времени варварства, мрака, господства слепой, безусловной веры; как о времени, в которое еще не рождалось сомнение, а пока нет сомнения — прогресс невозможен, по мнению Бокля; следовательно, что же такое была история Англии до XVI века? А между тем до XVI века здесь положено было крепкое основание тому, что составляет отличительную черту английской истории, английского государственного и народного быта, тому, что условило и развитие интеллектуальное. Сам Бокль, желая объяснить застой Испании, начинает с начала, с V века. Значит, история цивилизованного народа имеет важное значение и тогда, когда интеллектуальное развитие еще не начиналось, когда еще не рождалось сомнение; значит, важное значение имеют известные отношения и без интеллектуального развития; зна-

чит, и после появления интеллектуального развития эти отношения не могут утратить своей важности; интеллектуальное развитие приходит к ним как новая сила, с могущественным влиянием на все другие отношения, но, как обыкновенно бывает в истории, и само подчиняется влиянию других отношений.

Обратимся к другому вопросу: что такое правительство? Правительство в той или другой форме своей есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни. Как скоро известная форма правительственная не удовлетворяет более потребностям народной жизни в известное время, она изменяется с большим или меньшим потрясением всего организма народного. В ином народе, по-видимому, возбуждено сильное неудовольствие против правительства, против его формы; но если, несмотря на это, правительство держится, то это значит, что народ в своей истории выработал известные условия, которые требуют именно такой формы правительственной. Правительство, какая бы ни была его форма, представляет свой народ, в нем народ олицетворяется, и потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка. История имеет дело только с тем, что движется, видно, действует, заявляет о себе, и потому для истории нет возможности иметь дело с народными массами, она имеет дело только с представителями народа, в какой бы форме ни выражалось это представительство; даже и тогда, когда народные массы приходят в движение, и тогда на первом плане являются вожди, направители этого движения, с которыми история преимущественно и должна иметь дело.

Действия этих лиц, а в спокойное время распоряжения правильного правительства, его удачные меры или ошибки могущественно действуют на народ, содействуют развитию народной жизни или препятствуют ему, приносят благоденствие большинству или меньшинству или навлекают на них бедствия. Вот почему характеры правительственных лиц так важны для историка, так внимательно им изучаются, будь то неограниченный монарх, будь то любимец этого монарха, будь то ораторы, вожди партий в представительных собраниях, министры, поставленные во гла-

ве управления перевесом той или другой партии в народном представительстве, будь то президент республики. Вот почему подробности, анекдоты о государях, о дворах, известия о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохраняют навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов. Бокль, провозгласивши, что не должно изучать характеры правительственных лиц, посвящает большие отделы своей книги деятельности Генриха IV Французского и кардинала Ришелье, выставляя, какое могущественное влияние оказала эта деятельность на интеллектуальное развитие французского народа. Но это не единственное противоречие в книге Бокля, которая представляет результат отшельнической, замкнутой, кабинетной жизни человека, отказавшегося от всякой общественной деятельности, и потому так поражает своею односторонностью.

Бокль утверждает, что государи, государственные люди и законодатели суть случайные и недостаточные представители духа своего времени. Историческая наука давно уже признала их недостаточными представителями духа своего времени в том смысле, что они не одни представляют этот дух. Что же касается выражения «случайные представители», то употреблять его надобно с большою осторожностью. Всякое явление в жизни народа, как бы это явление ни было, по-видимому, случайно, должно рассматриваться в истории по отношению к внутренним условиям народной жизни; оно объясняется ими и в свою очередь объясняет их. Так, например, чего кажется случайнее в истории известного народа, как напор другого народа, завоевание, вследствие этого напора происшедшее. А между тем историк пользуется этим явлением для проверки внутренних сил народа завоеванного, степени его развития; решаются вопросы: что условило возможность завоевания; какой отпор оно встретило и где, в каких частях страны, в каких частях народонаселения; быстро ли покорен народ, или покорение требовало продолжительного времени; в каких отношениях нашлись завоеватели к завоеванным и что произошло из этих отношений; какие силы народа были сломлены завоеванием; какие со-

кровенные силы были вызваны к деятельности? Понятно, что при решении этих вопросов проверяется, уясняется вся предшествовавшая история народа.

Характеры лиц, выдающихся вперед, лиц правительственных, служат также для проверки внутреннего состояния народа, степени его развития. Вопрос состоит в том, как характер правительственного лица и зависящая от этого характера деятельность его относятся к народной жизни. Мы очень хорошо знаем, что известная деятельность, зависящая от известного характера, обнаруживается таким образом в одном народе, иным образом — в другом, бывает совершенно невозможна — в третьем. Внутренние условия народной жизни в известное время отливают форму для деятельности правительственного лица, как всякого исторического деятеля вообще, во всех сферах; следовательно, эта форма служит самую лучшую проверкою народной жизни. Здесь уже случайность явления исчезает. Таким образом, опять выходит, что мы должны изучать деятельность правительственных лиц, ибо в ней находится самый лучший, самый богатый материал для изучения народной жизни, и правительственные лица являются представителями народа вовсе не случайными. С другой стороны, деятельность правительственных лиц, уславливаясь известным состоянием общества, производит могущественное влияние на дальнейшее развитие жизни этого общества и потому должна обращать на себя особенное внимание историка. Какая возможность изучить характер времени, не изучив деятельности лиц, выдающихся на первый план, и прежде всего лиц правительственных? Не Цезарь разрушил Римскую республику; эта республика во времена Цезаря заключала в себе такие условия народной жизни, при которых Цезарю возможно было сделать то, что он сделал. Но как мы изучим эти условия, как поймем характер времени, не изучив деятельности Цезаря, его отношений к лицам, учреждениям, различным частям народонаселения? Как мы изучим характер первых времен Римской империи, не изучив характера отношений первых императоров к сенату?

Бокль жалуется на историков также за то, что они наполняют свои сочинения длинными известиями о войнах, сра-

жениях, осадах, вовсе бесполезными для нас, потому что они не сообщают нам новых истин и не дают средств к открытию новых истин. Мы думаем, что история должна открыть нам истину о жизни одного или нескольких народов. Впрочем, по поводу вопроса о значении истории войн мы должны сказать несколько слов о значении так называемой в чешней истории вообще, ибо некоторые унижают это значение перед значением истории внутренней. В жизни отдельного человека мы различаем жизнь домашнюю и жизнь общественную; мы знаем хорошо, что человек немислим без общества, что только при столкновении с другими людьми, в общей деятельности, определяются его понятия, развиваются его умственные и нравственные силы. То же самое и в жизни целых народов: они также живут жизнью домашнею, или внутреннею, и жизнью общественною. Известно, что такое народ, живущий вне общества других народов. Застой — удел народов, особо живущих; только в обществе других народов народ может развивать свои силы, может познать самого себя. Известно, что европейские народы обязаны своим великим значением именно тому, что живут одною общею жизнью. Но после этого как же можно отнимать значение у этой общественной жизни народа в пользу внутренней или домашней жизни, которая подчиняется такому сильному влиянию жизни общественной? И внутренняя жизнь народа в свою очередь обнаруживает сильное влияние на степень и характер его участия в общей жизни народов точно так, как домашний круг человека, его домашнее воспитание имеет важное влияние на характер, с каким он является в общество, на его общественную деятельность; но из признания тесной связи между внешнею и внутреннею жизнью народа и взаимного влияния их друг на друга не следует, что одной надобно отдавать преимущество перед другою.

Историк не может не останавливаться долго на дипломатических сношениях, потому что в них выражается общественная жизнь народа, в них народы являются перед нами каждый со своими интересами, вынесенными из истории, со своими историческими правами, со своими особенностями; наконец, от характера ведения их зависит уси-

ление или упадок значения народа, зависит война или мир. А война? Это мерило сил народных, материальных и нравственных. Вспомним, какое значение в жизни народной имеет та или другая степень внешней безопасности. Толкуя о народе, не будем удаляться от него, но взглянемся внимательнее, что значит для него война или мир. Толкуя о прошедшем, не будем забывать настоящего, которое так помогает объяснению прошедшего; не будем забывать, как мы теперь волнуемся вопросом о войне или мире, как важные внутренние дела останавливаются в ожидании решения этого страшного вопроса внешнего. Повторяют, что известный ход английской истории зависит от островного положения страны, дающего ей большую внешнюю безопасность сравнительно с государствами континентальными. И после этого мы не дадим важного значения истории войн, которые или истощают, или возбуждают народные силы, отнимают у народа важное место, занимаемое им в обществе других народов, или ему дают его, расширяют сферу его деятельности, поворачивают ход его истории! Другое дело подробности военных действий: они не должны входить в общую историю одного или всех народов, они составляют содержание специальной военной истории и могут быть доступны, полезны и занимательны только для специалистов.

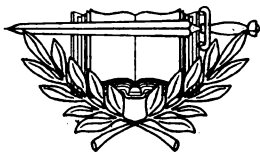
Незаконный развод народа с государством, происшедший в головах некоторых наших исторических писателей и преподавателей, породил довольно недоразумений. Забыв, что государство есть необходимая форма для народа, который немислим без государства, объявляли, что не станут останавливаться на каком-нибудь громком государственном событии более того, сколько требовать этого будет уразумение воздействия его на народный быт и воспитание; что не станут преклоняться пред биографией лиц, выходящих из массы; что эти лица будут важны единственно потому, что они принесли с собою из массы и что сообщили массе их дарования; что не будет важен никакой закон, никакое учреждение сами по себе, а только по приложению их к народному быту; что не будут останавливаться ни на каком литературном памятнике, если не будут видеть в нем ни вы-

ражения народной мысли, ни той силы, которая пробуждает эту мысль; в таком случае гораздо важнее будет народная песня, даже полная анахронизмов в изложении внешнего события; предметом первой важности будут повествования летописцев о неурожаях, наводнениях, пожарах и разных бедствиях, заставлявших народ страдать, о затмениях и кометах, пугавших его воображение явлениях, которые для историка, имеющего на первом плане государственную жизнь, составляют неважные черты.

В приведенных мнениях видно непонимание тесной связи между государством и народом, связи формы с содержанием. Что значит, например, рассматривать громкое государственное событие со стороны воздействия его на народный быт и воспитание? Но почему же это событие громко? Историк при встрече с таким событием прежде всего должен показать, как оно возникло в жизни известного народа, разумея под жизнью народа жизнь внутреннюю и внешнюю. Что касается до значения лиц, выходящих из массы, то понятно, что всякий оценивает их по степени того добра, какое оказали они своим общественным служением: об этом никто никогда не спорил. Но здесь должно заметить, что историк не имеет возможности непосредственно сноситься с массой; он сносится с нею посредством ее представителей, исторических деятелей, ибо масса сама ничего о себе не скажет; и в то время, когда она движется, волнуется, на первом плане ее вожди, представители; они говорят и действуют и этим самым становятся доступны для историка. Если известный закон или учреждение, каковы бы ни были сами по себе, не имеют приложения к народному быту, то во всяком случае они заслуживают внимания; если закон или учреждение действуют и в то же время неприложимы к народному быту, то они причиняют вред, затруднения, неудобства в отправлении народной жизни; это очень важно, и историк обязан вникнуть в причины такого явления, ибо здесь проверка народной жизни. Историк обязан останавливаться на важных литературных памятниках, ибо такие памятники не могут пройти бесследно для жизни общества. Историк, имеющий на первом плане государственную жизнь, на том же плане имеет и народную жизнь, ибо отделить их нельзя: на-

родные бедствия не могут быть для него неважными чертами уже и потому, что они имеют решительное влияние на государственные отправления, затрудняют их, бывают причинами расстройств в государственной машине, что вредным образом действует на народную жизнь. Но конечно, историк, уважающий народ, не поставит наряду с народными бедствиями затмений и комет, пугавших народное воображение, хотя и не оставит их без внимания, когда будет говорить, как народ в известное время представлял себе известные явления.

Сделавши эти предварительные замечания, мы приступим к наблюдениям над исторической жизнью народов и для правильности этих наблюдений начнем с начала, начнем с того, с чего обыкновенно начинают.



I. ВОСТОК

1. КИТАЙ

Перед нами одна из самых обширных и самых богатых стран в мире, страна чайного дерева и шелкового червя; страна, которая с незапамятных пор составляет одно государство, самое обильное трудолюбивым и промышленным народонаселением, долго славившимся своими шелковыми, хлопчатобумажными и фарфоровыми изделиями, знавшим, как говорят, порох, компас и книгопечатание прежде европейцев. Но это государство с незапамятных пор не имеет истории; Китай и неподвижность сделались понятиями, неразрывно связанными друг с другом. С неподвижностью, страхом перед новым соединена замкнутость, страх перед чужим. Причины этих явлений находят, во-первых, в природных условиях; во-вторых, в характере монгольского племени, к которому принадлежит народ китайский. Будем наблюдать над действиями этих условий.

Указывают, что замкнутость Китая происходит оттого, что он окружен высочайшими горами и бурными, туманными, имеющими много мелей морями; с другой стороны, указывают на необыкновенное плодоносие и роскошь страны, вполне удовлетворяющей народонаселение и отнимающей у него охоту к движению, исканию нового, чужого. Говорят также, что свойства монгольского племени условили оста-

новку китайцев в развитии; в китайской цивилизации монгольское племя достигло высшей степени развития, к какой только оно могло быть способно.

Мы, разумеется, не будем отвергать влияния ни одного из означенных условий, хотя приговор относительно племени нам кажется слишком резок; если мы видим, что племя остановилось на известной степени развития под влиянием таких-то могущественных условий, то естественно рождается вопрос: остановилось ли бы оно на этой степени при других условиях? Что же касается до влияния природы, то имеем право спросить: такие же ли оказались бы результаты, если бы Китай был резко отделен с сухого пути, представлял такую же плодоносную страну и простирался небольшою узкою полосой по берегу моря? Признавая всю законность этого вопроса, мы считаем себя вправе выставить новое условие, именно: обширность страны, в которой в продолжение многих веков народонаселение могло расширяться и устраиваться без столкновения с другими народами, без внешней деятельности, без подвига, с одной только внутренней деятельностью. Все силы народа, особенно с быстрым его увеличением при благоприятных условиях, ушли в это необычайное трудолюбие, отличающее китайцев. Но одно трудолюбие при однообразной будничной жизни не разовьет народа: для развития необходим не труд только, но подвиг, сильное, широкое движение, которое обуславливается внешними столкновениями. В Китае всего лучше можно видеть влияние на народ исключительно внутренней жизни, как бы она сильно развита ни была, влияние труда без подвига, необходимого для вскрытия и упражнения высших способностей человека; в китайцах мы видим людей, в высшей степени способных к труду и несколько не способных к подвигу, трусливых, легко поддающихся внешнему натиску. Преобладание внутренней жизни ведет к тому, что государство становится похожим на муравейник или на пчелиный улей: трудолюбия очень много в муравьях и пчелах.

Как устроил китайский народ свое государство? Вопрос этот связан с вопросом: как устраивает свое государство всякий большой народ, живущий в обширной стране без внешних столкновений? Первоначальный родовой быт может

держаться во всей чистоте только при малочисленности народонаселения и обширности страны, когда каждый род может жить отдельно, не сталкиваясь с другими, когда и усобицы, возникающие в отдельном роде, легко погасают чрез удаление недовольных, притесненных членов рода. Но когда народонаселение увеличивается, когда отдельные роды необходимо приближаются друг к другу, то естественно происходят между ними столкновения, ведущие к устройству нового порядка вещей. Или один род благодаря личности своих членов и другим благоприятным обстоятельствам усиливается на счет других, и старшина его делается старшиной их всех; или когда столкновения, войны между родами не оканчиваются таким образом и сильно наскучивают оседлому, земледельческому народонаселению, то оно добровольно подчиняется одному человеку, чтобы чрез это подчинение избыть от внутренних войн. Иногда это делается, чтобы получить вождя для дружного отбития внешнего неприятеля. Подчинение это могло быть временное и пожизненное; пожизненное пользование властью легко могло превратиться в наследственное.

В Китае первоначально были владельцы, или, как мы привыкли называть их, богдыханы, пожизненные, а с императора Ю (2205 г. до Р. Х.) — наследственные (первой династии Гиа). Власть этих первых государей, естественно, неограниченная; добыта ли она силою или избранием? Ее неограниченность обуславливается потребностью нового народа получить крепкую связь; новый государь должен быть вождем на войне против внутренних и внешних врагов и судьей верховным; в том и другом случае ограничение его власти неудобно для народа, создающего у себя гражданский порядок. Мы знаем, что в последующие времена усиление монархической власти является после сильных движений, которые истомляют народ и заставляют его искать успокоения в диктатуре. «Где нет царя, — говорится в одной древней поэме¹, — там нет ни у кого собственности; люди пожирают друг друга, как рыбы; не строятся дома, не воздвигаются храмы, не приносятся жертвы; никто не пляшет на

¹ В «Рамаяне».

празднествах, никто не слушает певца, земледелец и пастух не могут спать при открытых дверях; купцам нет безопасной дороги». Образца власти нет никакого другого, кроме власти естественной — отца над детьми и потом власти господина над рабами. Обратимся к сознанию древних о господствовавших у них формах правления. «Каждый дом, — говорит Аристотель, — управляется старшим, поэтому и народы управляются царями, ибо составились из управляемых (то есть из домов, семейств); монархия есть домашняя форма правления, ибо дом управляется монархически».

Мы не можем не принять объяснения Аристотеля, хотя не можем ограничиться им, тем более что знаменитый философ, противопоставляя народ, составившийся из семейств или домов и потому управляемый монархически, городу, состоящему из людей свободных и равных и управляемому политически, не объясняет, откуда произошла эта противоположность. Здесь мы должны обратить внимание на то, что в народе многочисленном, на большом пространстве живущем и преданном земледелию, мирному труду, не может возникнуть начало, способное ограничивать царскую власть. Собрание всего многочисленного народа, на обширных пространствах живущего, для совещания о делах невозможно; посылка избранных представителей — дело тяжелое и невозможное в первые времена без другого представительства, образуемого какой-нибудь выдающеюся частью народонаселения, имеющего особенное положение, особые права. Происхождение такой части народонаселения обуславливается сильным и продолжительным воинственным движением, и то, как увидим, в дружинной форме совершающимся; в народе же невоинственном, преданном мирным земледельческим и промышленным занятиям, этого быть не может. Народонаселение города, где живет владыка народа, может оказывать на него влияние, ограничивать его власть своими собраниями, вечами. Но для этого нужно особенно сильное развитие торговое в известном месте, особенная подвижность народонаселения вследствие торговой деятельности, развивавшей силы человека наравне с воинскою деятельностью, особенно в первобытные времена, когда купец по отсутствию безопасности путей должен был превращаться в

воина. Если такого условия нет, если мы имеем дело с народом многочисленным, занимающим обширное пространство в стране уединенной и своими произведениями удовлетворяющей народ, который потому предан мирным занятиям; если при умножении своего числа, ведущем к уничтожению родовой особенности, народ хочет обеспечить свои занятия установлением единой и крепкой власти, способной защитить от врагов внешних и прекратить усобицы внутренние, то в таком народе мы имеем право ожидать сильной, неограниченной верховной власти. Пройдут века, и укоренится привычка, известные отношения войдут в народное умоначертание, получают освящение свыше и лягут таким образом препятствием к образованию условий, могущих повести к перемене.

Такие отношения мы видим у китайцев, которых природа оградила от внешних влияний и дала нам любопытное и поучительное зрелище, как улей под стеклом для наблюдений естествоиспытателя. Мы можем здесь понять, до чего может достигнуть уединенный народ земледельцев, работников, поставленный в выгодные условия для работы, народ трудолюбивый, понятливый, расчетливый, благоразумный, но с крайне узким горизонтом, народ, весь преданный «злобе дня», заботам о хлебе насущном, ничем не развлекаемый в этих заботах и не терпящий быть развлекаемым. Все отношения, разумеется, должны иметь связь с этим главным стремлением. Китайцы признают над собою неограниченную власть своего богдыхана, потому что эта власть обеспечивает им их работу; отношение основывается на расчете, никакой другой религиозной, нравственной, исторической связи нет. Хотя богдыхан и называется Сыном Неба, но это только титул; хотя ему и воздаются божеские почести, но это церемонии, необходимые для обозначения ранга. Богдыхан должен быть хороший правитель, добродетельный человек, иначе он не обеспечивает для народа спокойствия и порядка; как же быть в противном случае? Другого средства нет, кроме восстания против дурного лица, против испортившейся династии, и китайская история не бедна такими движениями, нисколько, впрочем, не уничтожающими ее однообразия. Как скоро перемена лица произошла и оказалась удов-

летворительную, все пошло по-прежнему, «улей» зашумел в обычной работе.

Чтобы работа была обеспечена, нужен самый строгий порядок; нужно, чтобы все было определено с необыкновенною точностью: чтобы никто не позволял себе ни в чем ни малейшего произвола, ни малейшей перемены; чтобы все происходило одинаково, как раз заведено: китайское законодательство отличается точностью, обстоятельностью определений всего, относящегося к поведению человека, к его нравственным действиям и отношениям, к формам общественных приличий, к покрою одежды и стрижке волос. Закон соблюдается строго, произвола нет. Демократическое начало господствует; все китайцы равны друг перед другом; наследственных сословий нет; подняться на высшие места, места надзирателей за рабочими, блюстителей установленного порядка на этой громадной фабрике, называемой Китаем, можно только посредством испытанного знания, приобретаемого тяжелым трудом. Цель управления признана ясно: «Хорошее управление должно доставить народу необходимые для жизни вещи: воду, огонь, металлы, дерево и хлеб; потом должно сделать его добродетельным и научить полезному употреблению всех этих вещей, должно остеречь его от всего того, что может повредить его здоровью и жизни».

И больше ничего не нужно для китайца. Громадная фабрика, наполненная трудолюбивыми работниками, идет века по раз заведенному порядку под строгим надзором знающих дело людей. Все, что может нарушить этот порядок, необходимый для спокойной и потому богатой результатами работы, отстранено: рабочий не развлечен ничем; мысль его с малолетства приучена вращаться в тесном кругу одних и тех же предметов и направляться к одной цели — исканию удовлетворения материальным потребностям; всякий выход отдельного лица из очерченного круга, всякое проявление личности, личной самостоятельности, новой мысли и взгляда не допускается, невозможно. Полицейский порядок развит был в Китае тысячи лет назад; тысячи лет назад ни один китаец не мог выйти без паспорта за городские ворота. Правительственная система, которая недавно проповедовалась в Европе некоторыми государственными людьми и которая нра-

вилась многим, измученным революционною качкой, — система ограничения народа заботами о насущном хлебе с исключением всех других потребностей, с удалением от него всего, что могло бы развлечь его внимание, возбудить мысль, нарушить спокойствие и порядок обычных занятий, — эта система, неприменимая в Европе, осуществлена с незапамятных пор в Китае, не выдумана здесь каким-нибудь богдыханом или мандарином, но вытекла из условий жизни народа, принята и усвоена им; народ воспитался, образовался по ней, она вошла в его существо, и может ли он когда-нибудь жить без нее — неизвестно.

Мы видели, что Китай испытывал потрясения, нарушения спокойствия и установленного порядка вследствие слабости и недостойнства богдыханов. Но эти потрясения, не могшие по характеру своему повести ни к каким живительным преобразованиям, не могшие расширить горизонт народной жизни, возбуждали только в народе желание возвратиться как можно скорее к спокойной и потому счастливой старине, восстановить все, как прежде было. Отсюда понятно, что имя человека, особенно потрудившегося над таким восстановлением старины в области мысли, знания и самопознания народа, будет особенно популярно. Таково знаменитое имя Конфуция (жившего ок. 550 — 479 гг. до Р. Х.), собравшего и приведшего в порядок древние народные предания. «Мое учение, — говорил Конфуций, — есть учение, переданное нам предками; я ничего не прибавил и не убавил, но передаю их учение в первобытной чистоте». Из этих преданий старины для нас важны религиозные представления по связи их с религиозными представлениями других языческих народов. В религиозных представлениях языческих народов, известных в истории, мы замечаем следующие общие основные черты: во-первых, дуализм, и притом двойной, именно — обоготворение двух начал — доброго и злого; во-вторых, поклонение душам умерших предков. В различных отношениях того или другого народа к этим основным представлениям выражается характер народа и его историческое значение. В китайской религии мы находим первый дуализм, поклонение мужескому началу, первоначальной силе — небу, и женскому началу, первоначальной

материи — земле. Подле этого поклонения существует поклонение душам умерших предков.

Но, говоря о религиозном поклонении китайцев, мы не должны представлять себе форм поклонения, встречаемых у других народов: у китайцев нет ни храмов, ни жрецов, ни праздничных дней в неделе. Китаец — работник, погруженный весь в заботы о материальном существовании; он не чувствует потребности в освежении, восстановлении сил праздником, духовным занятием; праздник нарушает порядок и потому не полезен. Для китайца «небо не говорит, но заявляет свою волю только через народ или чрез людей!». Впрочем, в религиозной жизни китайцев не обошлось без протеста против этого пренебрежения духовными потребностями. Самостоятельно или под влиянием учения, занесенного как-нибудь с юга, из Индии, — все равно, только протест явился в так называемом учении Тао, основанном Лао-Тзе, который подчинял физический дуализм неба и земли высшему началу Тао (разума). Протестуя против полного погружения в заботы о материальном благосостоянии и в чувственные наслаждения, господствовавшего в Китае, Лао-Тзе требовал освобождения от страстей и духовной созерцательной жизни в удалении от общества и его волнений, указывая на цель такой жизни — возвращение в лоно первоначального существа, из которого вышел человек. Мы еще возвратимся к этим представлениям, в которых выказалась реакция чувственным стремлениям народов в различных странах Востока. Здесь же заметим, что в Китае учение Лао-Тзе явилось сектою и не могло сильно противодействовать господствующему направлению жизни; гораздо сильнее распространился искаженный буддизм, удовлетворявший потребности народа во внешнем богослужении.

Трудолюбивейший народ не мог предохранить себя от рабства. На это важное явление, как оно существовало в Древнем мире, мы должны обратить особенное внимание. Происхождение рабства, происхождение разных видов частной зависимости человека можно проследить в преданиях народов. Конечно, война должна была доставлять значительное число рабов; победитель имел право или убить побежденного, или подарить ему жизнь, и в последнем случае

побежденный делался рабом, собственностью победителя. Экономическая неразвитость первоначальных обществ содействовала сильно к распространению рабства: для человека было чрезвычайно удобно иметь разумное орудие, разумную животную силу для работ всякого рода при невозможности вольнонаемного труда. Скоро оценили выгоду охотиться за человеком, добывать его с оружием в руках и торговать им. Но кроме захвата и купли число рабов увеличивалось и другим способом: обеднение от голода или другого физического бедствия, лишение семьи или рода, бесплодность и безродность, страшное бедствие в древнем обществе, где человек мог держаться самостоятельно только с помощью первоначального кровного союза, — все эти бедствия должны были принуждать человека просить принятия в чужую семью или род для получения средства к существованию; но единственное условие, при котором он мог быть принят, это — работа, рабство; молодой человек для получения руки девушки должен был работать будущему тестю несколько лет, как мы это видим в истории патриарха Иакова.

Рабство продолжалось и в новом, христианском мире; мы с ним хорошо знакомы; но все же в христианстве, поднявшем личное значение человека как храма Духа Св., существа, искупленного кровию Спасителя, мы все более и более отвыкали от представления о рабе, господствовавшего в языческой древности. В древности мы видим, например, такое явление: жена дает в наложницы мужу рабу свою, и когда раба родит ребенка, то госпожа в восторге принимает его на колени и говорит, что Бог дал ей сына. Поймем ли мы теперь это явление? Оно объясняется только таким представлением, что раб не имеет совершенно никакой личности и составляет часть господина, имеет с ним совершенно одно существование. Знаменитый наблюдатель над общественными явлениями Древнего мира Аристотель приходит к нам на помощь; он говорит: «Раб есть одушевленная собственность и как бы орган. Собственность есть как бы часть, ибо часть есть не только часть другого, но имеет с ним одно существование. Подобно тому и собственность; поэтому раб не только есть раб своего господина, но и имеет с ним одно существование». Это уяснение представления древности о

рабе поможет нам объяснить и некоторые другие явления древней жизни. Если человек, сделавшийся собственностью, считался частью, имевшею одно существование с целым, с господином, то при отсутствии прав личности дети, обязанные существованием родителям, естественно составляли их собственность, часть, не могли иметь никаких прав, находились к родителям совершенно в отношении рабов. Между китайцами, как народом мирным и земледельческим, сначала не было рабства; но оно явилось, когда вследствие тяжких бедствий родителям позволено было продавать детей своих.

2. ЕГИПЕТ

Мы переходим в Африку. Здесь, на северо-востоке, по берегам большой реки Нил, находим государство, подобное китайскому, такой же пчелиный улей или муравейник, но имеющее некоторые замечательные особенности. Египет с двух сторон окружен морем, и одно из этих морей — Средиземное — историческое море древности по преимуществу; несмотря на то, египтяне питают отвращение к морю; страна их долго остается замкнутою, подобно Китаю. Народонаселение припало к своей реке Нилу, дающему своим разливам необыкновенное плодородие стране, припало, как ребенок к груди матери, и ожирело, остановилось в своем развитии. Нил, заботы, с целью воспользоваться богатыми следствиями его разлива, поглотили все внимание народа. Опять, как в Китае, мы имеем дело с народом земледельческим, рабочим по преимуществу, народом, который славился своею мудростью. Было время, когда и Китай славился в Европе мудростью своих учреждений и ставился в образец. Отцам-иезуитам особенно нравился китайский быт как соответствующий их общественному идеалу, нравилась огромная фабрика под строгим полицейским надзором, толпа людей, преданных в тишине материальной работе, не рассуждающих; нравился народ, похожий на труп или на палку в руках старика, и отцы-иезуиты прославили Китай в Европе. Хотя заблуждение насчет превосходства китайского быта и

не было продолжительно в Европе, однако и теперь еще есть люди, которым нравится кое-что китайское, которые, видя в китайских религиозных воззрениях условие отсутствия религиозного принуждения, восклицают: «Сколько времени, сколько фаз развития было необходимо, чтобы народ мог достигнуть до такого состояния, до такой терпимости!» Эти господа забывают, что для человека и народа, живущего не о едином хлебе, сильно принимающего к сердцу нравственные интересы, готового на все жертвования для проведения своих убеждений, надобно долго жить и пройти много фаз развития, чтобы достигнуть убеждения в необходимости свободы для чужих убеждений. Но человеку или народу, думающему только о хлебе, равнодушному к нравственным интересам, можно очень легко и скоро достигнуть религиозной терпимости; да ему и не для чего достигать ее, он с нею родится. Разве вы замечаете в ребенке религиозную нетерпимость? но попробуйте не накормить его вовремя! Народ, который остановился на этой ступени, и будет отличаться религиозною терпимостью.

Но если заблуждение насчет китайской мудрости было непродолжительно в новой Европе, если вместо мудрого старца в Китае увидали едва лепечущего ребенка, то что же удивительного, что в древности сохранялось уважение к египетской мудрости. Древность народа, древность его муравьиной или пчелиной цивилизации, громадные постройки, исчерченные какими-то таинственными, никому не понятными знаками, фокусничество жрецов — все это воспламеняло воображение, заставляло видеть и предполагать чудеса.

Чудес не было, но все же Египет представляет любопытное явление. Прежде всего мы не видим здесь китайского равенства, не того равенства, которого достигает живой народ, прошедший строгую политическую школу, выдержавший долгую борьбу, ознаменовавший себя гражданскими подвигами, но равенства младенческого, господствующего в первоначальном обществе, не знающем движения, подвига. В египетской истории мы должны предположить движение, подвиг, поведший к выделу из массы лучших людей, более способных к подвигу, иначе мы не можем объяснить происхождения каст; притом же памятники указывают нам

на различие племен, господствующего и подчиненных. Произошло движение, произошло развитие, выдел различных органов из сплошной прежде массы, и вот уже работа для историка — узнать, в каком отношении находились эти органы между собою. Мы упомянули слово «касты», под которым понимаются части народонаселения, живущие в совершенной отчужденности друг от друга при невозможности перехода для членов их из одной в другую. Различие племен и завоевание одного другим объяснят нам происхождение высших и низших каст, но не объяснят происхождение высших каст, жрецов и воинов, принадлежавших к одному господствующему племени. Здесь, разумеется, прежде всего мы должны обратить внимание на экономическое положение частей народонаселения, являющихся нам в виде каст. Высшие касты, жрецов и воинов, по самому характеру своему должны получать содержание, обеспечивающее их в исполнении их обязанностей. В государстве первоначальном, земледельческом они должны быть наделены земельными участками. И действительно, в Египте мы видим этот надел для воинов и жрецов; они были помещиками на этих участках, которые таким образом были тесно соединены с исполнением известных обязанностей; переход из одной землевладельческой части народонаселения в другую произвел бы смуту в землевладении и потому не мог быть допущен. Этому содействовало религиозное уважение к раз установленному, к старине, господствовавшее в древней жизни; для древнего человека идеал был назади, в далеком прошедшем, которое было ближе к царству богов и богоподобных людей; в Египте сначала царствовали боги, отсюда нарушение старых, установившихся отношений было делом греховным. Такое религиозное освящение и неподвижность установившихся отношений, разумеется, более всего зависели от жрецов, а жрецы находили в них свою выгоду, потому что в их руках находилась большая часть земельной собственности, чем у воинов.

Когда народонаселение раздроблено на такие резко отделенные друг от друга части, или касты, то понятно, что для достижения государственных целей, для общего направления деятельности оно нуждается в объединяющей

силе; таким образом, касты необходимо уже предполагают большую власть в руках царя. Действительно, египетский царь, или, как мы привыкли называть его, фараон (фра — солнце), имел в руках своих обширную власть, которая основывалась на землевладении: ему принадлежала третья часть всей земли; две трети ее были поделены в неравной, как мы видели, мере между жрецами и воинами. Фараон не упускал случая усиливать свои средства на счет землевладельческой касты воинов. «Иосиф собрал все серебро, какое было в Земле Египетской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в Земле Египетской, и пригоняли они к Иосифу скот свой. И пришли к нему на другой год и сказали ему: "Ничего не осталось у нас, кроме тел наших: купи нас и земли наши за хлеб". И купил Иосиф всю Землю Египетскую для фараона, только земли жрецов не купил. И сказал Иосиф народу: "Я купил теперь для фараона вас и землю вашу; вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону"».

Влияние касты воинов сдерживалось влиянием другой, высшей касты, жреческой; пользуясь соперничеством этих землевладельческих каст, фараону легко было усиливать свою власть. Жрецы, представители нравственной силы, желая охранить себя и взять перевес над представителями силы материальной, воинами, должны были соединить свои интересы с интересами фараона, давши его власти религиозное значение; как наместник богов, фараон, естественно, сделался охранителем интересов служителей религии; из их касты назначались правители и судьи. С торжеством жреческой касты и с упадком касты воинов соединен упадок внешнего блеска и могущества Египта. Встречаем любопытное известие о фараоне Сетосе из касты жрецов, который обнаружил свою вражду к воинам тем, что отнял у них земельные участки, и когда ассирийский царь Санхериб приблизился к границам Египта с завоевательными намерениями, то воины отказались выступить в поход против неприятеля и Сетос должен был набирать войско из людей низших каст. Встречаем также известие о покорении Египта эфиопскими царями, по изгнании которых Египет является разде-

ленным на 12 отдельных владений. Один из 12 государей, Псамметих, покоряет остальных и восстанавливает единовластие, но он это делает посредством иностранных наемных войск (ионийских и карийских) и возбуждает неудовольствие в касте воинов, которые в огромном числе удаляются в Эфиопию. Правнук Псамметиха, Гофра, лишился престола и жизни вследствие восстания воинов, заподозривших его в недоброжелательстве к своей касте и провозгласивших царем Амазиса. Но и Амазис был верен системе своих предшественников, которая состояла в недоверии и вражде к воинам; он образовал себе гвардию из ионийских и карийских наемников. При сыне Амазиса, Псаммените, Египет был покорен персами.

Таким образом, несмотря на скудость и мутность источников египетской истории, нельзя не усмотреть в ней этого внутреннего движения, бывшего следствием столкновения интересов фараона и двух высших землевладельческих каст, жрецов и воинов, причем именно земельное владение, имевшее такое важное значение в Египте, играло главную роль. Египет по физическим условиям был государством земледельческим по преимуществу; все внимание народа было обращено внутрь страны, на своего доброго кормильца — плодоносный Нил, к которому необходимо явилось религиозное отношение. Обращать внимание за пределы священной земли Нила было непростительно, греховно; отсюда торговля и городская промышленность не могли развиваться и не могла подняться часть народонаселения, которая основывала бы свое значение на богатстве движимом, не говоря уже о том, что по характеру племени, к которому принадлежат низшие касты Египта, они и не могли быть способны к широкой торговой предприимчивости. Благодаря этим условиям произошла замкнутость Египта и ожирение его народонаселения, привыкшего хорошо есть и пить и получавшего возможность к этому внутри страны. Возможность движения, подвига, столкновения с другими народами лежала в касте воинов, и действительно, эта каста давала средства фараонам предпринимать походы, делать завоевания, но это явление было какою-то случайностью в истории Египта, — случайностью, остававшеюся без последствий: продолжи-

тельные и отдаленные походы фараонов в Азию не доставляли им более или менее прочных завоеваний, так что воинственное движение государей оседлого и цивилизованного народа совершенно сходно с опустошительными и бесплодными движениями номадов. Можно подумать, что фараоны, охотники занимать и утомлять излишек народонаселения огромными постройками, *египетскими работами*, придумавшие умерщвлять новорожденных младенцев мужеского пола в случае опасного размножения подданных, — можно подумать, что фараоны предпринимали походы с единственной целью занять и утомить касту воинов, уменьшить ее опасное число. Но воинственные фараоны — редкое явление в египетской истории; касте воинов редко дается возможность развить свои силы, приобрести важное значение посредством движения, подвига. Жреческая каста сдерживает силы опасных воинов. Наконец, Египет благодаря Псамметиху и последующим фараонам выходит из прежней замкнутости, сближается с иностранцами, но здесь не происходит никакого важного переворота в египетской жизни: прежний порядок вещей остается ненарушимым; вся новизна направлена против касты воинов, которые принуждены выселяться, и это обстоятельство, разумеется, должно было более всего содействовать падению Египта.

Жреческая каста явно берет преимущество перед кастою воинов: воины в презрении, у воинов отнимают земли, воины должны выселиться из Египта. Относительно жрецов не встречается подобных известий: жрецы до конца сохраняют свое важное значение. Жрецы славились своею мудростью, своими обширными познаниями, но свою мудрость они берегли для себя, своих познаний они не распространяли в народе и не спасли государства от падения. Но каким же божествам служили жрецы египетские? В Египте мы встречаем множество имен божеств; это множество происходит оттого, что одно и то же божество в разных местностях чествовалось под разными именами. Из египетских мифов, наиболее известных, оказывается, что и здесь было поклонение началам мужескому и женскому — в Озирисе и Изиде и началам

доброму и злomu — в Озирисе и Тифоне. Мы имеем полное право успокоиться на известии Геродота, что из всех божеств только Изида и Озирис пользовались одинаковым поклонением во всем Египте, тогда как о других божествах сказать этого нельзя. Диодор Сицилийский говорит, что существует великое несогласие в именах египетских божеств: одно и то же божество называется Изидою, Церерою, Тесмофорою, Луною, Юноною, а некоторые величают ее всеми этими именами вместе. Озирис — одно и то же, что Серапис, Вакх, Плутон, Аммон, Юпитер, Пан. Но из слов самого же Диодора оказывается, что великое несогласие разрешается в согласие, когда под разными именами является одно и то же божество. Для нас важно известие Геродота, что женское божество, Изида, почиталось в Египте более всех других божеств. В связи с этим находится известие, что женщины пользовались в Египте особенно выгодным положением, даже преимуществом перед мужчинами.

Несмотря на успехи, какие, по-видимому, сделаны в изучении Древнего Египта, мы знаем о нем немного более прежнего; разногласие, противоположность во мнениях ученых о Египте, о его историческом значении всего лучше показывают, на какой шаткой почве находимся мы здесь. Великие исторические народы не проживают молча, тайком от других, не оставляют в своих памятниках загадок для потомства и предмета для ученых споров. Несмотря на наше убеждение, что дело не в количестве, а в качестве, громадность всегда сохраняет способность поражать воображение; так поражают воображение рукотворные горы Египта, пирамиды, переживающие тысячелетия, и вселяют невольное уважение к цивилизации, высказавшейся в таких памятниках. Но Египет внушал уважение не одними своими громадными бессмертными могилами; греки, которые так хвастались обыкновенно своею цивилизацией, преклонялись пред мудростию жрецов египетских. Посмотрим же, что такое египетские жрецы, скрывавшие свои знания от своего народа, сообщали из них чужим, грекам. Мы не будем отвергать предания о египетских колониях в Греции и о том, что эти колонисты сообщили сведения о разных полезных вещах дикому еще тогда народонаселению Греции. Но дело идет о дру-

гого рода заимствованиях, именно о заимствованиях в области религии и философии.

Мы не отвергнем и этих заимствований, только позволим себе сказать несколько слов насчет осторожности, какую историк должен соблюдать в вопросах о заимствовании. Мы привыкли рассматривать племена и народы в их отдельности, и действительно, мы должны обращать особенное внимание на их особенности, различия друг от друга; но при этом мы не должны упускать из виду общечеловеческого, не должны забывать, что имеем дело с человеком, который повсюду, в каких бы обстоятельствах ни находился, смотрит на известные явления и действует в известных случаях одинаково, выражает при известных условиях одинаковые нравственные требования. От этого мы необходимо должны встречать у различных народов одинаковые представления, должны встречать одинаковые рассказы в произведениях фантазии, одинаковые известия в памятниках исторических. На каком же основании мы, встретив у двух различных народов два одинаковых рассказа, известия, воззрения, предполагаем сейчас же заимствование, предполагаем, следовательно, что самое простое, естественное отношение могло раз произойти только у известного народа и никак не могло произойти у другого; если же встречаем известие о нем у другого, то это будет непременно заимствование? Но этого мало; если мы встречаем у разных народов и в разные времена известия об одинаковом явлении, то, вместо того чтобы увериться в возможности этого явления, мы немедленно отвергаем эту возможность, из действительности переносим явление в область вымыслов и здесь заставляем один народ непременно списывать у другого. Таким образом, выходит, что если один только свидетель говорит нам о явлении, то мы признаем возможность этого явления, но стоит только явиться нескольким свидетелям, которые скажут нам, что явление повторилось в разные времена у разных народов, как мы сейчас же начнем отрицать возможность явления и передадим его в область вымыслов.

Хотят, чтобы греки заимствовали у египтян верование в бессмертие души, потому только, что греческий миф о Миносе, судье мертвых, сходен с египетским мифом об Озирис-

се, исправляющем ту же должность! Отнять у греков верование в бессмертие души было бы слишком странно. Но как скоро допускается верование в бессмертие души, то естественно рождается представление об отчете, который должны отдать души по разлучении с телом, о суде. От суда необходим переход к судьям; почему же такое движение мысли, возможное у одного народа, было невозможно у другого? Хотят, чтобы и перевозчик душ, Харон, с его лодкой были заимствованы греками у египтян, потому что миф носит отпечаток местности Египта, изрезанной каналами, но известно, что представление о реке как пути для душ в недра земли и обратно есть представление общее, встречающееся у народов, не имевших никакого соприкосновения с египтянами. Геродот пустил в ход мысль, что все заимствовано у египтян. Громадность египетских памятников произвела на восприимчивого грека самое сильное впечатление. «Ни одна страна не заключает в себе столько чудес! ни в одной другой стране нельзя найти таких удивительных памятников!» Всматриваясь внимательнее, он находит сходное со своим. «Не может же это сходство быть случайным, — рассуждал он, — и, так как Египетское государство древнее всех государств, следовательно, все заимствовано из Египта». Жрецы ловко берутся за дело: «Все, что занято у нас, все ваши поэты и мудрецы были у нас и у нас выучились всему». Жрецы ни перед чем не останавливались в развитии своего основного положения. Упомянет им грек о древнем афинском устройстве. «Да это все взято у нас, — говорят они. — Эвпатриды — да это наша каста жрецов!»² Геродот не уступает жрецам и серьезно утверждает, что египтяне первые установили праздники, религиозные процессии и все богослужebные приемы и греки все это заимствовали у них. Утверждают, что учение о переселении душ Пифагор и Платон заимствовали у египетских жрецов, но этого предмета мы еще коснемся в наблюдениях над историческою жизнью греков.

² Об этом любопытном сближении, сделанном жрецами, говорит Диодор Сицилийский.

3. АССИРИЯ И ВАВИЛОН

В Китае мы видели народ, тихо, незаметно в продолжение веков наполнивший огромное пространство земли, удаленный от сообщения с другими народами; в Египте мы видели завоевание с поселением победителей среди побежденных, отчего произошло разделение на касты; но физические условия страны препятствовали дальнейшему воинственному движению египтян: с одной стороны, все внимание народонаселения было обращено внутрь страны, к кормильцу Нилу; потом с севера море, с востока и запада пустыня защищали Египет и давали его жителям возможность сосредоточивать свое внимание внутри страны. Истории Китая и Египта похожи тем друг на друга, что обе страны, имеющие в соседстве пустыни, подвергаются иногда нашествию и даже игу диких жителей пустыни, но это нашествие, это иго не изменяет ничего в быте обеих стран. Теперь с берегов Нила перейдем на берега Евфрата и Тигра и здесь уже встретим другое явление. Здесь на относительно небольших пространствах сталкиваются два сильных народа семитического племени, ассирияне и вавилоняне, развившиеся благодаря выгодным физическим условиям, ибо плодородная область двух великих рек рано пригласила народонаселение к деятельности.

Но жители берегов Евфрата и Тигра не могли, подобно жителям Нильской области, ограничиться одной внутренней деятельностью, ибо, как уже было сказано, здесь один подле другого жили два сильных народа, не могшие не вступить в борьбу друг с другом. Борьба требовала сосредоточения сил народных, требовала вождя, царя с большой, неограниченной властью, храброго человека, который бы умел защищаться от неприятеля, дать победу; и есть известие, что первый вождь вавилонян был богатырь — ловец Немврод. Борьба у ассириян и вавилонян шла с переменным счастьем: сперва одно государство брало верх благодаря преимущественно личности своего царя и подчиняло себе другое. Здесь было покорение не народа народом, причем победители, оставившие почему-либо свою сторону, селились между побежденными; здесь было покорение одного государства

другим, завоеванное государство превращалось в провинцию государства покорившего. Царь направлял движение, набирал войско из целого народа и распускал его по минувании нужды; здесь, следовательно, не могло образоваться касты воинов. Покорение одного государства другим, разумеется, увеличивало силы царя-покорителя: он располагал теперь средствами двух государств, что давало ему возможность покорять другие государства, присоединять их в виде провинций к своему.

Но то самое обстоятельство, что покорялся не дикий народ цивилизованному, а покорялось одно цивилизованное государство другим цивилизованным, — это самое обстоятельство вело к тому, что покорение не могло быть прочно: при первом удобном случае покоренное государство возвращало себе независимость и, усилившись, в свою очередь подчиняло себе государство, прежде господствовавшее. Сначала поднимается Ассирия; ее цари подчиняют себе Вавилон и широко распространяют свои завоевания вокруг, присоединяя к своим владениям в виде провинций более или менее цивилизованные государства. По истечении известного времени Вавилон возвращает себе независимость и снова теряет ее; потом опять восстает вместе с мидянами и снова принужден покориться; наконец, Вавилон восстает в третий раз: Мидия, Вавилон и Киликия вступают в союз против Ассирии; это государство падает, великолепная столица его Ниневия разрушена. Черед усиливаться пришел Вавилону; Навуходоносор своими завоеваниями основывает обширную монархию.

Таким образом, из области Евфрата и Тигра произошло движение, произведшее сильную историческую жизнь и во всех окрестных областях к северу, востоку и западу. Здесь несколько государств начинают жить общею жизнью, хотя эта жизнь и обнаруживается преимущественно в борьбе. Несмотря на покорение одного государства другим, несмотря на образование обширных монархий, народности не исчезают, но стремятся при благоприятных обстоятельствах возвратиться себе независимость. С этою целью заключаются союзы между народами, как, например, союз мидян, вавилонян и киликийцев против ассирийян; даже привыкший

к одинокой жизни Египет в последнее время втягивается в эту общую жизнь народов: против союза мидян, вавилонян и киликийцев ассирийский царь Сарданапал ищет союза египетского фараона Нехо, но тот, задержанный борьбою с народами, находившимися на дороге, не поспел вовремя на защиту Ниневии.

Свидетельства о цивилизации Ассирии и Вавилона, цивилизации более живой и человеческой, чем цивилизация Египта, остались в развалинах громадных и великолепных памятников. Что касается до религии, то и здесь мы видим поклонение мужескому, производящему началу, которое обоготворялось в Беле, господине неба и света, и женскому, воспринимающему и рождающему, которое обоготворялось в *Милитте*.

Известно, что в Вавилоне был обычай, по которому каждая женщина раз в жизни должна была отправиться в храм Милитты, чтобы там отдать себя иностранцу, который бросит ей деньги, призывая имя Милитты. В этом обычае нельзя не видеть средства религиозной пропаганды: вавилонянка, раба Милитты, вступая в связь с иностранцем, этим самым делала и его рабом своей богини, заставляла его приносить ей жертву; она допускала иностранца не прежде как он призывает имя Милитты; простым стремлением приносить в жертву богине любви самое драгоценное благо — целомудрие — объяснить явление нельзя, потому что именно требовался иностранец. Что религиозная пропаганда шла посредством женщин, это ясно видно из истории евреев. «И приглашали они (моавитянки) народ (израильский) к жертвам богов своих, и кланялся народ богам их.

И вот, некто из сынов израильских пришел и привел к братьям своим мадианитянку... Финеес, сын Елеазара, пронзил обоих их... Имя убитой мадианитянки Хазва... И сказал Господь Моисею: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их. Ибо они враждебно поступали с вами в коварстве своем, прельстив вас Фегором (божеством) и Хазвою, дочью начальника мадиамского».

4. ФИНИКИЯ

До сих пор мы видели две формы жизни у рассмотренных нами народов: или народы живут замкнутою жизнью исключительно; или — преимущественно жизнью внутреннею, избегая сообщества других народов, таковы китайцы и египтяне; или несколько равносильных по физическим и нравственным средствам народов живут вместе, сталкиваются, вступают в борьбу, то один, то другой берет верх, является завоевание, образование обширных государств, восстания государств покоренных, союзы их для освобождения себя от чужой зависимости. Эти явления представляет нам западная часть Азии, где два народа семитического племени, ассирияне и вавилоняне, играют главную роль, сменяя друг друга в господстве над окрестными государствами. Теперь переходим мы к третьей форме, представляемой историей народа также семитического племени — финикиян. Загнанные, припертые к морю, в стране бесплодной, рано, не успевши еще образовать из себя государственного тела, живя еще отдельными родами, финикияне должны были заняться торговлею и промышленностью. Явились богатые города, из которых каждый со своим округом составил отдельное владение. Происходят явления, обыкновенные во всех подобных малых владениях, состоявших преимущественно из одного богатого торгового города: сильная торговля и промышленность ведут к резкому различию между богатыми и бедными, образуются партии с противоположными интересами, аристократическая и демократическая, и вступают в борьбу друг с другом. Один из богачей-вельмож усиливается и приобретает верховную власть, становится царем, но власть этого царя не может быть так неограниченна, как власть царя у больших земледельческих народов, здесь уже прежде выработалась сильная аристократия, которая и ограничивает власть царя. Борьба между аристократическим и демократическим элементами в городах вела к усобицам в царских семействах. Так, по смерти известного тирского царя Хирама, современника и друга Соломона, сын его был умерщвлен родственниками, которые овладели верховною властью, опираясь на низшие классы наро-

донаселения. Подобные события, низложение той или другой стороны вело к выселению побежденных в отдаленные страны, к основанию колоний, что было возможно благодаря обширному мореплаванию финикийян, знакомству их с далекими землями; так основана была знаменитая финикийская колония Карфаген благодаря усобице и низложению аристократической партии в Тире.

Мы обыкновенно говорим, что горы и степи разделяют народы, а моря соединяют их, но к этому надобно прибавить, что горы и степи не удержат народы, движущиеся по сильным побуждениям, внутренним или внешним, равно как моря соединяют только те народы, которые сами стремятся к соединению, и притом первоначально только нужда могла заставить народ пуститься в море. Финикийяне должны были сделать это, и Средиземное море стало их областью. Благодаря им Средиземное море впервые получило то важное значение, какое оно удерживало за собою так долго, — значение исторического моря по преимуществу. Несмотря, однако, на важное значение деятельности финикийян, мы видим в ней одностороннее направление, направление изначала исключительно торговое и промышленное; и здесь мы видим хотя сильное и широкое движение, но без подвига; не видим движения, совершающегося по высшим побуждениям и совершающегося совокупными силами народа или его представителей, лучших людей. Исключительная торговля и промышленная деятельность дробна и мелка, а потому не может вести к высокой степени человеческого развития. Финикия — это Голландия Древнего мира.

Религия финикийян представляет тоже поклонение началам, во-первых, мужескому и женскому (Ваал и Ашера); во-вторых, добру и злу: Ваалу, божеству производящему, зиждительному, противопологалось божество злое, разрушительное — Молох, имевший соответствующее ему женское божество — Астарту. Служение мужескому и женскому началам и здесь, как везде, по самой сущности своей отличалось чувственностью, и финикийянки заставляли иностранцев служить своей богине теми же средствами, как и вавилонянки. Служение противоположному божеству, Астарте, божеству разрушительному, должно было, разу-

меется, сопровождаться противоположными действиями: если служение одному божеству требовало усиления жизни, усиления производительности, то служение другому, разрушительному, уничтожающему жизнь, требовало именно уничтожения средств производительности, и Астарте служили оскотлением. Молоху — человеческими жертвами. Здесь, следовательно, мы имеем дело с чистым, полным дуализмом; начало, или божество, злое, разрушительное, стоит рядом с божеством добрым, зиждительным, на совершенно равных правах; человек одинаково служит им обоим и несколько еще не сознает своей обязанности служить исключительно доброму началу и под его знаменем ратовать против злого, как мы это увидим в религиозном учении арийского племени, к наблюдениям над исторической жизнью которого мы теперь и переходим.

5. АРИЙЦЫ В АЗИИ

а) Индийцы

Мы теперь начинаем иметь дело с знаменитым племенем, которое можно назвать любимцем истории. При каких бы то ни было местных условиях всюду это высокодаровитое племя оставило по себе заметный след, всюду заявило свое существование чем-нибудь таким, что навсегда останется предметом изучения для историка. Мы не станем вдаваться в исследования о первоначальном месте жительства арийцев; для нас важно одно, что богатая явлениями историческая жизнь в Азии начинается движением арийского племени с севера на юг точно так, как история новой Европы начинается движением с севера новых народов того же племени, которые обновили одряхлевший греко-римский мир. До сих пор мы произвели наблюдения над исторической жизнью нескольких народов под различными местными условиями. Мы видели страны богатые, призвавшие свое народонаселение к ранней цивилизации, но вместе с тем обособившие это народонаселение, удовлетворившие его вполне, не давшие ему побуждений к внешней деятельнос-

ти, к подвигу, заставившие его поэтому заснуть и остановиться в развитии: таковы Китай и Египет. Потом мы наблюдали за жизнью народов, столкнувшихся с разными средствами на небольших пространствах, и видели, что следствием была сильная борьба между ними, сильная внешняя деятельность, обхватившая целый ряд народов в одной общей жизни. Мы видели, наконец, народ, не успевший образоваться в одно значительное целое, в одно государство, и увлеченный близостью моря к широкой, но рассыпной торговой и колониальной деятельности. Теперь перед нами новое племя, которое явится во всех рассмотренных нами условиях и в странах, подобных Китаю и Египту, и в Передней Азии — там, где совершали свои подвиги ассирияне и вавилоняне, и в стране приморской и вместе с тем препятствующей образованию большого государственного тела, приглашающей к рассыпной деятельности. Посмотрим же, как это племя заявит свои особенности при всех этих условиях, чем отличится от других племен, нам уже знакомых.

Одно из арийских племен проникло в Индию, которая, подобно Китаю, составляет особый, отдаленный, обширный и богатый мир. Но разница с Китаем состояла в том, что арийцы нашли Индию уже занятою другим, черным племенем, с которым пришельцы должны были вести продолжительную борьбу и наконец подчинили себе. Здесь сходство Индии с Египтом, и потому в обеих странах замечаем одинаковое явление: разделение на касты, различие между покорителями и покоренными, причем последние принадлежали к иному племени, различия по цвету кожи (*varna* — краска и каста) легли в основание деления; «черные судрасы», низшее народонаселение, противоплагаются высшему — «мужественным» ариям. Между ариями и судра находился особый отдел народонаселения, войсия, занимавшийся промыслами: по всем вероятностям, войсия первоначально происходила от браков ариев с женщинами судра, — браков, которые не считались законными. С течением времени благодаря более резкому разграничению каст вследствие религиозных представлений люди, происшедшие от родителей, принадлежавших к разным кастам, считались нечистыми, отверженниками и вели самую печальную жизнь.

Но и между господствующим племенем, между ариями, образовались две касты — воинов (кшатриа) и жрецов (браминов). Первоначально, в эпоху движения и завоевания, это разделение ариев на воинов и жрецов если и существовало, то не могло быть резко: в древних поэтических памятниках встречаем известия о жрецах, которые вместе были и воинами. Когда воинственное движение успокоилось и начали устанавливаться порядок, гражданские отношения, скрепляющиеся обычным религиозным цементом, когда начало развиваться и общественное богослужение, то жреческое сословие должно было выдвинуться и обособиться. Усилению его значения и уменьшению значения воинов благоприятствовало стремление общества успокоиться после смут и движения, завоевания и усобиц, происходивших непосредственно после завоевания, громадность, отдаленность, замкнутость и богатство страны, что все отнимало побуждение к новым движениям и подвигам, отодвигало, следовательно, подвижников, воинов, на второй план. Но, как видно из намеков древних памятников, воины не без боя уступили жрецам первое место.

Таким образом, арийское племя в Индии, попавши в обширную, отдаленную и богатую страну, подпало влиянию местности, вследствие чего Индия относительно политического развития своего представляет одинаковые явления с Египтом. Но особенности арийского племени не дали изгладить себя и тут местным условиям; они высказались не в громадных только и немых или полунемых памятниках; они высказались в богатой литературе; высказались в религиозно-философском мирозерцании и в религиозных движениях. Арийцы в Индии не молча прожили свой героический период, период движения, подвигов; они рассказали о них в «Магабгарате» и «Рамаяне», дающих знать, что это то же самое племя, которое рассказало нам про свой героический период в «Илиаде» и «Одиссее». Когда прекратились движения политические, когда государство и общество остановились в своем развитии, мысль не переставала работать, и следствием этой работы было сильное религиозное движение, обхватившее не одну Индию и не ограничившееся одной религиозной сферой.

Арийцы принесли с собой в Индию представление о добрых и злых божествах и, что всего важнее, принесли представление о непрестанной борьбе их между собой, представление об Индре, небесном воителе, поражающем злого Вритру, который покрывает небо черными облаками. На индийской почве с течением времени выработалось представление о двух началах: благодетельном, зиждительном и хранительном — Вишну, и злом, разрушительном — Шива, и оба начала, как у других народов, стали друг подле друга в равносильном положении. Но индийские арийцы на этом не остановились; они не успокоились на дуализме и начали стремиться подчинить оба противоположные начала третьему, высшему, и явились представления о Бrame, «из которого все существа происходят, которым живут по рождению, к которому стремятся, в которого снова возвращаются». «Как искры из пламени, исходят все существа из неизменяемого, возвращаются в него». Это представление, разумеется, не могло быть достоянием большинства, относившегося равнодушно к божеству, которому не приносили жертвы, не строили храмов, и продолжавшего поклоняться божествам добрым и злым мужского и женского пола. Но жрецы (брамины) воспользовались этим представлением, чтобы освятить существующий политический порядок вещей как происшедший из Бrame, освятить преимущества своей касты; они воспользовались представлением о Бrame, чтобы утвердить и нравственный порядок: только чистая душа человека могла возвратиться к своему чистому источнику; душа же, оскверненная преступными деяниями, должна была пройти прежде чрез ряд низших существ, что повело к верованию в переселение душ. Но мысль не могла остановиться и на этом. Явились неизбежные вопросы: как и зачем? Как и зачем из единого, сверхчувственного и неизменяемого произошел этот многообразный, чувственный и изменяемый мир, которого целью все же осталось возвращение в единое и неизменяемое? Придуманно было такое объяснение, что первоначальное, единое, истинное существо, душа вселенной, актом самообольщения развилось в мире многообразия, который потом сохранил как существенное качество свое — обман; мир не имеет истинного существования, никакого

права на него. Такое уже слишком смелое объяснение происхождения чувственного мира не могло быть принято многими; явилось другое учение, учение Капилы, где утверждалось, что материя вечна и чувственный мир заключает в самом себе жизненное начало. Подле этого самостоятельного материального мира существует самостоятельный мир духовный, которого бесконечные частицы — бескачественные, бездеятельные и неразличимые — вращаются в мировых пространствах и только посредством соединения с материальным миром получают сознание, силу воли и другие качества. Но, раз сознавши самого себя, свое превосходство над материей и свою особенность от нее, дух стремится к освобождению себя от материи.

Уже в учении Капилы мы видим прямое отступление от браминского учения о происхождении или истечении всего существующего из Браммы как души вселенной: в учении Капилы мир духовный и материальный существуют самостоятельно один подле другого и вопрос о божестве обходится. Но это учение, достояние немногих людей мысли, не имело влияния на политическую сферу, на тот мир отношений, который если бы не был создан, то по крайней мере был освящен брамаизмом. Но вот явилось учение, которое не ограничилось сферой мысли, но вооружилось против существующего порядка, освященного господствующей религией: то было знаменитое учение Будды.

Особенность движения религиозной мысли арийцев в Индии состояла в том, что она не могла успокоиться на дележе окружающих явлений между двумя началами, двумя божествами, добрым и злым, на этом узаконенном, освященном раздвоении мира и человека, обязанного поклоняться одинаково обоим противоположным началам. Для освобождения от этого двойства, которое было тяжело и для нравственного чувства человека, начали искать третье, высшее начало, высшее божество; но где было его найти вне природы, как его определить, какие дать ему качества? До представления о Творце, отдельном от творения, человек сам собой достигнуть не мог; так называемые языческие религии именно и состоят в поклонении божеству в известном образе, *идоле* (*εἶδωλον*), в известном явлении физическом или

нравственном; вне этих явлений или образов язычники бога не искали и найти не могли, и потому, поднимаясь к единому и наивысшему божеству, они не могли иначе представить его себе как изображающимся, воплощающимся в целой вселенной, находящимся к ней в таком же отношении, как душа к телу. Явился пантеизм. Но Брама не могла успокоить возбужденную мысль арийца, ибо страшный вопрос поднимался с новой силой, вопрос: как вечное, истинное, доброе могло выразиться в изменяемом, погибающем, ложном, злом? Неотвязный вопрос о происхождении зла, страдания, смерти не давал покоя, и вот является учение о том, что мир не имеет истинного существования, что он произошел вследствие обмана, от которого надобно как можно скорее избавиться. Другое учение, учение Капилы, опять пришло к двойству, сопоставив мир материальный с миром духовным, обойдя вопрос о божестве и закончив необходимостью для душ освобождаться от оков материального мира. Оба учения одинаково подрывали браминский взгляд на освящение и неприкосновенность известного политического порядка как истекшего непосредственно из Браммы. Отсюда понятно, почему третье учение, учение Будды, могло отвергнуть религиозное освящение кастного состояния и провозгласить равенство прав для всех относительно средств освобождения от зла. Молодой царевич Будда, проводивший жизнь в наслаждениях, встретил однажды на прогулке старика, больного, труп и жреца. Эти четыре явления, как говорит предание, возбудили в молодом человеке не усыпавшую между арийцами Индии мысль о происхождении зла, о средствах избавления от него. Эта мысль овладела Буддой, и он посвятил себя всецело решению великого вопроса. Все в здешнем мире суета, все проходяще, и сознание этого есть начало премудрости. Мир не имеет никакого основания, никакого права существовать; он есть произведение мрачной силы и есть зло. Четыре главных источника зла в мире: рождение, старость, болезнь и смерть; сюда для человека присоединяются еще тревожения бытия, исполненного стремлений и планов, обманов и потерь. Все беды проистекают для человека от внешнего мира, от чувств, от тела; отсюда необходимое стремление освободиться от них, освободиться от всех

связей, склонностей, привязанностей к миру и вкушать счастье и радости покоя. Задача жизни состоит в отрешении души от вещей внешнего мира чрез созерцание их ничтожества и преходчивости; потом в уничтожении личности, в уничтожении самосознания, чтобы душа погружалась в абсолютную пустоту (нирвана), где нет никаких элементов существования, где нет формы, чувства, мысли, сознания и откуда нет возможности возвращения.

Здесь в основании учения нет ничего нового в сравнении с учениями предшествовавшими, которые хотели объяснить происхождение зла, указать на невозможность мириться с ним и определить отношения духа и материи. Но важная новизна учения Будды состояла в том, что он признал равенство всех людей относительно средств освобождения от бедствий и треволнений мира, для всех людей было возможно погашение личности в нирване; таким образом, религиозная основа каст, установленная в брамаизме, исчезала; Будда обратился со своим учением ко всем кастам, ко всем людям без исключения. Другие учения были для немногих, не для массы; учение Будды было для всех и потому подрывало религиозное и тесно связанное с ним политическое здание, возведенное брамаизмом. Это, разумеется, произвело столкновение; старый брамаизм вооружился против опасного соперника, и началось гонение на буддистов, которые должны были оставить отечество и нести свое учение к чуждым народам. В Передней Индии, или западном полуострове, буддизм был истреблен кровавыми средствами, но зато распространился в соседних странах, по островам, начиная с Цейлона, по восточноиндийскому полуострову, в Китае, в Японии, Тибете, Монголии, причем это учение подверглось сильному искажению.

Китай, Египет, Индия представляют нам одну особую группу стран. Обширность, богатство и отдаленность делают их особыми замкнутыми мирами с богатой, но окаменевшей цивилизацией вследствие отсутствия сообщений с другими народами, вследствие отсутствия постоянного подвига, исторической жизни. Это три очарованные замка спящей красавицы. Но при всем сходстве этих трех стран одна между ними, Индия, представляет особенность, которой она обя-

зана арийскому племени. Это даровитое племя, племя подвижников, вошедши на очарованную почву Индии, в усыпленный волшебницей замок, также подверглось чарам; несмотря, однако, на силу этих чар, оно не утратило своего характера и выказало необыкновенную энергию в области мысли. Оно схватывается с основными представлениями естественной религии о божествах добрых и злых, на одинаковых правах сопоставленных друг с другом; оно не переносит этого дуализма, этого страдательного, безразличного поклонения добру и злу вместе и снова бросается на решение вопроса о происхождении добра и зла, причем резко ставит вопрос об отношении духовного и материального мира. Мало этого, благодаря движению мысли, смене космогонических представлений происходит сильный переворот в обществе, вследствие которого часть народонаселения принуждена выселиться и несет свое учение в ближние и дальние страны; таким образом, движение не ограничивается одним народом, одной страной, но обхватывает многие народы и страны: явление, с которым мы встречаемся здесь впервые в истории.

б) Мидяне и персы

От далеких стран Китая, Египта, Индии, составивших по самому положению своему особые замкнутые миры, мы переходим в Переднюю Азию, где на небольшом относительно пространстве сталкиваются несколько отдельных народов и где вследствие этого столкновения происходит сильное воинственное движение. Мы видели, что это движение исходило из области Евфрата и Тигра и принадлежало народам семитического племени, ассириянам и вавилонянам. Но и на эту сцену скоро являются народы арийского племени. Какая же будет здесь их роль? Говоря о борьбе между ассириянами и вавилонянами, мы уже упомянули о мидянах, народе арийского племени. Сначала мидяне, явившиеся, как видно, недавно в стране, обхватываемой Тавром и Антитавром, не успевшие сомкнуться в одно сильное государственное тело, не выдержали воинственного натиска семитов и подчинились ассирийским царям. Но мидяне, по словам Ге-

родота, первые стали подниматься против ассириян и, сражаясь таким образом за свободу, сделались добрыми мужами и свергли иго; за ними и другие народы сделали то же самое. Таким образом, арийцам принадлежит здесь почин освобождения. Освободившись, добрые мужи в свою очередь становятся завоевателями при царях своих Фраоте и Киаксаре, но при сыне последнего, Астиаге, происходит переворот между арийскими племенами: племя персов, прежде подчиненное мидянам, приобретает независимость при царе своем Кире и подчиняет себе Мидийское государство. Но мы уже заметили, что государства Передней Азии составляют систему государств, живут общей политической жизнью, блюдут друг за другом при опасности от чрезмерного усиления одного, другие составляют союзы, скрепляемые брачными союзами государей. Опасность начала грозить теперь от Кира Персидского, и вот против него восстает самый могущественный из владельцев Малой Азии, Крез, царь Лидийский, которого сестра была замужем за Астиагом Мидийским, но при этом Крез заключил союзы с Набонетом, царем Вавилонским, и Амазисом Египетским, даже с спартанцами. Успех союза, разумеется, прежде всего должен был зависеть от личности союзников. Крез не дождался ни Набонета, ни Амазиса, хотя, как видно, поджидал их движений к Каппадокии. Союзники не двигались, но Кир воспользовался временем и приготовился к походу один на один. Он остался победителем в борьбе; Лидия и вся Малая Азия покорена была персами; потом точно так же, в борьбе один на один, пало перед Киrom и Вавилонское государство; Финикия перешла в такое же подчиненное отношение к персам, в каком прежде находилась к вавилонянам. Таким образом, семитическое племя, которому до сих пор принадлежало господство в Передней Азии, должно было уступить это господство арийцам; при сыне Кировом, Камбизе, и Египет был присоединен к персидским владениям.

Итак, обративши внимание на движения и столкновения племен в древней Азии и отчасти в Африке, мы скоро усматриваем, что одно племя, именно арийское, получает господство над другими. Оно господствует в отдаленной и замкнутой Индии, но и отсюда распространяет свое духовное вли-

ние, духовное завоевание на окрестные и отдаленные страны посредством сильного религиозного движения: вся Юго-Восточная и Средняя степная Азия составляют область, подчиненную влиянию арийского племени или западного полуострова Индии. В Передней, или собственно исторической, Азии то же племя, явившись на сцену, подчиняет себе все другие и образует небывалое по всей громадности государство. Внутренняя и внешняя жизнь этого государства нам гораздо более известны, чем жизнь других азиатских и африканских государств, и потому на Персии мы можем изучить это древнее восточное государство, представляющее такое различие от государства западного, европейского.

Персы завоевывают многие обширные и цивилизованные государства, но при этом не должно забывать, что эти завоевания совершаются царем персидским, по его начинанию, направлению, воле. Персы, как завоеватели, становятся народом привилегированным, не платящим податей, но они остаются у себя, в своей стране, в прежнем положении; они не переселяются в страны покоренные, не получают здесь богатого земельного надела, не становятся через это самостоятельным высшим сословием, не составляют исключительной военной силы, с которой царь должен считаться. Царя окружают вельможи из знатных персидских родов, но эти люди не имеют самостоятельного значения в целой монархии, которая подчинена царю персидскому, а не народу персидскому. Царь рассылает этих вельмож сатрапами, правителями областей с богатейшим кормлением, но это только кормление: постоянных, наследственных владений они не имеют, следовательно, не имеют самостоятельного значения. Таким образом, вследствие акта завоевания из завоевателей-персов не могла образоваться аристократия в нашем, европейском смысле; перс считался выше вавилонянина и лидийца, он не платил податей; ему, следовательно, было лучше жить, но относительно царя он был такой же раб, как лидиец или вавилонянин. После прекращения Кировой династии беспотомственной смертью сына его Камбиза мы видим аристократическое движение, стремление представителей знатнейших персидских родов приобрести особые права относительно

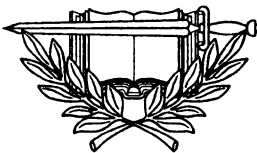
царя. Это движение не могло иметь последствий, потому что персидское могущество подверглось в это время страшной опасности: покоренные народы восставали со всех сторон, и персам для удержания своего значения, для единства в движениях и успеха в борьбе необходимо было отдать власть в одни руки; и во все время существования Персидского государства опасность от восстания покоренных народов была постоянной; сюда присоединилась еще опасная борьба с греками; а государство, основанное на завоевании или окруженное опасностями, принуждаемое к постоянной борьбе, требует постоянной диктатуры.

Что касается жреческого класса, то, сколько можно заметить из источников, в Персии жрецы не имели важного значения; жрецы, или маги, имеют важное значение в Мидии и с самого начала ведут себя враждебно относительно персов. Их попытка возвести на престол одного из своих под именем сына Кирова не удалась; против них направилось национальное персидское движение, кончившееся истреблением магов и царя их самозванца. Это событие, истребление магов, торжествовалось потом персами ежегодно, и, конечно, такой национальный праздник не мог содействовать поднятию значения жреческого класса; во время этого праздника ни один маг не мог показываться на улице. С представлением о древних персах тесно связано представление о так называемой Зороастровой религии, или учении.

Мы видели, что арийское племя, поклоняясь божеству в проявлениях физических сил, не могло не признать, подобно другим племенам, различия между полезными и вредными действиями этих сил и борьбы между благодетельными и вредными силами: отсюда дуализм в религии, или поклонение двум началам, доброму и злему. Мы видели, что другие племена, несмотря на то что заметили борьбу между обоими началами, отнеслись одинаково к обоим; арийское племя в Индии массой признало два начала и отнеслось к ним одинаково, но некоторые из племен не могли на этом успокоиться, и мы видим ряд попыток объяснить этот дуализм, причем одинаковость отношения человека к обоим началам исчезла, законность существования зла была отвергнута, и предложено средство избавления от него: это средство есть

бегство от зла, бегство из чувственного мира, пропитанного злом. Но куда бежать? В противоположность существующему эта противоположность иначе не могла определиться, как уничтожением всех известных условий существования. Арийцы, с которыми мы имеем дело в Передней Азии, также пришли к признанию двух противоположных начал, доброго и злого, но также не успокоились на безразличном отношении человека к ним. Признавши незаконность существования зла, они отправились от борьбы между добром и злом, признали, что борьба должна кончиться необходимо торжеством добра над злом, и признали за человеком обязанность не оставаться безучастным в этой борьбе, но становиться на сторону доброго начала и воспользоваться плодами его победы. Такова сущность так называемого Зороастрова учения. Когда сложилось это учение, какую долю участия имел здесь Зороастр, когда жил он, каким чуждым влияниям подверглось это учение в своих подробностях — этого наука по настоящим своим средствам решить не может. Как видно, учение Зороастра было протестом против тех чуждых влияний, которым первоначальная арийская религия подверглась вследствие столкновения арийского племени с другими племенами при известном движении мидян и персов. О степени распространения Зороастрова учения в персидских владениях и даже в собственно Персии судить трудно; любопытно, что Геродот, говоря о религии персов, описывая поклонение их физическим божествам, небу, солнцу, луне, земле, огню, ветрам, указывая на ту особенность, что персы не воздвигают своим божествам статуй, храмов, алтарей, не упоминает о Зороастре и его учении. Как бы то ни было, у западной азиатской отрасли арийского племени мы видим стремление выйти из дуализма, встречаем верование, что борьба между добром и злом должна кончиться торжеством первого, исчезновением последнего. Ариец Индии бежит от чувственного мира, в котором видит зло; ариец Персии не бежит от врага, но хочет бороться с ним: здесь высказалось различие в характере двух отраслей племени, различие их исторической деятельности, причем местные условия и характер народов, с которыми сталкивалось племя, разумеется, играют важную роль.

Мы видели, что случилось с арийским племенем в отдаленной, обширной и богатой Индии: несмотря на усыпление, от этих условий происходившее, характер племени высказался в силе религиозно-философской мысли и в силе религиозного движения. В Западной Азии, вступивши в общество народов, издавна мерявших свои силы в борьбе за самостоятельность и первенство, арийцы в лице персов принимают участие в этой борьбе и побеждают всех, становятся господствующим народом и теряют это господство в борьбе с отраслью своего же племени, получившей высшее воспитание при более благоприятных условиях, с арийцами европейскими, к истории которых и обращаемся.



II. ЗАПАД

1. АРИЙЦЫ ДРЕВНЕГО МИРА

а) Греки

На Востоке, в Азии и Африке, мы встретили три формы исторической жизни народов: мы встречали здесь народы, замкнувшиеся в отдаленных, обширных и богатых странах; потом встречались с народами, жившими на относительно небольших пространствах и находившимися в постоянной борьбе друг с другом, что вело к образованию больших государств и к их распадению; наконец, мы встретились с народом, который жил на морском побережье, на небольшом пространстве, вследствие чего представил нам особенные формы исторической жизни. Наблюдая за арийским племенем в Азии, мы видели его только в двух первых формах, видели его в замкнутой Индии и потом в Передней Азии, в победоносной борьбе с другими племенами; видели его здесь основателем огромного, пестрого по своему составу государства. Но мы не видели еще его в третьей форме, в форме морского народа. В этой форме оно явилось не в Азии, но в Европе под именем греков.

Из сказанного прямо следует, что для уяснения себе результатов греческой жизни нам очень важно сравнить условия исторической жизни греков с условиями исторической жизни финикийян, народа, наиболее к ним подходящего. С первого раза сходство большое: оба народа живут на мор-

ских берегах и знамениты своим мореплаванием, торговлей, выводом колоний. Относительно политических форм оба народа на небольшом пространстве земли представляют несколько самостоятельных городов или республик со всеми волнениями свободы, с борьбой партий. Но вместе со сходством видим огромную разницу в результатах исторической жизни. Вникая в причины этой разницы, мы останавливаемся на различиях местных, племенных и собственно исторических. Финикияне занимали узкую полосу по берегу моря, а сзади них происходила страшная борьба между могущественными народами, от напора которых финикияне не были ничем ограждены и по своим ничтожным военным средствам, разумеется, никогда не могли защитить себя от завоевания. Построение нового Тира на острове всего лучше показывает нам, как важно было финикиянам отдалиться от континентальной Азии; показывает также, что судьба финикиян была бы другая, если бы они были отделены морем от Азии. Судьбу финикиян всего лучше объясняет нам судьба малоазиатских греков, которые находились точно в таком же отношении к Азии, как и финикияне, и подверглись такой же участи, подпали сначала под власть лидийцев, а потом персов; независимость же европейских греков была ограждена морем, кораблями, деревянными стенами оракула. Итак, чрезвычайно важное значение в истории греков имеет положение их страны, отделение морем от Азии, ограждение им от напора сильных азиатских монархий.

Второе условие, останавливающее наше внимание, есть условие племенное. Греки принадлежали к арийскому племени; мы видели это племя в Азии в различных условиях и видели, как везде оно выказало свою силу, свое превосходство над другими племенами. В Европе оно получило наиболее благоприятные условия для развития своих сил. Какие же были эти условия?

Обращая внимание на воспитание племени или народа, мы должны различать, воспитывается ли народ сиднем на одном месте, вдали от других народов, в стране обширной и богатой, при жирном питании. В этом случае народ необходимо представит нам вялость, отсутствие энергии, отсутствие широты взгляда, отсутствие высших побуждений, по-

буждений к подвигу, и далеко в своем развитии не пойдет. Другой народ воспитывается в хорошей школе: нужда заставляет его двигаться из одной страны в другую, что развивает его физические и нравственные силы, расширяет его горизонт, делает его народом смышленным, бывалым, заставляет преодолевать препятствия природные и бороться с другими народами, которых он встретит на пути; крепость душевная и телесная, энергия, способность к сильному развитию являются естественными следствиями такого воспитания. Но приобретенные силы сохраняются и развиваются посредством упражнения, поэтому важно, народ, хорошо воспитанный в школе подвига, поселяется ли в такой стране и при таких условиях, которые приглашают его успокоиться, прекратить движение, борьбу. В таком случае и народ хорошо воспитанный подвергается с течением времени влиянию покоя, жиреет и нейдет далее известных ступеней развития. Следовательно, для народа мало еще получить хорошее воспитание в подвиге, нужно еще, чтобы при окончательном поселении в известной стране народ не успокаивался, не жирел и не засыпал; надобно, чтобы подвиг, борьба продолжались и приобретенные силы получали постоянное упражнение.

Часть арийского племени, известная под именем греков, прежде чем явиться в Европе, южной оконечности Балканского полуострова, должна была совершить далекое странствование, где бы мы ни полагали первоначальное жилище племени и какое бы ни предположили направление движения (по всей вероятности, оно шло по северному берегу Черного моря). Это продолжительное странствование уже должно было развить силы народа; сюда присоединилось еще то, что греки поселились в стране, представляющей чрезвычайно выгодные условия для народного воспитания: страна небольшая, изрезанная морем, с полуостровами и островами, с благорастворенным воздухом, богатая только при усиленной деятельности человека. Море, неширокое, усеянное островами, тянуло на подвиг войны и торговли и между тем защищало от напора сильных народов. Но кроме этого были еще другие благоприятные условия для развития греческой жизни.

Мы знаем два слоя греческого народонаселения: слой первичный, пелазгический, и слой позднейший, или эллинский. Отвергать различие, и довольно сильное, между пелазгами и эллинами нет возможности по слишком ясному свидетельству древних греческих писателей, но в то же самое время есть прочное основание считать их обоих принадлежащими к арийскому племени. Если мы предположим, что между ними было такое же различие, какое существует между кельтами, германцами и славянами, то нам понятно будет указание древних писателей на их различие, причем несколько не нужно будет отвергать племенного единства. Но кроме этого соединения пелазгов с эллинами после первого движения эллинов мы видим еще другое движение, дорическое. Таким образом, в Греции мы видим тройной слой народонаселения. Этот постепенный наплыв одной части народонаселения на другую, разумеется, служил к возбуждению исторической жизни в стране, а с другой стороны, чрез постоянную подбавку свежих сил выковывалось крепкое народонаселение, тем более что материал был постоянно хороший — одно даровитое, энергическое племя. Начало греческой истории в малом виде представляет нам то же, что после в обширных размерах повторилось в начале новой европейско-христианской истории: как здесь, так и там государства образовались из столкновения и смешения разных народов, но принадлежавших к одному высокодаровитому арийскому племени — кельтов, германцев, славян, литовцев.

Из известий о пелазгах мы легко признаем в них первоначальное арийское племя, которое поклоняется физическим божествам на возвышенностях и в лесах, без храмов и изображений. К этому пелазгическому периоду относится столкновение греческого народонаселения с финикийцами и подчинение его как материальное, так и духовное по крайней мере в известных местностях приморских, наиболее доступных мореплавательному народу. Но финикийцы не могли долго держаться на греческой почве, где арийское племя постоянно усиливалось материально и нравственно. Началось эллинское движение. В этом движении мы различаем два направления, которые проходят потом через всю

греческую жизнь: одно сухопутное, представляемое подвигами Геркулеса, с которым в тесной связи находится последующее дорическое движение, или так называемое возвращение потомков Геркулеса, гераклидов, а с этим возвращением в непосредственной связи находится основание Спарты, сильнейшей сухопутной республики греческой. Но как бы ни старались возвеличить значение дорического племени, всякий, однако, невольно видит преимущественное развитие греческой жизни в Афинах, морской республике. Это направление к морю представляется в деятельности Тезея, героя ионического племени. Тезей знаменит морскими подвигами, в которых нельзя не видеть борьбы с финикийцами, очищения от них греческой почвы и первого наступательного движения греков на восток. Как Спарта тесно связана с Геркулесом, так Афины тесно связаны с Тезеем, который является устройтелем Афинского государства. Но как образовалось это маленькое государство? Оно образовалось из слияния двух местечек: Элевзиса и Афин; первое было пелазгическое, второе — эллинское. Пелазгический слой афинского народонаселения был так силен, что Геродот прямо называет афинян и вообще ионян пелазгами в противоположность спартанцам, которые были эллины. Афиняне, по словам Геродота, будучи пелазгами по происхождению, позабыли свой язык и стали эллинами. Что один народ, подчиняясь материальной и нравственной силе другого, принимает язык и вообще национальность последнего, в этом нет ничего удивительного: история представляет тому много примеров, но для нас важно узнать, не осталось ли у афинян чего-нибудь пелазгического кроме камней.

Пелазги поклонялись физическим божествам без изображений, храмов и алтарей; финикийцы способствовали развитию этого поклонения; явилось поклонение двум началам — мужескому и женскому, Дионису и матери-земле, Геметере, или Деметере; последним поклонением был знаменит пелазгический Элевзис, тогда как на другой, эллинской половине покровительствующим божеством была воинственная дева Паллас-Афина, от которой и город получил свое название и которая принадлежала к совершенно другому разряду божеств, к эллинскому Олимпу, а с ним Деме-

тера и Дионис не имели ничего общего. Таким образом, в пелазго-эллинских Афинах рядом существовали две различные религии, старая и новая; и мы увидим впоследствии, как эта старая, пелазгическая, элевзинская религия при благоприятных обстоятельствах получит силу. Но теперь мы должны заняться эллинской религией, которая имела такое могущественное влияние на греческую жизнь во всех ее проявлениях, во всем том, что оставлено греками нам в наследство. Отличительный характер эллинской религии составляет очеловечение божества, или антропоморфизм. Появление религии с таким характером, разумеется, предполагает сильное развитие человеческой личности, чрезвычайные подвиги человека, посредством которых он поднимаясь высоко в собственных глазах. Сначала человека поражают физические явления, и он преклоняется пред ними как пред божественными, но потом человек посредством подвига развивает свои физические и нравственные силы, борется с природой, побеждает ее, и эта новая сила поражает воображение, становится божественной. Подвижник, герой поднимает человека на небо; и как скоро это совершилось, то человек становится исключительно образом божества уже по той легкости, по тому удобству, какие чувствует человек в своих отношениях к человекообразному божеству. Прежние божества физические принимают человеческий образ; между ними начинают господствовать человеческие отношения, вследствие чего боги рождаются с людьми, лучшие из которых, герои, являются смешанного происхождения. Таким образом, чрезвычайное подвижничество, которым отличаются греки при своем вступлении в историю, естественно вело к сознанию превосходства человека над всем окружающим и вело, следовательно, к антропоморфизму в религии. Но при этом еще не должно упускать из виду, что у народов арийских было сильно развито поклонение душам умерших, которые становились божествами-покровителями своего потомства, рода. Здесь мы видим высокое понятие о личности человеческой, которая не гибнет, но получает важнейшее значение по смерти, но для того, чтобы это верование повело к антропоморфизму и к тому развитию личности, какое мы замечаем у греков, нужно было сильное под-

вижничество, ибо и китайцы поклоняются душам умерших, но у них из этого поклонения ничего не вышло. Как скоро явился антропоморфизм, то сопоставление двух начал, двух отдельных божеств, доброго и злого, естественно должно было исчезнуть, ибо в природе человека оба начала нах ~~д~~т-ся в смешении.

Очеловечив богов своих, грек должен был установить между ними те же отношения, какие господствовали в человеческом обществе. Какие же это были отношения?

Мы видели, что Аристотель противоположил восточную монархию греческому городу, или республике, и объяснял происхождение первой тем, что она составилаь из семей или родов, управляемых отцовскою или родоначальническою властью монархически, и потому эта форма правления перенеслась на целый народ, составившийся из этих семей или родов. Но как же произошло греческое общество в противоположность восточному? Разумеется, не из семейств, не из родов или по крайней мере с привнесением к семейному или родовому началу другого, которое оказало могущественное влияние на общественный строй, условило его дальнейшее развитие. Родовой быт требует спокойствия, мирных занятий, и когда это спокойствие нарушено, то является стремление восстановить его учреждением крепкого, общего правительства по данной форме семейного или родового управления. Это стремление благоприятствует появлению одного сильного человека, который и становится наверху, но неблагоприятно появлению многих сил. Вообще родовой быт не благоприятствует развитию личности, здесь господствуют спокойствие, обычай отцов, естественные бесспорные отношения старшего к младшему; здесь господствует охранительное начало. Явится человек сильный физически или нравственно — ему тесно в обществе, и волей-неволей он должен выйти из него. Но человек, как животное общественное, не может жить один, и беглец из родового общества стремится к соединению с подобными себе людьми; чрез это соединение образуется новое общество, которое в противоположность родовому или из родов составившемуся назовется дружинным, основанным не на кровной связи, но на товариществе. Как родовое общество есть

охранительное по преимуществу, так дружина требует движения, подвига. Прежде всего она составляется из людей, не терпящих покоя, не способных к мирным занятиям и по природе своей стремящихся добывать с бою средства к жизни. С самого начала между этим новым обществом и старым завязываются уже неприязненные отношения, с самого начала новое общество стремится жить на счет старого; сперва борьба происходит в мелких размерах, пока дружина еще слаба; она разбойничает на сухом пути или на море, нападает в одиночку на слабых, но с течением времени, усилившись, она может предпринять сильное наступательное движение, предпринять завоевание известной страны, известного народа.

Дружина требует вождя. Около знаменитого своими подвигами богатыря, героя, собирается толпа людей, ему подобных, и провозглашает его своим вождем. Но большое различие существует между царем народа, составившегося из *управляемых*, по выражению Аристотеля, из родов, и между вождем дружины, избранным товарищами в подвигах. Многочисленное и мирное народонаселение избирает правителя и спешит дать ему как можно более власти, чтобы не тревожиться заботами правления, избежать смуты внутренней, от врагов внешних иметь защитника, обладающего всеми средствами к успешной защите. Дружина храбрецов выбирает вождя не для успокоения, не для возвращения к мирным занятиям, не для отдыха, а для подвига; тут силы напряжены, каждый чувствует в себе силу, каждый сознает свое достоинство; эту силу каждого, это достоинство каждого хорошо сознает и вождь, и потому отношения его к другим членам дружины — отношения старшего товарища. Тацит, описывая народ, двигавшийся, подобно эллинам, с севера на юг и постоянно выделявший из себя дружины, делает верное различие между царями, издавна начальствовавшими в племенных массах, и между вождями дружин: цари имеют свое значение по благородству, вожди — по храбрости (*reges ex nobilitate, duces ex virtute*). Такими вождями по храбрости были и те начальствующие лица между эллинами, которых мы привыкли называть царями. И после утверждения в Греции они не

могли принять того значения, какое имели цари восточные. Во-первых, в Греции на небольшом пространстве, среди немногочисленного народонаселения царей было много, и это одно обстоятельство уже не позволяло им получить того значения, какое имели цари Востока — единовластители обширных стран и многочисленных народов, окруженные необыкновенным блеском, удаленные от взоров большинства подданных, сокрытые и от ближайшего к ним народонаселения в великолепных чертогах, менее доступных, чем храмы божеств. Простота жизни греческих царей приближала их к подданным, приравнивала к ним. С другой стороны, движения, подвиги не прекратились: Греция была не такая страна-волшебница, которая своими чарами скоро бы истощала нравственные силы человека; напротив, своими природными условиями, умеренностью в плодородии, небольшим пространством и близостью моря не останавливала развития сил поселившихся в ней богатырей, а приглашала их к новой деятельности, к новым подвигам. Отсюда постоянное движение, постоянное выделение из народа богатырей, героев, которые становятся естественными представителями народа, становятся наверху, и цари должны с ними считаться; чтобы не потерять своего значения, цари сами должны быть героями, начальниками геройских предприятий, а для успеха в этих предприятиях они опять нуждались в храброй дружине. Предприятия эти совершались соединенными силами, многими царями вместе, что уже необходимо приучало их и дружинников их к равенству, тем более что тут личные достоинства, личная храбрость и искусство постоянно на первом плане, дают право на видное, высокое место, на самостоятельность, и личность развивается, человек сознает свое достоинство, зависящее от его личных качеств, а не от каких-либо других отношений.

В подвигах геройского периода образовался и окреп греческий дух, образовались и окрепли греческие общественные отношения; знаменитое слово (эпос) о самом знаменитом из этих подвигов, «Илиада», выразив вполне этот дух и эти отношения и ставши главным воспитательным средством для греческого народа, в свою очередь могуществен-

но содействовала развитию того же духа и тех же отношений; здесь же, в «Илиаде», с отношений между людьми сняты были и отношения между богами и отношения богов к людям. Таким образом, «Илиада» есть источник греческой истории, но не в обыкновенном смысле слова: она есть источник греческой жизни. Чтобы познакомиться с греческой жизнью в этом источнике, не нужно изучать подробно всю поэму, можно остановиться на первых стихах, в которых излагается завязка дела: жрец Аполлона просит о возвращении из плена дочери; с этой просьбой он обращается ко всем ахейцам и только преимущественно к атридам. Ахейское войско соглашается возвратить жрецу дочь, но главный предводитель Агамемнон не соглашается и грозит жрецу, но Агамемнон не один; подле него есть другая сила, есть человек, выдавшийся вперед личными достоинствами, богатырь, герой Ахилл. Жрец прибегает под защиту этой силы. Но подле Агамемнона и Ахилла есть еще третья сила, выработанная дружинной жизнью эллинов: Ахилл созывает круг (агору). Происходит столкновение между Агамемноном и Ахиллом; герой, оскорбленный главным предводителем, отказывается действовать, и от этого бездействия предприятие останавливается, греки терпят неудачи, и дело поправляется только тогда, когда герой снова начинает действовать. Таким образом, главный смысл эпоса, имевшего такое громадное значение в греческой жизни, вполне ее отражавшего, — главный смысл эпоса есть борьба человека, богатого личными средствами, с человеком, могущественным по своему положению, и победа остается на стороне первого, Ахилл оказывается важнее Агамемнона.

Подвиги, предприятия, совершаемые *товариществом* героев, а не одним лицом, двигающим народ свой на другие народы, и совершаемые морским путем, суть главные события начальной греческой истории; они ясно показывают нам, с каким народом мы имеем дело и каково должно быть развитие этого народа. Мы не будем отвергать влияния дробных форм греческой страны как способствующих дробности политической, образованию многих мелких государств, но, допустив это содействие, мы укажем на главную причину политической дробности в первоначальной форме появ-

ления эллинов в истории: не один народ с одним главою является на историческую сцену, но несколько дружин со своими вождями; с самого начала видим множество действующих сил, много людей на виду, на первом плане. Но мы не должны успокаиваться на указании этой главной причины: ни природа страны с дробностью своих форм, ни политическая дробность, зависящая от дружинной формы, развития личности и геройства, или богатырства, не могут помешать политическому единству народа, как бы продолжительна и упорна ~~ни~~ была борьба при установлении этого единства, борьба, от вышеозначенных условий происходящая. Стоит только одной единице усилиться вследствие каких-нибудь условий — и она естественно начинает стремиться к подчинению себе всех других единиц, что и прокладывает путь к единству; препятствием к достижению этого единства может служить то только, что не будет единицы достаточно сильной; что одновременно образуются две или несколько одинаково сильных единиц, которые вступят друг с другом в борьбу; и эта борьба будет продолжаться до падения самостоятельной жизни народа, способствуя этому падению истощением сил его в усобице.

Так, в Греции препятствием к объединению страны служило то, что подле Спарты, стремившейся подчинить себе все другие области, существовала другая сильная республика, Афины. Это были два глаза Греции, по выражению оракула; и действительно, Греция представляется нам не иначе как в этом двойственном образе — Спарты и Афин; борьба их кончилась истощением сил обеих, что и содействовало падению самостоятельной Греции.

Троянская война истощила силы Греции, но скоро они прилили снова с севера, где произошло движение одного народа на другой, поведшее необходимо к образованию дружин, ибо все не хотевшие подчиняться игу завоевателей, то есть все храбрейшие, лучшие люди, оставляли прежнее место жительства. Это сильное движение, поведшее к окончательному определению греческих отношений, известно под именем дорийского движения. Доряне (копейщики) путем завоевания основали в Пелопонезе сильное государство Спартанское, которое с первых же пор начало стремиться к

первенству в Греции. Но в каких же формах основалось это государство? Этому определению форм предшествовала смута, именно усобица в царском роде. На Востоке подобная усобица не могла повести ни к какой перемене, потому что на Востоке народ составлялся из управляемых, из родов, но в Спарте подле вождей, царей, была дружина, развившая свои силы подвигом завоеваний, первенствующая среди покоренного народонаселения, привыкшая считать вождя только старшим товарищем. Здесь, следовательно, ослабление значения царей вследствие усобицы необходимо ведет к усилению значения дружины, и это выразилось в Спарте тем, что явились постоянно два царя, что, разумеется, сильно ослабляло их значение. Как во всех государствах, основавшихся при посредстве не одних родов, но дружины, мы видим и в Спарте Совет старшин, стариков буквально, и вече, или общую, черную раду из всего; здесь мы говорим «войско» потому, что государство было основано на завоевании и завоеватели, доряне, считали себя одних вправе управлять страной, не давая покоренному народонаселению никакого участия в управлении, резко отделяясь от него и строго наблюдая, чтобы цари не позволяли себе попыток усиливать свою власть посредством этого покоренного народонаселения.

Благодаря этому строгому наблюдению Спарте и удалось сохранить характер чисто аристократического государства. Военное народонаселение, потомки завоевателей управляли и владели землей; потомки покоренных обрабатывали на них эту землю. Все это устройство приписывается Ликургу. Разумеется, Ликург не придумал сам основных элементов спартанского устройства и не взял их из Крита; эти элементы присущи везде, где является дружина с вождем, старшими и младшими товарищами. Но из этого не следует, чтобы Ликург не существовал и не имел того значения, с каким является в спартанской истории. Была смута; кроме междоусобия князей, как видно, было сильное неудовольствие на неравное распределение земель; после завоевания уже успело явиться различие между богатыми и бедными в самой дружине завоевателей; благоприятные обстоятельства сосредоточили большие земли в

руках одних, неблагоприятные уменьшили земельную собственность других или совсем лишили ее их. При подобных обстоятельствах обыкновенно или усиливается власть царя, если он умеет воспользоваться разделением и представить сосредоточение власти в одних руках как единственное средство для установления порядка, или богатый всякого рода средствами честолюбец станет вождем невольных и тем проложит себе путь к верховной власти. Но Греция благодаря сильному развитию своего народа путем подвига представила в своей истории и другой способ выхода из смуты. Здесь на небольших пространствах сосредоточена деятельность энергического народонаселения, получившего путем подвига сознание о своем человеческом достоинстве, народонаселения, не расплывающегося, не спешащего разъезжаться по отдаленным домам для мирных занятий, но всегда пребывающего налицо с привычкой к общему действию, к товариществу. При таких условиях является возможным требование, чтобы прежние свободные отношения сохранились, но чтобы прекратилась смута уничтожением произвола сильных лиц, подчинением воли каждого закону.

Требование вызывает предложение; является человек, богатый нравственными средствами, которому поручают написать законы. Но эта новая сила, сила законодателя, так велика, что не может быть достигнута одними человеческими средствами, одним человеческим авторитетом, как бы он силен ни был. С законом человек соединяет понятие о чем-то твердом, вечном, божественном. Человек подчиняется обычаю, ибо он ведет свое происхождение из глубины веков и передан людьми, имевшими непосредственно сообщение с богами. Дружина подвижников оставила прежнее отечество, прошла много стран, находилась в разных новых условиях, что более или менее должно было заставить позабыть многое из старого, отвыкнуть от него, — и вот такая дружина находит себе наконец новое удобное жилище, утверждается в нем, но здесь встречается она с новыми условиями, новыми отношениями; нужно создать новый порядок вещей. Человек не создаст, а если создаст, повиноваться ему не будут. В эти-то времена обыкновенно и являются на сцену

жрецы и приобретают важное значение законодателей как провозвестники воли богов. Но жрецы могут приобрести важное значение политических законодателей только при известных условиях, именно когда движение уже остановилось, подвижники разбросались на обширных пространствах, силы их ослабли, когда на виду одна сила, необходимая для сосредоточения всех других сил в обширной стране, — сила царя, и с ней одной жрецы считаются, заключают с ней обыкновенно тесный союз для взаимного охранения выгод. Но когда общество находится в движении, когда налицо много сил и все они соединены в общем деле, тогда жреческая власть не может получить большого развития, ибо всякая сила развивается вследствие незначительности других сил.

Так, в Греции воинственное, геройское движение вначале, потом сильные внутренние движения в небольших областях, городах, причем силы не разбрасывались, но были все налицо в общей деятельности, произвели то, что влияние жрецов не могло усилиться, как на Востоке; притом же свойственное арийскому племени поклонение душам умерших предков, которые становились богами-покровителями потомков своих, сообщало каждому домовладыке жреческий характер при непосредственном отношении к божееству. И относительно общих, высших божеств греки не допускали посредничества жрецов, но требовали заявления божественной воли чрез оракулов; познание же об этих божествах греки получили не из уст жрецов, но из поэтических произведений. Таким образом, в Греции мы видим отсутствие жреческого влияния, и если предположить, что оно выражалось в оракулах, то и тут мы увидим, что жречество должно было уклоняться от непосредственного влияния на политические дела, стоять поодаль, дожидаясь, когда к нему обратятся за решением важных вопросов, и загоразживая себя пифией, приведенной в непосредственное сообщение с божеством. Но отсутствие могущественного жреческого влияния не исключало религиозности народа и стремлений его дать своим новым учреждениям божественное освящение, которое должно сообщить им авторитет и прочность; отсюда происходит то явление, что гре-

ческие законодатели обращаются к оракулу за освящением своих постановлений³.

Спартанское, или так называемое Ликургово, законодательство действительно получило по крайней мере относительную прочность, которой так завидовали в других государствах Греции. Эта прочность обуславливалась чисто аристократическим устройством: небольшое число потомков завоевателей совершенно выделилось из массы покоренного народонаселения, которое при более или менее тяжелых условиях зависимости потеряло всякое участие в управлении страной. Главную целью выделившихся завоевателей было сохранение своего положения среди покоренного народонаселения, принадлежавшего к тому же сильному народу эллинскому и потому вовсе не охотно сносившего свое подчиненное положение, готового восстать при первом удобном случае. Для завоевателей, следовательно, единственным средством поддержания своего положения было сохранение своего первоначального военного, дружинного устройства во всей его чистоте и строгости. Спарта представляла военное поселение, казацкую сечь со своими общими столами, с разделением членов по палаткам, — по-нашему буквально *сотовариществу* (ибо «товар» в нашем древнем языке значит «палатка»); женщина была допущена в эту сечь, но употреблены все старания, чтобы приспособить ее к лагерной жизни, отнять у нее как можно более женственности. Прочность спартанского устройства была, как уже сказано, относительная; в государственной жизни Спарты мы видим перемены, которые изобличают борьбу, именно стремление царей, несмотря на невыгодное условие двойственности, усилить свою власть, против чего аристократия спешила принять свои меры. Первоначально цари назначали себе

³ Первоначально глава рода есть жрец; жречество происходит, когда божество известного рода, кумир, храм случайным образом получает особенное значение и члены рода, среди которого он находится, получают исключительно жреческое значение. Образование дружины из членов различных родов, разумеется, способствует более всего появлению общих божеств, общего богослужения, причем вождь, естественно, является жертвоприносителем, жрецом; отсюда царь, когда он образуется из вождя, всегда полководец и жрец.

пять наместников, или посадников, так называемых эфоров, или надзирателей для суда и полиции; но, как в некоторых древних русских городах посадники, назначавшиеся первоначально князем, потом стали сановниками народными, от веча избираемыми, и стали подле князя в качестве блюстителей народных интересов против него, так и в Спарте эфоры перестали назначаться царями, стали избираться на вече, или в народном собрании, и получили обязанность надзирать над всем и над всеми, не исключая и царей. Эфоры имели право требовать у царей отчета в их поведении, ежемесячно брать с них присягу, что они будут управлять согласно с законами, доносить на них собранию стариков, сажать их под арест; двое из эфоров сопровождали войско в походе для надзора за поведением царя и полководцев.

Такими средствами спартанская аристократия охраняла себя и свое устройство от тех волнений и перемен, которые происходили в других греческих государствах, особенно в Афинах. Здесь мы уже на другой почве. Здесь после первого наплыва эллинов и смешения их с пелазгами мы не видим завоевания; дорическое нашествие тем или другим способом было отбито; было сильное движение, сильный прилив пришельцев в Аттику, подавший повод, с одной стороны, к выходу колоний, а с другой — ко внутренним движениям; но эти пришельцы были изгнанники, искавшие убежища в Аттике от ига завоевателей в других странах Греции. Таким образом, в Аттике изначала мы не видим разных отношений завоевателей к покоренным, видим многочисленное свободное народонаселение, делящееся по месту жительства, по занятиям, по знатности происхождения, по богатству. Родовая связь еще крепка, но в такой небольшой стране, как Аттика, роды не могли обособиться и сохранить равенство и в этом обособлении и равенстве полагать препятствие дальнейшему общественному движению. Эллинская жизнь уже оставила следы: подле царя были потомки героев, гордые своим происхождением и богатством. Неравенство состояния скоро оказало обычные последствия.

В обществах первоначальных, где государственная связь еще слаба, преобладают частные союзы, и прежде всего, разумеется, родовой; члены рода находят друг у друга под-

пору, покровительство, обеспечиваются священной обязанностью родовой мести; безродность, бессемейность, лишение рода по каким бы то ни было обстоятельствам, сиротство было величайшим бедствием для древнего человека. Но это бедствие постигло людей и вело к особого рода отношениям. Человек безродный должен был вступать под защиту чужого рода, примкнуть к нему, но, разумеется, он не мог этого сделать на равных правах с остальными членами рода, и отсюда различные степени зависимости. Чужой человек *закладывался* за другого сильного человека, за *хребтом* его (захребетник). Степени зависимости, как сказано, были разные: человек, имевший семейство, и даже развитое; род, имевший и средства к жизни, нуждался, однако, в покровительстве сильнейшего и входил к нему в известную степень зависимости, которая в древнем русском обществе выражалась словом *сосед*, которому в греческом обществе соответствуют буквально слова *периойк*, *метойк*; с усилением государства последнее стремится повсюду перевести этих соседей и вообще закладчиков из частной зависимости в свою. Самая сильная степень зависимости есть рабство: человек, не имея никаких средств, идет в рабы к другому, кабалит себя; повсюду средством перевести вольного человека в рабство служит ссуда денег богатым бедному: невозможность заплатить имеет следствием насильственные меры со стороны заимодавца и, наконец, рабство должника.

Это явление в обществах небольших, как в Греции или Риме, в странах, где природа не дает слишком роскошных средств для удовлетворения первых потребностей и где народонаселение вследствие известных причин по привычке к подвигу и по развитию личности, отсюда происходящему, дорого ценит независимость и свободу, — это явление в таких странах ведет к сильной борьбе. С увеличением народонаселения, с образованием неравенства в состояниях, при движении к увеличению своего благосостояния посредством различных предприятий и при слабом обеспечении успеха этих предприятий в новорожденном обществе является много людей, которые лишаются средств к жизни, лишаются возможности исполнять общественные обязанности (война особенно разоряет их, ибо кроме издержек на нее она от-

рывает человека от занятий, губит его хозяйство); они занимают деньги у богатых и, не имея возможности заплатить долга, видят пред собою истязание и рабство. Некоторые из них решаются покинуть отечество; действительно, мы видим в Афинах сильное стремление к колонизации, но не все могут решиться на это, и, таким образом, вывод колоний не избавляет государство от внутренних движений, порождаемых указанными отношениями. Царь — естественный посредник в этом случае; его значение, его власть необходимо усиливаются и тем самым возбуждают опасения в людях знатных и богатых, которые стремятся поэтому ограничить царскую власть или совершенно от нее освободиться. Это тем легче им сделать, что свободные отношения к царской власти и важное значение царских приближенных, дружинников, значение самостоятельное, не зависящее от царской воли, суть предания, в которых воспиталось эллинское общество. Предание говорит, что во время нашествия дорян на Аттику афинский царь Кодр погиб для спасения отечества и афиняне воспользовались этим для уничтожения царского достоинства, провозглашая, что никто не достоин занять место спасителя отечества. Сын Кодра Медон был избран в пожизненные правители, или архонты, и, как видно, по характеру своему не был способен возбуждать опасения в аристократии, тогда как двое других, более энергичных сыновей Кодра, Нелей и Андрокл, с толпою переселенцев отправились за море для основания колоний.

Это удаление их показывает, что аристократия одержала верх; впоследствии упоминается о борьбе, когда около 754 года один из потомков Медона, Алкмеон, потерял звание архонта и на его место был возведен брат его, но только уже на 10 лет и с обязанностью отдавать в своем управлении отчет аристократии, или эвпатридам. Впоследствии потомство Кодра потеряло исключительное право на архонтство: верховная власть, поделенная между девятью сановниками, ежегодно избираемыми, сделалась достоянием всех эвпатридов. В других государствах Греции произошла подобная же перемена, но эта перемена несколько не уничтожила борьбы, которая происходила вследствие стремлений сильных материальными средствами лиц к верховной власти;

некоторые из них и достигают своей цели, являются царями, хотя греки и делали различие между законными царями и этими похитителями власти, называя последних тиранами. Спартанцы охранили себя от этого явления именно тем, что удержали царей, подвергнув только их власть сильному ограничению. Это ограничение, впрочем, состояло не столько в учреждении строгого надзора за поведением царей посредством эфоров, сколько в сущности самого спартанского устройства, в равном выделении полноправного, равно обеспеченного имуществом правительствующего класса из массы остального народонаселения, бесправного, враждебного, чуждого, тогда как в Афинах отсутствие резкого разделения между потомками завоевателей и потомками завоеванных подле знатных и богатых людей обуславливало существование относительно многочисленного класса людей недостаточных, низко поставленных, стремившихся к улучшению своего положения при сознании одинаковости своих прав с эпатридами. При этом стремлении они нуждались в вождях, и эти-то вожди пользовались своим значением для достижения верховной власти, или тирании.

Для предотвращения подобных покушений, которые уже увенчались успехом во многих городах Греции, единственным средством было установление прочного порядка посредством закона; в Спарте господствует закон, Спарта сильна и спокойна, а в других городах — тирания; выбор был легок, и афиняне начали требовать закона, законодателя. Но в Афинах задача законодателя была не так легка, как в Спарте: в Спарте было легко выделить небольшую дружину завоевателей, уравнивать их права, уравнивать их материальные средства, восстановить или освятить дружинное устройство, которое по самому существу своему, выдвигая на первый план товарищескую жизнь, отодвигает на задний план семейство и собственность. Привыкшие к этой жизни доряне легко приняли ее освящение законом, были довольны, а до неудовольствия других законодателю не было дела; для сдержания этого неудовольствия у победителей было оружие в руках, и горе — всегдашняя участь побежденных. Другое дело в Афинах, где могущественные интересы сталкивались в народе, части которого не признавали себя победителями и

побежденными, где путем естественного развития подле аристократического элемента образовался демократический, с которым надобно было считаться, где с незапамятных пор, со времен Тезея, свободный, равноправный народ был разделен на эвпатридов, земледельцев и ремесленников, причем «эвпатриды отличались славою, земледельцы — пользою, ремесленники — многочисленностью, и этим устанавливалось между ними равенство» (Плутарх). В Спарте законодателю нужно было удовлетворить только одной части народонаселения; в Афинах — двум: аристократической и демократической, лучшим и меньшим людям. Попытка установить порядок, прекратить волнения, давши силу существующему порядку, существующему правительству террором, — эта попытка не удалась, и виновник этой попытки Дракон перешел в историю с кровавою памятью, а между тем попытки к тирании оказывались ясно; медлить было нельзя для аристократии, надобно было приступить к соглашению интересов двух сторон, к сделкам, и за дело принялся Солон.

Первым делом его законодательства было удовлетворение меньшим, снятие с них тяжестей, освобождение должников из кабалы; все попавшие в рабство за долги были освобождены, проданные за границу выкуплены на счет казны, и на будущее время заимодавец лишился права обращать неплатящего должника и его семейство в рабство; при платеже долга должник выигрывал 27 процентов вследствие изменения монеты. Спартанское уравнивание земельных участков было невозможно; можно было только постановить, что ни один землевладелец не имеет права распространять свою землю далее положенного предела, чтобы таким образом остановить исчезновение мелких земельных участков и обезземеление меньших людей. Но меньшие люди беднели и должны были вследствие служебных военных обязанностей, нести которые у них не доставало средств. Солон отстранил это неудобство, разделив всех граждан на четыре класса по средствам, по доходам, и военные обязанности и подати были разложены соответственно этим средствам. Но кто имел больше обязанностей, тот должен был иметь и больше прав: так, достоинство архонтов и места членов в верховном сове-

те (ареопаге) могли получать только члены первого класса. В большой правительствующий совет четырехсот избирались граждане только трех первых классов, но правительствующий совет не мог издавать нового закона, не мог объявлять войну и заключать мир; это принадлежало народному собранию, а в члены высшей судебной инстанции, в так называемые гелиасты, избирали по жребию из всех граждан без различия классов. Гелиастам же принадлежало право поверять, способно ли известное лицо к отправлению правительственной должности. Таким образом, целью Солонова законодательства было установить равновесие между аристократическим и демократическим элементом, «чтоб ни один не одержал над другим неправильной победы, ибо народ только тогда повинуется вождям, когда он ни слишком разнуздан, ни слишком поработчен».

Распадение афинского народонаселения на две части, противоположные в своих интересах и потому долженствующие бороться, заставило законодателя признаться, что «в важных делах всем угодить трудно». Всем угодить было трудно: легко было угодить одной стороне, и, разумеется, должны были найтись люди, которые принялись за легкое и выгодное дело. Угодить было легче стороне меньших людей, которые были только облегчены и желания которых были возбуждены сопоставлением с людьми, более удовлетворенными, возбуждены уступкою им известной доли государственной деятельности, возбуждены самым переворотом, который мы называем Солоновым законодательством. Следствием этих возбуждений всегда и везде бывает демократическое движение, стремление к равенству, стремление, которое в Спарте было уничтожено уравниванием всех спартанцев, всех завоевателей и отнятием прав у побежденных. В Спарте вследствие постоянного общения, постоянного сожития немногочисленных членов правительствующей части народонаселения было равномерное развитие понимания государственных дел и интересов, вследствие чего для каждого возможно было являться в народное собрание с определенным мнением и отвечать прямо согласием или несогласием на известное предложение, что в свою очередь развивало в каждом самостоятельность взгляда и мнения. В

Афинах сравнительно слишком большая масса народонаселения была призвана к участию в государственной деятельности, масса несосредоточенная, разбитая по известным местностям, развлекаемая различными занятиями и потому неразвитая, неприготовленная, нуждавшаяся в разъяснении дела; отсюда необходимость в народных ораторах, внушителях и руководителях. Это обстоятельство, разумеется, содействовало сильно развитию ораторского искусства, выделению из массы даровитых людей, но, с другой стороны, содействовало и появлению демагогов или так называемых тиранов в более или менее утонченной форме. Еще при жизни Солона один из самых знатных людей, Пизистрат, начал стремиться к власти и средством к тому употребил слово, как свидетельствует сам Солон, остерегавший сограждан от льстивых речей говоруна, от темного смысла, скрывавшегося под блестящими словами. Предостережения были напрасны; «тиранство выросло и укрепилось» благодаря постоянному войску, которое завел у себя Пизистрат, и захвату денежных средств, на которые содержалось это войско.

Но то обстоятельство, что Пизистрат не мог принять название царя, что прежнее государственное устройство оставалось ненарушимым, показывало ясно, как трудно было теперь в греческих государствах дать торжество монархическому началу. Мы говорим «трудно» и этим ограничиваемся; слово «невозможно» употребить не решимся, ибо знаем, что тирания в Афинах была сокрушена не внутренними средствами, а помощью, пришедшею извне. Пизистрат успел передать свои средства и с ними свое значение сыновьям; таким образом уже начиналась наследственность. Один из сыновей его, Гиппарх, погиб вследствие личной вражды, и это обстоятельство дало другому брату, Гиппию, возможность сосредоточить все средства в одних своих руках и вместе дало предлог усилить свою власть преследованием всех подозрительных ему людей. Произошло явление, с которым мы часто встречаемся в истории Греции и в истории других европейских государств: в обширных государствах Азии людям, преследуемым верховною властью, трудно скрыться от нее, притом здесь нет политических партий и борьбы их, власть одного признается всеми

законною, и человек, столкнувшийся с этой властью, гибнет одиноко.

Но в мелких государствах Греции образовались стороны в народонаселении, стороны лучших и меньших людей, или аристократическая и демократическая, и вступили в борьбу. Люди побежденной, притесненной стороны бегут из отечества, иногда составляют значительные толпы и начинают действовать против стороны победившей обыкновенно с чужой помощью; помощь эту легко добыть точно так же, как легко и убежать, потому что подле другие государства, родственные. Бегут за чужою помощью обыкновенно лучшие и богатые люди, потому что они имеют средства жить вне отечества, средства действовать в свою пользу, имеют известность, знаменитость, тогда как темному и бедному человеку трудно решиться покинуть отечество и найти гостеприимство и помощь; если он убежит, то примкнет к дружине людей, живущих на чужой счет, разбоем сухопутным или морским. Люди знатные, спасшиеся от преследований Гиппия, обратились за помощью к Спарте. Спарта приняла их сторону, и не должно непременно полагать, что это делалось из сочувствия спартанской аристократии к афинской, ибо спартанское устройство стояло таким особняком, так разнилось от афинского и других, что трудно сопоставлять спартанскую и афинскую аристократию, даже трудно говорить об аристократии там, где нет демократического элемента, а в Спарте его не было. Дело объясняется проще: Спарта вмешивалась во внутренние дела греческих государств, пользовалась их усобицами для усиления своего влияния, теперь она заступилась за аристократическую партию против тирана, потом она заступится за того же самого тирана, потребует его восстановления.

Гиппий был прогнан из Афин благодаря помощи Спарты и случайности: семейство тирана попало в руки к врагам его, и Гиппий для освобождения семейства принужден был обязаться оставить Афины. После этого надобно было бы ожидать усиления аристократии, но видим наоборот: усиливается демократия посредством нового разделения, при котором знатные и богатые роды должны были утратить свое влияние; посредством свободных выборов в члены прави-

тельствующего совета, без обращения внимания на состояние, причем число членов увеличено до 500; посредством выбора судей по жребию; посредством увеличения числа годовых народных собраний до 10 вместо прежних четырех. И это усиление демократии было результатом деятельности одного лица, Клисфена, опять человека знатного и богатого. О личных целях Клисфена при этом мы должны остеречься сказать что-нибудь; мы никак не скажем, что ему, если бы он хотел, легко было бы сыграть роль Пизистрата и Гиппия; это было очень трудно именно потому, что тирания только что была уничтожена; аристократия была сильна и в союзе со спартанцами. Не забудем, что Пизистрат начал с того, что успел убедить город позволить ему завести стражу, постоянное войско около себя, то же самое, что рассказывали о Дейоке Мидийском; и мы не будем отвергать этих рассказов потому только, что в них рассказывается одно и то же относительно двух разных лиц; напротив, мы должны их принять, потому что в них указывается на естественный и необходимый ход дела где бы то ни было. Завести себе постоянное войско и ограничиться одними льстивыми словами, не приводя обещаний в исполнение, как сделал Пизистрат, было теперь очень трудно, и теперь с Клисфена уже начинается другого рода тирания, демагогия, причем человек, желающий стоять наверху, должен усиливать демократическое начало, чтобы держаться посредством него.

Клисфену приписывается также установление остракизма, посредством которого человек, становившийся очень видным и потому опасным для свободы сограждан, удалялся на известное число лет из Афин, что, однако, не приносило никакого вреда его чести и имуществу. Разумеется, с первого раза кажется, что это средство было направлено против тирании, но, с другой стороны, человеку, получившему сильное влияние на толпу, успевшему уверить ее, что его бояться нечего, легко наустить народ на людей, ему, собственно, опасных и враждебных, и избавляться от них посредством остракизма, не прибегая к насилию, особенно когда для насилия нет еще силы. Аристократической партии не понравилось Клисфеново устройство и остракизм, который, разумеется, грозил ее членам; она обратилась опять к

Спарте: Клизфен должен был оставить Афины. Но дело было сделано, демократическое начало усилено, что сделалось скоро в маленьком государстве, и когда произошла аристократическая реакция, когда лучшие люди захотели уничтожить новое устройство и стали гнать главных его приверженцев, то произошло сильное движение с противоположной стороны, причем аристократы проигрывали свое дело тем, что опирались на чужих, на спартанцев. Спартанцы были выгнаны, аристократы подверглись преследованию, Клизфен со своими возвратился из изгнания. Но теперь, если бы даже и хотел, он никак не мог сыграть роли Пизистрата и Гиппия: тиранство отыграло свою роль и было возможно только в смягченной форме демагогии, то есть сильное лицо не могло непосредственно распоряжаться, но только посредством народной массы, посредством установленных форм. Таким образом, афинская демократия была воспитана аристократами, которые вследствие уничтожения царского достоинства не могли сосредоточиться в одно сословие, в котором преобладало бы равенство и общий интерес господствовал над личным. Праздное царское место манило из них тех, которые были сильнее других средствами; для собственного возвышения, которое могло быть достигнуто только с помощью враждебного элемента, они выходили из аристократических рядов и служили в виде тиранов и демагогов к возбуждению и развитию демократического элемента.

Но для развития сил известного народа или известного элемента в народонаселении, получившего преобладание, как элемент демократический в Афинах, необходим подвиг, сильная внешняя деятельность, сильная борьба. В этом отношении развитию и укреплению афинской демократии способствовали две такие борьбы: одна — со спартанцами, другая — с персами, непосредственно следовавшая за первой. Спарта, раздраженная неудачей, не оставила намерения снова утвердить свое влияние в Афинах посредством поднятия аристократической партии, но у Спарты не было достаточно сил для успешной борьбы. В Греции, поделенной на множество мелких государств, одному из них, как бы оно относительно сильно ни было, трудно было непосредственно подчинять себе, покорять другие, даже и ближайшие;

здесь делалось так, что слабейшие волей-неволей втягивались в союз, в котором сильнейшее государство получало первое место, предводительство. Это предводительство не было господством, и союзники иногда позволяли себе действовать самостоятельно относительно главного члена союза; так, во время нападения спартанцев на Афины с целью восстановить здесь аристократическую партию союзники их, коринфяне, ушли и тем помешали успеху, который и перешел на сторону афинян, то есть тамошней демократической стороны. Видя силу последней и слабость стороны аристократической, помощь которой оказывалась бесполезной, спартанцы попытались подойти с другой стороны, призвали к себе Гиппия и хотели с его помощью войти в Афины, но союзники Спарты и тут отказались следовать за нею для восстановления тирана. Борьба между Спартой и Афинами должна была на время остановиться, и этим перемирием обе республики воспользовались, чтобы усилиться: Спарта бросилась на Аргос; Афины, как держава морская, устремили свое внимание на море и далее на Восток, тут они вмешались в борьбу малоазиатских греческих колоний с персами и этим накликali бурю на себя и на всю Грецию.

Здесь мы впервые встречаемся со знаменитою борьбою между Европою и Азиею, — борьбою, которая продолжается тысячелетия с переменным счастьем, смотря по тому, на какой стороне оказываются более нравственных сил. Мы уже видели, что в Греции борьба с Востоком была необходима по самому положению ее; в глубокой древности эта борьба происходила между народами, принадлежавшими к двум различным племенам: семитами — финикийцами и арийцами — греками. Последним удалось сбить со своих берегов финикийцев. Потом вследствие приплыва новых сил к эллинам, вследствие усиленного движения народной жизни среди них они выходят из своих границ и перебрасывают свои колонии в Азию, но последняя не снесла этого наступательного движения со стороны Европы. Греческие малоазиатские колонии, разделенные морем от метрополии, растянутые по берегу, подобно Финикии, не могли защититься от сильных напоров могущественных азиатских государств и подпали власти сперва Лидии, а потом Персии. Эллинский

дух, эллинская энергия могли выразиться только в том, что малоазиатские греки не могли спокойно сносить ига и восставали, причем получали помощь от европейских сограждан. Персидские цари не могли не обратить внимания на это обстоятельство: пока за морем существовала свободная Греция, до тех пор малоазиатские берега не могли быть в спокойном владении у персов, и царь отправил большое войско в Грецию против афинян. Но здесь были другие условия. Конечно, для объяснения неудачи персов мы должны обратить внимание на состав их громадных ополчений: собственные персы могли сдерживать натиск своих соплеменников-греков и меряться с ними силами, хотя и не в равной степени, но персов было немного, остальные же части ополчения великого царя представляли стадо людей, согнанное из разных частей громадного царства, не могшее выдерживать натиска греков, развитых в высшей степени физически и нравственно, противопоставлявших качество количеству.

Но, кроме того, нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что Греция была за морем, а персы не были морским народом, море для них было чуждою, неприятною и страшною стихиею; завезенные в неведомую страну, отрезанные от отечества страшным морем, они находились не в своей сфере и, естественно, теряли дух, ибо вспомним суверенный страх древних перед морем, границею, которую безбожно было для человека переступать. Мы теперь говорим, что моря соединяют народы, горы и степи разделяют их; мы имеем право говорить это, но с ограничением. Когда известный народ вынужден преодолеть свое отвращение к морю, тогда, разумеется, оно становится посредником между народами, соединителем их; если же необходимости нет, то народ, живущий на морских берегах, не займется мореплаванием, будет питать отвращение к морю и море разделяет народы точно так же, как и степи разделяют их. При одном и том же царе персы напали на Европу: в Скифии остановили их степи, от Греции отбило море.

Марафонская победа, несмотря на все ее значение как первой победы европейского качества над азиатским количеством, несмотря на все одушевление, какое она внесла в победоносный город, не спасла Афин и Греции в сознании

лучших ее людей, ибо надобно было ждать, что великий царь не замедлит наводнить маленькую страну своими полчищами, причем никакая храбрость и никакое искусство не помогут, как и доказали Термопилы. Великий человек указывает афинянам на море, требует усиления флота; оракул указывает на деревянные стены, которые должны спасти Афины, и Фемистокл толкует, что эти деревянные стены означают корабли. Море начало свое дело, начало крушениями персидских кораблей уравнивать силы врагов, по словам Геродота; афиняне покинули свой город, перебрались на корабли, и Саламин оправдал их надежды на деревянные стены; великий царь оставил злую страну, покинув свое войско на жертву расслабляющему чувству тяжести своего положения в далекой, потому что заморской, стране, среди народа, страшного своим качеством, и качество во второй раз восторжествовало над количеством, лишенным нравственных сил, искусства, лишившимся и вождя в начале битвы.

Афиняне, жители города, дважды истребленного врагом, делаются главным народом Греции благодаря морю, которое дало им такое важное значение, помогло так скоро восстановить и увеличить свои силы. Подобно Спарте, Афины по условиям, господствовавшим в Греции, пролагают путь к своему могуществу посредством союза, во главе которого становятся, материальными силами которого пользуются для своего блестящего развития. Но Спарта тут в челе своего пелопонезского союза; столкновение между ними было неизбежно. Борьбу между Афинами и Спартою можно разделить на две половины: до Персидских войн и после них, или так называемую Пелопонезскую войну. В первую половину спартанцы чувствовали свою силу и цари их отважно вводили войско в Аттику, тем более что в Афинах были преданные им люди, но после Персидских войн обстоятельства переменились: Афины стали сильнее, и в Спарте медлят начатием войны; Спарту торопят союзники, которым страшно могущество Афин, стремление их к преобладанию и захвату; коринфяне играют тут главную роль: по своему положению между Пелопонезом и Аттикою, между двумя самыми сильными республиками, они хотят поддержать свою самостоятельность и благосостояние, не допуская до преоблада-

ния ни Афин, ни Спарты. Мы видим, что в первую половину борьбы коринфяне не допускают спартанцев до торжества над Афинами; теперь же, когда могущество Афин стало страшно, те же коринфяне побуждают спартанцев вооружиться против Афин.

После долгой борьбы Спарта восторжествовала; оракул воспретил победителям воспользоваться своею победою, разрушить падший город. «Не должно выкалывать у Греции одного из двух глаз», — говорил оракул. Но у Греции были повреждены оба глаза; и победители и побежденные были одинаково истощены страшною борьбою, и это истощение их вело Грецию к падению. Бессилие победительницы Спарты высказалось в ее неудачной борьбе с Фивами, которые сами обязаны были своим возвышением только личным достоинствам Пелопида и Эпаминонда, после которых они возвращаются к прежней незначительности. Мы видели, что после Троянской войны истощение в Греции было восполнено приливом эллинского воинственного народонаселения с севера, движение возобновилось и усилилось дорическим нашествием. И теперь после истощения Греции от Пелопонезской и других междоусобных войн происходит движение с севера — македонское движение, которое, по-видимому, дало новое значение греческой жизни, собравши ее силы для наступительного движения на Восток, имевшего следствием разрушение Персидской монархии и господство европейских ариев в Азии и Африке. Но это македонское движение было не чисто греческое и происходило в таких формах, от которых давно отчуждилась Греция; оно происходило вследствие только личных стремлений двух варварских царей, усыновленных греческой цивилизацией; наконец после кратковременного македонского влияния Греция явилась с прежней слабостью. Мы в другом месте взглянем на подвиг Александра Македонского и его следствия, а теперь обратимся к движению греческой мысли и влиянию его на общество.

Мы видели, что греческое общество основалось на других началах, чем общество восточное; в основу общества восточного легло начало семейное или родовое, в основу общества греческого — начало дружинное, товарищество. В огромных монархиях Востока целое слишком сильно да-

вило на части, вследствие чего личность не могла развиваться; целое, единство преобладало, и превозмогал один человек, представитель этого целого, этого единства; государство — это был он, один человек; все другие были части целого, живую собственностью одного, рабами, частью и даже не только частью, но и полною принадлежностью, имевшей одно с ним существование, по приведенному выше выражению Аристотеля. Но в мелких государствах Греции, основанных богатырскими дружинами, этого давления целого на части быть не могло; вместо впечатления единой силы, поднимавшейся над всеми и пред которою все равно исчезали в своем ничтожестве, являлось впечатление равенства многих сил вследствие равенства многих вождей, собиравшихся для общего предприятия; подле вождей — толпа храбрых товарищей, которыми силен и славен вождь, с которыми он должен считаться. Идет движение непрерывное, подвиг совершается постоянно, в ограниченной местности, на виду у всех; человек личными достоинствами может подняться высоко, герои включаются в число богов. Кроме борьбы настоящей человек может выказать свои достоинства на играх, куда собирается народ из целой Греции, победитель превозносится похвалами, получает важное значение, победы на играх прокладывают дорогу к победам на другом поприще.

Наконец цари исчезают, аристократия уступает демократии, и это дает новое побуждение к развитию личности указанием каждому сильному личными средствами человеку высшей цели, достижения первого места в государстве с каким бы то ни было значением и именем или и без имени. Искусство, служба выражением народной жизни, является для того, чтобы дать новую силу началам, уже обнаружившимся в жизни. Мы говорим о значении «Илиады» для греческой жизни — поэмы, на которой воспитывались греки и содержанием которой служило описание бедствий, происшедших от бездействия оскорбленного героя, не хотевшего признать право сильного. Впоследствии драматические произведения, к которым были так страстны греки, воспитывали в них то же чувство личной независимости. Эсхил выставил это чувство в Прометее, который не хотел преклониться пред Юпитером; Софокл пошел еще дальше: он оставил сферу богов, титанов

и героев и выставил чувство независимости, непреклонность пред силою в слабой девушке, которая, невзирая ни на какие запрещения, исполняет то, что считает своим долгом. «Илиада», «Прометей» и «Антигона» представляют самые сильные проявления греческого духа в мире искусства. Наконец, Персидские войны, эта знаменитая борьба развитой личности, борьба качества с подавляющим количеством опять могущественно содействовала развитию личности, особенно у тех из греков, которые купили торжество с наибольшими пожертвованиями, которые два раза видели истребление своего города и потому могли так прометеевски отвечать персидскому вождю на его предложение отдельного мира.

Таким образом, в Греции, и преимущественно в Афинах, все соединилось для того, чтобы дать личности самое сильное развитие. Но известное начало, пользуясь благоприятными условиями, стремится развиться до крайности, так и в Греции мы видим крайнее развитие личности. Зло было понятно, и греческая мысль выставила противодействие, но безуспешно: откуда же проистекла эта безуспешность?

Личность при благоприятных условиях в обществе для своего развития сдерживается в своих крайних стремлениях нравственным началом, которое тогда только сильно, когда находится в связи с началом религиозным. Но греческая религия не могла дать нравственно крепкого основания. Грек благодаря развитию своей жизни освободился от азиатского представления о божестве как о гнетущей силе природы, которая действует деспотически, пред которою человек ничто, в угоду которой женщина считает обязанностью жертвовать своим стыдом, а мужчина — полом. Греческий антропоморфизм вносит на Олимп человеческие отношения, сдружает человека с божеством, приравнивает их друг к другу; человек благодаря геройству поднимается до божества, но зато божество понижается; грек живет со своими божествами слишком по-товарищески, запанибрата. Греческие божества — изящные люди, но не безгрешные, не внушающие уважения своею высокою нравственностью и не требующие в этом отношении подражания себе; у греческих богов дети на земле, следовательно, у них здесь свои личные интересы, борьба за эти интересы, а подобные отношения, разумеется,

уничтожают божественное, независимое положение. Восточные боги, как восточные деспоты, жили в отдалении от простых смертных, окруженные обаянием таинственности; даже египетское божество — животное — сохраняло это обаяние, ибо человек не мог проникнуть во внутренний мир таинственного существа. Грек нарушил обаяние таинственности, вывел наружу все олимпийские проказы. Унижение божества чрез придание ему человечности не в высших, нравственных, духовных проявлениях естественно вело к отрицанию такого божества, давало выход разлагающей силе мысли, а греки принадлежали к тому племени, которое и в отдаленной Азии, в замкнутой и богатой Индии, давящей дух громадностью и роскошью природных форм, умело обнаружить деятельность мысли, не ограничиваясь переданными религиозными воззрениями.

Тем более эта деятельность должна была обнаружиться у греков при особых условиях их исторической жизни, и прежде всего при условии движения, перемены политических форм. Греческий религиозный процесс закончился гомеровским временем, но греческая политическая жизнь продолжала развиваться; те земные отношения, по которым образовались отношения олимпийские, изменились, и, естественно, не могло быть сочувствия к тому, что представляло уже прошедшее, отвергнутое, а между тем разлагающая сила мысли получала все большее и большее развитие. Прежде всего греки по своему положению в небольшой приморской стране, находящейся в близком расстоянии от Азии и Африки и волнуемой внутренними движениями и столкновениями народов, должны были выселяться, заводить колонии, знакомиться со многими чуждыми народами. Это обстоятельство, расширявшее горизонт, сильно действовало на даровитое, живое, пылливое и впечатлительное племя, представителями которого были поморцы — ионяне, афиняне. Грек на Востоке встречается с богатой цивилизацией, производящей сильное впечатление громадностью и особенно древностью своих памятников; его внимание останавливается на религии; язычник легко подчинялся чуждому верованию, легко поклонялся чуждому богу, потому что убеждение в единстве бога ему не препятствовало. Грек также с

уважением относился к религии чуждых народов, но он смотрел на дело иначе; он сильно развит вследствие движения своей жизни, он привык думать, привык критически относиться к таким явлениям, к каким на Востоке критически не относились, как, например, к политическим формам.

Разнообразие этих форм на малом пространстве Греции дало ее жителям возможность сравнивать и рассуждать о достоинстве или недостоинстве той или другой формы, что, разумеется, сильно развивало мыслительную способность и подготовило то философское настроение, которым отличаются греки: «Элины премудрости ищут». С этим-то исканием премудрости, с этою-то развитою мыслительною способностью, с привычкою критически относиться к явлению, допросить, как, что и почему, является грек на Востоке. Путешествующий грек-мыслитель, мудрец, представляет нам в высшей степени любопытное явление. Привычка видеть разнообразие форм народной жизни у себя тянет грека с возбужденною мыслию дальше, посмотреть другие народы, познакомиться с другими формами жизни, посравнить, найти сходство и отличие, тогда как для восточного человека однообразие политических форм необходимо уничтожало подобное стремление. С исканием премудрости грек отнесся и к религиям Востока, начал сравнивать, находить общие черты со своими, греческими верованиями, искать одного общего источника; здесь, как обыкновенно бывает, мысль останавливается прежде всего на заимствовании; при виде двух одинаковых явлений у разных народов первое, легчайшее объяснение состоит в том, что один народ заимствовал известное верование, обычай у другого; возвыситься до предположения общих законов, производящих одинаковые явления всегда и повсюду, человек сначала не может. Таким образом, грек при объяснении одинаковых религиозных воззрений, одинаковых мифов у разных народов остановился на заимствовании одним народом у другого. Младший по происхождению и по цивилизации народ должен был заимствовать у старшего, греки должны были заимствовать у восточных народов, у последних надобно доискаться источника.

Уже одно убеждение, что верования, в которых воспитался человек, заимствованы, чужие, ослабляет эти верова-

ния, делая их предметом исследования, заставляя следить, как с течением времени они изменялись, как древнейшим, заимствованным присоздавались новые. Мысль берет верх, чувство ослабляется. А тут еще новый удар. Пытливость влечет в страну чудесных памятников древнейшей цивилизации, в Египет, а здесь жрецы внушают, что все заимствовано от них, но чему верует народ, это только символы, что суть всего дела известна им одним, жрецам, что, пожалуй, они скажут на ухо умному человеку, который уже и без того подозрительно посматривает на разные религиозные обычаи и обряды, но объявлять об этих вещах всем бесполезно и опасно, народ должно держать в неведении, оставляя мудрость для посвященных. Геродот представляет нам образец грека, который благодаря знакомству с чужими религиями и внушениями египетских жрецов относится скептически к народным верованиям греков, древнейшие верования пелазгов считает заимствованными из Египта и в эллинском Олимпе видит создание поэтов. Он объясняет мифы, говорит, что черные голуби додонские были две иностранные женщины, которых чуждый язык мог показаться языком птичьим, ибо как в самом деле могло быть, чтобы голубь издавал членораздельные звуки; и так как говорится, что голубь был черный, то это значит, что женщина была египтянка. Проговариваясь подобным образом в разных случаях, высказывая свое свободное отношение к религиозным преданиям, Геродот простодушно оговаривается, что о таких вещах не следует распространяться: «Если бы я захотел сказать, почему египтяне воздают животным божеские почести, то я бы коснулся религии и вещей божественных, но я особенно избегаю таких разговоров, и если я кое-что сказал, то должен был сделать это по необходимости».

Таким образом, сближение с Востоком и его религиями наносило удар греческой религии, эллинскому антропоморфизму, разлагало его. Но греческая мысль не могла остановиться на этом отрицании, на этом разложении, и вот среди азиатских греков, на которых восточные воззрения прежде всего подействовали и у которых по их страдательному политическому положению было более возможности отрешаться от практической жизни, начинается такая же ум-

ственная работа, какую мы уже видели у арийцев в Индии, — работа над объяснением происхождения мира. Народные религиозные воззрения не стесняют этих мыслителей; они не верят в олимпийцев, знают, что эти народные греческие верования суть искажения первоначальной религии, в большей чистоте сохранившейся на Востоке и состоявшей в поклонении силам природы. Но что такое природа и ее силы? как произошли они? Одни объявили, что все существующее произошло из влаги, что божества, в которые верит народ, суть басни; божество есть душа вселенной, движущая сила вещей, отдельно от них не существующая. Таким образом, мы опять встречаемся с знакомым нам брамаизмом, или пантеизмом. По другим, это управляющее, божественное начало мира, противоположное материи, был воздух как дух; по иным — огонь, творческая, всепроникающая и всепоглощающая сила, которая преимущественно проявляется в душе человеческой. Некоторые указывали на происхождение мира из атомов, простых, неделимых первоначальных тел; все существующее проникается тонкими огненными атомами, которых всего более находится в человеке. По иным, первое движение атомам дано было высшею разумною силою, существующею отдельно от материи; иные принимали четыре основных элемента: огонь, воздух, землю и воду, которые приводятся в движение двумя силами — любовью и ненавистью или борьбою; из соединения и разделения произошло все существующее.

Все эти мнения или учения исходили от мудрецов или философов, которые провозглашали их как произведения свободной мысли лица, не давая им никакого религиозного освящения, противопоставляя их народной религии, прямо вооружаясь против них, провозглашая Гомера и Гезиода искажителями религии, которые в своих поэмах приписали богам то, что считается постыдным между людьми. Были попытки в Южной Италии, или в так называемой Великой Греции, дать одному из философских учений, именно Пифагорову, религиозное освящение, составить орден из лучших, образованнейших людей, посвященных в тайны учения, которые бы управляли непосвященною и потому презираемою толпою, но эта попытка не увенчалась успехом.

Вообще же все эти философские учения или мнения были следствием сильного развития личности в Греции и, как обыкновенно бывает в истории, в свою очередь содействовали сильнейшему ее развитию. Разрушение народных религиозных верований, произведенное философией, которая на их место не могла поставить ничего прочного, освященного, имевшего всеобщий авторитет, дававшего правило жизни, но породила множество разнородных, спорных мнений о важнейших вопросах жизни, должно было естественно навести многих на мысль, что всеобщих истин нет, нет и общих нравственных правил, сдерживающих каждого человека и определяющих его деятельность. Следовательно, каждый человек составляет отдельный, вполне независимый мир, имеет свой собственный взгляд на все и свои исключительные личные цели, достижение которых есть главная его задача; объективной истины нет; истинно то, что отдельный человек в известное время считает истинным; средства отдельного человека составляют мерило всего; если средства отдельного человека велики в сравнении с средствами других людей, то он имеет полное право стремиться к господству над ними, к тирании.

Таков был необходимый результат, к которому должно было прийти крайнее развитие личности в Греции, и преимущественно в Афинах. Разумеется, подобные мнения, как всякие мнения, должны были распространиться между людьми мыслящими или так называемыми образованными, способными останавливать свое внимание на высших вопросах жизни, должны были распространиться между людьми, посвятившими себя наставлению, обучению других преимущественно в ораторском искусстве, которое так набилось в Греции, и особенно в Афинах. Такие люди назывались софистами, от которых изложенное учение и получило свое название. Но разрушительное влияние на общество так называемого софистического учения вызвало противодействие, которое явилось из среды тех же софистов, то есть людей, занимавшихся наставлением других. Сократ, в школе которого обнаружилось это противодействие, являлся для современников таким же софистом, какой выведен был и на сцену Аристофаном, несмотря на все стара-

ние его выделиться из среды софистов учением и поведением; например, он не брал денег за свое учение и не странствовал из города в город, подобно другим знаменитым софистам. Противодействуя господствующему между софистами учению, Сократ должен был вооружиться против доведенного до крайности развития личности, то есть должен был утверждать, что есть общие, непреложные истины, есть нравственные правила, обязательные для всех, правила, без признания и соблюдения которых общество не может существовать. Он полагал различие между «благочестием и безбожием, благородством и неблагородством, справедливостью и несправедливостью, храбростью и трусостью» и т. д.; рассматривал все это независимо, признавая в каждом человеке врожденную способность дойти до правильного различения всего этого при хорошем руководстве, тогда как в господствующем между софистами учении все это смешивалось, могло переходить одно в другое, смотря по обстоятельствам, и в человеке не признавалась способность различения хорошего от дурного независимо от его непосредственного чувства.

Последователь так называемого учения софистов говорил: «В большинстве вещей природа и закон находятся в противоположном отношении друг к другу; по природе хуже всего претерпеть несправедливость, а по закону хуже всего сделать несправедливость. Претерпеть несправедливость от другого недостойно свободного человека; несправедливость может снести только раб, которому лучше умереть, чем жить, ибо, претерпевая несправедливость и оскорбления, он не в состоянии защитить себя и тех, кого любит. Законы — произведение людей, слабых личными средствами, но многочисленнейших. Постановляя законы, они думали только о себе, о своих интересах; чтобы напугать людей, сильных личными средствами, которые могли бы приобрести власть над другими, они говорят, что преимущество есть вещь нехорошая и несправедливая и что человек, стремящийся к могуществу, поступает несправедливо; по своей слабости они стремятся к равенству. Таким образом, по закону несправедливо приобретать власть над другими, но по природе справедливо, чтобы лучший и сильнейший имел более, чем

худший и слабейший. Мы берем с детства лучших и сильнейших между нами, образуем их и укрощаем, как лвят, внушаем им, что надобно чтить равенство и что в этом заключается прекрасное и справедливое. Но как скоро явится человек с могущественною природою, разобьет он все эти оковы, потопчет ногами наши писания, наши законы, противные природе, и возвысится над всеми как господин, он, которого мы сделали рабом, — тогда-то воссияет справедливость по закону природы. Для счастья жизни нужно разнуждывать свои страсти, а не сдерживать их и посредством своего мужества и ловкости быть в состоянии удовлетворять им. Большинство людей не в состоянии этого сделать, и поэтому-то они осуждают тех, которые этого достигнуть могут. Они говорят, что неумеренность есть вещь дурная, скывают людей, имеющих лучшую природу, и, не будучи в состоянии удовлетворять своим страстям, воспевают умеренность и справедливость. А для тех, которые имели счастье родиться в семействах царских или которые от природы получили способность сделаться вождями, тиранами или царями, — для таких что может быть постыднее и вреднее умеренности? Тогда как они могут беспрепятственно наслаждаться всеми благами жизни, неужели сами свяжут себя законами, суждениями и порицаниями толпы?»

Сократ и его ученики именно хотели овладеть львенком, укротить разнуждавшуюся личность, которая, опираясь на природу, грозила разрушением обществу. Софисты поставили вопрос о противоположности между природою и законом, то есть между стремлениями отдельного лица и стремлениями общества, — вопрос, который вызовет знаменитый ответ, что человек есть животное общественное, что общество уславливается природою человека и потому природа не может находиться в противоположности с законом. Вследствие крайнего развития личности и ее неумеренных требований, высказанных софистами, поставлен был вопрос об отношении личности к обществу, великий вопрос, который находится на первом плане в истории человечества. Вполне удовлетворительного решения его мы не можем ждать на земле при сознании несовершенства всякого дела человеческого, сознании, горечь которого подслащивают указанием на бесконеч-

ность развития, хотя и не все могут удовлетвориться этим подслащиванием. Мы можем только наблюдать, как и где вопрос решался более или менее удовлетворительно. Мы должны признать за греческими мыслителями заслугу поставочности вопроса, причем они сейчас же и принялись за его решение, но сколько-нибудь удовлетворительного решения его мы ожидать не вправе, потому что мы присутствуем здесь при борьбе мнений и направлений, причем одно направление, доведенное до крайности, вызывало реакцию. Реакция крайнему развитию личности, выразившемуся в учении софистов, высказалась в учении Сократовой школы.

В политическом устройстве, предложенном этою школою, дуга была перегнута в противоположную сторону. Желая противодействовать крайнему развитию личности, перешли должные границы и не признали прав личности, слишком стеснили ее в пользу общества; на человека взглянули как на несовершеннолетнего, неспособного иметь семейство и собственность и устроили общество, как школу с учителем, философом в челе управления. Понятно, что это устройство, предложенное знаменитым учеником Сократа, должно было остаться в числе утопий, но мысль о подобном устройстве не умирает, а заявляет себя всякий раз, когда ум человеческий, истомленный трудностью задачи определить сколько-нибудь правильно отношения отдельного лица к обществу, прибегает к отчаянным средствам выйти из затруднения. Человек по природе своей должен жить в обществе, но, вступая в связь с другими людьми, он необходимо должен поступиться частью своей свободы, частью своих прав в пользу других, в пользу общества. Но сколько он должен уступить и сколько оставить за собою для сохранения равновесия между личностью и обществом — в этом весь вопрос. Софисты говорили, что человек не должен ничего уступать обществу, если он родился львом в сравнении с другими, то и должен брать львиную часть, не делясь с другими, слабейшими. Сократ и его ученики, вооружаясь против этого учения, заставили человека уступить слишком много, заставили его идти в кабалу к обществу за обеспеченное содержание.

Эта обеспеченность содержания так привлекательна, что в обществах неразвитых заставляла свободного человека

продаваться в рабство, идти в кабалу, в обществах же развитых, где рабство человека другому человеку уже немыслимо, заставляет мечтать о рабстве более благовидном, рабстве обществу. При определении отношений отдельного лица к обществу не должно упускать из виду, что для благосостояния этого общества права личности должны быть строго охранены, чтобы отдельное лицо, ведя общественную жизнь, служа обществу, сохраняло при этом свою самостоятельность, свой отдельный, независимый мир. Для этого три средства, три, так сказать, замка или крепости, которые защищают свободу и самостоятельность отдельного лица: это религия, семейство и собственность. Религия поддерживает в человеке сознание своего нравственного достоинства, не позволяя ему уступать несправедливым требованиям общества, ставя перед ним высший мир, высший суд, к которому он апеллирует, будучи недоволен земною неправдою. Вера в духовное начало, в личное бессмертие дает человеку свободный, самостоятельный, царственный взгляд на общественные отношения, заставляет его требовать только такого определения их, какое согласно с человеческим достоинством, не позволяет рабствовать пред земною силою. Семейство есть самостоятельное общество в обществе, необходимое для поддержания в человеке его самостоятельности. В это убежище стремится он от порабощения и поглощения, которым грозит ему общество, если он постоянно пребывает в нем; здесь он дышит свободно, чувствуя себя не частью огромного целого, в котором он исчезает, не колесом, не винтом в машине, но существом самостоятельным, центром особого мира, здесь он сам, по русскому народному выражению.

В обществах неразвитых семейство имеет уже слишком большое значение; здесь оно слишком обширно, развиваясь в род, который заслоняет для человека общество, суживает развитие его сил. Общество, развиваясь, теснит род, обрывает его, переводит обязанности человека к роду на обязанности к себе. Все это очень хорошо, но есть предел развитию общества в этом отношении; горе ему, если оно захочет перейти законную грань и нарушить святыню семейства. Что касается отдельной собственности, то она неразрывно связа-

на с семейством и вместе с ним поддерживает самостоятельность человека, давая ему сильное побуждение к деятельности в возможности располагать результатами этой деятельности. Семейство и собственность будут всегда отличием совершеннолетнего человека, и стремление отнять семейство и собственность будет всегда противно человеку, как стремление низвести его из совершеннолетия в положение недоросля, школьника. Сократова школа в своем политическом учении перешла законную грань: стремясь сдерживать безграничное развитие личности, в пылу спора с поборниками этого развития она не заметила, как вместо сдержки провозгласила порабощение личности. В республике Платона нет ни семейства, ни собственности, но Платон имеет дело с одними воинами и тем дает знать, что при построении своей республики он имел в виду военное братство, лагерь или казацкий кош, называвшийся Спартою. Философ предполагал и уравнение полов, указывая на собак, у которых и самцы и самки одинаково пригодны на охоте и для охранения стада. Философ забыл, что человек не собака, что он подчиняется закону развития, по которому различие полов необходимо предполагает разделение занятий.

В истории Греции, и преимущественно Афин, Сократова школа имеет то значение, что в ней высказалась реакция национальному направлению, которое состояло именно в развитии личности. В этом отношении греческая жизнь представляла противоположность жизни восточной: на Востоке человек не сознал своей личности относительно божества и при всех усилиях мысли решить вопросы о происхождении сущего, о происхождении добра и зла кончил тем, что отрекся от личного существования как ложного и поставил целью жизни — прекращение его, слияние частицы с целым. Это восточное представление о человеке как о части целого, о собственности, о рабе (мы видели связь этих представлений у Аристотеля), господствовавшее в религии, господствовало и в мире политическом: и здесь человек является частью целого, собственностью, рабом, а это целое, государство, было олицетворено, воплощено в одном человеке; то стремление, которое высказалось в знаменитых словах «государство — это я», было на Востоке осуществлено. Па-

нархизм соответствует пантеизму — и оба убивают личность; поэтому Гоббес, проводивший всюду панархический взгляд, совершенно последовательно говорил, что государь не есть глава государственного тела, а душа его; точно так и в пантеизме божество есть душа вселенной, неразрывно с нею связанная; начало свободных отношений — в отделении. Слабость движения, подвига, родовой быт (соединение управляемых, по Аристотелю) и обширность государств, не допускающая народонаселение до общей деятельности, требующая внешней силы для соединения разбросанного на обширных пространствах народонаселения для общих целей, суть главные условия утверждения такого порядка вещей на Востоке. В Греции сильное и продолжительное движение, развившее личные силы, дружинная форма, в какой это движение совершалось, и размельченность небольшой приморской страны высвободили отрасль сильного, даровитого племени из азиатских форм жизни, представили благоприятные условия для развития личности, и вот греческая история представляет нам это постепенное развитие, представляет и то обычное в человеческой деятельности явление, что начало, долго сдерживаемое, разнуздавшись, перешло должные пределы и вызвало реакцию.

Реакция высказывалась, с одной стороны, в аристократическом стремлении, тесно связанном с спартанофильством, ибо в спартанском устройстве личность была сдержана строгим подчинением, рабствовала государству, тогда как развитие личности в Афинах было тесно связано с демократическим движением. С другой стороны, реакция явилась в области мысли, высказалась именно в Сократовом учении. Это учение не могло иметь важного влияния на ход греческой жизни, во-первых, уже потому, что оно не было прямо политическим учением, не было достоянием сильной политической партии. Основатель учения погиб как враг господствовавшего в Афинах демократического направления, которое взяло снова силу после свержения аристократического правительства, поддерживавшегося Спартою; он погиб как враг народной религии. Учение Сократа именно как философское учение не могло удержать Афины и вообще Грецию от падения. Философское учение не могло пере-

создать общество, вдохнуть в него новые нравственные силы; оно есть достояние немногих; оно получает свой авторитет от силы личного ума; сколько голов — столько и умов, говорит народная пословица (от этого же воззрения отпавились и софисты).

Здесь различие мнений и споры ведут, естественно, к знаменитому вопросу Пилата: «Что есть истина?» — а при существовании такого вопроса нет успокоения для общества, нет горячих убеждений, в горниле которых выковываются крепкие формы и отношения. Для этого нужно было Древнему миру учение с высшим авторитетом, для всех одинаково обязательное, учение религиозное; для этого нужно горячее чувство, чувство религиозное. Греки, для которых прежние религиозные верования были разбиты философией, но которые не нашли необходимого для человека решения известных вопросов в философской разногласии, не нашли успокоения, обратились к мистериям, основанием которых служила древняя пелазгическая религия, уцелевшая подле новой, эллинской; последняя теперь разрушалась в свою очередь и тем давала силу и значение старой. Одряхловшее общество обращалось к верованиям своего детства, думая, что они в состоянии вдохнуть в него свежие силы, искало этого восстановления сил и прямого соединения с божеством посредством религиозных восторгов, экстазов, но ничто не помогло: старик не молодеет. Греция пала вследствие истощения материальных и нравственных сил.

б) Рим

Мы видели арийцев в Европе, на ближайшем к Азии полуострове; видели здесь мелкие владения, общины, которые греческий смысл устами Аристотеля противопоставлял народам, как народы представлялись в древности; видели, что эта противоположность происходила от противоположности начал — родового, господствовавшего при образовании государств на Востоке (потому что образовалось оно из управляемых, по Аристотелю), и дружинного, господствовавшего при образовании греческих государств или общин. Теперь, идя с востока на запад, переходим на второй полуостров Южной

Европы, в Италию, и здесь опять видим арийское племя, опять видим страну, раздробленную на мелкие владения, видим господство города. Сходство итальянской или римской истории с греческой поразительно. Различие состоит в том, что в Греции помехой объединению страны служило одновременное существование двух равносильных городов, которые не позволяли друг другу усиливаться на счет других, истощили свои силы в борьбе друг с другом, и так как притока новых сил не было более, не было между греческими городами преемников Афинам и Спарте, то Греция, истощенная материально и нравственно, не могла оказывать дальнейшего сопротивления напору внешних сил и должна была признать господство соседнего эллинизированного государя. В Италии наоборот: среди множества независимых владений или городов усиливается один город и, не находя себе соперника на всем пространстве Италии, подчиняет себе всю страну; потом в Сицилии начинается столкновение Рима, владыки Италии, с могущественным Карфагеном, колонию финикийскую, которой на африканской почве, среди слабых по своему варварству народов удалось образовать сильное государство. Когда Карфаген был низложен, Рим стал сильнее всех государств известного тогда света: на Западе он не мог встретить сильного сопротивления от народов, стоявших на низкой степени развития, не соединенных в крепкие государства. На Западе народы были слабы от младенчества своего, на Востоке — от старческой дряхлости: отжившая Греция и мертворожденные государства, образовавшиеся из распада Александрийской монархии, были легкой добычей римских легионов, и, таким образом, одно из арийских племен, поселившееся в Европе, в Италии заканчивает историю Древнего мира образованием всемирного государства.

Относительно внешней истории Рима можно и ограничиться этим кратким очерком, но внутренняя его история представляет любопытные стороны, на которых должно остановиться. С малолетства привыкли мы представлять себе Рим двойственным городом, в котором жили две постоянно враждовавшие между собой части народонаселения — патриции и плебеи. Но откуда же эта двойственность и эта борьба? Мы не считаем себя вправе усваивать легкие приемы

позднейшей исторической критики относительно древней римской истории: после разрушительной оргии, начавшейся с легкой руки Нибура, уставши рубить направо и налево, растерявшись в мелочах, превративши все в хаос разгоречивых мнений и толкований, некоторые историки приняли легкий способ разделаться с этой путаницей и зачеркнули древнейшую историю как баснословную. Мы не осмелимся отнять смысл и историческую основу у представлений великого народа о своем прошлом, несмотря на разноречия и вымыслы, от которых, впрочем, не свободны бывают и известия о событиях вчерашнего дня; мы дерзнем обратиться к известиям о римских царях, даже к известиям о Ромуле!

Известия о древнейшем периоде римской истории, о царском периоде, драгоценны для нас потому, что нигде нагляднее не представляется борьба между началом родовым и дружинным. Как в Греции в преддверии ее истории мы видим сильное движение народов с севера на юг, движение, всегда благоприятствующее выходу из родового общества людей, наиболее способных к движению, подвигу и образованию из них дружин, так и в Италии в преддверии римской истории мы видим такое же сильное движение с его последствием — образованием дружин. По обычаю так называемой священной весны (*Ver sacrum*), часть молодых людей высылалась за границы известного владения и должна была сама отыскать новое отечество и овладеть им. Эти изгнанники, долженствовавшие необходимо образовать из себя завоевательную дружину, были посвящены подземным богам, преимущественно Марсу. Предание указывает в Италии народ бруттиев, составившийся из сбродной дружины, из беглецов всякого рода, и герой, давший свое имя этому народу, был Брут, сын Марса; указывается еще другой подобный же народ, мамертинцы, также ведший свое происхождение и имя от Мамерса, или Марса.

Но понятно, в какой противоположности и враждебности должны были находиться эти сбродные дружины к родовому обществу. Члены рода кроме кровной связи были соединены общим служением одним и тем же домашним богам, то есть душам предков. Где предки-боги преданы земле, там устраивается неподвижный очаг, огнище, жертвенник для этих

божеств; около этого жертвенника живет семья, развивающаяся в род, все члены которого находятся под покровительством родных своих богов, душ умерших предков, сожителей с ними, но за это покровительство домашние боги требуют от своих потомков постоянного покорства, поминок. Человек, удалившийся из рода, тем самым лишается покровительства родовых богов, являлся не только сирым, беспомощным относительно людей, но и относительно богов, человеком без предков, оторванным от всех самых священных связей, он был чужой для всех. Понятно, что такое беспомощное положение заставляло человека искать помощи в самом себе, развивало его силы, заставляло его искать связи с людьми себе подобными и устраивать общество на других началах; но понятно также, с каким презрением и отвращением должны были смотреть на такого безродного и вместе безбожного человека *отцы* (*patres*) и *отецкие дети* (*patricii*). Они могли принять еще такого человека, приобщить к семейству, то есть допустить до семейного богослужения, если он соглашался принять подчиненное положение или раба, или работника, клиента, но никак не могли спокойно допустить, чтоб такой чужой, безродный и безбожный человек помышлял о равенстве с ними, отецкими детьми.

Первоначальная история Рима указывает нам живущими вместе, в одном только что основанном городе, эти два рода людей, столь противоположных друг другу; с одной стороны, указывает общество, основанное на строгих родовых началах, общество патрицианское, с другой, подле него — толпу людей пришлых, безродных, всякий сброд, *plebs*. И эти два рода людей не вступают в явную борьбу между собой; связью между ними служит одна общая власть, царь. Первый царь — Ромул, которому приписывается основание города. В каком же отношении находится он к обоим началам: родовому, патрицианскому, и дружинному, плебейскому? Предания выставляют его явно враждебным первому, явно доброжелательным второму. Прежде всего кто он, этот Ромул с братом своим Ремом? Они безродные, не могут указать отца, не отецкие дети; они дети преступления, дети весталки, нарушившей обет девства, и хотя предание дает им в отцы Марса, но мы уже знаем, что это значит, и в глазах пат-

рициев они остаются рожденными от блуда (ἐκ πορνείας λευόμενοι).

Таким образом, в Ромуле мы имеем дело с представителем дружинного начала, с вождем дружины. Он в своем городе открывает убежище для всех безродных и бездомных, для всех добровольных изгнанников, убежище, которое в глазах патрициев является не иначе как поганым (infame asylum). Разумеется, отецкие дети не могут выдавать своих дочерей за такую гольтубу, за таких безродных и безбожных людей, и плебеи похищают себе женщин, отчего у них происходит борьба, а потом сделка с сабинцами, отличавшимися строгим родовым бытом. Но борьба не прекратилась: «Ромул был приятнее толпе, чем отцам, и более всего был приятен воинам». Отцы убили неприятного им покровителя толпы и вождя дружины. Отцы возводят в царя своего — Нуму Помпилия, «мужа благочестивого и боголюбивейшего», первым делом которого было уничтожение целеров, избранной дружины Ромула. Но борьба между родовым и дружинным началом только что начинается, и смена царей соответствует торжеству того или другого: после Нумы видим Тулла Гостилия — потомка товарища Ромулова; после Тулла Гостилия видим Анка Марция, внука Нумы. Но Анк принужден принять дружину, вождем которой был этрусский изгнанник Тарквиний (Приск). Тарквиний становится начальником, трибуном целеров и по смерти Анка становится царем, тогда как сыновья Анка принуждены бежать. Тарквиний убит, но царем является *трибун целеров*, Сервий Туллий. Происхождение этого знаменитого царя так же таинственно, как и происхождение Ромула; одна сторона приписывает ему божественное происхождение, другая — незаконное: он сын рабы, плод любодеяния, но сохранилось предание, что он был товарищ целера Вибенны, трибуна целеров при Ромуле, принужденного удалиться из Рима. Сервий Туллий с остатками целеровой дружины пришел снова из Этрурии в Рим; Сервий Туллий гибнет от внука Тарквиния. Этот внук, Тарквиний Второй, или Гордый, становится царем, при нем дружина, и при дружине необходим трибун целеров, Юний Брут, который уже ссорится с царевичами за наследство престола, но дело оканчивается тем, что Брут

почему-то отказывается от этого наследства и соединяется с патрициями для изгнания Тарквиния и для уничтожения царского достоинства.

Каковы бы ни были побуждения, заставившие трибуна целеров и родственника Тарквиниев, Юния Брута, войти в сделку с патрициями и вместо царского достоинства удовольствоваться временным преторством или консульством, сознание ли невозможности бороться с Тарквинием, не соединивши тесно своих интересов с интересами патрициев, только благодаря этому соединению интересов царский период римской истории прекращается, Рим является республикой аристократической, потому что у патрициев все права, почести и выгоды, а плебеи лишались в лице человека, который, опираясь на них в борьбе с отцами и отцовскими детьми, естественно, старался дать им значение и силу. Такое поведение царей относительно плебеев необходимо развивало в последних сознание своего гражданского значения, заставляло тем более оскорбляться неравенством своего положения с патрициями и стремиться к уравниванию. Эти стремления и борьба за права с целью уравнивания прав представляют явление западное, европейское, которое в Древнем мире особенно выпукло выказывается в римской истории, что и дает ей важное значение. На Востоке — или касты, которые вечно остаются в разрозненности, низшие вечно довольствуются своими правами или терпеливо сносят отсутствие всяких прав, здесь религия, имевшая преобладающее влияние при определении общественных отношений, дала им характер неподвижности; или там, где не образовались касты, все народонаселение было уравнено общим бесправием перед одним человеком, который по произволу мог возвышать и понижать, рабу, даже иностранцу давать первенствующее значение и потом в минуту гнева казнить, терзать его как последнего раба. Только в поморских государствах Азии и Африки (Финикии и Карфагене), и особенно на европейской почве, в Греции и в Риме личное движение человека, а следовательно, и движение общественное так сильны, что ни жрец во имя божества, ни властитель светский не могут остановить их, отчего происходят столкновения прав, борьбы, стремления к уравниванию и усиленная жизнь общественная.

В Риме мы видим людей полноправных и бесправных, одних подле других, причем последние не рабы, потерявшие сознание о праве и человеческом достоинстве, а свободные, развившие свои силы движением, подвигом. Полноправные для сохранения своего положения хотят стать на религиозной почве как члены освященных родов; почва действительно твердая, преимущество громадное, но нет твердыни, которая бы устояла против постоянного приboя волн европейской жизни. Подле сбродная толпа пришельцев, безродных, а потому безбожных; они стучатся в святилище; не пустят волею, не пойдут на сделку — войдут и силою. Древнейшие предания Рима указывают нам прямо на сделки, обличающие практический смысл народа и в свою очередь развивающие практический смысл. Сам царь по его отношениям к патрициям и плебейам был результатом сделки. Патриции — естественные охранители существующего порядка, враги движения, друзья покоя, мира, но царь хочет силы, которая дается военными подвигами, завоеваниями; для этого он нуждается в дружине, войске, плебейам; ему легко относиться к ним: это люди бесправные, несамостоятельные, они смотрят только из рук царя, своего покровителя; плебеи для царя — свои люди. Царю важно дать большое значение плебейам, прорвать ими сплоченные ряды патрициев, ввести их в совет стариков, отцов, в сенат. В древнейших преданиях интересы войска прямо противопологаются интересам отцов, сената. Всегда и везде при общественных движениях, при борьбе полноправных граждан с неполноправными последние стремятся к уравниванию с первыми посредством подвига (причины и следствия развития личности), посредством собственности (опять часто причины и следствия развития личности), наконец, посредством могущественных по своим личным средствам и по своему общественному положению людей, которым выгодно или изменять существующий порядок поднятием новых общественных элементов, или по крайней мере выгодно этим поднятием уравнивать, ослаблять значение людей, издавна пользующихся известными правами. На Востоке при одной бесправности, при рабстве всех перед одним этот один не имеет побуждений производить общественные движения, перемены: существующий порядок вполне его удовлетворя-

ет, и ему нужно одно — упрочить, освятить его религиозным освящением, причем необходима сделка со жрецами, уступка им известной доли власти, влияния, выгод. На Западе перед человеком, поставленным наверху, несколько различных элементов, неровных, находящихся в столкновении друг с другом и находящихся в различных отношениях к нему; отсюда и невозможность безразличия отношений его к ним, он необходимо принимает участие в общественном движении.

Важнейший вопрос в жизни государства, на какой бы степени развития оно ни находилось, — вопрос, который поднимает так много других важных вопросов и способствует тому или другому решению их, есть вопрос о внешней безопасности. Первой обязанностью гражданина есть обязанность защищать свою землю, свое государство от неприятельского нападения. Но все ли равно должны нести эту обязанность? Решение этого вопроса зависит от государственного устройства и, как обыкновенно бывает, в свою очередь могущественно действует на формы этого устройства, на их изменение. В первоначальном обществе, состоявшем из свободных и рабов, поднимался первый вопрос: можно ли допустить раба к защите земли, раба, у которого нет прав, который не имеет никаких побуждений охранять тяжкий для него порядок вещей, который ничего не потеряет от перемены господ, которому опасно, наконец, дать оружие в руки? Отсюда исключение раба от обязанности военной службы, которая, таким образом, делается уже правом свободного; раб вооружается только в крайнем случае, и тут необходимое условие этого вооружения — свобода. Но вопрос об обязанности или праве военной службы тесно соединен с финансовым вопросом: война требует издержек. Положим, что в случае успешной войны ратник кормится на счет неприятелей и получает добычу, но все же он должен выходить в известном вооружении, иметь коня.

Таким образом, право военной службы необходимо соединяется с правом иметь средства для нее, иметь более или менее значительную собственность. Мы уже сказали, что уравнение неполноправных граждан с полноправными происходит посредством собственности, то есть человек богатый, но худородный и потому неполноправный стремится в

ряды родовитых, знатных в полноправных. Это стремление достигает своей цели именно потому, что человек худородный, но богатый равняется, а иногда и превосходит родовитого человека своими средствами нести военные тяготы, защищать землю. Так, во имя этой-то способности произошло в Риме поднятие богатых плебеев в высшие классы, характеризующее так называемое устройство Сервия Туллия. В древнейший, следовательно, период римской истории, в период царей, уже произошло это движение лучших, то есть богатейших, плебеев в верхние ряды, произошло уравнение. Это уравнение относится к царствованию предпоследнего царя, и потому понятно, почему свержение последнего царя, Тарквиния Гордого, совершилось так легко, не встретило сопротивления в плебейях, которые были лишены своих представителей, лучших, богатейших людей, довольных своим положением, не нуждавшиеся в дальнейшем движении, имевшем совершаться с помощью царя. Кроме того, согласие плебеев на переворот было обеспечено тем, что при изгнании Тарквиния лучшие, то есть богатейшие, из них были приняты в число сенаторов, хотя бы и с названием *приписных* (*conscripti*), но это нисколько не умаляло их значения. Таким образом, знатность и богатство сосредоточивались теперь у патрициев, которые представили настоящую аристократию, лучших людей; понятно, почему теперь попытки к восстановлению царской власти не удались и Брут должен был удовольствоваться консульством и казнить собственных сыновей. Наконец, не должно забывать приплыва новой силы к патрициям: в Рим переселился могущественный сабинский родоначальник с целым родом своим, Аппий-Клавдий. Но так как в обществах, об одном из которых идет речь, сильный род обыкновенно обростает, так сказать, людьми, не связанными кровными узами, но вошедшими извне к членам рода в более или менее подчиненные отношения, закладчиками, захребетниками или, как они назывались в Италии, клиентами, то Аппий-Клавдий привел около 5000 людей, способных носить оружие.

Таким образом, Рим в начале республики представляет нам наверху патрициев, то есть знатных и богатых людей, внизу — плебеев, то есть худородных и бедных людей, и борь-

ба, знаменитая борьба между патрициями и плебеями, начинается вовсе не стремлением плебеев к уравниванию в правах с патрициями, но столкновениями богатых с бедными, заимодавцев с должниками: беднякам не до уравнивания прав, им нужно только обеспечить себя от рабства. Плебеи были совершенно свободные люди и землевладельцы. Но относительно землевладения различие между ними (или по крайней мере многими из них) в начале республики и патрициями состояло в том, что плебеи, как беднейшие, не имели средств ни увеличивать своей земельной собственности, ни обрабатывать землю посредством рабов, что могли делать богатые люди, а богатство в описываемое время было сосредоточено в руках патрициев, которые могли занимать и часть публичной или государственной земли (*ager publicus*), ибо имели средства ее возделывать; одного права, которое они себе присвоили, — права занимать государственные земли, было бы недостаточно без средств пользоваться этим правом.

Плебеи если бы даже и имели это право, то им не для чего было брать государственные земли, ибо они не имели средств к их обработке. А тут военная служба: плебей со взрослыми сыновьями сам обрабатывает свою землю и должен покинуть земледельческие занятия при объявлении войны, должен выступить в поход со взрослыми сыновьями вооруженный и содержать себя во время похода; земля остается необработанною; чем же кормить и платить податей? Необходимо входить в долги. Деньги можно занять только у людей богатых, то есть у патрициев, которые не беднели от войны, ибо земли их обрабатывались рабами и за пользование государственными землями они не платят податей. Патриций даст денег взаймы плебею, но возьмет $8\frac{1}{2}$ процентов; не будет должник в состоянии выплатить денег — обращается в рабство. Скоро положение плебеев, из которых многим, если не большинству, рано или поздно грозило рабство, сделалось невыносимо; которые оставались на свободе, имели средства содержать себя и платить долги — у тех родственники томились в рабстве. От заимодавцев нечего ждать пощады: это не только богатые люди, это люди знатные, стремящиеся замкнуться в заколдованный круг, куда никто снизу не должен прорываться, которые захватили себе все права, которые считают всех не сво-

их другими людьми или даже не людьми и потому не могут иметь к ним сочувствия, сострадания. Люди, которые недавно попали в патриции, разумеется, должны были относиться к плебеям хуже старых патрициев, чтобы заставить забыть о своем происхождении, тем более что они-то, вышедшие в знать по богатству, и должны были составлять наибольшее число заимодавцев. Наконец, сострадание, нежелание пользоваться своим правом во всей строгости было опасно для патриция: оно возбуждало подозрение, что патриций желает снискать расположение бедных, толпы для своих властолюбивых целей, для восстановления царского достоинства. Итак, бедным плебеям нет выхода спокойного, естественного; в таком случае прибегают или к восстанию, или к бегству; плебеи выбирают последнее и целою массою, в 18 000 человек, выходят из города. Патриции должны идти на сделку и согласиться на установление плебейских защитников, или трибунов, которые одним словом: «запрещаю» (veto) — могли останавливать сенатское решение или консульский приговор, враждебные плебейским интересам, и, если бы патриции не обратили внимания на их запрет, отказывать со стороны плебеев в платеже податей и в военной службе.

При этом установлении плебейских трибунов мы не видим стремления плебеев к уравниванию прав, не видим стремления установить новый порядок вещей, новые законы, которые были бы благоприятны для бедных плебеев, для должников. Мы видим только поднятие из среды плебеев нескольких лиц — пяти, десяти, которым поручается охрана плебейских интересов, причем они должны действовать, руководясь своим крайним разумением, не имея никакого правила, никакого закона, никакого наказа. Этот личный, так сказать, характер трибунства ведет необходимо к мысли, что все дело сделалось под влиянием известных лиц. Общие выражения: борьба патрициев с плебеями, угнетение плебеев, бедных, должников патрициями, богатыми, заимодавцами — эти общие выражения не должны отвлекать наше внимание от подробностей, необходимых по естественному закону явлений.

Как не все патриции были богаты, так не все плебеи были бедняки, задолжавшие патрициям. У патрициев неравенство

личное и имущественное сглаживалось равенством прав, общими интересами, участием в правлении, широкостью горизонта как необходимым следствием этого участия; отсюда известное сходство между членами патрицианского круга, — сходство, присущее обыкновенно аристократии, сплоченность между ее членами, возможная уже по самой немногочисленности их, равенство и стремление поддержать это равенство против стремления отдельных лиц к первенству, к господству. В многочисленнейших низших рядах, среди плебеев, другое: здесь из толпы людей бедных, притесненных, заботящихся только об удовлетворении первых потребностей, о хлебе насущном, выделяются люди достаточные, обеспеченные относительно первых потребностей и естественно стремящиеся к удовлетворению других, новых потребностей, стремящиеся к большему значению, к более широкой деятельности. Это стремление усиливается междуумочностью их положения; равенство между ними и собратиями их исчезло вследствие неравенства имущественного, а плебейское равенство бесправия, конечно, не могло успокоить богатых плебеев; они, естественно, должны были стремиться к уравниванию прав, к возможности войти в высшие ряды, получить большое значение; самое простое средство для этого — сделаться официальными представителями плебеев, охранителями их интересов, их вождями. Такое значение имели трибуны, в которые, естественно, выбирались самые представительные люди, самые богатые и самые способные.

Патриции очень хорошо поняли характер явления, поняли, что Рим нажил себе пять, десять демагогов, из среды которых легко могли явиться тираны; и действительно, трибунат заключал в зародыше империю, отсюда вечное беспокойство и волнение патрициев, ненависть их к учреждению плебейского трибуната, стремление уничтожить его. Разумеется, значительное количество плебейских трибунов (пять, десять) было выгодно для патрициев, давая возможность улаживаться с одними против других; не говоря уже о подкупе материальными средствами, между трибунами естественно были соперничество, зависть и вражда за влияние, притом плебею бывает всегда так приятно, когда знатные люди за ним ухаживают. Наконец, не имеем никакого

права предполагать, чтобы все те трибуны, которые не поддерживали своих собратий в борьбе с патрициями, были непременно так или иначе подкуплены и вообще действовали по дурным побуждениям; они могли действовать по личному характеру своему и по убеждению, что такой товарищ или такие товарищи их без нужды волнуют народ. Если патриции видели в том или другом беспокойном трибуне демагога, будущего тирана, то и некоторые плебеи, трибуны, ревностные прежде всего к свободе, могли смотреть точно так же. Но что могло быть всего хуже для патрициев, так это то, что это новое могущество, это соблазнительное указание на возможность волновать толпу и достигать известных целей могли подействовать на самих патрициев и выставить из их собственной среды демагогов, которые найдут такие средства для приобретения популярности, какие не могли прийти в голову плебеям, воспитанным в узкости взглядов. Человек, наполненный патрицианским духом, отъявленный враг трибунов и всех плебейских притязаний, Кориолан испытал на себе силу плебеев: как бы дело ни было, он умер в изгнании. Этот пример Кориолана показывал ясно патрициям, что и для достижения консульства надобно приобретать расположение плебеев, и чем большее расположение плебеев приобретет какой-нибудь патриций, тем большего значения мог достигнуть; и вот патриций Спурий Кассий придумывает самое сильное средство приобрести расположение плебеев и нанести страшный удар патрициям.

Патриции понимали очень хорошо, что одною своею родовитостью, хотя и при религиозном освящении, нельзя было долго поддерживать своего значения, своих прав, что для этого необходимы были материальные средства, богатство, отсюда стремление захватить в свои руки как можно более земельной собственности. Патриции отчасти достигали своей цели, отбирая у плебеев земли за долги, но этому помешало восстание плебеев и учреждение трибунов. У патрициев оставалось, впрочем, средство сосредоточивать в своих руках земли: это право владеть государственными землями, которые постоянно увеличивались посредством завоеваний. Понятно, что теперь, когда с установлением трибуна так уяснились отношения между двумя частями рим-

ского народонаселения, когда патриции должны были уже вести оборонительную войну против плебеев, им нельзя было нанести более чувствительного удара, как посягновением на это право их исключительного владения государственным полем (*ager publicus*) с возможностью избывать платежа податей, ибо контроль был в их же руках. И вот этот удар намеревался нанести им их же собрат Спурий Кассий предложением закона об уступке части государственного поля плебеям. Спурий Кассий был обвинен в измене, в стремлении захватить верховную власть и казнен, но ягом полевой закона (*lex agraria*) уже заразились трибуны.

Трибуны стали требовать принятия Кассиева закона, но патриции выставили сильное, непреодолимое сопротивление и указали на обычное средство для бедных и безземельных приобретать земли — вывод колоний, что было также и средством для удаления из общества самых беспокойных людей, лучшего материала для трибунских поджогов. Но здесь, разумеется, мы не должны упускать из внимания этого любопытного явления, что полевой закон не прошел. Положим, что патриции отчаянно противились, но мы знаем, что плебеи умели побеждать сопротивление патрициев не только когда им становилось нестерпимо, как в двух случаях удаления из Рима, но и в проведении всех других законов, уравнивавших положение обеих частей народонаселения. Из этого имеем полное право заключать, что полевой закон не был очень нужен плебеям, то есть, другими словами, их материальное положение не было дурно.

Гораздо сильнее, как видно, была потребность в писаном законе, и эта потребность была удовлетворена. Мы знакомы с обычаем древних обществ, соблюдавшимся в подобных случаях: в Спарте, в Афинах поручалось написание законов одному; в Риме поручили десяти, давши им неограниченную власть с упразднением всех других властей. Но и это разделение властей между десятью не спасло от преобладания одного и злоупотреблений с его стороны, что повело к сильному волнению, ко второму удалению плебеев из Рима и к восстановлению прежнего государственного устройства с консулами и трибунами; из этой смуты, впрочем, Рим вынес законы XII таблиц. Потом мы видим проведение Канулеева

закона, по которому браки между патрициями и плебеями становились законными; рушилась, следовательно, кастовая преграда между двумя частями народонаселения, основанная на религии: плебеи перестали считаться погаными, безродными и потому безбожными. Возможность проведения этого закона показывает нам образование многочисленной и богатой плебейской аристократии, с которой выгодно было родниться.

Кроме того, родовое и религиозное основание могло иметь большую силу вначале, когда безродность плебея была в свежей памяти, но должно было ослабевать с течением времени, когда и плебей забывал время поселения своего предка в Риме, так оно было отдаленно, и культ общих божеств необходимо ослаблял культ божеств родовых. Родовое и религиозное основание если и не исчезло, то с течением времени должно было уступить в силе основаниям политическим, а последние доступны для сделок. Кто мог настоять на проведении Канулеева закона? Самая богатая и потому знатная часть плебейского народонаселения с трибунами, избранными, разумеется, из нее же. Но она не настояла бы, если бы сопротивление патрициев было дружно, если бы в их рядах не было людей, благоприятствующих закону; испугать же патрициев третьим удалением плебеев из города было нельзя: масса плебеев не удалась бы из-за Канулеева закона, который до нее не касался, ибо и не для нее было право равного брака с патрициями, а только для людей, находящихся наверху, подле патрициев. Получив право брака, этому верхнему слою плебеев последовательно было требовать консульство, и непоследовательно было со стороны патрициев выставлять препятствия этому требованию, но тут дело шло не о родовом и религиозном основании, а о привилегии, которою пользовалось ограниченное число фамилий и которую нужно было разделить с другими фамилиями. Делать было, однако, нечего, надобно было идти на уступки, на сделки; в высших рядах плебеев были такие богачи, которые могли кормить целый город во время голода; лучше было допустить таких людей к правлению, чем дожидаться, когда они станут кормить народ, и иметь с ними тогда дело на площади. Замаскировали лишение привилегий отменою консулов и установлением военных трибунов с кон-

сильскою властью; потом установили цензоров, которые могли избираться только из патрициев.

Впрочем, сначала напрасно много беспокоились: плебеи выбирали в военные трибуны патрициев, а не плебеев. Выставляют скромность плебеев в этом случае. Но взглянем проще на дело: нет никакого основания предполагать между массою плебеев и людьми, выскочившими из них наверх, той сословной сплоченности, того единства интересов, какое обыкновенно существует в высшем сословии, в аристократии. Здесь это возможно благодаря малочисленности членов и относительному равенству между ними; там невозможно по самой многочисленности членов. Люди, выделившиеся из массы плебеев по богатству и стремившиеся войти в правительственные ряды, были так же чужды остальным плебеям, как и патриции; в последних уважали наследственную правительственную опытность и выбирали их, плебея обходили свои же по нерасположению к выскочке, по неуважению к человеку, отличавшемуся преимущественно только своим богатством. Положение большинства плебеев объясняется также следующим происшествием: в 439 году, во время страшного голода, богатый плебей Спурий Мэлий скупал хлеб, продавал по дешевой цене, а бедным раздавал и даром. Явилось обвинение, что Мэлий стремится к захвату верховной власти, что в его доме происходят тайные собрания, что приготовлено оружие, наняты воины и подкупленные трибуны будут действовать против свободы. Сенат поспешно назначает диктатора (знаменитого Цинцинната), и главный исполнитель диктаторских распоряжений, начальник конницы, нападает на Мэлия на площади и убивает его. Плебеям раздается безденежно хлеб из житниц убитого, и они остаются спокойными.

Теперь из известных нам главных событий так называемой борьбы плебеев с патрициями мы имеем возможность вывести заключение, когда именно затрагивались существенные интересы целого плебейства; это было только два раза: перед установлением трибунов и перед уничтожением децемвирата, когда все плебеи вставали как один человек и решались оставить Рим; в остальном же мы должны разуметь борьбу верхнего слоя плебеев, богатейших и виднейших из них,

которые хотели получить одинаковые права с патрициями. Дважды правительство, то есть патриции, разделяется энергически с людьми, обвиненными в искании популярности: со Спурием Кассием и Мэлием, — и плебеи остаются спокойными даже во втором случае, когда умертвили его кормильца. Эта странность должна вести также к заключению, что на обвинение, выставленное сенатом против обоих названных лиц, едва ли мы имеем право смотреть как на клевету, изобретенную патрициями для их погубления.

После галльского разоренья опять жалобы должников на жестокость заимодавцев, но третьего ухода плебеев из Рима не видим, из чего заключаем, что беда не была так велика, как прежде. И при этом случае встречаемся со знакомым явлением: один из патрициев, знаменитый своими заслугами Манлий, становится чрезвычайно популярным, выкупая собственными средствами должников, клянясь, что, пока у него есть пядь земли, до тех пор не позволит, чтобы римлянина взяли в кабалу за долги. Манлий погиб, подобно Кассию и Мэлию, обвиненный в государственной измене. И опять не было ухода плебеев из Рима: или масса была равнодушна, или вожаки не считали Манлиева дела своим. Другое дело, когда два трибуна Лициний Столон и Люций Секстий потребовали, чтобы восстановлено было консульство и один из консулов должен быть из плебеев. К этому требованию, важному для немногих, было присоединено другое — ограничивалось количество земли, какое можно было занимать из общественного поля, остальная часть которого должна была быть разделенною на небольшие участки и розданною плебеям в собственность. Наконец, трибуны требовали смягчения долговых обязательств. Два последних требования были так важны для большинства, что трибуны могли смело надеяться на его поддержку и действительно были поддержаны, но при этом они сумели настоять, чтобы все требования были нераздельны, и таким образом одержали полную победу. Естественно было вождям победителей первым воспользоваться плодами победы, и Люций Секстий выбран был в консулы; что же касается товарища его Лициния Столона, то он был осужден за нарушение собственности закона, то есть за занятие лишней казенной земли.

После допущения плебеев к консульству допущение их ко всем другим должностям последовало скоро: последовало уравнение в правах, исчезли патриции и плебеи в Риме. Дело произошло таким образом — существовали одна подле другой две части народонаселения: привилегированная, имевшая исключительное право на занятие правительственных должностей, и непривилегированная. В старые времена пополнению, поддержанию сил первой содействовали против ее воли цари, вводившие в сенат новых членов из плебеев; тотчас после изгнания царей нужда заставила сделать это и самих патрициев; плебей, раз сделавшись одним из *отцов*, то есть сенатором (*pater*), тем самым необходимо становился родоначальником *отцовских детей*, патрициев. Но потом патриции по естественной неохоте, укрепляемой религиозно-родовыми представлениями, перестали употреблять это средство, снимать сливки плебейского общества к себе в сенат, и этим заставили верхний слой плебейского общества стремиться туда силою. Это стремление увеличивалось постепенно вместе с увеличением средств плебеев, то есть вместе с умножением среди них числа богатых и наиболее готовых к правительственной деятельности людей, которые не могли оставаться покойны, видя себя осужденными на бездействие, на роль избирателей и никогда избираемых. Победа этого верхнего слоя плебеев показывает нам, что на их стороне были большие средства, средства, постоянно увеличивавшиеся, а на стороне патрициев средств было меньше, и если даже они увеличивались, то не в одинаковой пропорции со средствами противников. Мы уже показали, что под этими средствами не должно разумеать одного численного большинства плебеев.

С уравнением прав обеих частей римского народонаселения правительство римское получило возможность черпать силы из двух источников, потому неудивительно, что мы видим такое блестящее проявление этих сил. Но под этим блеском, при этом распространении римского владычества на весь известный тогда свет мы уже замечаем признаки ослабления, упадка нравственных сил и вместе древних форм жизни. Какие же были причины этого явления?

Мы видели, что борьба между патрициями и плебеями была искони борьба между началами родовым и дружинным,

или личным. Родовое начало со своим религиозным цементом держалось крепко и долго; самая борьба с плебеями, это постоянное пребывание подле враждебного лагеря, обуславливала крепость патрицианской общины, сомкнутость, единодушие ее членов, верность своему началу, отсюда строгость этого начала, строгость отцовской власти, проявлявшаяся так резко в известных случаях, отсюда та строгая дисциплина, которою была проникнута жизнь римлян и которая дала им господство над народами. Эта дисциплина необходимо обуславливала нравственную силу, нравственное влияние в частых столкновениях, волнениях, борьбе; самое сильное восстание плебеев против патрициев ограничивалось решением уйти из города; патриции казнят людей, действовавших в пользу плебеев, и последние остаются покойны. Но с течением времени плебеи все более и более берут верх в борьбе, получают право брака с патрицианскими семействами, получают уравнение прав относительно занятия правительственных должностей и поэтому самому место в сенате.

Не забудем, что торжество плебеев было торжеством личного начала над родовым и вело необходимо к сильнейшему развитию личности. Мы видели, что плебеи, стоявшие наверху и толкавшие первыми в двери заветного святилища, не могли иметь такого отношения к своей общине, какое патриции имели к своей, по многочисленности и неравенству плебеев; следовательно, в стремлениях этих передовых плебеев необходимо преследовались преимущественно личные цели. С привычкою к этим личным стремлениям, к плебейской широте и бессвязности явились знатные плебеи наверху, на правительственных местах и в сенате; при этом не забудем также одного чрезвычайно важного обстоятельства: вместе с ударом родовому началу подкапывалось и начало религиозное, служившее ему основанием; особенное значение здесь имело право брака между патрициями и плебеями. Отсюда уже будет понятно если не появление, то усиление демагогических стремлений, кончившихся явлением цезарей. Но должно обратить внимание и на другие обстоятельства. После торжества над карфагенянами Рим стал всемогущ: народы известной тогда Европы, Азии и Африки один за другим подчинялись ему; сфера рим-

лянина чрезвычайно расширилась, и он должен был выдерживать натиск множества чуждых явлений и понятий; борьба с ними была не так легка, как материальная борьба с Аннибалами, Митридатами и Антиохами, особенно когда пришлось вести дело с народом, представителем тогдашней европейской цивилизации — с греками. Несмотря на отчаянную борьбу охранителей с греческим влиянием, последнее восторжествовало, и завоеванная Греция подчинила себе завоевательный Рим.

Знакомство с разными толками греческой философии подорвало веру во все то, чему прежде верилось, что считалось священным и потому неприкосновенным. Сомнение начало свою разрушительную работу, а для создания нового, лучшего порядка вещей не было материала. Прежде равенство между членами правительственных, патрицианских фамилий поддерживалось узкостью сферы, малочисленностью отношений, отсутствием образования. Теперь с расширением сферы деятельности в трех частях света, с усложнением отношений открылось гораздо более простора для развития личных способностей, особенно когда это самое расширение сферы и усложнение отношений потребовали научного приготовления, развивавшего мысль, давшего ей силу, смелость и дерзость. Человек, приготовленный таким образом, легко выделялся из среды своих собратий, не сдерживался уважением к существующему, которое в его глазах было результатом варварского прошедшего, не сдерживался никаким уважением к людям, которые в его глазах проповедовали бессмысленное поддержание старины. Так мог относиться к существующему порядку и человек, который не руководился своекорыстными целями; тем более относился так человек, который имел в виду получить господство или по крайней мере видное и выгодное участие в правительстве.

Наконец, должно всегда обращать внимание на взаимодействие внутренней и внешней жизни народа, государства. Когда римляне жили в постоянной борьбе с чужими народами, в постоянном опасении от них, то это возбуждало их энергию, развивало их силы и обнаруживало влияние и на внутреннюю борьбу, умеряя ее крайности, принуждая к сделкам. Но потом с прекращением внутреннего движения, борьбы

между патрициями и плебеями, прекращается и трудная, по крайней мере близкая борьба внешняя; Рим не имеет более соперников, силы его вследствие того не натягиваются более, как прежде; нет более тех важных вопросов, тех трудных положений, которые необходимо у народов выставляют общее дело на первый план и таким образом сдерживают чуждые интересы. Рим стал празден, ему нечего было больше делать. Ставши владыкою тогдашней вселенной, он очутился в одиночестве и праздности, а праздность есть мать всех пороков, то есть относительно целых народов с исчезновением важных общих вопросов частные интересы начинают господствовать, нарушается необходимое для народной жизни равновесие между частными и общими интересами; отсюда застой, разврат, падение. Крепость и долгоденствие новых европейских народов зависит от их жизни в обществе равносильных народов, причем вопросы о силе, значении и безопасности государственной постоянно возбуждаются и сдерживают стремление частных интересов к господству; отсюда страх пред всемирною монархией, прекращающею жизнь народов в обществе и потому прекращающею и внутреннее развитие народной жизни; отсюда стремление к поддержанию так называемого политического равновесия, которое было неизвестно Древнему миру. Рим, ставши всемирным государством, естественно, подвергнулся застою, гниению; отсюда недовольство и требование, с одной стороны, строгого охранения славной и здоровой старины, с другой — требование преобразования для восстановления больного организма и, наконец, с третьей стороны — стремление к захвату верховной власти.

Борьба между патрициями и плебеями кончилась, последовало уравнивание прав, каждый гражданин получил возможность достигать высших правительственных мест и сенаторства. Могли быть жалобы на злоупотребления тех или других правительственных лиц, на состав сената, но против злоупотребления правительственных лиц и сената были средства в самой конституции — цензура нравов, а главное, правительственные лица избирались народом, следовательно, вся ответственность падала на эти выборы: недостойность избираемых могло обличать только недостойность избирателей. Указывают на это недостойство, указывают, что

количество граждан, владевших небольшими участками земли, чрезвычайно уменьшилось; которые оставались, те не присутствовали на выборах по отдаленности и будучи заняты сельскими работами; выборы зависели, следовательно, от римского городского народонаселения, состоявшего теперь из обедневших безземельных граждан, лишенных бедностью независимого положения, из клиентов, вольноотпущенных и пришельцев, людей зависимых и доступных подкупу.

Так как теперь правительственные места кроме чести и обязанности стали еще очень выгодны, то для достижения их люди со средствами не щадили издержек в надежде вознаградить их с барышом, и таким образом вследствие подкупа выбор мог пасть на людей недостойных. Итак, весь вопрос заключался в исправлении системы выборов, и здесь прежде всего представлялась необходимость увеличить число независимых избирателей. Таковыми могли быть владельцы мелких земельных участков, которые исчезали. Жалуются на богатых землевладельцев, что они захватывали мелкие участки бедных землевладельцев, но любопытно, что ни один пример подобного захвата не вызвал народного волнения, никто не заступался за несчастного, лишенного своей земли, — ни человек, руководящийся чувством справедливости, ни агитатор, который искал удобного случая волновать народ.

Дело объясняется легче: во-первых, Аннибалова война сильно опустошила Италию; потом мы видим, что число граждан увеличивается, но при этом мы не знаем отношения римского городского народонаселения к сельскому и имеем право предполагать, что увеличение произошло в городском населении, ибо в Рим вследствие его положения как столицы мира стекались удобства и украшения жизни, удобства всякого рода промысла. Последующее же уменьшение числа граждан с 600 года должно приписать влиянию жизни в большом городе, ослаблению сельской жизни. Вследствие распространения римских владений, вследствие присоединения Сицилии громадный привоз хлеба так удешевил этот товар, что заниматься хлебопашеством в Италии в малых размерах и вольным трудом стало невыгодно, и мелкие землевладельцы продавали свои участки богатым, вероятно,

даже за дешевую цену и переселялись в Рим, чтобы сделать из своих денег более выгодное употребление. Вследствие того что Рим делался столицей мира, денежные обороты в нем чрезвычайно усилились и образовался класс богачей, занимавшихся этими оборотами, так называемые всадники, денежная аристократия, которая стояла подле землевладельческой аристократии и часто вступала с нею в состязание относительно известных государственных отпращиваний. *Возделывание* денег стало на первом плане, отстраняя возделывание земли. Римляне с страстием предали этому новому возделыванию; знаменитый республиканец Брут был страшный ростовщик.

Но так как настоящее представляло печальные явления, то, естественно, являлся страх за будущее и сожаление о прошедшем. Кидалась в глаза эта революция, вследствие которой движимое, деньги взяли верх и древний землевладельческий характер Рима изменился. Естественно было родиться убеждению, что так как прежде республика была крепче, нравы чище, то это было тесно связано с господством земледелия, а настоящая порча нравов и неправильность государственных отпращиваний находятся в тесной связи с упадком земледелия, с уменьшением числа свободных земледельцев, с увеличением городского народонаселения, с господством денег. Следовательно, чтобы укрепить республику, очистить нравы, необходимо возвратиться к старине, поднять земледелие, увеличить число свободных земледельцев, мелких землевладельцев. Было узаконено, что землевладелец обязан употреблять известное число свободных работников пропорционально числу рабов. По поручению правительства переведено было на латинский язык карфагенское сочинение о земледелии. Наконец, для увеличения числа мелких землевладельцев вспомнили об аграрном законе. Но при таком порядке вещей, когда мелкое землевладение было невыгодно, к каким результатам могла повести попытка искусственным образом создать класс мелких землевладельцев посредством старого «трибунского яда» — аграрного закона? В старину аграрный закон имел смысл уже и потому, что вполне соответствовал общему стремлению к уравнению прав патрициев и плебеев: зачем одни патриции име-

ли право пользоваться государственною землею, а плебеи не имели? Но теперь, когда уравнивание прав последовало и когда являлось только различие между богатыми и бедными, когда давность пользования изгладила границы между частной и государственной собственностью, то аграрный закон являлся грабежом для одних, но удовлетворял ли других, если по известным условиям мелкое землевладение было невыгодно?

Зло было велико: Рим наполнился людьми, которые были заражены пороками, господствующими между народонаселением больших городов, людьми зависимыми, а между тем эти люди были избирателями. Понятно, что людям благонамеренным хотелось возвратиться к старине, усилить число избирателей независимых, отличавшихся большею простотою и чистотою нравов; но против болезни было ли выбрано лекарство действительное? — это другой вопрос. Аграрный закон был потребован знаменитым трибуном Тиберием Гракхом, которого мы не будем обвинять в демагогических стремлениях; он мог желать уничтожения пролетариата между римскими гражданами, хотел дать земельную собственность людям, ее лишенным, и вместе средство завестись хозяйством, ибо вместе с наделом землею требовал разделения между бедными наследства пергамского царя Атталла. Как видно, он предвидел, что у мелкого землевладельца будет сильное побуждение продать свой участок крупному, и потому требовал разделения государственных земель не в собственность, а только в пользование, без права отчуждения, хотя при этом является опять неотвязчивый вопрос: где же было обеспечение в выгоде владения мелким участком?

Что же касается выборов и вообще решения дел более чистыми и независимыми людьми, то в деле Тиберия Гракха есть любопытное указание. Говорят, что сельское народонаселение было за него, а городское не было очень расположено ни к его лицу, ни к его планам, что и было причиной его гибели, ибо в решительную минуту сельское народонаселение не явилось в Рим, будучи задержано земледельческими работами; следовательно, не было выгоды увеличивать количество мелких землевладельцев в видах более правильного решения дел и более правильных, независимых выбо-

ров; во время земледельческих работ они бы не явились в Рим, как бы ни важно было решаемое там дело. Каковы бы ни были цели Тиберия Гракха, но он, чтобы сломить противодействие, повел дело так насильственно, с таким презрением закона, что мог возбудить сильное подозрение в намерении изменить существующий порядок, захватить верховную власть и дать противникам благовидный предлог действовать против него как против врага республики. Тиберий Гракх имел участь первого изобретателя полевого закона Спурия Кассия. Народ и теперь не защитил своего трибуна, как прежде не защитил ни одного из тех людей, которые хотели действовать в его пользу. Любопытно, что смерть Тиберия Гракха не остановила дела о разделе государственных земель, за которые стояли другие сильные люди, не могшие быть заподозренными в стремлении к верховной власти. Мы уже говорили, что многие, смотревшие с беспокойством на настоящее и будущее Рима и имевшие свои идеалы назади, в прошедшем, считали аграрный закон якорем спасения, ибо он, по их мнению, должен был восстановить прежние отношения, вернуть прежнюю простоту и чистоту нравов, воссоздать прежний земледельческий Рим.

В описываемое время аграрный закон был знаменем для людей, недовольных настоящим и тосковавших по старине: пастухи-рабы, которыми богачи населяли свои обширные имения, были им ненавистны; прогнать этих пастухов и поселить вместо них земледельцев — значит вернуть золотое старое время;

Тиберий Гракх принадлежал именно к этому кружку, к этой школе, для которой аграрный закон был знаменем; аграрный закон не исчез вместе с Тиберием Гракхом, ибо не был его личным делом; он исчез вследствие препятствий, встреченных им в условиях своего настоящего. При этом мы должны с большою осторожностью употреблять выражения «аристократическая и демократическая партия», «интересы народа в противоположность интересам правительства, интересам богатых собственников»: мы видим, что в деле аграрного закона движение идет из сферы правительственной, аристократической, если уже хотим употреблять это слово. С другой стороны, мы видим равнодушие к вопросу в низ-

ших слоях народонаселения, в так называемом народе; наконец, сильный протест против приведения в исполнение закона встречаем не со стороны богатых собственников в Риме, а со стороны латинских общин, которым были уступлены государственные земли особыми договорами.

В истории республиканского Рима мы видим, таким образом, две половины: в первой половине происходит борьба между патрициями и плебеями за уравнивание прав. После прекращения этой борьбы, после уравнивания прав обеих частей народонаселения патриции и плебеи исчезают: перед нами правительство, в ряды которого имеют доступ все граждане, — правительство, в постоянной своей части представляемое преимущественно сенатом; правительство, которое охраняет существующий порядок, то есть республику, и против него людей, которые хотят нарушить этот порядок, вызывая себе на помощь ту или другую силу, поднимая то или другое знамя. Мы присутствуем при ожесточенной борьбе правительства с этими людьми, которые, найдя самое действительное средство победы, наконец торжествуют, вследствие чего республика превращается в империю. Таков смысл явлений второй половины истории республиканского Рима от Тиберия Гракха до Октавия Августа.

Правительство боролось и низложило Тиберия Гракха не за поднятие аграрного закона, ибо других приверженцев этого закона оно не тронуло, а за насильственные действия против существующего порядка. Так же погиб в борьбе и брат Тиберия Кай Гракх, который, будучи научен братним опытом, что городское население нейдет на приманку аграрного закона, придумал другое средство, подействительнее, чтобы приманить его на свою сторону, именно предложил закон, чтобы каждому горожанину ежемесячно выдавалось известное количество хлеба из общественных магазинов за самую ничтожную цену. Цель была достигнута: толпа пролетариев постоянно окружала своего трибуна-кормильца, составляя его гвардию. Но он знал по опыту всех предшествовавших агитаторов, что эта гвардия не выдержит дружного натиска высших слоев, и потому он порознил всадников и сенаторов, проведя закон, по которому суд отнимался от сенаторов и присяжные должны были избираться наро-

дом из сословия всадников. Этим законом, как выразался сам Гракх, он бросил в среду лучших граждан мечи и кинжалы — пусть режутся!

Но этой резни и поддержки всадников и низших слоев римского народонаселения было мало для Гракха: он стал домогаться, чтобы латины получили полное римское гражданство, а прочие италийские союзники получили бы те права, которыми до сих пор пользовались латины. Это домогательство возбудило негодование во всех слоях римского народонаселения: дать латинам полное римское гражданство значило допустить их быть избирателями и избираемыми в правительственные должности; значило — римлянам надобно было отказаться от значения господствующего народа, исчезнуть в массе покоренного народонаселения, ибо за латинами не преминули бы последовать и другие италианцы, а за италианцами и жители провинций, как и случилось во времена империи при общем равенстве бесправия перед одним, имевшим все права. Подчиниться требованию Гракха значило добровольно допустить покорение Рима покоренными соседями, допустить распоряжаться в Риме тех, судьбою которых распоряжались до сих пор римляне; наконец, ближе всего это значило дать войско честолюбцу, который явно стремился к первенствующей роли, не скрывая своей ненависти против правительства, выставляя себя мстителем за смерть брата. Закон не прошел: другой трибун, Ливий Друз, произнес против него свое veto.

Для окончательного низложения Гракха правительство сочло необходимым сражаться с ним его собственным оружием, заискивая расположение низших слоев народонаселения, надавая им выгоды против Гракха: аграрный закон был предложен на новом, негракховском основании — бедняки должны были получить земельные участки в полную неотъемлемую собственность, без платежа подати; вместо вывода заморских колоний, предложенного Гракхом, обещаны были более удобные поселения в Италии. Вместо того чтобы латинам давать право римского гражданства, положено было взять у них общественные земли и разделить их на 36 000 участков для раздачи бедным римским семействам. Первая мера была привлекательна в том отношении, что да-

вала возможность хотевшему заниматься земледелием получить более выгод через освобождение от всякой подати; человеку же, который не находил выгодным и приятным для себя заниматься земледелием, давала возможность продать свой земельный участок, а богатому землевладельцу давала возможность приобрести его. Наконец, этою мерою прокладывался путь к тому, чтобы покончить с вопросом о разделе государственных земель, именно прокладывался путь к объявлению, что все, владевшие государственными землями, должны владеть ими вперед на праве полной частной собственности, что и было наконец постановлено; последняя же мера, относительно латинских земель, кидала нож между римским и латинским народонаселением и еще более отвращала римлян от мер Гракха, а следовательно, от него самого. Он не был избран в другой раз в трибуны и погиб, причем число людей, защищавших его с оружием в руках, простиралось только до 250 человек.

Судьба Гракхов показывала, что не было возможности сломить республику с помощью низших слоев римского народонаселения. Погиб Сатурнин, погиб Катилина — республика выдерживала все удары; но люди, стремившиеся к власти, нашли наконец средство достигнуть своей цели, сломить республику: это средство было войско. Рим был покорен собственным войском, собственными полководцами.

в) Разложение Древнего мира и начало нового

В конце предшествовавшей главы мы сказали, что последнее государство Древнего мира было завоевано собственным войском, собственными полководцами, и мы видели причины, почему ослабевший Рим позволил покорить себя. Мы видели, что процесс внутреннего развития Рима кончился с прекращением борьбы между патрициями и плебеями, кончился уравнением этих двух частей народонаселения. Другой задачи бытия, другого высокого и общего интереса не было более; возбудиться новым задачам, новым интересам было неоткуда: Рим стал владыкою известного мира и потому стал одинок. Отсутствие общего интереса необходимо ведет к преобладанию частных интересов; исчез патри-

цианский интерес, исчез плебейский интерес; следовательно, исчезла самая крепкая связь между патрициями, с одной стороны, и между плебеями — с другой. Прежде если Тит Спурий Лонгин был патриций, то первая мысль его была о том, что он, патриций, должен охранять патрицианский интерес, должен приноравливать все свои действия к этой цели; в каждом патриции он видел товарища, брата, с которым должен действовать дружно, неразрывно по единству интересов, с которым, следовательно, должен сближаться, ладить, равняться. Но когда борьба прекратилась, когда нечего было больше защищать сообща, исчез общий интерес, то Тит Спурий Лонгин, естественно, переставал себя чувствовать частью целого, он становился совершенно самостоятельным и начинал жить особняком, сосредоточивши все свое внимание на одних частных интересах.

Республиканский Рим пал не оттого, что уменьшились способности наверху, между людьми, находившимися в челе управления; напротив, способности увеличивались, ибо способным людям была возможность снизу достигать высших правительственных мест, но дело в том, что способности разделились, перестали преследовать одни общие цели, и часто люди наиболее способные шли против конституции для достижения частных целей. Вот почему так странно и более чем странно читать в некоторых авторитетных сочинениях возгласы против римской аристократии последних времен республики, — аристократии, забравшей в свои руки правительство и между тем оскудевшей правительственной мудростью, неспособной поддержать государство. Люди, позволяющие себе эти возгласы, забывают, что Катилины и Цезари были аристократы и что аристократы из страха пред Катилинами и Цезарями прижимались к человеку худородному, новому, провинциалу Цицерону, величали его отцом отечества, что эта аристократия, которую не церемонятся называть и олигархией, позволяла новому человеку, Цицерону, играть главную роль при защите древней свободы, древней конституции, против посягновений аристократов — Катилин и Цезарей.

Каким же образом явился такой странный взгляд на последние времена республиканского Рима, откуда явились тол-

ки об аристократии и даже олигархии и вредных ее действиях, о борьбе между аристократической и демократической партиями, причем не берут на себя труда изложить программы этих партий? Все это произошло от безнравственного поклонения успеху. В стремлении к достижению частных целей, к достижению господства начали получать успех люди, опиравшиеся на материальную силу, на войско, полководцы, и один из них, низложивши соперника, производит правительственный переворот, становится неограниченным главой государства. И вот историки сочли своею обязанностью не только объяснить явление, объяснить успех, но и оправдать его, а для этого нужно представить победителя, Цезаря, вождем народной стороны, демократии и тем возбудить к нему сочувствие у противников его; наоборот, понадобилось отнять сочувствие, унижить Помпея, Цицерона, унижить всех людей, стоявших в челе правления, заклеить их названием аристократов, олигархов и людей неспособных.

Мы видели, что падение старого республиканского Рима объясняется легко: когда исчезла внутренняя связь общего интереса, когда силы распались, пошли врознь вследствие побуждений частного интереса, то для поддержания государства явилась необходимость во внешней связи, внешнем сосредоточении сил и их направлении, что и доставила Риму военная монархия, или цезаризм. Мы повторяем, что анархия ведет к деспотизму; но что такое анархия, как не отсутствие внутренней связи в обществе, отсутствие высших общих интересов, жизнь врознь, разброд сил по указанию одних частных интересов? Такая анархия именно господствовала в республиканском Риме в эпоху его падения и повела необходимо к замене внутренней связи внешней, к цезаризму. Но из сказанного ясно, что цезаризм представляет чрезвычайно печальное явление. Это не была та или другая монархическая форма, вытекшая из условий исторической жизни известного народа, — форма, с ним сросшаяся, освященная преданиями веков; это была тирания, незаконный, хотя и необходимый захват власти в одряхлевшем обществе, потерявшем внутреннюю связь и тем лишившемся способности самоуправления; это была хирургическая повязка для соединения раздробленных частей больного организма, и

повязка бесполезная, ибо организм дряхл, раздробленные части не срастутся с помощью повязки. Так как новое правительство не имело никакого освящения, то оно не могло показаться на свет в настоящем своем виде, должно было скрыться за старыми, освященными формами, и отсюда, разумеется, происходила ложь, противоречие между формами и сущностью дела, что раздражало и властителя и подвластных, постоянно напоминая тем и другим незаконность явления. Цезарь имел неограниченную власть и не мог объявить, что ее имеет, не мог назваться царем, да если бы и назвался, то не умел держать себя по-царски, царских преданий и привычек не было на римской почве. Цезарь, сламывая всякое сопротивление, свирепствуя, истребляя лучших людей для утверждения своей власти, все же имел старые привычки, не мог обойтись без площади, без народа, без публичной жизни. Отсюда один сознательно всю свою жизнь играет комедию и требует, чтобы рукоплескали при ее окончании; другой, не будучи в состоянии играть комедии, бежит из Рима на уединенный остров; третий, не будучи в состоянии обойтись без площади и народа, хочет быть музыкантом, актером; четвертый является философом, пятый занимается огородничеством.

И все эти люди — люди строгой нравственности и чудовища разврата, безумцы и философы, музыканты и садовники, — сменяя друг друга поодиночке или целыми рядами, истрачивают последние силы Вечного города, проживают последние средства древней цивилизации; прибавить к этим силам и средствам лучшие из них ничего не могут. Рим одряхлел окончательно, одряхлел и Древний мир, одряхлела древняя цивилизация. Припомним, какое вследствие наших наблюдений мы получили понятие об этом Древнем мире.

Мы видели, что этот мир распадался на две половины, восточную, азиатско-африканскую, и западную, европейскую, и обе половины представили нам противоположность, хотя и не без переходных форм (в Финикии). В восточной половине мы видим более или менее обширные народные тела, очень слабо развитые, не расчлененные, не выделившие многих органов плотные массы, представляющие одно туловище и голову. Мы заметили, что в происхождении та-

ких народных масс преимущественно участвовала родовая форма. Эти монархии произошли из соединения многих разветвленных родов, которые, сближаясь вследствие размножения своих членов и сталкиваясь при исчезновении прежнего простора, стремились прекратить свои столкновения созданием внешней связи посредством одной общей главы, верховного родоначальника, ибо другой формы для связующего начала, другой формы правительственной они не знали. При этом, разумеется, усиление одного рода на счет всех других и насилие этого сильнейшего очень часто должно было содействовать образованию таких народных тел, таких монархий.

Особность родов и враждебность их друг к другу условливали неспособность к общему действию, следовательно, условливали необходимость сильной власти, все сосредоточивающей и всенаправляющей. Подле этой власти мы не видим сословий, самостоятельных по своим средствам, по землевладению или по богатству движимому, которые бы стремлением определить свои отношения друг к другу и к верховной власти могли сообщить движение народной жизни. В некоторых государствах Востока мы видим разделение народа на касты, но это разделение слишком резко, тут нет ничего органического, это раздробление на совершенно отдельные части, и понятно, что такое раздробление производило самую сильную надобность в связующем начале; если сильная власть условливается разделением подвластных, то и кастность необходимо ведет к деспотизму. Указывают на Востоке могущественные жреческие сословия, но это могущество далеко не таково, как с первого раза кажется. Значение служителя религии есть значение нравственное в противоположность материальному значению сильных земли. Служитель религии тогда силен, когда непосредственно обращается к нравственному чувству народа, возбуждает, поддерживает его, когда он не только жрец, но и пророк, то есть проповедник нравственности. Но известно, что языческие религии не имели тесной, необходимой связи с народною нравственностью; обязанности жреца ограничивались священнодействием, жертвоприношением, гаданием, волхвованием. Жрецы имели еще другое преимущество пред толпою — преимущество

знания. Но все эти преимущества без пророчества или проповедничества не могли дать жрецам независимости, и мы уже заметили прежде, что они пользовались этими преимуществами, чтобы приобрести как можно более материальных выгод, причем вошли в сделки с людьми, сосредоточившими в своих руках материальные средства, стали также орудиями для усиления и утверждения власти этих людей.

Допуская могущество влияния географического и этнографического, влияния природы и племени на судьбу народов, мы допустили и могущество влияния еще других, собственно исторических условий, влияния воспитания народного. Здесь мы указали могущественное влияние движения, странствования народного, соединенного с подвигом, с выделением дружин, деятельность которых создает геройский или богатырский период в истории народов. Этими явлениями характеризуется история европейских народов древности, история городов или гражданства в противоположность истории народов на Востоке. Но и здесь мы видим односторонность в развитии, видим города без народа, без страны. Еще в Греции мы замечаем некоторое единство, существует представление общности страны и общности народа; это происходит оттого, что здесь изначала были города равносильные, которые или боролись друг с другом, или соединялись для известной общей деятельности и потому необходимо должны были признавать высшее единство. Общая деятельность равноправных царей вначале, потом равноправных городов, общая борьба их с Востоком укрепила сознание высшего единства, сознание эллинизма в противоположность варварам.

Но Рим, не признавая для себя в Италии равных городов, не соединяясь с ними для общих действий вне Италии или для Италии, стремясь к владычеству над всеми другими городами и племенами Италии, не признавал над собою высшего, Италии; для римлянина существует только Рим, римский народ, все остальное в Италии было чужое. В Риме городская особенность древнего европейского мира достигла высшего выражения. Попытка поставить Италию выше Рима — союзническая война — не удалась. Город явился владыкою мира, но именно тут-то, достигнув высшей степени материального величия, Вечный город и теряет то значение,

какое город получил на Западе в древности, значение свободной, самоуправляющейся общины, республики: он подчиняется Цезарю; форма остается западная, городская, а сущность дела — восточная, бесправие всех перед одним и механическое сопоставление народностей посредством завоевания. Греко-римская цивилизация дает внешний блеск, лоск этой пестрой массе, но не связывает ее частей, а по двойственности своей разделяет римские владения на две большие половины, восточную и западную. Кроме этого разделения в западной половине находятся различные более или менее сильные, живучие национальности, которые ждут только первого внешнего толчка, чтобы выделиться; империя действительно делится сама собою еще прежде падения, которое есть не иное что, как деление окончательное. Это явление мы видим и на Востоке: распадение больших монархий по явственным надломам, обозначающим отдельные, насильственно соединенные национальности. Итак, Древний мир оканчивается распадением одной громадной империи на несколько отдельных государств. Но почему же здесь Древний мир оканчивается? Потому что историческая сцена расширяется, являются новые страны, бывшие до сих пор за оградой истории, являются новые народы с новым строем внутренней и внешней жизни, является новая религия.

Три группы народов — восточных, древнеевропейских и сменивших их новоевропейских — доставляют нам значительный материал для исторических наблюдений, но, имея в виду строгую научность, мы должны чрезвычайно осторожно поступать при этих наблюдениях и не вносить в науку выводов, сделанных на недостаточном количестве наблюдений. Так, мы должны признать ненаучным вывод о бесконечном прогрессе. Заметили, что древние европейские народы в своей цивилизации стали выше восточных, а новые европейские народы — выше древних, и провозгласили бесконечный прогресс. Но это провозглашение сделано слишком поспешно. Мы видели, что в развитии народа могущественно участвуют три условия: природа страны, природа племени и воспитание, то есть собственно исторические условия, при которых народ начинает и продолжает свое бытие; это те же самые условия, которые действуют и в жиз-

ни отдельного человека: среда, где он родился и действует, способности, с какими родился, и воспитание, им полученное, принимая воспитание в самом обширном смысле, то есть как совокупность явлений, действовавших в том или другом смысле на физическое или духовное развитие человека. Превосходство древнеевропейских народов над восточными нам понятно, потому что у первых видим чрезвычайно благоприятные природные, племенные и исторические условия, или условия народного воспитания, поэтому семена восточной цивилизации, упавши на добрую почву, должны были развиться сильно.

Также понятно нам превосходство новых европейских народов перед древними, потому что к той же выгоде условий природных и племенных присоединялся запас древней цивилизации да еще выгоднейшие исторические условия, лучшее воспитание, присоединялась общая жизнь народов при высшей религии. Но мы не имеем никакого права сказать, что дальнейшее движение возможно при ухудшении этих условий, что племена монгольские, малайские и негрские могут перенять у арийского племени дело цивилизации и вести его дальше. Мы признаем любовь, уважение к монголам, малайцам и неграм чувством очень хорошим, только заявляем, что не можем результата этого чувства внести в науку, ибо он не основан на наблюдении, на подмеченном факте. Предположить, что новые европейские народы будут бессмертны и из выгодных условий своего быта будут вечно почерпать возможность вести далее дело цивилизации, мы также не имеем права, ибо такое предположение будет противоречить наблюдению над всем существующим. Мы можем принять только те выводы, которые явились вследствие наблюдений над историческою жизнью народов.

Таков вывод, что в жизни исторических, доступных развитию народов заключаются одинаковые явления, одинаковые периоды, потому что каждый народ проходит известные возрасты, развивается по тем же законам, по каким развивается и отдельный человек. Чтобы дать своему взгляду более общности и применимости, мы делим жизнь каждого исторического народа на две половины, или на два возраста, как те же две половины замечаем и в жизни отдельного

человека. В первой половине народ живет, развивается преимущественно под влиянием чувства; это время его юности, время сильных страстей, сильного движения, имеющего результатом зиждительность, творчество политических форм. Здесь благодаря сильному огню куются памятники народной жизни в разных ее сферах или по крайней мере закладываются прочные фундаменты этих памятников. Наступает вторая половина народной жизни: народ мужает и господствовавшее до сих пор чувство уступает мало-помалу свое господство мысли. Таким образом, в жизни исторических, развивающихся народов мы признаем два периода, период чувства и период мысли; разумеется, мы так выражаемся для краткости, собственно, мы разумеем период господства чувства и период господства мысли. Сомнение, стремление поверить то, во что прежде верилось, что признавалось истинным, задать вопрос — разумно или неразумно существующее, потрогать, пошатать то, что считалось до сих пор непоколебимым, знаменует вступление народа во второй период, период мысли.

Теперь надобно определить отношение исторической науки к этому явлению. Разумеется, признание известного закона должно прежде всего успокаивать, вести к спокойному, беспристрастному наблюдению подробностей. Историк не для чего отдавать преимущество тому или другому периоду, ибо он имеет дело не с абсолютным прогрессом, а с развитием, при котором с приобретением или усилением одного начала, одних способностей утрачиваются или ослабляются другие. Человек возмужал, окреп, чрез упражнение мысли, чрез науку и опыт жизни приобрел бесспорные преимущества и между тем горько жалеет о невозвратно минувшей юности, о ее порывах и страстях, мудрец жалеет о заблуждениях, значит, в этом пережитом возрасте было что-то очень хорошее, что утратилось при переходе в другой возраст. Мы уже указали на значение периода чувства в народной жизни, периода сильных и страстных движений, периода подвигов, когда народ, находящийся под влиянием чувства, стоит твердо прикованный к известным предметам своих сильных привязанностей, он сильно любит и сильно ненавидит, не давая себе отчета о причинах своей привязанности и вражды. Стоит

только сказать ему, что предмет его привязанности в опасности, стоит подняться священному для него знамени — и он собирается, несмотря на все препятствия, он жертвует всем; чувство дает силу, способность совершать громадные работы, воздвигать здания не материальные только, но и политические; сильные государства, крепкие народности, твердые конституции выковываются в период чувства. Но этот же период знаменуется явлениями вовсе не привлекательными: довольно указать на обычный упрек, делаемый этому периоду и делаемый совершенно справедливо, — на упрек в суеверии, фанатизме, двух естественных и необходимых результатах господства чувства, не умеряемого мыслью. Но точно так же односторонне признавать за вторым периодом безусловное превосходство над первым.

Период господства мысли, который красится процветанием науки, просвещения, имеет свои темные стороны. Усиленная умственная деятельность обнаруживает скоро свое разлагающее действие и свою слабость в деле созидания. Чувство считает известные предметы священными, неприкосновенными; оно раз определило к ним отношения человека, общества, народа и требует постоянного сохранения этих отношений. Мысль считает такие постоянные отношения суеверием, предрассудком, она свободно относится ко всем предметам, одинаково все подчиняет себе, делает предметом исследования, допрашивает каждое явление о причине и праве его бытия. Чувство, например, определяет отношения к своему и чужому таким образом, что свое имеет право на постоянное предпочтение пред чужим; народы, живущие в период чувства, остаются верны этому определению, но постоянная верность ему ведет к неподвижности. Если народ способен вступить во второй период, или второй возраст, своей жизни, то движение обыкновенно начинается знакомством с чужим; мысль начинает свободно относиться к своему и чужому, отдавать преимущество жизни народов чужих, опередивших в развитии, находящихся уже во втором периоде. Чувство старается сохранить установленные им отношения, и происходит борьба более или менее сильная, с более или менее сильными реакциями вследствие одностороннего, крайнего развития борющихся начал.

Мысль, выведши народ в широкую сферу наблюдений над множеством явлений в разных странах, у разных народов, в широкую сферу сравнений, соображений и выводов, покинув вопрос о своем и чужом, стремится переставить отношения на новых общих началах, но ее определения отношений не имеют прочности, ибо каждое определение подлежит в свою очередь критике, подкапывается, является новое определение, по-видимому более разумное, но и то в свою очередь подвергается той же участи. Старые верования, старые отношения разрушены, а в новое, беспрестанно изменяющееся в многоразличные, борющиеся друг с другом, противоречивые толки и системы верить нельзя. Раздаются вопли отчаяния: где же истина? Что есть истина? Дерево познания не есть дерево жизни! Народ делает последнюю попытку найти твердую почву; он бросает различные философские системы, не приведшие его к истине, и начинает преимущественно заниматься тем, что подлежит внешним чувствам человека: что я вижу, осязаю — то верно, вне этого верного ничего знать не хочу, ибо вне этого нет ничего верного, все фантазии, бредни.

Сначала это направление удовлетворяет, сфера знания расширяется, результат добывается блестящий, точные науки процветают, их приложения производят обширный ряд житейских удобств. Но это удовлетворение скоропреходящее. Причины явлений по-прежнему остаются тайными; при исследованиях неизбежные беспрестанные ошибки; по-видимому, добыты богатые результаты, но в сущности добыта песчинка. А между тем материализм и неизбежная притом односторонность, узкость, мелкость взгляда наводнили общество; удовлетворение физических потребностей становится на первом плане: человек перестает верить в свое духовное начало, в его вечность; перестает верить в свое собственное достоинство, в святость и неприкосновенность того, что лежит в основе его человечности, его человеческой, то есть общественной, жизни; является стремление сблизить человека с животным, породниться с ним; печной горшок становится дороже бельведерского кумира; удобство, нежащее тело, предпочтительнее красоты, возвышающей дух. При таком направлении живое искусство исчезает, заменяется мертвой археологией.

Вместо стремления поднять меньшую братию является стремление унижить всех до меньшей братии, уравнивать всех, поставить на низшую ступень человеческого развития, а между тем стремление выйти из тяжкого положения, выйти из мира, источенного дотла червем сомнения и потому рассыпающегося прахом, стремление найти что-нибудь твердое, к чему бы можно было прикрепиться, то есть потребность веры, не исчезает, и подде неверия видим опять суеверие, но не поэтическое суеверие народной юности, а печальное, сухое, старческое суеверие.

Но если таковы законы развития человеческого общества, то понятно, как должны относиться к ним историк и гражданин. Историку нечего плакать над тем, что народ живет высшею жизнью, развивается; что народ перешел из одного возраста в другой, из периода чувства в период мысли, точно так же как историк нечего и восторгаться при этом переходе, приветствуя сомнение как начало абсолютно высшего порядка; обязанность историка спокойно, с возможной многосторонностью следить за условиями жизни народа во всех ее возрастах, представляя каждое дело и каждого деятеля по отношению к тому возрасту народной жизни, в котором они совершались и действовали. Что же касается обязанностей гражданина к своему народу и государству, то они одинаковы с обязанностями человека к своему собственному телу, к своему здоровью. Каждый человек знает, что он должен расти, мужать, стареть и, наконец, умереть, но это знание нисколько не уменьшает его забот о том, чтобы прожить как можно долее и как можно долее наслаждаться хорошим здоровьем. Несмотря на то что наш век определен, человек, находясь и в старости, зная, следовательно, что конец близок, все же хлопочет о сохранении своего здоровья, о том, чтобы эта старость была крепкая и свежая. Так и гражданин просвещенный, зная по верным признакам, что народ его находится далеко не в юношеском возрасте, должен всеми силами содействовать тому, чтобы народ жил как можно долее, чтобы самая старость его как можно долее была крепка и свежа, тем более что пределы жизни народов не ограничены так, как пределы частных людей. Зная, что в известные возрасты народной жизни господствуют извест-

ные начала и что от односторонности, исключительности их происходит вся беда, слабость и падение, просвещенный гражданин должен противодействовать прежде всего этой исключительности, односторонности, умерять одно начало другим, ибо от этого главнейшим образом зависит правильность отправления народной жизни, здоровье народа, его долговечность.

Мы не имеем права придумывать особые законы развития народов, кроме известных законов развития отдельного человека и всего органического. Как не у всех людей развитие совершается правильно, не у всех духовное развитие совершается соответственно физическому, некоторые останавливаются на той или другой ступени, некоторые умирают преждевременно, или родясь слабыми, или встречая сильные препятствия укреплению своего организма; те же самые явления мы замечаем и в жизни народов. Китайцев обыкновенно называют народом, остановившимся на известной ступени развития; но на какой? Вглядевшись внимательно, мы заключаем, что этот народ, несмотря на свою замкнутость, пережил оба возраста, или периода, и период чувства и период мысли, и теперь живет в старческом бессилии под господством материализма, с полным равнодушием к духовным вопросам, к вопросу религиозному. Религия для него есть нечто принятое, требуемое, с одной стороны, как полицейское правило, с другой — как общественное приличие: нельзя не исповедовать какой-нибудь веры, как нельзя ходить без платья по городу, платье не принимается здесь по отношению к удобству, к теплоте или холоду. От религии китайцам ни тепло, ни холодно; они никак не понимают, как можно заниматься религиозными вопросами, тем более ссориться из-за них, разум выше всего, религий много, а разум один. «Тюрьмы, — говорят они, — заперты днем и ночью, и между тем всегда полны народу; храмы постоянно отворены, и, однако, никого в них нет».

В Египте по крайней мере среди жрецов мысль, сомнения подточили древние верования, и египетский скептицизм был передан Греции, как мы видим у Геродота; египетские жрецы находились в таком же положении, как итальянские прелаты эпохи Возрождения: упитываясь новооткрытыми

диковинами древней философии, прелаты не верили в христианские догматы, но требовали, чтобы народ оставался при прежней вере и при прежнем суеверии, потому что это давало доход перешедшим в другой возраст прелатам. То что дошло до нас из религиозных и космогонических систем Индии, есть результат философской работы, заканчивающейся буддизмом. У другой отрасли арийского племени так называемое Зороастрово учение носит также философский характер и имеет значение реформы относительно старой религии. В греческой жизни, историю развития которой мы имеем большую возможность изучить, два возраста, или периода, обозначаются ясно, причем Персидские войны можно положить границей между ними, хотя историк вообще должен остерегаться настаивать на точности границ между двумя направлениями. Мы видели, что сильное внутреннее движение и раннее столкновение с чужими народами, с образованными народами Азии и Африки содействовали скорому развитию греков, переходу из периода чувства в период мысли.

Мысль, разумеется, прежде всего остановилась на народных верованиях, отнеслась к ним критически и заявила о их несостоятельности, причем движение шло не из собственной Греции, а из азиатских колоний, а это свидетельствует, что причина явления заключалась в знакомстве с чужими религиозными и космогоническими воззрениями. Разноречивые философские системы привели к результату, выраженному Анаксагором: «Ничто не может быть познано; ничто не может быть изучено; ничто не может быть верно; чувства ограничены, разум слаб, жизнь коротка». Такой взгляд в соединении с сильным развитием личности в Греции повел к учению так называемых софистов. Это учение обличает уже собственно греческое движение, европейскую почву, ибо прямо относится к жизни, к способу действия человека, к его нравственности. С таким же характером явилось противодействие учению софистов в школе Сократа, старавшейся установить поколебленную нравственную почву. Но это, бесспорно, самое высокое выражение греческой мысли не достигло своей цели, и новое философское движение окончилось скептицизмом, как старые школы повели к уче-

нию софистов. Ища твердой почвы, греческая мысль обращается к видимой природе, наблюдает частности и от них восходит к общим выводам. Гений Аристотеля освещает новый путь; оружие ученика его Александра Македонского открывает для греческой науки доступ в новые страны. Эта наука утверждает свое главное местопребывание в Древнем Египте, но в городе, построенном македонским завоевателем, в столице потомков одного из его полководцев. Наука в своем новом направлении процветает при огромных средствах, данных ей Птоломеями, но это уже последняя вспышка угасающего пламени. Греческий мир отживает; верный признак разложения — страшная безнравственность рядом с умственным развитием, с научными успехами. Птоломеи, которых за их покровительство науке некоторые писатели хотят считать самыми знаменитыми из древних государей, эти покровители науки и литературы и сами литераторы — один убивает своего отца и производит страшные неистовства в Александрии; другой обрубаёт голову, руки и ноги у своего сына и отправляет их своей жене и т. п.

В Риме Пунические войны можно отметить как время перехода из периода чувства в период мысли. Греки помогли римлянам совершить этот переход; духовные силы римлян развились немедленно под влиянием великих образцов, но это развитие, представляя уже осенний цвет, было современно со старческим одряхлением. В лучших и самых характеристичных произведениях римской литературы — в сатире и в страшных сказаниях Тацита — слышатся похоронные напевы. Новый период народного развития совпадал с переходом от одних государственных форм к другим. Греческая наука, помогая римлянину освободиться от старых верований и привязанностей, не указала ему новых крепких оснований, на которых бы он мог прочно перестроить свое старое государственное здание, греческая политическая жизнь, уже окончившаяся, не представила ему в этом отношении образцов.

Народы Древнего мира, способные к развитию, закончили это развитие, отжили; всемирная империя Рима разлагалась; над трупами вились орлы; новые народы делили области империи; в этих областях нашли они новую религию.

При наших наблюдениях над исторической жизнью древних народов мы не останавливались еще на одном, который стоял нравственно совершенно одиноко среди других народов, хотя внешним образом находился в беспрестанном столкновении с ними, стоя на дороге их движений: то был народ еврейский. Причина его нравственной однокости заключалась в резком религиозном различии от всех других народов. Среди всеобщего политеизма еврейский народ сохранял веру в единого Бога, свободно сотворившего все существующее и свободно им управляющего; от дуализма, от признания двух начал, доброго и злого, от мучительной работы мысли над объяснением происхождения зла еврейский народ был освобожден священным преданием, что зло явилось вследствие свободной воли человека, могшего противопоставить свою волю, свою самостоятельность исполнению воли Божией, совершенному преданию себя в руководство Божие. Непослушание, следствие сомнения, недоверия к словам Божьим, есть падение человека; следовательно, неверие есть падение, есть источник греха, зла, смерти. Бог обещал падшему человеку Избавителя от греха и зла, от смерти в его собственном потомстве; народ, из которого должен явиться Избавитель, есть народ еврейский. Человек, от которого этот народ ведет свое происхождение, Авраам, покидает свою страну, свой род, потому что он хранит веру в единого Бога, тогда как все вокруг него, собственный его род, заражены многобожием. Адам пал от неверия; никакие искушения не могут поколебать веры Авраама; Адам пал от непослушания; Авраам готов из послушания принести в жертву единственного сына. У каждого народа свой бог, свои боги; Авраам — хранитель веры в единого Бога, единого для всего человечества, и потому он есть отец всех верующих; он относится ко всем народам, о семени его благословятся все народы, и это отношение Авраама высказывается в горячем сочувствии его к чужим народам в знаменитой молитве его, чтобы Бог пощадил виновные города.

Авраам движется с востока на запад, в те страны, где пришельцу и с небольшим родом, окруженному небольшим числом зависимых людей, можно было найти безопасное существование, именно в те страны, где обиталища уже усевших-

ся народцев граничат с пустыней, убежищем кочевников. Авраам, его сын и люди ведут полукочевую, полуседлую жизнь, находят приют в чужих городах, ибо род не размножается; напротив, Авраам расходится с племянником Лотом вследствие размножения стад и ссор между пастухами; Исаак расходится с братом Измаилом, Иаков — с братом Исавом — примеры, что родовые столкновения и распри уничтожались расходом членов рода вследствие простора, возможности разойтись. С Иакова начинается размножение рода; у него двенадцать сыновей, но голод и судьба одного из сыновей Иакова побуждают старика со всеми своими переселиться в Египет. Здесь потомство Иакова чрезвычайно размножается. Это размножение становится подозрительно владельцам Египта, которые начинают истощать евреев тяжкими работами, принимают меры, чтобы остановить их размножение, приказывают повивальным бабкам умерщвлять младенцев мужского пола. Такие страшные притеснения должны были возбудить в евреях чувство национальности и особенности, основанной на религии отцов, вере в единого Бога, столь противоположной бесконечному многобожию египетскому, и в это время евреи получают боговдохновенного вождя, который выводит их из Египта.

Этот вождь-избавитель, Моисей, не похож на других вождей народных: он вовсе не герой, могучий физической силой, самый храбрый из храбрых. Сила Моисея чисто нравственная; первое дело его — дело патриота, следствие бессознательного порыва, дело тайное, непризнанное. Услышав призывание Божие, Моисей прежде всего сомневается в своих способностях к великому делу, на которое призывается, выставляет свой важный физический недостаток как сильное препятствие к налагаемому на него посланничеству. Моисей силен только нравственно, силен силой Божией. Моисей не герой, не царь и не первосвященник, он первый пророк, первообраз целого ряда пророков, выставленных еврейским народом и составляющих отличительное явление его народной жизни. Колено, из которого происходил Моисей, получает для себя потомственное священство, но независимо от этого священства из среды народа появляются вдохновенные проповедники, учение которых имеет целью

поддержат чистоту религии и нравственности. Таким образом, высшее, так сказать, звание в народе сохраняется свободным от сословий и учреждений, и теократия еврейская держится не левитством, а пророчеством; колено Левии не сосредоточивает в себе ни политической силы, ни знаний священного и мирского.

За вождем, выведшим евреев из Египта, давшим писанный закон и богослужение, следовал вождь-завоеватель, Иисус Навин, покоривший для евреев Землю обетованную. За вождем-завоевателем следовал ряд вождей-защитников, ибо евреи были окружены врагами, которым не могли с успехом сопротивляться вследствие внешнего политического разъединения, отсутствия общей власти, а силы нравственные, духовные ослабели, ослабела вера в единого Бога и в Его непосредственное руководство, зараза идолопоклонства распространилась; в злой усобице целое колено Вениаминово было истреблено. «В это время, — говорит летописец, — не было царя у израильтян и всякий делал все, что хотел». Духовные силы ослабели, но не иссякли; пророчество, не ограничивавшееся мужеским полом, спасало народ в самые тяжкие времена. Двадцать лет северные колена находились под игом хананеев, когда пророчица Дебора, имевшая и значение судьи, призвала к оружию Варака, который победами своими и свергнул иго. Из этих вождей-защитников всего легче было явиться царю; одному из них, Гедеону, уже предлагали царство, но он отказался по нравственным, религиозным побуждениям. И сказали израильтяне Гедеону: «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мои сыны не будут владеть вами; Иегова пусть владеет вами». Сын Гедеона Авимелех составил себе дружину из всякого сброда, перебил почти всех своих братьев и образовал себе маленькое царство в Сихеме, но он был убит при осаде одного города. В другом вожде-защитнике, Иевфае, «Книга Судей» указывает нам также вождя сборной дружины.

Эти известия, сохранившиеся в исторических книгах евреев, драгоценны для нас: они объясняют быт древних народов, находившихся, подобно евреям описываемого вре-

мени, в переходном состоянии, указывают на известный повсюду способ образования дружин, вожди которых своими подвигами, защитой мирных жителей от врагов приобрели власть. Иевфай был сын наложницы; братья, родившиеся от законной жены отца его, прогнали Иевфая, сказавши ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Иевфай убежал от братьев своих и жил в земле Тов; и собрались к Иевфаю праздные люди и ходили с ним. Спустя несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиля. Пришли старейшины галаадские к Иевфаю и сказали: «Для того мы теперь собрались к тебе, чтоб ты пошел с нами, и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником». И сказал Иевфай старейшинам галаадским: «Если вы опять возьмете меня, чтоб сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иевфаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы делаем по слову твоему!» Иевфай пошел со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем.

Ни один из этих вождей-защитников, пользовавшихся в мирное время значением начальников народных, или судей (суффетов), не достиг царского достоинства, не передал своего значения детям. Перед концом этого переходного времени в истории евреев мы видим любопытное явление, какое видели вначале: как прежде женщина, пророчица Дебора, была судьей, так теперь судьей становится человек божий, или пророк, Самуил, успевший одними нравственными средствами поднять народ после тяжких поражений от внешних врагов. «И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, из года в год он ходил и обходил Вефиль, и Галгал, и Масафу; и судил Израиля во всех сих местах; потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля». Уже приготовлялась наследственность судейского звания: состарившись, Самуил поставил сыновей своих судьями над народом. Но Самуил создал свое значение единственно нравственными средствами; сыновья его могли удержать это значение в своем доме только нравствен-

ными же средствами; наоборот, «сыновья его не ходили путями его, а уклонялись в корысть, брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: "Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими; и так поставь над нами царя, чтоб он судил нас, как у прочих народов, и мы с удем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши"».

Евреи получили царя; цари ходили пред ними и вели их войны, но успех этих войн зависел от внутренних, нравственных причин, смотря по тому, царь был ли привержен к отрезвляющей религии предков или заражен расслабляющей религией окрестных народов, пропаганда которой по-прежнему велась сильная обычным путем, через женщин. И по-прежнему против царей, преданных финикийскому идолослужению, ратуют пророки.

Самым блестящим временем в истории евреев было царствование второго царя, Давида, вначале знаменитого героя, вождя дружины, изгнанника и предводителя изгнанников и недовольных, добывшего царство с бою. Всегда верный Иегове и в этом отношении не нуждавшийся в увещаниях пророков, Давид иногда поддавался искушениям власти, и тогда пророк являлся перед ним с напоминанием о преступлении и наказании. Сын Давида премудрый Соломон не может противостоять женской пропаганде и строит храмы чуждым божествам. После его смерти политическое единство еврейского народа рушится; среди него является два царства, и одно из них, Израильское, подвергается преимущественно заразе идолопоклонства, почему в нем и видим самую сильную борьбу между царями-отступниками и пророками. Борьба кончилась не победой пророков, и оба еврейские царства были поглощены тигро-евфратскими монархиями. Плен на чужой стороне, плен вавилонский, как прежде тяжелое положение в Египте, подняли еврейскую народность и ее основу, религию Единого. По возвращении из плена евреи не служат чужим богам, пророков нет, но евреи ждут с нетерпением исполнения старых пророчеств, ждут Избавителя. Избавитель явился: Он был потомок Авраама, но Аврааму было обещано, что о семени его благословятся все

народы земные; и ученики Иисуса Назарейского несут весть избавления ко всем народам. История евреев становится священной историей народов.

Много было говорено о причинах успеха христианской проповеди, причинах сверхъестественных и естественных. Говорить о первых не входит в круг нашей специальности, а много распространяться о вторых не считаем нужным. Для правильности и точности наших наблюдений мы должны смотреть на христианство как на религию и наблюдать, во сколько оно удовлетворяет религиозному чувству. Доказывать превосходство христианского нравственного учения нет надобности: оно очевидно. Возражения против христианства имели вовсе не здесь свой источник. Если бы христианство было только нравственное философское учение, то оно не встретило бы никаких возражений со стороны так называемых философов, людей, пишущих философию истории. Но христианство есть религия, и борьба против христианства есть борьба против религии вообще. Религия обнимает отношения человека к Богу, отношение двух миров, видимого и невидимого; следовательно, необходимо условливает такую сторону, которая не прилаживается к обычным человеческим отношениям, человеческим средствам по различию природы двух миров, двух существ, которые приходят здесь в соотношение.

Религиозный человек требует непосредственного влияния Высшего Существа на определение отношений между ним и собой, и потому необходимо подчиняться условию принимать такие явления, которые для него непостижимы или исходят совершенно из другого мира, от существа другой природы. И мало того, что религиозный человек подчиняется этому условию, он его требует как доказательство правильности и прочности своих отношений к Божеству, как доказательство, что действительно само Высшее Существо определило эти отношения: отсюда необходимость положительной религии. Религиозное чувство утверждается на неверии — на неверии в средства человека, в средства его разума, неверии, основанном на ежедневном и вековом, вечном опыте. Религиозный человек есть человек положительный, который не может стоять на колеблющейся, изменяющейся почве; который не мо-

жет успокоиться на вере в бесконечный прогресс, то есть на вере в бесконечное несовершенство, бесконечные ошибки, необходимо предполагаемые бесконечным прогрессом; не может успокоиться на этой вере уже и потому, что в основании ее видит одно предположение постоянно выгодных условий для явления, предположение произвольное, не утвержденное на точных наблюдениях. Человек нерелигиозный не верит в так называемые сверхъестественные явления, необходимые для положительной религии, требующей непосредственного участия Божества в ее установлении; он верит в средства человека, в его разум. Человек религиозный принимает сверхъестественные явления, требует их именно потому, что не верит в человеческие средства, в средства разума человеческого. Таким образом, мы имеем дело с двумя верами и с двумя невериями.

Христианство при своем появлении подействовало быстро на религиозных людей: они стали обращаться к нему толпами, покидая старые положительные религии, подготовленные скептицизмом как относительно существующих религиозных верований, так и относительно человеческих средств достигнуть религиозной истины. Христианство обратилось к самым чистым, самым высоким побуждениям человеческой природы, к самому могущественному чувству, связующему людей, к чувству любви. Вместо божества физического, совершенно чуждого, природой своего не могущего внушить сочувствия, вместо божества человекообразного, униженного до всех слабостей человеческих и потому оскорблявшего нравственное чувство, христианство проповедовало существо совершеннейшее и требовавшее нравственного усовершенствования от человека, существо отдельное и независимое от творения, но близкое к человеку, связанное с ним любовью, определяемое как любовь. Но это определение не есть простое слово: установление религиозного отношения есть акт любви, в котором высказалось существо Бога. Религиозное отношение устанавливается, высокое учение проповедуется не посредством простого человека: Слово Божие, средство религиозного союза не в книге, не в устах простого человека, это Сын Божий, воплотившийся, пострадавший, умерший для спасения людей.

Люди религиозные находят наконец себе настоящего Бога, которого могут любить «всем сердцем, всей душой, всей мыслью», ибо этот Бог есть любовь, высказавший свое существо в деле искупления. Человек сознает различие между добром и злом: «язычники являют дело законное, написанное в сердцах своих»; дело религии очистить, направить, заставить сознание принести плод, родить дело, заставить человека принести жертву Богу; а жертва без огня не приносится, и доброе дело без побуждения не делается; побуждение же должно быть чистое и святое, такое побуждение есть любовь. Отличительная черта религиозного человека есть сознание своей слабости, греховности, падения, невозможности нравственного очищения собственными средствами, и христианство вполне удовлетворяет ему учением об искуплении. Христианство вполне успокаивает религиозного человека, потому что ставит наивысшее основание нравственности — любовь, основание незыблемое, вечное при всевозможных изменениях отношений между людьми, при всевозможных изменениях политических форм, на всевозможных ступенях цивилизации; христианство ставит общество, члены которого любят друг друга, как каждый из них любит сам себя. Религия может измениться, когда человечество перерастет этот идеал, потребует идеала высшего, но так как это немислимо, то для религиозного человека христианство есть религия вечная. Обращаясь же к его началу, он успокаивается тем, что оно находится в самой тесной связи с религией народа, который один из всех народов исповедовал единобожие, главное явление в истории которого есть борьба внутренняя и внешняя за поддержание единобожия против господствующего во всем мире многобожия. Этому-то народу, которого история есть необходимо история религиозная, священная, был обещан тот, которого христиане признают своим Богом Искупителем, и, таким образом, оба откровения, оба завета находятся в необходимой связи.

Для объяснения успехов христианства говорят о приготовлении к нему человечества посредством философии, которая подкопала многобожие, проповедовала единобожие и некоторые другие истины, вошедшие в круг христианского учения. Но историк обязан прежде всего различать

эти две сферы — философскую и религиозную; истина философская достигается холодным умственным процессом; истина религиозная усваивается горячей восприимлемостью чувства. Философское учение по природе своей есть достояние немногих. Если некоторые из этих немногих приняли христианство и защищали его своими средствами, то другие их собратья явились злыми врагами христианства. Явление обращения философов в христианство показывало только, что умственная развитость, соединенная с обширными познаниями, не исключает религиозного чувства; тогда как люди нерелигиозные, безусловные поклонники разума человеческого, веровавшие единственно в его средства, относясь презрительно и враждебно ко всякой религии, отнеслись точно так же и к христианству. Таким образом, если бы философия и могла приготовить к христианству, то — ничтожное число людей религиозных и вместе знакомых с философскими учениями. Но мы знаем, что христианство явилось среди народа, знаменитого своей религиозностью, но нисколько не знаменитого развитием философии, науки вообще, — народа, который «знамения просил, а не премудрости искал», и в этом-то народе христианство проповедовалось и принималось среди людей самых простых, у которых уже никак нельзя предположить философского приготовления.

По выходе христианства из еврейского народа во все концы вселенной мы видим то же самое явление: к нему обращаются толпами люди простые, в которых также нельзя заподозрить философского приготовления; наконец, к нему обращались целые народы грубые, варварские, и это обращение всего лучше показывает, что для успехов христианства вовсе не нужно было философского приготовления. Сами проповедники христианства вполне сознавали, что проповедуемое ими учение не может ничем польстить эллина, ищущего премудрости, что их учение есть для него безумие; они знали, что и среди евреев, просящих знамения, для многих распятый Христос будет соблазном, но они знали, что учение о Боге, страдающем и умирающем за человечество, потрясет религиозные души среди того и другого народа и явится для них учением о Божьей силе и Божьей пре-

мудрости. Сила учения высказывалась в его проповедниках: пророки с пламенными, жгучими речами, некогда являвшиеся среди одного народа израильского, теперь являются всюду и мученичеством запечатлевают свою любовь к Богу и людям, свои убеждения в истине проповедуемого учения.

Странно толковать о том, какие нравственные явления произвело христианство, какие безнравственные явления заставило исчезнуть: по своей сущности, любви христианство облегчало, возвышало и очищало всякое человеческое отношение без исключения, давало нравственную подготовку к уничтожению всякого безнравственного явления и во время его существования ослабляло его действия. Писатели, недостаточно внимательные к последовательности христианских отношений, вытекающих из сущности христианства, обыкновенно распространяются о том, что христианство, отвлекая внимание своих последователей от интересов здешней, земной жизни к интересам жизни загробной, ослабляло в них патриотизм, сознание обязанности защищать отечество, сражаться за него; религия мира и любви, говорят, должна была отвращать от войны и не очень уважительно смотреть на воинскую доблесть.

Но что предписывает христианство своим последователям? Любовь к ближнему не на словах, а на деле, увенчание этой любви пожертвованием жизнью своей. На ближнего нападают — обязанность христианства защищать его до последней капли крови; другое требование христианства — исполнять свято всякую порученную обязанность, служить верно и усердно предержавшей власти; совокупность этих требований — необходимо делать из христианина самого доблестного воина. Доказательство налицо: народы, начавшие новую, *христианскую* историю Европы, разве отличались недостатком воинской доблести? Скажут: это качество лежало в их природе; но в таком случае нечего говорить о влиянии христианства, если оно не могло противодействовать этой природе. Доказательство налицо, когда в числе святых, особенно чтимых нами, монахов, священников и людей, исполнявших разные гражданские должности, находятся воины (Георгий, два Феодора, Иоанн, Димитрий и др.). Доказательство налицо, когда у христианских народов вко-

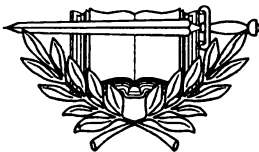
ренено верование, что воины, падшие на поле битвы, венчались венцами мученическими.

Уклоняясь от кидającegoся в глаза доказательства воинской доблести новых христианских народов, обращаются ко временам падения Римской империи, указывают здесь на отсутствие патриотизма, воинской доблести и приписывают эти явления влиянию христианства, которое будто бы влекло своих последователей в пустыню, к жизни отшельнической. Но слово «патриотизм», когда говорится о временах падения Рима, вызывает улыбку: какой патриотизм мог быть среди этой кучи народов, насильственно подчиненных одному городу? Какое чувство преданности могло питать народонаселение отдаленных провинций к этому городу, от которого, кроме угнетений, нечего было ждать провинциалам? Каким римским патриотизмом могли быть наполнены разноплеменные жители провинций, когда этого патриотизма давно уже не было в самом Риме, ибо давно не было более тех отношений, которые заставляли древних, истых римлян так храбро защищать свое орлиное гнездо, хотя уход плебеев на священную гору показывает, что всему бывает своя мера и предел, даже и хваленому римскому патриотизму.

Причины падения Римской империи были все налицо при самом ее начале, когда Рим утратил свои прежние правительственные формы, следовательно, задолго до объявления христианства господствующей религией в империи. Но почему же, скажут, христианство, распространившись, не возбудило нового гражданского духа, патриотизма в народонаселении империи? Повторяем, что нечего было возбуждать, ибо римского патриотизма не могло быть у разноплеменных народов, входивших в состав империи: Рим не был отечеством для галла, испанца, нумидийца, грека, пафлагонянина и т. д. Страны и народы приготовлялись жить своей особой, следовательно, независимой жизнью; каждый народ готовился приобрести отечество и питать к нему известное чувство, которое мы называем патриотизмом и которое христианство готово было освятить; железо же римской власти, вязавшее народы, давно перержавело. С другой стороны, кто же предполагает, что с того времени, как христианство было объявлено господствующей религией империи,

все подданные империи сделались вдруг истинными христианами? Люди, согнившие от нравственных язв империи, продолжали оставаться в этом печальном состоянии, не могли вдруг подвергнуться благотворному влиянию христианства, ибо приняли его чисто внешним образом; людей же, принявших его по убеждению и готовых приводить в исполнение его правила, было немного, и хотя бы они все стали воинами, не могли удержать от падения гнилого, разваливающегося под тяжелыми ударами свежих, сильных народов здания империи.

Вот то немногое, что мы должны сказать вообще о христианстве; но так как мы теперь приступаем к наблюдениям над исторической жизнью христианских народов, то понятно, что мы постоянно должны будем обращаться к подробностям влияния христианства на эту жизнь.



Часть вторая

НОВЫЙ МИР

1. ВАРВАРЫ

При изучении истории Греции мы замечаем, что важнейшие явления, изменявшие этнографический и политический вид страны, происходили вследствие движения народонаселения с севера на юг. Греция теряет свою независимость вследствие усиления на севере полуварварского, полугреческого государства Македонского. Рим, уже сильный среди городов и народов Италии, едва не погиб вследствие движения варваров с севера, галлов. Римская империя распалась вследствие более сильного и постоянного движения других северных варваров — германцев. Рим в период своего роста, усиления вел две самые крупные и опасные борьбы: с карфагенянами на юге и галлами — на севере. Обе борьбы имели одинаковый ход: сначала страшная опасность грозила Риму (который, по выражению Саллюстия, боролся с галлами не для славы, а за существование), но после он оправлялся и покорял своих врагов. Мы должны обратить внимание на этих галлов, которые своими нашествиями навели ужас не на один Рим, но и на Грецию, и на Азию; это было племя, сплошной массой раскинувшееся на огромных пространствах древней Европы, — племя, которое послужило основой для народов и теперь имеющих важное значение; наконец, это племя и в древние времена в своем язы-

ческом и варварском быте представляет черты, любопытные для наблюдателя исторической жизни народов.

Галлы, или кельты, принадлежали, подобно пелазго-эллинам и италийцам, к арийскому племени; но когда и как явились они в Европу? Принимая в соображение естественное, необходимое стремление переселяющихся народов занимать лучшие по природным условиям страны, наконец, принимая в соображение постоянное движение европейских народов с севера на юг, совершившееся на памяти истории, мы должны принять, что при движении арийских племен в Европу были прежде всего заселены три южных полуострова — Балканский, Апеннинский и Пиренейский — с посредствующими между ними приморскими частями, как, например, Южная Галлия. За этим первым движением арийских племен, которому Греция, Италия и Испания обязаны своим населением, следовало второе, движение кельтов, которые, найдя Южную Европу уже занятою, должны были остановиться в западных частях Средней Европы, хотя не остались здесь в покое, но делали сильные и небезуспешные попытки пробиться и на заветные полуострова Южной Европы: так, они пробились в Испанию и после долгой борьбы с ее первоначальными насельниками, иберами, смешались с ними; они пробились и в Италию и заняли значительную ее часть.

Третьим движением арийских племен в Европу было движение славян; которые, найдя Южную Европу и западные части Средней занятыми, должны были поселиться в лучшей из остальных частей, в области Дуная и окрестных землях. Четвертым движением арийских племен надобно отметить движение литовское, и пятым — движение германцев, которые, не имея возможности в первое время потеснить племена, прежде пришедшие, и пробиваться чрез них, должны были чрез области нынешней России, редко населенные финнами, двигаться на северо-запад преимущественно, разумеется, великими водяными путями, Днепром и также водами озерного пространства, в Балтийское море, населять Скандинавский полуостров и оттуда, побуждаемые увеличившимся народонаселением, двигаться далее на юг. Мы употребляем здесь эти известные названия — кельты,

славяне, литовцы, германцы условно, обозначая ими известные части европейско-арийского населения, явившиеся одни за другими в известных местностях, но мы не можем определить, когда началось между ними то различие, с каким мы теперь представляем себе племена — кельтическое, славянское, литовское, германское.

Хотя, разумеется, обособление этих частей арийского племени в различных местностях Европы должно было с самого начала повести к образованию племенных особенностей, отразившихся на языке, но мы не можем определить, с какого времени эти особенности становятся резки, с какого, например, времени кельты, славяне, литва, германцы, то есть арийцы с берегов Луары и арийцы с берегов Дуная, арийцы из Ютландии и арийцы с берегов Вилии, перестали понимать друг друга. Надобно положить, что это явление произошло очень не скоро, принимая в расчет продолжительное пребывание их в самых простых формах быта. Когда они на памяти истории начали сталкиваться, то понимали ли они при этом друг друга — мы этого не знаем. Сами они ничего о себе не сказали, это были народы-дети, еще не говорящие (*infantes*). Народы возрастные, имевшие с ними дело, плохо различали их по племенам; отсюда и для нас мало возможности достигнуть этого различия; отсюда скудные результаты многочисленных исследований о племенных границах под руководством языка, названий местных и личных; пойдет исследователь искать кельтов — и везде их найдет; то же случится и с тем, кто пойдет искать славян, и с тем, кто пойдет искать германцев, уже не говоря о необходимых при таком искании натяжках.

Слово звучит прямо из известного языка, например славянского, — по-видимому, можно успокоиться; но как узнать, в какое время это слово исчезло из языков кельтических и германских и стало исключительно собственностью славянских? А без этого знания какое ручательство для исследователя, что он действительно попал на следы славянского племени? Наконец, смуту увеличивает заимствование слов, особенно собственных имен, одним народом или племенем у другого, что мог легко замечать Иорданд в VI веке. Само собою разумеется, что мы должны забыть ненаучные

побуждения, которые иногда заставляли исследователя стараться доказать древность пребывания известного племени в Европе, как будто бы такое доисторическое или неисторическое существование могло что-нибудь прибавить к истории народа, как будто бы европейская почва сама по себе давала какое-то благородство народам. Но если между арийскими племенами, позднее прибывшими в Европу и населившими ее средние и северные части, трудно провести резкую границу (в чем, разумеется, виноваты народы образованные, оставившие нам известия о них, греки и римляне, не отличавшиеся точностью своих показаний относительно главного племенного отличия, языка), то резко отличались эти арийские племена Средней и Северной Европы от своих собратий, прежде них пришедших в Европу и занявших южные ее оконечности; это различие кроме языка заключалось во внешнем виде и образе жизни. Обитатели трех южных полуостровов отличались сухощавостью, смуглостью, черными волосами и небольшим ростом; племена, жившие к северу от них, отличались белизной кожи, белокуроыми волосами, высоким ростом и вообще массивностью тела.

Что касается быта племен, то относительно галлов мы имеем дело с народом, который не успел основать сколько-нибудь крепкого государственного тела ни в границах целого племени, ни в границах известных частей его, несмотря на долговременное пребывание галлов в одних и тех же странах. Хотя Цезарь, главный источник наш относительно быта галлов, делит всю независимую Галлию на три части, из которых одну населяют белги, другую — аквитаны, третью — по-туземному кельты, а по-латыни галлы, и все эти три части народонаселения Галлии отличаются языком, учреждениями, законами, но, к сожалению, не говорит ни слова, в чем именно состоит различие, а там, где говорит об учреждениях (*instituta*), употребляет выражения: *в Галлии, во всей Галлии*. Это ведет к заключению, что в главных чертах быта не было различия между белгами, аквитанами и собственно галлами, различие заключалось в некоторых второстепенностях, о которых Цезарь не нашел случая говорить.

Мы получаем первые известия о галлах как о народе воинственном, толпы которого выходят из своей страны для

занятия или опустошения других стран. Потом известия об этих движениях галльских на значительное время прекращаются и начинается движение против галлов с двух сторон: со стороны цивилизованного Рима и со стороны варваров, германцев, вследствие чего быт галлов вскрывается. Что же мы видим? Мы видим страну, населенную множеством народцев, из которых сильнейшие стремятся подчинить себе слабейшие. Еще несколько времени свободного, беспрепятственного внутреннего движения, и, быть может, один народ подчинил бы себе все другие и создалось бы сильное, сплоченное государство, залог независимого существования. Но движение сильных врагов с двух сторон застало в Галлии дело объединения только в зародыше; слабая своим разъединением и внутренней борьбою, происходившею вследствие начавшегося стремления к объединению, Галлия не могла противиться и скоро полегла перед сильнейшим из двоих врагов, какими были римляне.

Если мы в истории галлов встречаем сильные воинственные движения вначале и потом сменившие их внутренние войны, усобицы, то уже заключаем, что из народной массы выдавались люди, более способные к воинским подвигам, и народонаселение разделилось на две части — вооруженную и невооруженную, причем первая должна была получить господство над второй, кормиться на ее счет. Храбрейшие, военные вожди получают все значение, ибо при условиях общественной неразвитости или варварства власть принадлежит материальной силе, приобретаетса насилеи. Храбрый вождь окружается толпою подобных ему храбрецов, которые под его знаменем ищут добычи и власти. Этот союз между вождями и дружиною основан на взаимной помощи и защите; вожди в челе дружин своих начинают усобицы с целью приобретения большей силы и богатства; сильные борются друг с другом — горе слабым! Они спешат приобрести безопасность, отдаваясь в покровительство сильных, и закладничество или клиентство развивается в чрезвычайной степени.

Сказанное нами представляет явление, общее в жизни народов. Для проверки приложим его к галлам, к их быту, как он описан у современников. По Цезарю, во всей Галлии имели значение только два класса людей — жрецы (друиды) и

благородные, или всадники (*nobiles, equites*); что же касается до остального, низшего народонаселения, то оно было на рабском положении (*paene servorum habetur loco*), не смея ничего предпринять сами по себе, не участвуя ни в каком совещании. Многие, удрученные долгами и тяжестью податей или притесняемые сильнейшими, отдавались в рабство благородным, которые получали над ними все те права, какие господа имели над рабами. «Чем знатнее и богаче кто из всадников, тем большим числом *амбактов* и *клиентов* окружен он», — говорит Цезарь. Амбактами, или солдурами, назывались дружинники, преданные вождю до такой степени, что не соглашались переживать его. Под клиентами надобно разуметь таких закладчиков, которые хотя были сами из всадников, имели собственность, свое хозяйство, но для приобретения безопасности, защиты закладывались за сильнейших, и, наконец, третий род зависимых людей представляли указанные выше люди из черни, которые по отсутствию средств к самостоятельной жизни шли в услужение, в рабство к богачейшим. Это явление объясняется совершенно нашим древнерусским холопством, а клиентство — закладничеством.

Таким образом, в челе каждого галльского народца стояла шляхта (*nobiles, equites*), окруженная большим или меньшим числом амбактов и клиентов, имевшая более или менее холопов и рабов, ибо войны внешние и внутренние, также и купля доставляли не добровольных рабов, которых мы отличаем от холопей как отдавшихся сами собою в рабство, по свидетельству источников. Между шляхтою было несколько людей, несколько фамилий богаче, сильнее, чем другие, наибольшие, главные, князья, *principes*, как их называет Цезарь. Низшая, невооруженная часть народонаселения, *plebs*, не допускалась ни до какого совещания (*nullo adhibetur concilio*), следовательно, сеймы составлялись из одной шляхты; кроме сеймов или совещаний, где присутствовала вся шляхта, был постоянный совет, который Цезарь по-своему называет сенатом, а членов его — сенаторами. Избирались ли эти сенаторы и как избирались — ничего не известно. Можно только видеть отношение числа так называемых сенаторов к остальному народонаселению; галльский народец, нервии, потерявши от римлян страшное поражение, прислал к Цезарю с

покорностью, и послы, описывая несчастное положение своего народа, говорили, что из 600 сенаторов осталось только трое и из 60 000 способных носить оружие осталось только 500 человек. У венетов Цезарь перебил всех сенаторов, а остальных продал в рабство; из этого видно, что Цезарь смотрел на сенаторов как на вождей народных, от которых исходило сопротивление; видно, что между сенаторами были люди самые значительные и по материальным средствам, и по личным способностям. Во время той же войны Цезаря в Галлии случилось, что некоторые народцы истребили своих сенаторов за то, что те не хотели восстания против римлян. Наконец, приводится обычай, по крайней мере у некоторых галльских народцев, по которому не позволялось заседать в сенате двоим членам одной и той же фамилии.

Кроме сенаторства была высшая власть, которую облакался один человек; эта власть не совсем ясно, как видно, представлялась Цезарю, и потому он употребляет для нее неопределенные выражения: верховная власть (*summa imperii*), главное начальство (*principatus, magistratus, summus magistratus*). За эту-то верховную власть, которою известное лицо облакалось только на один год, шла обыкновенно борьба между сильнейшими людьми в народце, образовывались партии. Сильнейший клиентством и связями с другими сильными людьми побеждал, становился главным лицом в народце и, не довольствуясь таким коротким сроком власти, одним годом, стремился к власти более продолжительной и крепкой, к власти царской. Цезарь, указывая у некоторых народцев высших начальников и обозначая их власть приведенными выше именами, у других прямо указывает царей (*reges*) и приводит также случаи, когда люди, достигшие принципата, стремились стать царями, но были умерщвляемы. «У карнутов был знатнейший человек Тасгетий, которого предки были царями у этого народа (*regnum obtinuerant*). Этому Тасгетию Цезарь за его храбрость и доброе расположение к себе, ибо во всех войнах пользовался особенным его содействием, возвратил достоинство предков. Он уже царствовал третий год, как был убит врагами».

У сенонов Цезарь дал царское достоинство (*regem constituit*) Коварину, которого брат и предки были царями,

но Коварин, узнавши, что его хотят убить, бежал. Целтилий из народа арвернов достиг принципата всей Галлии, по выражению Цезаря, но был убит своим народом за то, что стремился к царской власти. Каким образом Целтилий мог приобрести принципат всей Галлии — неизвестно; по всем вероятностям, это выражение преувеличенное. В рассказе Цезаря о переселении гельветов упоминается о зачинщике дела Оргеториксе, у которого было до 10 000 людей, находившихся от него в разных степенях зависимости и которых Цезарь, по римским понятиям, называет его *фамилиею* (*familia, famuli, servi*). Могущественный Оргеторикс стремится к верховной власти и побуждает к тому же сильных людей и у других народов галльских: у сенонов Кастика, которого отец много лет владел царством (*regnum obtinuerat*); у гэдуюев Думнорига, который тогда держал принципат у своего народа и был любим низшею частью народонаселения (*plebi acseptus erat*). Это последнее известие показывает нам общее явление, что люди, домогающиеся верховной власти, опираются на низший слой народа.

Несмотря на краткость, недосказанность, неточность известий о галлах, мы, соблюдая крайнюю осторожность, можем вывести заключение, что имеем дело со множеством народцев, не связанных друг с другом никакою политической связью. При общей опасности почином одного или нескольких энергических лиц могли образовываться союзы, могла поручаться военная власть одному вождю, но эти союзы заключались на международных началах; заключавшие эти союзы народцы давали друг другу заложников, или аманатов, по обычаю, господствующему у варварских народов. Внутри каждого народца видим господство вооруженной части народонаселения над невооруженною, которая находится в ничтожном и бедственном положении. Сильнейшие из вооруженного сословия ведут друг с другом борьбу за верховную власть; безопасности для слабейших нет, и потому господствует закладничество слабейших за сильнейших, закладничество в разных видах, смотря по тому, каково значение захребетника или клиента. Но закладничество вело к новым столкновениям, к новой борьбе, ибо выгода и честь патрона требовали не выдавать своего клиента ни в каком

случае. Стремление сильнейших, добившись до принципатта, сделаться царем обыкновенно не увенчивалось успехом: обыкновенно честолюбцы платили за него жизнью. Отношения, господствовавшие между шляхтою в отдельных народах, повторялись и в отношениях последних друг к другу. При борьбе народцев друг с другом за власть, за усиление слабейший народец входил в клиентские отношения к сильнейшему.

При таком хаотическом состоянии галльских народцев, при постоянной борьбе их друг с другом и при борьбе внутри каждого народа между сильнейшими из шляхты, когда при всяком столкновении интересов дело решалось силою, когда обиженным негде было искать суда, общество по естественному и необходимому стремлению к выходу из такого положения вызывает силу особого рода, силу нравственную, нужную для установления некоторого порядка и единства, для суда, для решения дел человеческими, а не животными, насильственными средствами, — одним словом, общество для выхода из хаотического состояния вызывало жреческую власть. Галльские кудесники, или волхвы, люди, славившиеся знанием вещей, которым не обладали остальные, воспользовались благоприятными обстоятельствами для приобретения жреческого значения, значения истолкователей высшей воли, способных произнести правый приговор и принести умиловительную, угодную богам жертву. Во всех странах, где после героического периода между народонаселением, живущим на больших пространствах, дело идет о выработке какой-нибудь государственной формы, где начинается внутренняя борьба, производящая тот хаос, который мы встречаем в Галлии, — во всех таких странах значение жрецов чрезвычайно усиливается, как это мы и видим в больших государствах Азии и Африки, тогда как в Греции и Италии, где в небольших городах установление известного общественного строя пошло очень быстро, мы не видим сильного жреческого класса.

В Галлии, по словам Цезаря, только два класса жителей имели значение — друиды и всадники. Друиды занимаются вещами божественными, приносят жертвы публичные и частные, истолковывают религиозные вещи; к ним стекается

большое число юношества для обучения. Они пользуются большим почетом, ибо произносят приговоры почти по всем спорным делам, публичным и частным: случится ли какое-нибудь преступление, убийство, идет ли спор о наследстве, о межах — друиды решают дела, определяют награды и наказания; если частный человек или народ не примет их решения, такого отлучают от жертвоприношений. Это наказание у них самое тяжелое. Отлученные считаются нечестивыми и незаконными, их все чуждаются, избегают их присутствия и разговора, чтобы не заразиться от них; их жалобы на суде остаются без внимания; они не удостоиваются никакого почета. Все друиды подчинены одному начальнику; по смерти начальника ему наследует самый видный по достоинству, а если есть несколько равных, то избирается голосами друидов, иногда спор решается оружием. Друиды в назначенное время года собираются в место, которое считается серединою всей Галлии, сюда сходятся все, имеющие тяжбы, и подчиняются их суду и решениям. Начало учения друидов ведут из Британии, и желающие обстоятельнее ознакомиться с ним по большей части отправляются для этого туда. Друиды не участвуют в войнах и не платят податей; вследствие таких выгод многие и добровольно идут в друиды, и посылаются родителями и родственниками. Основным учением друидов было учение о переселении душ, которое отнимало у галлов страх смерти; кроме того, они много толковали и передавали молодежи о звездах и движении их, о величине мира и земли, о натуре вещей, о могуществе богов. Но нельзя очень высоко ставить друидскую мудрость, ибо тот же Цезарь говорит нам, что желавшие основательнее изучить друидизм ездили для этого в Британию, а известно, что из всех галлов жители Британии отличались особенною дикостью. Противоречие уничтожается тем, что у диких народов особенно процветает волшебство и кудесничество; за тем-то континентальные галлы и отправлялись к своим диким британским соплеменникам. Притом надобно заметить, что как ни высоко ставит Цезарь значение друидов, однако в его рассказе о Галльской войне деятельности их вовсе не заметно.

Друиды могли получить важное значение именно вследствие беспорядочного, хаотического состояния галльских

народцев, а потому у них не могло быть побуждений к прекращению этого беспорядка, побуждений содействовать установлению единства и крепкого правильного правительства в какой бы то ни было форме. Установлению такого правительства препятствовало положение низшего сословия, которое не принимало ни в чем участия, находилось почти в рабском состоянии. Высшее сословие, не чувствуя никакого давления со стороны низшего, не имело по тому самому побуждений сосредоточиваться, соединять свои силы, забывать частные интересы для общего дела, и потому видим бесконечную усобицу между его членами, усобицу вредную, разрушительную, вовсе не похожую на борьбу политических партий, на борьбу патрициев с плебеями, которая держала в сосредоточении силы обеих сторон; только внешний толчок, внешняя опасность заставляли прибегать к соединению сил, к общему действию, к общей власти, но опасность проходила, и все принимало прежний вид.

В таком положении находились галлы, когда страшные враги с двух сторон явились в их пределах — римляне и германцы. Галлы не только не могли с успехом сопротивляться ни тем, ни другим, но еще сами пригласили их к вмешательству в свои внутренние дела, как обыкновенно бывает со слабыми внутренне народами, как бы ни была различна степень их цивилизации. Мы уже видели, что в Галлии народы, стремясь к усилению, вели борьбу друг с другом, причем слабейшие, чтобы избавиться от насилий, закладывались за сильнейших, и таким образом некоторые более сильные народы являлись окруженные народцами-клиентами. С помощью римлян сильно поднялся народ гэдуй, но другие два народа — арверны и секваны — не хотели дать гэдуйам усилиться и, не имея возможности сладить с ними одни, призвали на помощь германцев. Последние, ждавшие первого случая променять суровые зарейнские страны на Галлию, явились на зов; гэдуй были сокрушены, но секваны недолго радовались своей победе: призванный ими на помощь король свевов Ариовист утвердился у них, отобрал у них третью часть земель, но и этого ему было мало. Галлы увидели, что им придется мало-помалу уступить всю свою землю зарейнским выходцам, а потому бросились к римскому проконсу-

лу Юлию Цезарю с просьбою о помощи. Цезарь отогнал германцев от границ Галлии, но галлы испугались, что призвали к себе другого господина, и вооружились против римлян, следствием чего было завоевание Цезарем всей Галлии, совершенное в семь лет.

Мы не будем отнимать важного значения у этого события; мы заметим одно, что завоевание Галлии римлянами относится к разряду войн народов, стоящих на высокой степени цивилизации, выражающейся и в искусстве военном, с народами варварскими, к разряду завоевания пруссов немецкими рыцарями, народов Нового Света — испанцами, завоевания Индии — португальцами, англичанами, Сибири и стран Средней Азии — русскими, войн последних с турками и персиянами — войн, где качество берет постоянно верх над количеством. Мы знаем, как толпы дикарей, вовсе не робких, разбежались при виде лошадей, при ружейных выстрелах; подобное тому видим и в войне Цезаря с галлами. При осаде одного галльского города римляне устроили крытые галереи, под их защитою — террасу, построили деревянную башню, которую должно было двинуть против городской стены. Галлы, презиравшие римлян за их малый рост, смеялись над строителями таких хитростей, которые, находясь в далеком расстоянии от города, не могли, по их мнению, сделать ему никакого вреда. И вдруг они видят, что башня двигается и приближается к стенам города; в ужасе они уже не думают более о защите и посылают просить мира.

Военное искусство, которым римляне бесконечно превосходили варваров, давало им возможность так скоро покорить Галлию, как бы ни были варвары храбры и многочисленны, но мы имеем основание ограничить и эти два условия. По словам Цезаря, было время, когда галлы превосходили германцев храбростью, нападали на другие народы, высылали свои колонии за Рейн, но в его время галлы были уже не те: близость римской провинции, знакомство с предметами роскоши испортили их, ослабив их прежнюю храбрость, так что они сами не смели равняться в ней с германцами. Цивилизация подействовала на галлов расслабляющим, развращающим образом, но не дала им новых средств, благодаря которым они могли бы стать в уровень с цивили-

зованными народами; они познакомились с некоторыми предметами роскоши, привозимыми к ним чужими купцами, но не переняли от своих цивилизованных соседей военного искусства, не развили промышленности и торговли, чему доказательством служат галльские города в эпоху завоевания Галлии римлянами. По словам Цицерона, не было ничего беднее городов галльских. Действительно, как у всех первобытных народов, городами у галлов назывались более или менее обширные огороженные пространства, назначенные для защиты окрестного народонаселения на случай неприятельского нападения, а эти случаи, как мы знаем, были очень часты в Галлии. Город был тем важнее, чем по своему положению представлял более средств к защите. Иногда при нападении сильного врага целый народец покидал все свои города и запирался в одном городе, особенно укрепленном природою. Известия о галльских городах важны для нас в том отношении, что дают ключ к уразумению подобных же известий о городах у других народов, стоявших на одинаковой бытовой ступени с галлами. Легкость, с какою галлы покидали, жгли свои города, указывает на значение последних; гельветы сожгли все свои города, намереваясь покинуть страну и поселиться в другом месте; если в народе сохранилась еще возможность таких переселений, то нельзя принимать их городов в нашем смысле.

Народонаселение всей Галлии полагают гадательно свыше семи миллионов, основываясь на цифрах контингентов, доставлявшихся отдельными народцами во время войны с римлянами. Но здесь прежде всего является вопрос: можно ли положиться на эти цифры? Можно ли предположить процветание статистики среди галльских народцев, предположить, что они с точностью знали количество народонаселения у себя и могли с точностью определить, что выставят именно такое число войска, и кто у них имел силу заставить выйти в поле именно такое число? Достаточно было, что толпа представлялась большою; притом все единогласно ставят хвастливость, способность преувеличивать в числе национальных черт у галлов; у римлян же не было побуждений уменьшать цифры врагов и тем ослаблять значение своих подвигов. По окончании войны с Ариовистом Цезарь узнал,

что народцы бельгийские вооружаются против него, составили союз, дали друг другу заложников. Он поспешил предупредить их и внезапно явился в земле ремов, ближайшего к собственной Галлии бельгийского народа. Застигнутые врасплох, ремы отправляют к нему знатных людей с уверениями, что они нисколько не участвуют в союзе с остальными белгами и готовы сделать все, что им прикажет римский полководец. Цезарь спрашивает у этих ремских посланных, каковы могут быть силы белгов, и они ему начинают рассказывать, что вот чрезвычайно сильный народ белловаки, и по храбрости и по многочисленности своей могут выставить 100 000 вооруженных людей, и обещали они прислать против римлян 60 000, другие народы обещали по 50 000 и т. д., так что выходило всего бельгийского войска 296 000.

Это-то показание ремов о бельгийских контингентах и берут, между прочим, в основание выкладок, из которых выходит, что во всей Галлии было более 7 000 000 жителей. Понятно, что ремские посланцы кроме национальной страсти должны были иметь сильное побуждение преувеличивать могущество бельгийского союза, чтобы напугать римлян и заставить их уйти, но они ошиблись в своем расчете. Цезарь не ушел; белги явились, побились с римлянами и вдруг побежали по домам, и первые побежали знаменитые своею храбростью и многочисленностью белловаки, ибо узнали, что союзные римлянам гэдуй отпущены Цезарем для вторжения в их землю. Цезарь пошел по следам бегущих и покорял каждый народец отдельно; когда он пришел к белловакам, то этот знаменитый народ собрался со всеми пожитками в один город, и когда Цезарь приблизился к нему, то из ворот вышел старик с мольбою принять их в римское подданство.

Так было вначале. Обратимся к концу, когда галлы, видя последствия утверждения у себя римлян, решились воспользоваться смутою в Риме и соединенными силами выжить поработителей, когда они приобрели и вождя, способного стать во главе народного дела. В лесах, в глухих местах идут совещания, бьют римских купцов, людей, заготавливающих припасы для Цезарева войска. Является вождь восстания; но любопытно, как он является, какими средствами начинает дело. В народе арвернов был молодой человек Верцингеторикс, сын

упомянутого выше Целтилла, который как-то достиг принципата всей Галлии, но был убит за то, что стремился к царской власти. Сын хотел воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы достигнуть отцовского значения с большей безопасностью. Верцингеторикс начинает дело как знатный галльский шляхтич в челе своих клиентов, но остальные вельможи арвернские и вместе с ними родной дядя Верцингеторикса не хотят, чтобы сын шел по отцовским следам, и мешают ему, его выгоняют из города Герговии. Тогда Верцингеторикс становится вождем сбродной дружины, набирает себе *голытьбу* по буквальному переводу (*in agris habet delectum egentium at perditorum*). Состояние Галлии чрезвычайно способствовало образованию подобных шаек угнетением низших классов, отсутствием возможности достигать своим трудом обеспеченного, независимого положения и, наконец, удобством к укрытию людей, живущих на чужой счет в дикой, малонаселенной, покрытой густыми лесами стране. Кроме приведенного известия о Верцингеториксе в рассказе Цезаря о Галльской войне мы находим еще любопытное известие о гольтыбе и ее движениях: когда прежде в земле венеллов Виридовикс стал вождем восстания против римлян, то к нему из разных мест Галлии стеклись большие толпы «погибших людей и разбойников, которых надежда добычи и охота повоевать отвлекала от земледелия и ежедневного труда» (*perditorum hominum latronumque, quos spes praedandi studiumque bellandi ab agricultura et cotidiano labore revocabat*). Рассказывается также о Сенонце Драппете, который во время восстания галлов против римлян собрал отовсюду «погибших людей», призвал рабов к свободе, привлек изгнанников из всех народов и разбойников.

Здесь очень важно известие об изгнанниках, ибо усобицы за власть должны были увеличивать число изгнанников; побежден — и должен был оставить родину сильный человек, с ним вместе должны были осуждать себя на изгнание и люди ему преданные или зависимые. Знаменитый изгнанник, естественно, становился вождем изгнанников менее знаменитых, вождем всех недовольных. И Верцингеторикс был изгнан, вследствие чего явился вождем сбродной дружины. С помощью своей новой дружины Верцингеторикс выгнал из

города своих противников, и дружина провозгласила его царем. Свидетельство драгоценное, присоединяющееся уже к приведенным нами прежде указаниям о значении дружин при образовании верховной власти у первобытных народов, — свидетельство, которое уясняет происхождение знаменитой дружины Ромула, плебеев и значение самого Ромула с товарищами, и отношения этих вождей сбродной дружины к родовикам, отечким детям-патрициям. Теперь Верцингеторикс, во главе своей дружины, точно так же относился к галльским вельможам, к шляхте. Но и сам Цезарь был не иное что, как Верцингеторикс цивилизованного мира, стремившийся захватить верховную власть с помощью своей сбродной, отлично дисциплинированной дружины, ибо римские легионы давно потеряли гражданский характер.

Верцингеторикс сначала имел успех: народцы начали приставать к нему из ненависти к римлянам, видя в нем человека, около которого можно было сосредоточиться для успешной борьбы с завоевателями, но не все, во-первых, хотели борьбы с римлянами, не все рассчитывали на возможности вести ее с успехом; во-вторых, не все хотели вести ее под начальством Верцингеторикса, которого уже величали царем. Цезарь признает в своем сопернике величайшую энергию, но к этой энергии, по его словам, Верцингеторикс присоединил величайшую строгость: жестокими казнями принуждал он нерешительных к деятельности; за важное преступление умерщвлял огнем и всякого рода муками, за легкую вину обрезывал уши или выкалывал по одному глазу и изувеченных таким образом отсылал на места жительства для устрашения оставшихся. Началась борьба с римлянами — борьба последняя, тяжелая для завоевателей.

До сих пор гэдуй были постоянными союзниками римлян; в их город Новиодун Цезарь переслал галльских заложников, съестные припасы, казну, обоз, множество лошадей, закупленных для войны в Италии и Испании. Теперь гэдуй перешли на сторону восставших, поделили между собою римские деньги и лошадей, хлеб; чего не могли увезти — сожгли и потопили; повсюду рассылают посольства возбуждать к восстанию, в чем легко успевают, потому что в их руках заложники, взятые Цезарем. Гэдуй входят в сношение с Верцингеторик-

сом и стараются получить гегемонию среди восставших народов. Но это дело поручается сейму, на который сходятся депутаты всех галльских народцев, исключая троих. Сейм решает, что главное начальство над союзным войском должно быть передано Верцингеториксу. Гэдуи очень оскорблены, и главные из их вельмож молодые люди Эпоредорикс и Варидомар неохотно повинуются Верцингеториксу. Последний приказывает набрать немедленно 15 000 конницы. «Пехоты же, — говорил он, — у меня довольно; я не дам сражения, но, имея многочисленную конницу, очень легко будет перехватывать у римлян продовольствие, только уничтожайте собственные запасы и жгите здания и в вознаграждение за эти потери получите постоянное владычество и свободу». Но когда заказанная конница (мы видели, что он заказал 15 000) явилась, когда Верцингеторикс увидел у себя большое войско и узнал, что Цезарь двигается быстро к границам римской провинции (Прованса) для ее защиты, то галл позабыл свою осторожность и, созвавши начальников конницы, объявил им, что необходимо напасть на удаляющихся римлян, иначе они возвратятся с большими силами и не будет конца войне. Галлы восторженными криками отвечают на предложение своего вождя, вступают в битву с римлянами и терпят страшное поражение.

Верцингеторикс запирается в город Алезию (деревня Alise — Sainte-Reigne), Цезарь осаждает его; происходит другое конное сражение, в котором Цезарь одерживает победу благодаря германцам, бывшим в его войске. После этого поражения Верцингеторикс тайно, ночью отослал конницу по домам, наказавши уходившим всадникам, чтобы каждый старался поднять свой народец, уговорить к поголовному вооружению, чтобы спасти его, человека, оказавшего так много заслуг, и вместе с ним спасти 80 000 избранного галльского войска. Из этих слов узнаем, что с Верцингеториксом в Алезии было 80 тыс. галлов; силы осаждающих считают около 70 000. Всадники, распущенные по домам, исполнили поручение: галльские вельможи собрались и определили не поголовное вооружение, но чтобы каждый народ выставил известное количество войска; всего составилось 240 000 пехоты и 8000 конницы, которые и явились под начальством четырех

вождей к Алезии на выручку Верцингеторикса. Таким образом, если примем эти цифры за достоверные, Цезарь должен был иметь дело с 320 000 с лишком неприятелей. Галлы шли к Алезии с надеждою, что римляне побегут при первом появлении такой громады, но римляне не ушли, и в первой же битве галльская громада потерпела поражение опять благодаря германцам, служившим Цезарю. После второго поражения пришедшие на помощь галлы рассеялись, и Верцингеторикс принужден был сдаться. После этой неудачи общего восстания Цезарь встречал только частные сопротивления, которые были сломаны одно за другим, и вся Галлия была присоединена к римским владениям.

Страна варварская была завоевана цивилизованным народом, присоединена как часть к огромному целому. Римская цивилизация была перенесена в Галлию; римское управление не хотело знать прежнего быта галлов по народцам, прежних отношений одного народа к другим, самостоятельных народов — к народам-клиентам; оно располосовало всю страну по-своему, как ему было удобнее, устроило правительственные центры в некоторых старых галльских городах, дав им новые названия или построив для этого новые города. Римское управление сгладило особенности, существовавшие между частями народонаселения, прикрыло его одною форменною одеждою. Галльская шляхта заговорила по-латыни, завела у себя школы; некоторые из знатной шляхты попали в римский сенат. Но при этом для нас важно знать, какие перемены римское господство произвело в экономическом быте страны, перемены в распределении богатств; от чего зависели отношения между членами народного тела и отношение их к государству. Получая с отдаленного Востока дорогие произведения природы, служащие роскоши нашей пищи и одежды, нашей бытовой обстановки, мы составили себе понятие о богатстве Востока, но внимательное изучение Востока заставляет видеть здесь предрассудок, заставляет заменить выражение «богатство Востока» выражением «бедность Востока». То же самое надобно допустить и относительно благосостояния, богатства древних, остатки быта которых поражают нас своею художественностью и величию; но освободимся от первого впечат-

ления, изучим подробности, и откроется другая сторона быта, откроется бедность его.

Рим и в варварские страны, ему подчинившиеся, перенес потребности своего государственного быта, своей цивилизации. Города, служившие правительственными центрами, были виднее прежних галльских городов, явились цирки, храмы, водопроводы, дороги. Но эта великолепная обстановка скрывала за собою большую бедность, сосредоточение земельной собственности в немногих руках, тяжесть податей, от которых бегут горожане, правители городские, и стремление правительства закрепостить их, исчезновение свободного сельского населения, усиление закладничества, холопства, рабства в громадных размерах. Все эти явления нам очень знакомы: мы их встречаем в древней допетровской Руси и по ним как самым верным признакам заключаем о крайней бедности страны, о крайней экономической неразвитости. Встречая их в Римской империи, делаем тот же вывод, видны одинаковые явления в молодом, неокрепшем теле, но имеющем развиваться и крепнуть, и в теле дряхлого человека, имеющем разложиться, выделить из себя новые тела, которые начнут жить при той же обстановке экономического быта, но при новых условиях развития, которые мало-помалу поведут к изменениям в экономическом быте.

Римская империя составила путем завоевания, и здесь уже одна из главных причин ее дряхлости, бедности, ибо завоевание предполагало опустошение, порабощение, истощение источников богатства, остановку правильного обращения последнего, прилив его к некоторым только частям тела — отсюда болезнь и паралич. Вспомним, что сделали завоевательные римские легионы в Греции, Азии, Африке, Галлии — повсюду, где проходили; вспомним, как была опустошена вследствие усобиц сама Италия, и мы узнаем, какую бедность получила Римская империя в наследство от уничтоженной ею республики. И в этом-то бедном, малонаселенном государстве главная и нудящая потребность состояла в содержании большого войска для защиты границ, растянутых на обширнейших пространствах, и для внутренней защиты правительства. Трудно было содержать войско, трудно было набирать его: в высшем слое — отвращение от опас-

ной и тяжелой службы, разврат и отсюда слабость физическая и нравственная, бесплодие браков и отвращение к ним; в низших — рабство, и среди свободных — то же расслабление и холодность к гражданским интересам.

В состав такой-то империи должна была войти Галлия, последующая судьба которой особенно важна для нас, ибо состояние ее во время завоевания нам более известно, чем состояние какой-либо другой римской провинции. Народонаселение Галлии если бы и было значительно до завоевания, то сильно поубавилось от истребительной войны. Не говоря уже о потерях во время битв, когда из 60 000 человек, способных носить оружие, оставалось только 500 человек, встречаем известие, что какой-нибудь народ истребил сам всех своих сенаторов или раздраженный сопротивлением победитель продал в рабство 53 000 человек; веныты потеряли на войне всю свою молодежь, всех главных граждан, остальные сдались победителю, но Цезарь предал смерти сенаторов, а остальных жителей продал в рабство. По увещанию Верцингеторикса галлы сами истребляли свои городки. Таким образом, Галлия досталась Риму в виде страны опустошенной, для восстановления и преуспевания которой надобны были продолжительные благоприятные обстоятельства.

Но об этих благоприятных обстоятельствах нельзя было мечтать при римском управлении. Напрасно галлы жаловались императору Августу на неслыханные грабежи его прокуратора Лициния, который был сам галл родом. Некоторым галльским народцам позволено было остаться независимыми в своих внутренних делах, то есть при том известном нам быте, который не представлял условий благосостояния или движения к нему. При Тиберии дела пошли еще хуже, чем при Августе, ибо подати увеличились, мытари (*publicani*) свирепствовали. Галлы не вытерпели и восстали, но восстание не имело успеха; оба предводителя восстания, галлы, но уже с латинскими именами, лишили сами себя жизни. Скоро в Лионе увидели Калигулу, занимавшегося казнью лучших галлов и конфискацией их имуществ; оставшиеся в живых должны были покупать огромною ценою конфискованные имущества; таким образом, Римская империя принесла новое средство собирания громадной земельной собственности в одних руках.

Деньги шли на публичные зрелища в Лионе и на раздачу войску. Однажды Калигула играл в кости со своими, проиграл и потребовал список богатейших галлов; отметив известное число их на смертную казнь, он возвратился к играющим со словами: «Вы с большим трудом выигрываете по несколько драхм, а я вдруг выиграл 150 миллионов!»

Подвиги Калигулы окончились аукционом, на котором он продавал собственные вещи, и некоторые галлы должны были разоряться, если хотели избежать смерти, а после аукциона было состязание литераторов латинских и греческих, причем авторы дурных сочинений должны были в наказание вылизывать их языком, если не хотели быть высеченными. Галльские вельможи, оставшиеся в живых после Калигулы, были польщены при императоре Клавдии правом достигать сенаторского достоинства и других главных санов в Риме, но зато в Галлии императорские прокураторы, занимавшиеся прежде только сбором податей и бывшие обыкновенно из вольноотпущенных, получили значение судей. Империя от старости впадала в младенчество и вместо разделения должностей стремилась к соединению.

Из двух классов народонаселения, господствовавших в Галлии до завоевания, шляхты и друидов, первый, хотя значительно истребленный войною и казнями императорскими, остался, однако, наверху, и даже сильнейшие, богатейшие его члены приобрели новый почет и могли еще более увеличить свою земельную собственность. Но друиды подверглись сильному гонению, потому что Рим охотно брал чужие божества в свой пантеон, но не позволял подвластным народам иметь исключительно принадлежащую ему религию, что служило основанием его отдельной народности. Во время римской смуты, когда один император сменял другого, Галлия поднялась, с одной стороны, под друидским, с другой — под шляхетским знаменем.

Галльские депутаты собрались в Реймсе (Durocartorum) и разделились на две партии — партию римских приверженцев и партию приверженцев независимости. Тацит немногими строками вводит нас в это совещание галлов и обнаруживает пред нами всю невозможность для Галлии независимого существования. Начинает речь любимый за свое

красноречие депутат тревиров, злой заводчик войны. В обдуманной речи он изливает все, что обыкновенно говорится против быта больших государств, изливает на римский народ клеветы и ненависть, и этот ненавистник римского народа носил римское имя Туллий Валентин. Ему отвечал знатный галл из народа ремов Юлий Ауспекс, представил силу римскую и благодеяния мира: «Война начинается людьми худыми, а ведется с опасностью для лучших; римские легионы уже над головами». Ауспекс сдержал старших благоразумным уважением и верностью, младших — опасностью и страхом. Хвалили смелость Валентина, но следовали советам Ауспекса. Большую часть отклонило от войны соперничество провинций: кто будет управлять военными действиями? Если дело удастся, где будет пребывание правительства? Еще не было победы, а уже был раздор. Каждый предъявлял свои права, и никто не хотел уступить другому. Затруднительность будущего заставила предпочесть настоящее. Только несколько бельгийских народцев решились на борьбу и дорого заплатили за свою отвагу; это было последнее галльское восстание.

Все люди разумные, говорил Цицерон, смотрели на Галлию как на самого страшного врага для Рима. Теперь этого врага не было более; страшная Галлия спокойно подчинилась римскому владычеству, романизируясь все более и более. Но опасность для Рима не прошла, а усилилась: у ворот империи, на Рейне и Дунае, стояли толпы других варваров, дожидаясь своего времени; на Рейне и Дунае стояли варвары, которым суждено было произвести вторичное завоевание Рима посредством его же войска, его же полководцев.

Мы уже говорили о первом завоевании Рима его войском, его полководцем: это произошло во времена Цезаря и Октавия-Августа, после кровопролитных усобиц между несколькими полководцами-соперниками. Более счастливый из них сделался повелителем Рима, оставив все прежние формы республиканского быта. Мы уже видели, что императорская власть в Риме не была похожа на монархии старых и новых народов, монархии народные; римское императорство было тиранией, военным деспотизмом. В императорском Риме мы не видим династического начала. Республиканское начало

избрания не теряло своей силы; но кто же мог избирать императора? Разумеется, та сила, которая была налицо, которая заслонила собою все другие силы, именно — войско, которому необходим был вождь, император. Верховная власть была завоевана войском для своего вождя, войско и должно было располагать своею добычей; в очень редких только случаях возможность подать свой голос при избрании императора получал сенат, но сенатский избранник обыкновенно недолго сохранял свою власть и свою жизнь. Но как могло войско, расположенное по отдаленным краям империи, избирать императора? Разумеется, избирала, провозглашала нового императора та часть войска, которая была ближе к пребыванию верховной власти, так называемые преторианцы, но другие легионы не хотели уступить этой чести и выгоды преторианцам, провозглашали своего вождя императором; легионы, расположенные в противоположном краю, провозглашали своего; являлось несколько императоров, начиналась усобица. Победа решала, кому из вождей-соперников владеть Римом, и это было совершенно последовательно, ибо то же самое мы видим в начале империи: каким путем достигали верховной власти Цезарь и Октавий-Август, таким же должны были достигать ее и преемники их; гражданского, народного, исторического корня у этой власти не было, она постоянно являлась следствием завоевания.

Войско давно уже потеряло гражданский характер; народного по самой натуре Римского государства оно никогда не имело; давно уже оно превратилось в дружину, знавшую только своего вождя и своих орлов. Известный поступок преторианцев, когда они продавали императорство с аукциона и отдали его тому, кто дал им денег больше других, всего лучше характеризует римское войско времен империи; такое явление немислимо там, где войско сохраняет хотя какие-нибудь связи с народом и государством, и очень понятно там, где оно составляло совершенно отдельную от общей жизни массу, вдвинувшуюся посредством насилий, завоевания. Сначала войско составлялось из народонаселения, ближайшего к Риму, итальянского; потом, с оскудением Италии свободными жителями, набиралось из других народов, более или менее ороманившихся; наконец, с постепенным

оскудением жителями областей империи стало набираться из варваров, сперва в смешении, а потом сплошными массами, принадлежащими к одному народу или к разным. Чтобы понять явления, происходившие в Европе пред так называемым падением Рима, не надобно забывать, что Рим пал, быв завоеван Силлами, Цезарями, Октавиями, быв завоеван их легионами, их войском, которое и располагало судьбами империи. Не надобно забывать, что варвары, входившие постепенно в области империи, входили как войско империи, провозглашали и свергали императоров, как то делало и прежде войско, вели усобицы, опустошали страны, наконец, отнимали часть земель, но все это делалось и прежде с тяжелой руки Силлы. Нам нужно только указать постепенное движение варварского народонаселения в виде войска. Но войско в западной части империи преимущественно составлялось из германцев, и потому мы должны делать наблюдения над этим племенем.

Мы уже говорили, что, приняв в соображение естественные законы в народных движениях, стремление занять лучшие страны, должно признать германцев самыми поздними насельниками Европы из арийцев. Найдя южные полуострова, Запад Европы и страны придунайские уже занятыми другими арийцами, германцы должны были принять движение к северо-западу и занять Скандинавию, откуда, вытесняемые нуждою, должны были перейти на южный берег Балтийского и Немецкого морей, занять нынешнюю Северную Германию. Кроме естественного желания народа, приведенного в движение, народа с возбужденными силами, продолжать движение, искать новых лучших стран Скандинавия не могла перестать высылать лишек своего народонаселения, новые выходцы теснили прежде поселившихся в нынешней Северной Германии и заставляли их двигаться к юго-западу на поиски новых земель. У германских племен, как видно из слов Иорданда, сохранилось предание о Скандинавии как о фабрике народов (*officina gentium*). Авангард германцев, кимвры и тевтоны, наведшие такой ужас на Рим, прямо объявляли, что ищут земель для поселения. Марий жестоко насмеялся над ними, сказавши, что дал им земли для погребения их мертвых тел. Но смеется тот, кто после-

дний смеется. Германцы не переставали требовать земель и захватывать их при первом удобном случае. Цезарь должен был биться с ними из-за Галлии. Он отбил ее у них, но только до времени; победитель должен был сделать печальное признание о необыкновенной храбрости этих варваров; в его же известиях о Галльской войне читаем, что в решительные минуты он был обязан победою над галлами мужеству германцев, находившихся в его войске.

Из наблюдений над историческою жизнью народов мы вывели, что три главные условия определяют судьбу народов: природа страны, где живет народ, происхождение или племя и воспитание или первоначальная история народа. Все эти три условия были благоприятны для германского племени; поздний приход его в Европу и необходимость занять суровые и скудные страны ее севера содействовали развитию в этом племени силы и энергии; развитие означенных качеств пошло еще быстрее, когда значительная часть племени должна была искать новых жилищ, должна была предпринять долгое и опасное странствование, долгий и трудный подвиг. Германцы не могли, подобно галлам, скоро и легко занять обширную и богатую страну; первые движения их кончились несчастно; кимвры и тевтоны потерпели истребительные поражения от Мариа. Попытки Ариовиста захватить земли в Галлии были уничтожены Цезарем. Германцы встретили в римлянах страшных врагов, которые превосходили их воинским искусством, которые сначала не давали им покоя в их собственной стране; нужно было обороняться; при наступившем движении нужно было сначала двигаться чрезвычайно медленно, каждый шаг вперед делать с большим усилием, покупать успех дорогою ценою.

Таким образом, германцы должны были пройти долгую и трудную школу, благодаря которой они воспитали в себе выдержливость и приобрели все качества отличного войска, в виде которого они сначала и вошли в состав оскудевшей войском Римской империи; легкость успеха портит человека и народ, только трудность его развивает силы и дает хорошее воспитание человеку и народу. «Пусть нападут на меня, — отвечал Ариовист Цезарю на его угрозы, — пусть нападут и тогда узнают храбрость народа, который в про-

должение четырнадцати лет ни разу не входил под крышу дома». Здесь выразилось сознание подвига, ибо германцы не были кочевниками, не понимавшими приятности иметь дом; они очень хорошо понимали эту приятность и достижение ее, получение хорошей земли для оседлости поставили целью своего трудного подвига. Тацит так отозвался о Германии: «Кто, оставив Азию, Африку или Италию, захочет пойти в Германию, безобразную почвою, суровую климатом, печальную обработкою и видом, разве кому она будет отечеством?» Но дело в том, что для германцев эта страна не была отечеством, а только перепутьем; чем суровее и печальнее была страна, тем сильнее было в ее жителях стремление как можно скорее покинуть ее, а препятствия, при этом встречаемые, еще более усиливали стремление.

Надобно с большою осторожностью делать выводы о характеристических чертах племени и народов, ибо часто то, что считается прирожденным отличием, является случайностью, происходящею от известного положения народа или племени. Так, например, рассуждают, что галльские народы отличали друг друга именами, заимствованными от видимой природы: это или горцы, или жители равнины, или поморы, тогда как германские народы заимствовали свои названия от отвлеченных разделов неба и назывались людьми Востока, Запада, Севера, Юга. Но не надобно забывать, что галлы давно уже жили в известной стране, не хотели ее покидать, и потому они усваивали себе названия по местностям, тогда как германцев история застаёт в движении, на поиске земель, где бы поселиться; стоит только вспомнить, например, судьбу ост- и вестготов: спрашивается, от какой местности они могли называть себя, когда они постоянно двигались, переменили место жительства? Нельзя народу называться поморянами, когда он то уйдет в горы, то выйдет на равнину, далекую от моря.

Что касается частных быта, то быт германцев сходен с бытом родственных им арийских племен в Европе, которых история знала еще в варварстве, как племени кельтического, так и славянского. Но здесь не надобно упускать из виду того обстоятельства, что германцы были относительно недавние пришельцы в своей стране и в постоянно воин-

ственном движении стремились покинуть ее, что быт их, как он нам известен по римским описаниям, более сходен с бытом галлов, когда последние, по словам Цезаря, были так же храбры, как германцы, то есть пока они еще не успокоились в стране, устремлялись из нее воинственными массами и наводили ужас на соседей. Галлы времен Цезаря имели уже города, хотя и в значении только укрепленных местностей на случай неприятельского нападения; но присутствие этих укрепленных мест, как знак желания защищать известную страну как *свою* страну, удержаться в ней, равно как появление отдельной земельной собственности, свидетельствует, что народ обжился в известной стране, сросся с нею, не хочет с нею расстаться. Германцы не жили в городах и не терпели жить вместе, жили разбросанно и розно, где понравится источник, поле, роща. Обрабатываемая земля находилась в общем владении, и Тацит заметил, что этому благоприятствовала обширность пространства; земли было много, она не имела цены, на ее обработку, находившуюся в грубом состоянии, не тратилось много труда и капитала, и потому земля немногим в этом отношении отличалась от леса и луга, ибо недвижимая отдельная собственность начинается с дома и земли, находящейся около него, что французские крестьяне до сих пор называют *наследством* по преимуществу (*l'heritage*), затем следует пашенная земля, далее луг и лес.

Политическое устройство германцев представлялось Тациту так же не вполне ясно, как политическое устройство галлов представлялось Цезарю: «Царей берут себе германцы по благородству происхождения, вождей — по храбрости (*reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt*). Цари не самовластны, и вожди сильны более примером, чем властью, если деятельны, видны, сражаются впереди всех». Но в других местах рассказа автор подле слова «царь» (*rex*) употребляет другое слово — «начальный человек» (*principes*) (властелин, князь, начальствующий (лат.)). «О делах меньшей важности совещаются начальные люди (*principes*), о важнейших — все. На общем совещании выслушивается царь, или начальный человек, или кто-нибудь другой, видный своею маститостью, благородством, воинскими доблестями, красноречием; действует более сила убеждения, чем власти. В тех же собрани-

ях избираются начальные люди (principes) для суда; каждого из таких судей сопровождают сто человек из народа». Можно было бы успокоиться на этом указании значения начальных людей (principes), если бы в следующей же главе не встречалось слово: «И отроки могут получить значение начальных людей по особенному благородству или великим заслугам предков». Затем следует знаменитое место о дружине (comites, comitatus), как воинственная толпа сосредоточивается около богатыря, знаменитого своими подвигами, и этот глава дружины называется начальным человеком (princeps).

Из свода этих известий оказывается, что воинственное движение у германцев, как и у галлов, выдвинуло и продолжало выдвигать из народной массы людей храбрейших, богатырей (robustiores), около которых сосредоточивались воинственные толпы, дружины. Быть в дружине богатыря не считалось постыдным; место, какое занимал член дружины, определялось по воле вождя дружины, и между дружинниками было сильное соревнование, кому занимать первое место у своего начальника, а между начальными людьми (principes) — сильное соперничество, у кого многочисленнее и храбрее дружина. Постоянное окружение большою толпою избранных юношей давало достоинство и силу, в мире составляло украшение, на войне — охрану. Многочисленная и храбрая дружина доставляла вождю ее славу не только в своем народе, но и у народов соседних: к таким вождям являлись посольства, приносили дары. Во время битвы постыдно вождю (principi) уступить дружине в храбрости, постыдно дружине не сравняться в храбрости с вождем. Бесчестно на всю жизнь остаться после битвы живым, когда вождь полег на месте. Вожди бьются из-за победы, дружинники — за вождя. Если народ коснеет в долгом мире и праздности, то многие из благородных юношей уходят к тем народам, которые ведут войну, ибо спокойствие невыгодно: возможность содержать дружину доставляется войною, грабежом.

Эти-то храбрецы, собирающие около себя дружины подобных себе храбрецов, и являются начальными людьми (principes), они-то и вожди частных предприятий; храбрейший из них избирается вождем и для общего предприятия,

задуманного целым народом (*duces ex virtute*). Но как везде, так и здесь значение счастливого вождя, окруженного многочисленной и храброю дружиною, давало ему возможность усилить свою власть, сделаться царем (*rex*). Счастье давало ему значение, несчастье лишало его царского достоинства: Маробод, царь маркоманов, после поражения от Арминна был изгнан своим народом. Арминн, победитель римлян и Маробода, был убит своими за то, что хотел сделаться царем. Но некоторым удавалось удержать за собою царское достоинство и поднимать своих детей, свое потомство так высоко, что народы продолжали брать из него себе царей (*reges ex nobilitate sumunt*). Таким образом, между германскими народами у одних был царь, человек, поднимавшийся выше всех своею властью, хотя и ограниченной народным собранием; у других не было царя, но было несколько выдававшихся своею храбростью и знаменитыми предками людей, окруженных более или менее многочисленными дружинами, — то были начальные люди (*principes*). Тацит ясно различает в этом отношении германские народы и дает знать, что сила царской власти выказывалась довольно заметно в одном случае; говоря о вольноотпущенных (*libertini*), Тацит замечает: вольноотпущенные стоят немного выше рабов; редко имеют значение в доме, никогда — в обществе, исключая только те народы, которые управляются царями: тут они возвышаются и над свободными, и над благородными; у остальных народов ничтожность значения вольноотпущенных служит доказательством свободы. Из этих слов Тацита видно, что хотя власть германских царей и была ограничена, однако была довольно значительна, когда их вольноотпущенники могли подниматься даже выше благородных.

Когда не было войны, германцы проводили время в охоте, но более в праздности, еде и сне. Самый храбрый и воинственный ничего не делал, возложивши хозяйственные заботы на женщин, стариков и самого бессильного в семействе. У народа обычай приносить начальным людям подарки, которыми те и живут, особенно пользуются дарами соседних народов: посылаются отборные лошади, оружие, деньги. Кроме этих даров продовольствие доставлялось рабским трудом. Простота быта обуславливала различие в быте герман-

ских рабов от быта рабов римских. Для домашних работ при их немногосложности раб был не нужен германцу; эти работы исполнялись женами и детьми; германский раб жил своим домом, имел свою семью и обязан был только доставить господину известное количество необходимых для последнего вещей, хлеба, скота, платья. Поэтому германцы редко употребляли против своих рабов бичи и оковы; случалось господину убивать раба в сердцах как врага, а не в наказание за проступок и не из жестокости; убийство это оставалось безнаказанным.

Другое положение рабов было у цивилизованных римлян. Здесь раб не имел ни семейства, ни собственности, был рабочею силой, от которой господин хотел получить как можно больше выгоды. Над стадом рабов был приставлен надсмотрщик, которого безопасность и выгода состояли в том, чтобы представить господину наибольшие результаты рабского труда. Не имея ни малейшей выгоды для себя от труда, раб мог быть принуждаем к нему только страхом наказания — физических страданий и лишений, а потому принудительные средства к работе были в страшных размерах, а страх пред бегством и восстанием рабов увеличивал жестокость обращения с ними.

Кроме простоты быта, уничтожающей расстояние между господином и рабом, уничтожающей презрение первого к последнему как существу низшего разряда, на судьбу раба имел влияние способ его приобретения: варвары, каковыми были германцы, не могли приобретать рабов куплею по причине бедности своей. Покупка необходимо унижала купленного раба до значения вещи; господин, потративший деньги на приобретение раба, естественно, имел в виду одно, чтобы получить хороший процент с употребленного капитала, тогда как варвар приобретал раба преимущественно на войне: это был неприятель, захваченный в плен хитростью или одолением, часто после долгой борьбы; храбрый, хотя и побежденный, не мог возбуждать презрения в храбром, а корыстного расчета не было; кроме того, нельзя отвергать, чтобы у германцев, как у галлов, не было добровольных холопей.

Говорят о родовом быте у германцев и приводят указания на него, встречающиеся у Цезаря и Тацита. Цезарь го-

ворит о ежегодном дележе земель по родам (*gentibus*); он же говорит, что во время боя германцы становились по родам (*generatim*); Тацит подтверждает это показание. Этих указаний отвергнуть нельзя, как никогда и нигде нельзя отвергать силу кровной связи, стремления родичей жить и действовать вместе, но для нас важно то, какое значение имел этот союз в общей жизни народной, имел ли отдельное самоуправление, как оно устраивалось и какое значение имели родоначальники. Другое дело, когда говорится, что в известном племени каждый жил отдельно с родом своим на своем месте и владел родом своим; другое дело, когда по прошествии многих веков по основании государства мы должны встретиться с родовыми отношениями и между владельцами страны, и между знатью, и между простыми людьми, где никто не был мыслим без рода, без братьев и племянников; другое дело, если государство основано в IX веке, а в XVIII совершеннолетний член рода находится еще в зависимости от старших, должен принять то или другое место в государственной службе по их решению; в истории такой страны мы, разумеется, должны обращать большое внимание на родовой быт, изучать обстоятельства, которые условили такое долгое существование его в разных сферах. Но у германцев в описываемое время находим ли мы такие явления, которые дали бы нам право делать решительные выводы насчет родового быта?

Мы не можем не предположить значения кровной связи между германцами, значения ее как обязанности и средства взаимной защиты как на войне внешней, так и во всех столкновениях внутренних; не можем не предположить, если бы даже и не имели ясных свидетельств, но на дальнейшие предположения мы не имеем права, ибо известия об избрании царей, о происхождении вождей и начальных людей, о происхождении их окружения или дружины, об избрании судей, о характере веча — все эти известия не содержат в себе и полунамека на влияние родовых отношений. Тацит, указывая на крепость родственной связи, спешит, однако, заметить, что наследниками каждого были его собственные дети, а при отсутствии детей — ближайшие родственники. Из всего известного нам ясно, что мы имеем дело с народом,

среди которого происходит сильное движение физическое; с народом, который остановился на перепутье, причем происходит сильная выработка дружинного начала; дружина дает движению воинственный характер, воспитывает целые народы воинов, снабжает империю войском, дает ее истощенным областям воинственное, сильное народонаселение, в котором они именно нуждались, и тем восстанавливает потухавшую под властью Рима жизнь Западной Европы.

Таким образом, развитие дружинного начала среди германских народов на первом плане для историка. Всякий поймет, что это явление не есть принадлежность германской народности. Галлы, когда были так же храбры, как германцы, по выражению Цезаря, то есть когда были в тех же условиях, в каких история застала германцев, точно так же выставили дружину, то есть выделили из народной массы богатырей, окруженных толпою подобных храбрецов. Эти богатыри и потомство их точно так же образовали начальных людей (*principes*); менее выдававшиеся подвигами, благородством и богатством воины носят у Цезаря, как мы видели, название всадников (*equites*), и, наконец, толпа, не имеющая политического значения, которое все в руках всадников и жрецов (друидов). В Тацитовом описании Германии мы не находили указания на эту толпу, не имеющую никакого влияния на общественные дела; воинственное движение, обхватившее в это время все племя или по крайней мере те части его, которые были ближе к римским границам и особенно выдавались в борьбе, — это воинственное движение уравнивало всех способных носить оружие, тем более что простота быта, отсутствие отдельной поземельной собственности также благоприятствовали этому уравниванию.

Но впоследствии и между германцами явилось тройкое разделение на благородных, свободных и меньших людей (аделингов, фрилингов и литов-*minor persona*), что соответствует галльским начальным людям, всадникам и меньшим людям, безучастной в делах толпе. Нам важно это тождество явлений, ибо оно указывает нам на необходимость известного хода развития при известных условиях; нам важно наблюдать и отметить эти явления и условия, при которых они последовали, чтобы следить за дальнейшими явлениями

жизни европейских народов. Тождественность явлений у варваров различных племен заставляет нас осторожно относиться к племенным и народным различиям, тем более что в младенце трудно уловить черты, которые будут характеризовать взрослого человека, выражающего в своем нравственном образе все многообразие условий, имевших влияние на окончательное определение этого образа. Пока достаточно того, что имеем дело с племенами, способными к развитию; получившими сначала хорошее воспитание, развившими свои силы в продолжительном и многотрудном подвиге и потому представившими уже в колыбели, в варварском быте развитие, расчленение, которое при дальнейших благоприятных условиях поведет к сильному развитию народной жизни.

Это развитие, расчленение произошло именно благодаря силе дружинного начала, благодаря этому сильному упражнению юного народного тела, сильной гимнастике, вызвавшей из народа лучших людей, самостоятельных в сознании своей силы и доблести, могущественных вследствие того, что около них сосредоточены другие силы, притянутые к ним их личными достоинствами, личными подвигами. Таких сил много, и каждая сила обязана считаться с другими силами; такого рода отношения могущественно содействовали развитию тех форм народной жизни, которые характеризуют новую европейскую историю.

Истощенные области империи получают свежее варварское народонаселение. Императоры после побед своих над варварами селят побежденных на пустых пространствах в империи в виде земледельцев, крепких земле (колонов). Императоры хвалятся, что варвары засевают и обрабатывают земли для римлян, германские быки возят плуг по галльским землям и римские житницы наполняются хлебом варваров. Но варвары могли кормить римлян только в таком случае, если бы римляне составляли вооруженную силу, а варвары представляли мирный безоружный народ. Вышло наоборот. У римлян нечем было пополнять легионов, и они обратились к варварам. Мы видим, что Цезарь побеждал галлов с помощью германцев; германцы участвовали и в Фарсальской битве, отнявшей у Рима свободу. Надобность в вой-

ске заставила приглашать свободных варваров и давать им земли с обязанностью нести военную службу; такие варвары назывались лэтами. Но в то же время римское войско наполняется варварскими богатырями, вожди которых начинают выдаваться вперед, получают важнейшие места подле императоров, являются консулами Рима; это служит знаком, что число варваров все более и более увеличивается в римских войсках, и, наконец, они составляют всю силу Рима. Но при более сильном напоре варваров на римские границы служащих под римскими знаменами варваров стало недостаточно для защиты этих границ; их одноплеменники огромными толпами прорвались в области империи, где они не могли встретить никакого сопротивления со стороны жителей, истощенных физически и нравственно.

«Никто, — говорит современник, — не хотел погибать, и никто не искал средств, как бы спастись от гибели; повсюду царствует непонятное нерадение, бездействие, трусость; только и заботятся о том, как бы поесть, попить и выпаться». Но жители областей империи, как бы ни заботились, не могли найти средств для утоления голода, жажды и для спокойного сна: не имея чем заплатить податей, они покидали дома, чтобы не подвергнуться пытке, покидали родную страну для избежания казни. «Враг им не так страшен, как сборщик податей; они убегают к варварам, чтоб спастись от этих сборщиков».

Римский император для безопасности не живет уже более в Риме, а в Равенне, но его именем владевает варвар, начальник варварского ополчения, защищающего Рим и его императоров, свергающего и возводящего последних по своим расчетам; какую роль потом играли вожди турок при калифах, палатные мэры при Меровингах, такую же роль играют вожди варваров при последних римских императорах из римлян. Наконец одному из варварских вождей наскучило менять римских или равеннских императоров; он объявил, что таких больше не будет, а будет признавать он власть императора, живущего в Константинополе, его именем будет сам управлять Италией. Это провозглашение называют падением Западной Римской империи.

24. НОВЫЕ НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА

а) Италия и Галлия до Каролингов

Западная Римская империя пала, но она и после того сохраняется по имени; даже то, что обыкновенно называют падением Западной Римской империи, есть, по-видимому, восстановление единства империи. Но все это только по имени, по-видимому. В отдельных областях Западной империи уселись варвары разных наименований с первенствующим значением, и князья их самостоятельно управляют этими странами. Наше дело теперь наблюдать отношения варваров друг к другу при новых условиях, отношения их к римскому, то есть более или менее олатыненному, народонаселению областей разваливавшейся империи, наблюдать результаты этих отношений, результаты соединения различных элементов и наблюдать действие этих результатов на варварские народы, оставшиеся за пределами Римской империи. Здесь мы прежде всего замечаем, что три страны находятся с самого начала в тесной связи: это Италия, Галлия и Германия; Испания и Британские острова по разным условиям, историческим и географическим, известное время живут особо; так же особо живут скандинавы, Византийская империя и славянские народы, преимущественно восточные, составившие Русское государство. Таким образом определяется порядок наших наблюдений.

Из трех стран, которые прежде всего обращают наше внимание по тесной связи между ними с самого начала, в Италии преимущественно сохраняется древний римский элемент. Это была страна, в политическом и нравственном отношении покрытая древними громадными зданиями, стоявшими непоколебимо и не допускавшими изменения, вторжения новых, чуждых форм; если которые из них и рухнули, то развалины плотно покрывали почву и побеги нового только иногда находили путь среди развалин. Главное священное здание, к которому новое питало суеверный страх, куда оно не смело про-

⁴ Статья эта напечатана в «Вестнике Европы» за 1874 год, в апрельской книге; в августе того же года появилась статья Куланжа (*Revue des deux mondes*), где повторяются те же положения.

никнуть, — это был Рим, город — владыка мира и потому не могший сделаться главным городом какой-нибудь страны, столицей какого-нибудь варварского князька. Рим давал звание и права наивысшей власти человеку, живущему в Равенне или Константинополе и называвшемуся, однако, римским императором; варварские князья, владельцы обширных стран, величались титулами римских должностных лиц. Через целый ряд веков Рим будет оставаться главным городом не Италии, но целой Западной Европы, чрез целый ряд веков титул римского императора будет почетнейшим титулом для государя Западной Европы, будет означать главного между ними.

Только в XVIII веке владетель государства, основанного на девственной почве Восточной Европы, свободной от античных преданий, русский Петр Великий решился соединить титул императора не с именем Рима, а с именем своей страны, назвался императором не Восточной *Римской* империи, как ожидали в Европе, но императором Всероссийским. Только в XIX веке такое же явление произошло в Западной Европе, где вместо римского императора явились французский, австрийский и германский императоры; только тут произошло окончательное падение Западной Римской империи; только тут Рим потерял значение главного города всей Западной Европы и мог сделаться главным городом страны, Италии.

Тринадцать веков нужно было для того, чтобы исключительное значение Рима износилось; как же сильно было это значение во время образования новых государств в Западной Европе! Этот самый крепкий остаток античного мира, самый видный представитель его, представитель одностороннего господства города пред страной и народом, был так силен, что долго, очень долго мешал в окружающей его стране образованию единого государства, единого народа, мешал тому явлению, которое характеризует новый европейско-христианский мир, то есть образованию стран и народностей в противоположность одностороннему развитию города в греко-римском мире и первобытному, простому образованию народных тел на Востоке, тех народов, которых Аристотель противопоставляет своему городу, тех простейших народных тел, у которых была только голова да туловище без дальнейшего расчленения, развития. Новый

европейский мир должен был представить высшие государственные организмы с сильным развитием, расчленением, с живым осложнением отношений между частями народонаселения, без односторонностей Востока и греко-римского мира. Но представитель последнего Рим стал крепко в Италии и препятствовал здесь развитию новых начал. Мешал этому Рим со своим древним значением, а не папа, значение которого было само результатом значения Рима.

Варвары вошли в область империи сырым, чистым, бесформенным материалом. Народы, находящиеся в таком положении и способные к развитию, при встрече с известными формами цивилизации, не имея ничего противопоставить им, стремятся принять их. Некоторым варварским вождям, естественно, приходила в голову мысль: «Мы сильнее этой дряхлой Римской империи, разрушим ее и создадим свое новое государство вместо нее». Но когда они обращали более внимательный взор на свой народ, то понимали, что с ним нового государства образовать нельзя, нет формы, не с чего начать; ими овладевала скромность, сознание своей несостоятельности; они принимали решение служить империи и ее цивилизации и этой ревностной службой удовлетворить своему честолюбию, оставив по себе память. Известна исповедь Атаульфа Вестготского: «Я хотел истребить имя Рима и на его развалинах основать господство готов и приобрести славу основателя нового государства, подобно Цезарю Августу. Но опыт убедил меня, что для сохранения государства в добром порядке нужны законы, а дикий и упрямый характер готов делает их неспособными сносить ярмо законов, гражданского порядка и управления. Теперь я желаю, чтоб в будущие века с благодарностью вспоминали о заслугах чужестранца, который употребил меч готов не для разрушения Римской империи, но для восстановления и охранения ее благосостояния».

Вождь сбродной варварской дружины, находившийся на римской службе, Одоакр, которому обыкновенно приписывали разрушение Западной Римской империи, господствовал в Италии с титулом патриция, тогда как римский сенат передал императорский титул восточному византийскому императору. Именем этого единственного теперь римского императора остготский князь Теодорик отнял Италию у Одоакра

и его дружины; борьба кончилась, когда Одоакр сдал Теодориду Равенну. За Рим не было борьбы. Новый владелец Италии признавал римского императора, жившего в Константинополе, своим отцом и главою, на монете по-прежнему видели изображение этого императора, и на общественных памятниках начертывалось его же имя. Скоро после Теодорика рушится владычество готов; номинальное владычество в Италии римского императора, живущего в Константинополе, становится опять действительным при Юстиниане — явление, которое условливалось для Италии близостью ее к Новому Риму, Византии. Являются лонгобарды; завязывается борьба между ними и Римской империей — войны, какие бывали и прежде между империей и варварами, как в других областях, так и в Италии. Когда средства империи оказались недостаточными в борьбе, Рим обращается с просьбой о помощи к могущественному варварскому вождю, утвердившемуся в Галлии, вождю франков; помощь подается, и чрез несколько времени, когда сын этого франкского вождя чрезвычайно усиливается, в Риме находят выгодным, необходимым провозгласить его римским императором. При всех этих движениях и сделках в Риме на первом плане мы видим его *епископа* и потому должны обратить внимание на это явление.

Варвары, вступивши в область Рима, легко уничтожили материальные силы одряхлевшей империи, но они встретили также силы нравственные, которыми в свою очередь были побеждены. Если прежде Рим, по словам его поэта, был побежден побежденной Грецией, ее цивилизацией, то по историческому закону то же самое должно было совершиться теперь: материально победоносные варвары должны были покориться побежденным римлянам. Из нравственных сил, которые условливали это покорение, на первом месте была религия, не древняя национальная религия Рима, материально распространенная, болезненно ожиревшая от собрания в себе других религий побежденных народов, не могшая внести никакого нравственного вклада в жизнь варваров, но религия новая, не национальная римская, а общечеловеческая, которая с самого появления своего объявила, что для нее нет разницы между «эллином и варваром».

Христианская церковь первая встретила варвара на новой, чужой ему почве, первая дала ему нравственное убежище, отдых, первая приласкала его, назвала своим, родным и указала ему в прежних жителях римских областей не чужих, не врагов, а своих же братьев, свела, познакомила старое и новое народонаселение, завязала между ними тесную, неразрывную связь. Варвары-германцы тем охотнее пошли на призыв христианства, церкви, что во время продолжительного движения своего из дальних стран Севера, отрываясь все более и более от той почвы, где развились и окрепли их национальные верования, сталкиваясь беспрестанно с другими народами, вместе с тем все более и более отрывались от этих верований, которые постепенно тускнели, бледнели для них. Варвары, вступившие на римскую почву, принимали христианство с изумительною легкостью и быстротою, так что нельзя определить времени, когда какие-нибудь вандалы, свевы, лангобарды приняли христианство, тогда как чем далее к северу, тем большее сопротивление встречало оно, и самые большие затруднения встретило в Скандинавии, в этой фабрике народов (*officina gentium*), прародине германцев, где их национальная религия пустила глубокие корни, где развилось общественное богослужение и где образовалось жречество.

Германцы, входившие часто сбродными дружинами в римские области, не могли иметь храмов, и храмы их если и упоминаются, то мельком, имеют ничтожное значение, точно так, как у элинов, которые являются пред глазами истории в таком же положении, как и германцы, откуда у элинов и такое свободное, своеобразное развитие религии исключительно в руках поэтов и художников. Народ движущийся, странствующий на поисках новых земель для поселения, тогда только сохраняет и укрепляет свою религию, когда выселение его из известной страны совершилось под религиозным знаменем, как у евреев. Но вспомним, какая борьба шла и у них за сохранение в чистоте религии отцов при столкновении с другими народами и с другими религиями, и вспомним, что, с другой стороны, странствование освобождало их от тех воззрений и привычек, которые они приобрели в Египте. Движение, странствование германцев, их искание новой земли для поселения, странствование,

предпринятое вовсе не на религиозных основаниях, не под религиозным знаменем, заставило их порастерять очень многое из тех религиозных воззрений, из того религиозного быта, которые господствовали в их прежнем отечестве; и при такой потере они вдруг встречаются с могущественнейшей из религий, против которой, разумеется, не могли устоять религиозные развалины, клочки верований и обрядов, принесенные германцами из северных лесов.

Но главная причина быстрого торжества христианства среди варваров заключалась в наступательном его движении «Пророческая сила, ведшая у евреев борьбу оборонительную для защиты, сохранения в чистоте религиозных и нравственных начал у одного своего народа, в христианстве стала вести борьбу наступательную: христианин сознавал обязанность быть пророком, проповедником принесенного Богочеловеком учения, обращать к нему всех людей, все народы мира, следовательно, действовать наступательно, разрушительно на все другие религии, подвергаясь при этом всевозможным лишениям, мукам, смерти. Греко-римское общество не устояло против этого наступательного движения пророков, эллинская «премудрость» пала пред «безумием» проповедника распятого Бога. Но пророки этим не удовлетволялись: они предприняли наступательное движение против варваров, материально разделявавших Римское государство, перешли границы империи, углубились в самые жилища варваров, куда уже давно перестали проникать римские легионы. Варвары жили в богатырском быте, когда вследствие движения и борьбы из народной массы выделялись физически сильнейшие, храбрейшие люди и становились на первые места, в вожди народов, когда подвиг физической силы был подвигом по преимуществу, а целью подвига был прирост власти и богатства. Против таких-то богатырей выступали новые пророки, проповедники христианства, нравственные богатыри. Легко понять, за кем осталась победа. Таким образом, при начале новых государств мы видим два движения, две борьбы: движение варваров — борьбу их с материальными силами Рима и друг с другом, эти движения кончились победою варваров; с другой стороны, видим нравственное движение, борьбу, поднимающуюся

изнутри римского мира под знаменем религии, и здесь победил римский мир; под покровом церкви сохранилось и прошло в новую жизнь и греко-римское просвещение, особенно посредством языка, удержанного церковью.

В новом мире явилось начало, которого не мог представить ни древний греко-римский мир, ни варвары, — начало, которое явилось в новом христианском греко-римском мире и отсюда перешло к варварам, это духовенство с могущественным влиянием во всех сферах жизни благодаря его учительному, пророческому характеру. При начале новых государств мы уже видим двойственность в духовенстве. В первые века христианства, когда церковь была относительно немногочисленна и особенно воинственна, не одно духовенство, но более или менее и другие верующие имели этот возбужденный, пророческий характер, были борцами против неправды и несовершенств мира сего за высшие начала. С течением времени, с распространением христианства и господством его возбуждение в массе духовенства и мирян уже по тому самому, что это была масса, должно ослабевать, но борьба новых начал со старыми прекратиться не могла, и борцы, пророки являются.

От человека, проповедующего воздержание от земных пристрастий и большее внимание к исполнению нравственных обязанностей, от такого человека естественное требование, чтобы он сам подал пример отречения от этих пристрастий. Пример действует сильнее всего, и слово получает могущество от дела. По-видимому, вне общества, в бегстве от него, в недоступных пустынях явились новые пророки, но это самое бегство и укрывательство от общества и производило на него самое могущественное впечатление, и голос вопиющих из пустыни был самым громким голосом. Новые пророки, монахи, стали поэтому на первом плане в христианском обществе; не будучи сначала священниками, они стали образцами для священников; общество потребовало от них, чтобы они были священниками и первосвященниками, — требование, по-видимому находившееся в противоречии с значением монаха, но совершенно согласное с потребностями общества, обновлявшегося под влиянием новой религии. Таким образом, монашество, приближаясь наиболее к идеалу, по-

ставленному для общества религией, завоевало для себя привилегию высшей степени духовной иерархии; оно же преимущественно приняло на себя и продолжение апостольской деятельности, проповедование христианства иноверным народам, и тем еще более возвысило свое значение. На Востоке, подчинившись нравственно силе монашества, уступили ему право на архиерейство, но священство осталось и за немонахами, но сочли благоразумным и возможным требовать, чтобы все духовенство носило этот чрезвычайный пророческий характер, состояло из людей, отрекшихся от всех мирских привязанностей; ограничиваться же одною формальностью не сочли делом нравственным. Но на Западе, как увидим, взглянули на дело иначе, потребовав, чтобы все духовенство носило монашеский характер; а монашеский образ, по тем представлениям, которые составились вследствие жизни первых монахов, был образ ангельский. Таким образом, употреблено было страшное насилие природе человеческой, и печальные следствия насилия не замедлили обнаружиться.

С самого начала христианства главные пастыри церкви, епископы, являются уже с важным значением. Кроме канонического объяснения явления его легко понять и посредством одних исторических наблюдений. Самое верное определение характера первоначальной церкви — это Церковь воинствующая; для борьбы нужны вожди, которых и рождает борьба; для успеха борьбы вожди должны иметь обширную, крепкую власть. Римская империя, разрушаясь вследствие исчезновения материальных сил, поспешила прибегнуть под покров нравственной силы, имеющей жить и создать новое общество, поспешила прибегнуть под покров христианства, объявив его господствующей религией; человек, чувствуя приближение смерти, видя, что в материальных, земных средствах нет более спасения, прибегает к силам духовным, отказывает свое имение церкви. При этом значение епископов могло только еще более усилиться. Городское население, напуганное бедами, нависшими со всех сторон над империей, ограбленное казною, сплывалось около своих епископов, людей сильных средствами нравственными и материальными. С самого начала на Востоке и Западе одинаково раздаются слова, что власть духовная

выше светской, как дух выше тела; что нет выше этой власти, которая если свяжет на земле, то вместе с этим свяжет и на небеси. Епископское звание становится высшей целью честолюбия для людей, выдающихся из толпы по своим талантам, положению, материальным средствам. Но это звание достигалось избранием паствы. Общественная жизнь, которая в цветущее время властительных городов так сильно выражалась в избрании правительственных лиц, оцепеневшая в последнее время, вдруг заволновалась снова выборами главного пастыря церкви, не главного жреца, исполнителя религиозных обрядов, но человека, имеющего власть взять и решить; религиозный интерес, обхвативший так всецело общество, дал этим выборам самое важное значение. Легко понять, на какой общественной высоте чувствовал себя избранник; легко понять, какое значение имело собрание епископов для решения вопросов, ставших на первом плане для общества; какое значение имел Вселенский собор, этот невиданный языческой древностью всемирный форум.

Таким образом, варвары, войдя в области империи, легко одолели ее войска, ее воевод, ее светского правителя, но встретили неодолимую силу в церкви и в ее главных пастырях, епископах; с этою силою они должны были входить в соглашения и не только делиться с нею властью, но и нередко преклоняться пред нею. Она служит посредницей между прошедшим и будущим Европы, между греко-римским и варварским миром; ею преимущественно поддерживается обаяние Рима, испытываемое варварами. Это посредствующее значение и сила церкви, сила ее епископов, резко обнаружилась в судьбе самого видного из варварских племен, в судьбе франков, и в их отношениях к римскому миру.

В истории образования важнейших континентальных европейских государств заключается общее любопытное явление: везде в них северная половина получает преимущество перед южной: с севера идет сила, подчиняющая себе все части государственной области, собирающая землю, вследствие чего сосредоточивающие пункты или столицы находятся в северных частях государства, несмотря на то что на юге, по-видимому, больше благоприятных условий для народного развития. Такое явление мы видим во Франции,

в Испании, в России; потом Северная Германия начинает брать заметный перевес над Южною, и в наше время этот перевес очевиден; в наше же время Италия обязана своим объединением движению из северных своих частей.

В Галлии в то время, когда она стала отламываться от Римской империи, в южных ее частях поместились два сильных варварских народа, бургунды и вестготы, но через несколько времени они должны были признать власть варваров, пришедших с севера, — франков, которые объединили страну и дали ей имя. При этом не должно забывать, что в Галлии чем далее к северу, тем менее было романизации, которая особенно выражалась в изнеженности нравов; этой изнеженности не остались чужды и бургунды и вестготы. Франки, как известно, не были многочисленны, и потому сила их вождей после утверждения в Северной Галлии должна была, естественно, основываться на прежнем ее народонаселении, отличавшемся от южного большей крепостью. Не должно забывать также явления, которое было указано нами в Галлии еще во времена ее самостоятельности, — явления, которое было следствием неудовлетворительного состояния политического и экономического быта; это явление — большие шайки гольгтыбы, беглецов, изгнанников из разных народцев; мы видели, что эта гольгтыба (*egentes ac perditii*) давала готовое войско честолюбцам, стремившимся к верховной власти. Владычество римлян не могло уничтожить причины образования этих шаек; мы имеем свидетельства о людях, покидавших свои дома и родину, чтобы спастись от сборщиков податей; часть их бежала к варварам, часть составляла независимые шайки, известные под именем *багавдов*. Движение этих беглецов должно было преимущественно направляться с юга на север, где и образовалось воинственное народонаселение, стремящееся опрокинуться на места прежнего жительства. Мы знакомы с этим *возвращением* гераклидов. Очень правдоподобно объяснение, что сами франки составились из беглецов, изгнанников, — объяснение, которое оправдывается на их имени (*warg, free*; наше — варяг, изгнанник, разбойник, волк⁵).

⁵ У нас смеялись над производством названия козак от козы, но корень один в обоих словах и означает *бегуна*. Слово «багавды» имеет то же самое значение *бегуна*: кельтич. — *bog*, санскрит. — *bhag*, наше — *бегать*.

Как бы то ни было, во франках и вожде их Кловисе, или Хлодовике, галльские епископы увидели могущественное средство низложить бургундов и готов, преданных арианству. «Твоя победа есть наша победа», — прямо говорили они Хлодовику. Варвару было приятно под предлогом наказания еретиков приобрести хорошие земли, и он наивно говорил дружине: «Мне не нравится, что ариане-готы владеют лучшими землями в Галлии; пойдем и прогоним их с Божиею помощью; овладеем их землею; мы сделаем хорошее дело, потому что земля эта очень хорошая». Галлия была покорена франками.

«Галлия была покорена франками!» Выражение, которое принимало различный смысл, провозглашалось как непреложная истина, защищалось или упорно отвергалось по причинам вовсе не научным, но, к сожалению, в исторических исследованиях ненаучные побуждения имеют большую силу и если иногда приносят пользу, заставляя уяснять некоторые явления, то польза эта не вполне вознаграждает за вред, причиняемый продолжительностию споров вовсе не нужных, натяжками, тратою сил и времени. По вовсе не научным побуждениям, без справки с наукою в конце XVIII века во Франции придумано было историческое объяснение и оправдание революции, что борьба низших слоев народонаселения с высшими есть борьба покоренных галло-римлян с потомством покорителей франков; что такое революция? — свержение ига, наложенного покорителями на покоренных.

Просто, успокоительно и вместе эффектно! Легкое и эффектное объяснение принялось; начали историю Западной Европы объяснять завоеванием, отношениями победителей к побежденным; у нас начали противопоставлять русскую историю западноевропейской: в Западной Европе завоевания, насилия и потому жестокость отношений; у нас завоеваний нет, варяги призваны, и потому мягкость отношений! Поляки придумали сделать из своей шляхты особый народ завоевателей! Теперь французы сильно перессорились с немцами; во Франции пишутся многотомные сочинения об истории Германии, где каждое явление стараются выставить в непривлекательном виде: можно ли же допустить как начальное, исходное явление в истории Франции немецкое, франкское завоевание? Разумеется, нельзя, и вот провозглашается, что

никакого франкского завоевания не было! Какие же приводятся доказательства? Нет указаний, говорят, чтобы галло-римляне лишились своих земель; они не были порабощены, даже нельзя думать, чтобы они были политически подчинены. В советах королевских, в войсках, в должностях публичных, в судах, в народных собраниях даже обе части народонаселения смешиваются. Летописцы беспрестанно указывают человека франкского происхождения подле человека галльского происхождения, не обозначая никогда, чтобы первый имел высшие политические права, ни чтобы его франкское происхождение доставляло ему большее уважение. Галлы подчинялись франкским королям, но мы не видим признаков, чтобы они подчинились франкскому племени.

Что касается вопроса о землевладении, то его нельзя решать так легко в том и другом смысле. Прежде всего нельзя противопоставлять франков галло-римлянам относительно всей страны, которую мы теперь называем Францией. Франкское занятие страны не было первым; прежде она была занята в известных частях своих бургундами и вестготами, которые поделили землю с прежними владельцами, поделили и рабов, необходимых для ее обработки; то же самое произошло и в Италии при поселении в ней варваров. Тут была еще занята земля с согласия римского правительства, но франки под предводительством Хлодовика заняли позднее ту часть Галлии, где еще держались римляне под начальством Сиагрия, заняли ее, разбивши войска Сиагрия, уничтоживши в лице этого начальника последний остаток римской власти в Галлии.

Мы совершенно спутаемся в понятиях, если за таким явлением не станем признавать характер завоевания, покорения и если станем отрицать необходимые следствия тогдашнего завоевания, покорения. Нам известно, что победители-франки опустошили страну побежденных, не щадили и церквей и собранную добычу делили, причем все должны были получить известную долю, от вождя до последнего воина, как то ясно из знаменитого рассказа о церковном сосуде, которого простой франк не хотел уступить Хлодовику. Если приобреталась и делилась добыча движимого, то на каком основании мы будем утверждать, что завоеватели не

смотрели на землю как на добычу и не поделили ее между собою? Мы не станем утверждать, что все галло-римляне лишились своих земель; не считаем только себя вправе делать предположение, что франки удовольствовались только казенною землею или никому не принадлежащею. Потом покорены были бургундские и вестготские части Галлии: что же, и здесь не было покорения? Действительно, мы видим людей галло-римского происхождения в приближении у королей франкских, в важных должностях; но, во-первых, есть ли средства определить отношения этих случаев к общему правилу; во-вторых, и в Турецкой империи, где подчиненность покоренного христианского народонаселения завоевателям-магометанам не подлежит сомнению, мы видим людей из этого подчиненного народонаселения, занимающих важные должности, обнаруживающих сильное влияние.

Нам говорят, что галло-римляне подчинились франкским королям, но не франкскому племени; но и в Турции христианское народонаселение подчинено султану, а не туркам; здесь дело идет не о подчинении в собственном смысле, а о первенствующем положении. Франки составляли войско своих королей — это неоспоримо; какое значение имело войско, вооруженная сила в те времена? Значение первенствующее — это также неоспоримо. В каких отношениях находились тогда воины к своему вождю или королю? В самых свободных; вождь зависел от них: покорив с ними известную страну, он должен был делиться с ними выгодами, происходившими от этого покорения. Каково было римлянам от этих *равноправных сограждан*, видно из письма Сидония Аполлинария к другу, требовавшему от него стихов: «Могу ли я петь, окруженный толпами космачей, принужденный слышать немецкий язык, восхищаться песнью пьяного бургундца? Счастливы ваши уши, которые не видят и не слышат варваров! Счастлив ваш нос, который не обоняет по десяти раз в утро вони луком и чесноком».

И в таком принужденном положении римлянин должен был находиться относительно бургундов, варваров, отличавшихся самым кротким характером; что же было от франков, которые вовсе не отличались таким характером? Если франки не имели никакого преимущества, то зачем же галло-рим-

ляне старались подражать им даже во внешности, отращивали длинные волосы, назывались варварскими именами? Но у нас есть свидетельство о преимуществе варвара над римлянином — свидетельство, с которым никак не сладят защитники их равноправства: по салическому закону вира (штрафные деньги) за варвара была вдвое больше, чем за римлянина.

Отрицать завоевание и преимущество завоевателя перед завоеванными нельзя, но из этого не следует, чтобы мы, говоря о завоевании, повсюду, где оно было, предполагали одинаковые последствия. Одно и то же явление в разное время, в разных странах, при разных этнографических, географических, экономических, религиозных и других условиях разнится чрезвычайно в своих последствиях. Так и завоевание галло-франков разнится и от завоевания турками греческих и славянских областей на Балканском полуострове, и от завоевания Англии норманнами, и от завоевания России татарами, не переставая, однако, быть завоеванием. Прежде всего завоеватели, их вождь принимают веру завоеванных, и это, разумеется, дает совершенно особый характер отношениям между ними — прежде всего уничтожает сближение завоевания Галлии франками и завоевания турками Греческой империи, где религиозная рознь и вражда сделали смешение завоевателей с завоеванными невозможным.

По известию летописца, епископ, крестивший Хлодовика, говорил ему при совершении таинства: «Преклони смиренно голову, Сикамбр; поклоняйся тому, что ты жег; жги то, чему ты поклонялся». Говорил ли епископ эти слова или нет — нам все равно; для нас важно видеть в летописи выражение современного взгляда на события, выражение восторга галло-римского народонаселения, когда дикий завоеватель, истреблявший, жегший прежде храмы христианские, стал единоверцем с завоеванными, преклонился пред их епископом, в лице которого поднималась и вся паства, им представляемая. Во-вторых, завоеванные стояли на высокой ступени цивилизации сравнительно с завоевателями-варварами. Завоеватель нуждался в искусстве, знании завоеванных; некоторым из людей галло-римского происхождения, даже светским, открывалась возможность приблизиться к королю, получить важное место и влияние, тем более что

религия нисколько этому не препятствовала, а варварская национальность сама по себе не ревнива и уклончива пред цивилизацией.

Галлия подчинилась франкским князьям. Кроме прежнего более или менее олатыненного гальского народонаселения она вобрала в себя теперь население германского племени: бургундов, готов, наконец, франков как последний слой. Мы заметили в предыдущей главе, какую бедностью, неразвитостью экономического быта отличалась Римская империя сравнительно с экономическим бытом новых европейских государств. Римская империя была государство первобытное, земледельческое, с малым сравнительно развитием промышленным и торговым; отсюда все значение у имущества недвижимого, земли, тогда как могущественное значение движимого, денег, есть особенность нашей новой истории, следствие сильного развития экономического быта новой Европы. Мы видели, в каком печальном положении находилось городское и сельское народонаселение в областях империи; новые государства, основавшиеся на развалинах империи, начинают с того, на чем кончилась империя, Древний мир, должны иметь дело с тою же экономической неразвитостью, носить также земледельческий характер. Все значение — у земли, и потому первое явление здесь, подлежащее наблюдению историка, это определение поземельных отношений.

Как бы ни овладели варвары землею, мы видим их в самом начале полными, неограниченными собственниками своих земельных участков; подле них видим такими же полными, неограниченными владельцами земельной собственности и галло-римлян, каким бы образом они ни удержали свои земли. Эти земельные участки, на которые владельцы имеют полное, неограниченное право собственности, носят разные названия, латинские, германские и такие, происхождение которых трудно определить; они называются *proprietas*, *dominatio*, *sors*, салическая земля, алод, *haereditas*; есть и такое латинское название, которое всего ближе подходит к нашей *вотчине*, это: *terra aviatica* — буквально: *geguna*. Но мы уже видели, что при экономическом быте, какой существовал в Европе в описываемое время, и при том хаосе, какой господствовал при рождении новых государств, при слабос-

ти общей государственной власти общество для своего поддержания прибегает к частным союзам, слабый становится под покров сильного, бедный — под покров богатого, закладывается за него, делается его захребетником; неимущий идет в услужение, в добровольное холопство, естественно очень быстро переходящее в рабство; бедный землевладелец отдает свою землю, свою вотчину богатому и сильному землевладельцу, чтобы только получить от него защиту. Это явление не есть национальное, не принадлежит какому-нибудь одному времени, но общее народам в разные времена, когда действуют указанные выше условия. Мы видим закладничество и холопство у галлов; в Римской империи слабый, чтобы найти покровительство сильного, отдавал ему свою вотчину в собственность, а сам пользовался ею пожизненно.

«Чтоб отцу получить защитника, — говорит современный писатель, — сын теряет наследство; отец попользуется землею временно, сын потеряет ее навсегда, потому что отец перестал быть собственником». Из этих-то закладчиков, потерявших свои вотчины, образовался класс *колонов*, прикрепленных к земле крестьян. При утверждении варваров закладничество продолжалось, вотчины переходили в поместья. Этим словом «*поместье*» мы вполне верно можем передавать слова: *beneficium* или *precarium*; при бедности государства, при недостатке движимого, денег, князя вместо жалованья давали служащим у них людям земельные участки в пожизненное или вообще срочное пользование, и такие земли назывались *beneficium* или *precarium*, вполне соответствовавшие нашим русским поместьям.

Иногда и на Западе точно так же, как и у нас в Древней России, князя за важные услуги жаловали земли и в вотчину, то есть в вечное потомственное владение. Но когда мелкий вотчинник закладывался за сильного, то он отдавал последнему свою вотчину и брал ее назад в виде поместья, в пользование только; в договорах прямо выражалось, что он принимает землю как бенефиции. Мы знаем из летописей, каким иногда способом сильные землевладельцы заставляли менее сильных отдавать себе их вотчины. Григорий Турский рассказывает, что одному священнику королева Клотильда подарила землю в вотчину. Епископ стал просить ее

у него; священник не соглашался отдать; тогда епископ начал грозить; когда и угрозы не подействовали, то епископ велел священника живого положить в мраморную гробницу и накрыть крышкой; священнику удалось, однако, уйти и принести жалобу королю, но не видно, чтобы епископ потерпел что-нибудь за свой поступок. Что не удалось означенному епископу, то удавалось другим светским и духовным лицам. Как на Западе в описываемое время крупные землевладельцы заводили за себя земли мелких вотчинников, об этом по сравнению мы можем получить ясное понятие из истории Малороссии XVII и XVIII веков: здесь крупные землевладельцы точно так же отнимали земли у казаков и делали их самих своими крестьянами, а иногда сами казаки отдавали свои земли и переходили в крестьянство к сильным землевладельцам, чтобы отбыть от военной повинности.

Но если таково было главное экономическое явление в поворожденном государстве, то что же делала новая верховная власть, в каких отношениях находилась она к различным частям народонаселения и к различным органам, уже обозначившимся в юном государственном теле, с самого начала превосходившем своим развитием или расчленением прежние государственные тела? Мы видели быт германцев за Рейном и Дунаем; видели, как подвиги, богатырство доставляли благородство, высшую, королевскую власть. У франков мы видели таких королей, и под начальством одного из них, Хлодовика, они покоряют Галлию. Король франков становится начальным человеком в стране, главным правителем ее. Галло-римское народонаселение, интеллигенция его, то есть преимущественно духовенство, епископы, понимают это явление так, что варвары-франки — это войско, служащее Римской империи, и предводитель этого войска, расположенного в Галлии, управляет страной во имя Римской империи, римского императора. Варварский король вел себя согласно с этим пониманием: Хлодовик с восторгом облачается в консульскую одежду, присланную ему императором Анастасием, и хотя требует, чтобы к консульскому титулу прибавлялся и титул Августа, однако не бьет монету со своим изображением, а с изображением императора Анастасия. Сикамбр преклоняет голову пред обаянием цивилизации точно так же,

как преклоняет голову пред крестившим его архиереем; варвары представляли материал, не имеющий политической формы, не успевший приобрести ее в своих лесах, в своих странствованиях; Рим предлагал им готовую форму, и они стремятся принять ее и через это политически воплотиться. Такое искание формы, определения и производит стремление варварских народов приобрести цивилизацию у народов, ею обладающих. В летописях варварских народов, как на Западе, так и на Востоке Европы, мы встречаем известия о благоговейном отношении варваров к цивилизации. Заимствование, оформление, естественно, начинается сверху и посредством видимых знаков. Хлодовик Франкский величается в консульском платье, присланном из Византии; в Москве хранится шапка Мономаха, присланная оттуда же.

Готский король Атаульф жаловался, что готы неспособны к повиновению по причине их необузданного варварства. Так должны были смотреть на своих и все короли, которые начали носить консульское платье и диадемы, присланные из Константинополя. Мы видели, что в лесах германских о делах меньшей важности совещались начальные люди, о важнейших — все. Король на римской почве явился в челе войска, привыкшего к этим всеобщим совещаниям, ибо движение войска, решение насчет похода есть важнейшее дело, и тут-то варвары особенно отличались своим неповиновением. Франкские короли — Клотарь и Хильдеберт — идут на бургундов; брат их, Теодорик, отказывается идти с ними вместе; тогда его войско говорит ему: «Если не хочешь идти в Бургундию с братьями, то мы покинем тебя и пойдем за ними». Теодорик уговаривает их: «Ступайте за мною в Овернь, я вас приведу в страну, где вы наберете золота и серебра сколько душа желает, наберете скота, рабов и платья множество, только не ходите с братьями моими».

Король Клотарь идет на саксонцев; саксонцы просят мира; Клотарь хочет мириться, но воины говорят ему: «Мы знаем, что саксонцы — лгуны, обещаний своих не сдержат». Саксонцы опять с мирными предложениями; Клотарь опять просит франков не нападать на них, чтобы не навлечь на себя гнева Божия; франки не хотят слышать о мире. Король говорит им: «Если вы непременно хотите драться, то я не пой-

ду с вами». Тогда воины бросаются на короля, рвут его палатку, ругают его и тащат насильно в битву, грозят убить, если не пойдет.

Варвары, франки — это войско; война — главный их интерес; они собираются весною, в марте месяце, перед началом похода, на сейме, на *мале*, буквально — *вече*, *rada* (*mal* — слово, *gad* — испускать звук, *вече* — слово). Кроме войны, на «мале» (которому по характеру своему вполне соответствует черная рада у малороссийских казаков) решались и другие дела особенной важности, выбор вождей, выбор дядьки, или воспитателя, в случае малолетства короля, земельные разделы и разделы казны между королевскими детьми, суд над важными преступниками, дела церковные, ибо на них присутствовали епископы. Всевозможные беспорядки, какие только можно себе представить в громадном сборище грубой вооруженной массы, не хотящей знать никакой дисциплины, беспорядки, которыми отличались казачьи рады и польские сеймы, бывали и на этих франкских мартовских сеймах. С течением времени они собирались все реже и реже: они не могли нравиться ни королям, ни знати, ни епископам; с постепенным выходом из обычая мартовских сеймов пало и значение войсковой массы, а с другой стороны, постепенное ослабление последней отнимало значение у мартовских сеймов, которые являются только военными смотрами. При таких точно условиях военного занятия страны в Малороссии гетманы, начиная с Богдана Хмельницкого, избегают собрания черной рады, и дела решаются на съездах старшин и полковников к гетману.

Мы видели, что у варваров богатырь, начальный человек, окружен был воинственною толпою, дружиною, которая в мире составляет украшение, на войне — охрану. Многочисленная и храбрая дружина доставляла вождю ее славу не только в своем народе, но и у народов соседних: к таким вождям являлись посольства, приносились дары. Эти слова Тацита о дружине переводит русский князь Владимир, говоря: «Золотом и серебром не приобрету дружины, а с дружиною приобрету серебро и золото». Понятно, что у франкских королей, после того как они стали владельцами Галлии, дружина была очень многочисленна; она носит название *трус-*

ты (truste), члены ее — антрустионы (по всем вероятностям, это слово однокоренное с санскритским tra — защищать, покровительствовать, кормить; древнеславянское *трути* — кормить; наше *трава* — корм). Антрустионы, дружинники, клянутся быть верными королю, быть его людьми (leudes), а король держит их под своим покровительством (mandium): кто убьет антрустиона, тот платит виру в три раза большую, чем вира за убийство простого франка. Но кроме такой сильной охраны антрустионы имели еще другие выгоды: они получали от короля хорошие поместья (beneficia), из их среды король назначал правителей в города и области с титулами герцогов и графов, судей и сборщиков податей.

По новому положению своему на римской почве не как только вождь, но и как государь обширной страны король принимает в антрустионы не одних храбрецов, он берет людей и галло-римского происхождения, надобных ему по своему искусству и образованию для исполнения разных поручений, например для ведения дипломатических сношений, для составления грамот. Но высшие должности правительственные, соединенные с охраною страны, должности герцогов, войсковых начальников областей поручались преимущественно франкам, что видно из имен герцогов, попадающихся в летописи, а это ясно показывает также отношения франков к галло-римлянам.

Король располагал обширную земельную собственность, прежнюю казенную собственностью империи, если и не предположим, что он, как вождь, взял себе хорошую, большую долю. Обширная земля давала ему большие средства раздавать поместья, или бенефиции, награждать заслуги своих людей вотчинами. Доходы с земель, остававшихся за королем, подати с галло-римского народонаселения, подарки, подносимые по старому обычаю франками (которые упорно отказывались платить подати наравне с покоренным народонаселением), — все эти доходы давали королям возможность иметь обширное хозяйство. Антрустионы находили для себя почетным и выгодным заведовать отдельными частями этого хозяйства, но понятно, как почетно и выгодно было положение человека, который стоял выше всех этих управителей отдельными частями, который имел высший надзор над всем

хозяйством, над всем домом королевским, был старшим в его управлении, *major domus*, палатным мэром.

Антрюстионы, приближенные к королю люди, начиная с самого приближенного, палатного мэра, составляли знать в глазах остального народонаселения, *illustres*, *optimates*. С ними король держал совет, думу, и чем более теряли значение общие войсковые рады или мартовские сеймы, тем более приобретали значения эти советы короля с знатью, с антрюстионами; но в этих советах участвовала не одна светская знать, в них участвовала и знать церковная — епископы.

С этими двумя элементами, знатью светскою и церковною, королевская власть и должна иметь преимущественно дело. Три силы налицо; как же определить отношения между ними? Тут прежде всего внимание наблюдателя обращают на себя естественные общие условия жизни человека и народа, те представления о законе отношений, о праве, которыми люди и народы руководствуются в первобытные времена, пока опыт долгой политической жизни не убедит их в необходимости изменить эти представления. При этом разные случайные обстоятельства играют важную роль, ибо они подкладывают тяжести на ту или другую чашку весов. Само собою разумеется, что из этих случайностей личность, способности, умение пользоваться своими средствами играют главную роль в наклонении весов в ту или другую сторону; затем более или менее продолжительная преемственность способных людей на той или другой стороне; наконец, совершенно внешние явления, столкновения народа с другими народами и т. д.

Представлением, господствующим у варваров, является представление о том, что страна есть частная собственность короля, по смерти которого все его сыновья имеют одинаковое участие в отцовском владении. Сыновья Хлодовика разделили Галлию между собою на четыре части, вовсе не соблюдая точности границ; владения их были чересполосные: иногда один город принадлежал двоим и троим королям; Мец, Суассон, Париж и Орлеан были главными городами этих четырех волостей; но юго-западная часть Галлии, прилежавшая к Атлантическому океану, так называемая Аквитания, поделена была опять на четыре части между бра-

тнями. Нужно ли говорить, какое явление напоминает нам это деление Галлии между потомками Хлодовика, или так называемыми Меровингами? Точно так же русские владения делились между сыновьями Ярослава: Новгород отчислялся к Киеву, Ростов — к Переяславлю Южному, Муром — к Чернигову! Какие же были отношения между сыновьями Хлодовика? Государственной подчиненности младших братьев старшим мы не видим никакой; о родовом подчинении, о том, чтобы старший был вместо отца, владел старшим столом, также нет помину. Мы видели, что германцы не могли сохранить или выработать крепкого родового союза, а на римской почве, в народонаселении римских провинций, и подавно не было условий, которые бы благоприятствовали этому сохранению или выработке. Но так как и государственные отношения еще не начинали вырабатываться, то между людьми, стоящими наверху, между владельцами, естественно, выставляются развалины, обломки, воспоминания родового союза, если он был когда-нибудь выработан, или первоначальные черты его, задержанные в своем развитии отсутствием благоприятных условий.

Меровинги признают родственную связь между собою, признают землю, добытую предками, своею родовой собственностью; считают себя вправе наследовать друг после друга; но при этом отсутствии выработки родовых отношений, которые бы у других племен сдерживали хищничество, открывая властолюбие и честолюбие другие виды, виды на старшинство в роде, — отсутствие выработки родовых отношений у германцев давало полный простор хищничеству, стремлению увеличить свои наделы, свое богатство на счет родственников, истреблять последних. Нельзя было отнять землю у взрослых родственников, у братьев, истребить их, нельзя было сладить с племянником взрослым, сильным привязанностию дружины: бросались на малолетних осиротелых племянников, их истребляли и делили земли отца их между собой. Известно, как у нас, в России, при господстве родовых княжеских отношений несчастные князья-сироты были мало обеспечены от властолюбия своих старших родственников. Любопытно видеть, как у Меровингов вкоренено было понятие, что племянники при дядьях не наследни-

ки: внук Хлодовика, знаменитый своим геройством Теодоберг, едва успел удержать за собою свою отчину, которую хотели поделить между собою дядья его; да и тут он должен был дать им долю из отцовского движимого имущества.

Один из сыновей Хлодовика, Клотарь, по смерти братьев стал единовластцем всех отцовских земель, но по смерти его они снова разделились между сыновьями его, и это новое разделение было еще неправильнее прежнего: например, король, который владел землями по течению Сены, владел также Марселью. Нант принадлежал королю, царствовавшему в Суассоне, а этот город только рекою отделялся от владений другого брата.

Делили земли, завоеванные Хлодовиком и его сыновьями; вместо одного короля является несколько равноправных королей: в каком же отношении находились к ним франкское народонаселение, войско, также дружина или антрустиионы, ибо все это землевладельцы, вотчинники и помещики? При разделах между королями земельные владения знатного человека могли очутиться в волостях разных королей, и короли договариваются, что такой человек, считаясь сам лично под властью одного из них, беспрепятственно пользуется имуществом, которое находится во владениях другого. Так как в подобном положении находилось и духовенство, имения которого были разбросаны в волостях разных королей, то оно соединяет свои интересы с интересами светских землевладельцев, и епископы требуют у короля, чтобы духовные и светские лица, живущие в волостях его дядей, но владеющие землями в его королевстве, не считались иностранцами, но пользовались бы свободно своими имениями. Наконец, короли договариваются не похищать друг у друга дружинников и не принимать таких, которые покинули службу своего короля. Эти два условия тесно связаны друг с другом: не существуй первого, дружинник будет переходить в службу того короля, во владениях которого находится большая или лучшая часть его земель; не будь второго условия при первом, дружинники, переманиваемые какими-нибудь выгодами, будут переходить в службу другого короля, сохраняя свои земли в волости прежнего в ущерб последнему и в усиление первому.

При первом поколении, при сыновьях Хлодовика, больших перемен в отношениях дружины к королям произойти не могло, потому что сыновья Хлодовика отличались тою же энергиею, тою же воинственною деятельностью, как и отец их. Но со второго поколения начинается упадок между Меровингами. Внешние завоевательные войны сменяются внутренними усобицами между королями. Некоторые из этих королей представляются чудовищами разврата, в который они бросились со всею варварскою необузданностию и пылом страсти, получивши большие средства к ее удовлетворению. Разврат принес очень скоро свои плоды: явилось новое поколение, дряхлое физически и умственно, недолговечное; жизнь других укорачивается ножами убийц, подсылаемых родственниками. Являются случаи продолжительного малолетства королей, женского управления, управления вельмож. У нас с детства остаются в памяти имена двух женщин из меровингской истории, знаменитых Фредегонды и Брунегильды, которых деятельность является на первом плане; явление естественное: с падением мужчин у Меровингов, но при сохранении еще значения, материальных средств фамилии деятельность переходит к женщинам, и потом уже все с большим и большим падением фамилии наверх поднимается другая фамилия; эпоха Фредегонды и Брунегильды, естественно, посредствует между самостоятельными Меровингами и управлением палатных мэров.

Но деятельность Фредегонды и Брунегильды необходимо останавливает нас и заставляет наблюдать над характером и положением женщины в новом обществе. Немецкие ученые в припадках своего германофильства стали проповедовать, что германская женщина мир спасла, что только германская женщина явила в себе настоящий женский характер и установила настоящее положение женщины в семье и обществе, а в семье и обществе других народов женщина имела низкое, недостойное положение. С легкой руки немецких наставников и у нас начали было толковать о создании славянской, русской женщины, которая также должна была мир спасти. Немецкие ученые основали свой вывод о высоком характере и положении женщины в гер-

манских лесах по скудным известиям о каких-то пророчицах Веледах, имевших важное религиозно-политическое значение у своих народов, и о том, что германские женщины очень храбро вели себя во время побоищ, как будто у других народов мы не видали женщин, облеченных точно таким же характером, как будто и другие народы в период своей богатырской жизни не выставляют богатырей женского пола. С малолетства каждый грамотный человек вбирает в свою память прекрасные, высокие образы женщин и в частной, и в общественной жизни, героинь, совершающих подвиги для спасения отечества, пророчиц-вождей, судей своего народа, и это — в народе восточном, не арийского племени. Но оставим отдаленный Восток и перейдем поближе, в Европу, на римскую почву, посмотрим, в каком значении встретили варвары женщину в римско-христианском обществе.

Также с малолетства привыкли мы к преданиям о героизме римских женщин в первые времена знаменитого города, о том уважении, каким была окружена римская женщина как мать и жена. Юридические положения об отношении женщины к мужу и сыну не должны смущать нас, ибо при известных условиях быта слабейшему существу прежде всего должна быть обеспечена защита сильнейшего, а защита и власть в таком быту не отделяются. Впоследствии изменение условий быта отразилось в сопоставлении новых брачных форм и условий с прежними, архаическими, так сказать, формами и условиями. Высокое значение женщины в Риме свидетельствуется тем, что она здесь могла быть жрицею, свидетельствуется и необыкновенными нравами весталок. С распространением образованности римская женщина, овладев ее средствами, является в обществе с могущественным влиянием; распространение образованности в Риме совпадало с порчею нравов, и многие женщины пользовались своим положением не для поддержания нравственных начал. Но для поддержания последних является христианство, и римская женщина не уступает мужчине в тяжелой борьбе за распространение и утверждение новых верований. Примеров приводить не нужно: они всем известны, но важное значение женщины, какое было приобрете-

но ею в языческом Риме, и освящение, какое дано было этому значению христианством, нигде не высказываются с такою поразительностью, как в истории Иеронима и Златоуста. Германская женщина при встрече с римскою не могла ничего прибавить к значению последней.

Известно, что Тацит хвалит нравственную чистоту германских женщин, и мы нисколько не станем заподозривать справедливости его известий; мы укажем только на то, что Тацит причинами этой чистоты выставляет отсутствие общительности при разрозненной жизни германцев, отсутствие цивилизации, отсутствие науки и литературы, и прибавим, что женщины, знаменитые в летописях христианского Рима и Византии, отличались нравственною чистотою, принадлежа к цивилизованному обществу, занимаясь наукою и литературою. Тацит хвалит германцев за однобрачие, соблюдаемое большинством, но говорит, что меньшинство, люди знатные, живут в многоженстве из благородства, а не по сладострастию (*non libidine, sed ob nobilitatem*). Нам, разумеется, трудно понять такое «noblesse oblige», и мы не знаем, как сведал Тацит о такой обязанности, налагаемой благородством только. Но как бы то ни было, когда Меровинги овладели Галлией, они вспомнили об этой обязанности и начали исполнять ее с чрезвычайным усердием, женились и разженивались беспрестанно и держали целые гаремы из казенных работниц. Церковь вооружилась против этого разрушительного для нового общества явления всеми своими средствами, но увещания и отлучение мало помогали при господстве двоеверия у варваров, из которых многие принимали христианство только с внешней стороны, служа внутри прежним верованиям и привычкам. Со стороны женщины дело не могло обойтись без протеста; в германских лесах она могла успокаиваться на законности этого явления; на римской почве, при требованиях новой религии это успокоение было у нее отнято. Отсюда неодолимое стремление энергической женщины из наложницы стать законной и единственной женой; отсюда эта борьба с соперницами, доходящая до крайности, когда все средства считаются позволенными. Таким образом, деятельность Фредегонды, состоящая из цепи преступлений, есть не иное что, как печаль-

ное следствие обычая, принесенного Меровингами из лесу, — обычая, который пришелся вовсе не по условиям нового общества.

Но не одно стремление выйти из незаконного, не признаваемого новым обществом, унижительного положения заставляло энергическую женщину волноваться, совершать преступления и побуждать других к их совершению. Ее побуждало к тому другое, более могущественное чувство — чувство матери. Мы видели, что отношения между Меровингами указывают на переходное, междуумочное время: государственные определения не выработались, а члены господствующей фамилии руководились остатками родового обычая; им представлялось единство рода, нераздельность родового владения, причем только старшие могут быть представителями рода, совладельцами, племянники исключаются из владения, дядья преследуют их, истребляют. Не одно властолюбие руководило и королями, когда они стремились к единовластию, к изгнанию, истреблению братьев: ими руководило опасение за участь своих детей, которых дядья не оставят спокойно владеть отцовскою властью. То же самое видим на Востоке, где господствует та же невыработка постановлений о престолонаследии, такие же родовые обычаи, тот же сениорат, по которому старший в роде, дядя, имеет право пред племянником: мы видим, что султан, чтобы упрочить престол за своим сыном, умерщвляет братьев. Но теперь легко представить себе положение матери-королевы, которая хорошо знала, что, умри ее муж, детям ее предстоит истребление или в крайнем счастливом случае изгнание от дядей! Видя в братьях мужа своего гонителей, истребителей ее собственных детей, она побуждает мужа предупредить врагов, напасть на братьев, изгнать, истребить их. У турингов царствовали три брата — Бадерик, Герменфрид и Бертер; у Герменфрида была жена Амалаберга, которая непременно требовала от мужа, чтобы он отделался от братьев и владел один; Герменфрид уступил настояниям жены, напал на Бертера и убил его. Но оставался Бадерик, на которого Герменфрид боялся напасть. Однажды, когда он пришел в столовую обедать, то увидел, что стол накрыт только наполовину. «Что это значит?» — спросил он с удивлением у

жены. «А это значит, — отвечала Амалаберга, — что, кто довольствуется половиною королевства, должен видеть половину своего стола пустою». Тогда Герменфрид отправил послов к франкскому королю Теодорику с таким предложением: «Если ты погубишь Бадерика, то Герменфрид разделит его волость пополам с тобою». Теодорик согласился, и Бадерик погиб. Жена польского князя Владислава II, немецкая принцесса Агнесса, до тех пор не могла успокоиться, пока не заставила мужа напасть на братьев.

Множество варварских королей вносило страшный раздор в семьи; жены ненавидели друг друга и передавали эту ненависть детям; отсюда материнское чувство, желание предохранить собственных детей от гибели заставляло женщину преследовать своих пасынков, доводить их до гибели, чем особенно славна была страшная Фредегонда. После этого так понятны для нас слова нашего Ярослава, сказанные сыновьям перед смертью: «Се аз отхожу света сего, сынове мои, имеете в себе любовь, понеже вы есте братье единого отца и матери». Перед глазами Ярослава был печальный опыт прежних усобиц, когда истребляли друг друга князья, рожденные от одного отца, но от разных матерей.

Еще одно чувство, чувство религиозного характера заставляло варварскую женщину выдаваться вперед и побуждать мужчин к исполнению священной обязанности, а эта обязанность заключалась в смертоубийстве. Родственник был обязан отомстить смертью убийце близкого человека. Тень убитого не могла быть покойна, пока кровавая месть не была совершена, и чем заметнее была женщина своим религиозным чувством, тем более отличалась строгим исполнением этой обязанности, по-нашему — неумолимостью, жестокостью в мести. Клотильда, жена Хлодовика, благодаря настояниям которой этот свирепый Сикамбр принял христианство, — Клотильда, которая по смерти мужа удалилась от света, проводила все свое время в молитвах, — эта самая Клотильда заставила сыновей своих идти войною на бургундского короля, чтобы отомстить ему за смерть отца своего. Поведение западной Клотильды так уясняет поведение восточной, русской Ольги, жестоко отомстившей древлянам за смерть мужа.

*б) Политическое соединение
Италии, Галлии и Германии при Каролингах*

Почти во всех государствах Европы северные части получают преобладающее значение над южными: относительно всюду более скупая природа Севера сохраняет в человеке большую крепость, энергию, устойчивость, трезвость мысли и чувства — качества, необходимые для успеха в государственном зиждательстве, и отказывает ему в других качествах, которые в южном народонаселении производят большую быстроту и роскошь развития. С другой стороны, в известных странах имеют важное значение те их части, те окраины, которые подвергаются наибольшей опасности от внешних врагов, должны первые принимать на себя их удары; здесь народонаселение крепнет в борьбе, принимает воинственный, предприимчивый характер, способность к защите, переходящую в способность к наступлению. Правителями таких частей могут быть только люди, сильные духом, способные к постоянной борьбе. В Римской империи такую частью была Галлия, изначально подверженная нападению германцев, изначально спорная между ними и Римом; отсюда важное значение Галлии, важное значение ее правителей и войска, в ней расположенного.

Галлия была украиною римского цивилизованного мира не по отношению только к варварам арийского племени, германцам, но и по отношению к азиатским степным кочевым варварам, которых нельзя было усыновить цивилизации, которые, кроме опустошения, не приносили ничего. Граница Европы с Азией, которая теперь, во второй половине XIX века, на берегах Аму- и Сырдарьи, в начале так называемых Средних веков была на берегах Рейна; гуннские кибитки раскидывались в Галлии, на полях каталонских, и были отброшены отсюда страшными усилиями римско-германского ополчения. Когда Галлия стала владением германцев-франков, то значение ее не изменилось, значение украины цивилизованного мира, возрожденного христианством. Вожди франков, ставши христианами и римскими сановниками, начинают в отношении к своим одноплеменникам, зарейнским германцам, ту же деятельность, как знаменитые

римские полководцы, начиная с Цезаря. Они начинают наступательное движение на собственную Германию, а по их следам идут другие завоеватели, проповедники христианства, которые привязывали германцев духовною связью к Риму и его цивилизации. Такая перемена в движении, то есть когда вместо движения германцев в области империи и преимущественно в Галлию последовало движение из Галлии в Германию, обуславливалась прежде всего истощением Германии. Никто, разумеется, не предположит, что Германия во время первого столкновения своего с Римом, дикая, покрытая дремучими лесами Германия, могла содержать большое народонаселение, особенно когда знаем, что германцы жили разбросанно, не сгущаясь в городах, которых не было. Конечно, мы не должны упускать из внимания большой плодущности арийских племен, следовательно, и германцев; но с другой стороны, мы знаем, что это разбросанное в дремучих лесах народонаселение ожесточенно дралось друг с другом и, кроме того, в продолжение веков постоянно выделяло из себя толпы переселенцев, которые под разными видами проходили в области империи и наконец перешли туда целыми народами.

Это последнее переселение, закончившееся утверждением франков в Галлии в связи с гуннским нашествием, и обессилило Германию, прекратило движение ее народов, привело их в состояние покоя, которое заставило их припасть к земле, сродниться с нею. Тут-то, собственно, и положено было начало Германии, ибо до сих пор страна, получившая это имя, была только перепутьем для своего народонаселения. Германия истощилась, а Галлия усилилась утверждением в ней франков; это было самое сильное владение в целой Европе, которое потому и начинает наступательное движение на Германию, не могущую выставить ей сильного сопротивления; один германский народ за другим подчинялся франкским вождям, которые самым фактом подчинения прикрепляют германские племена к их месту жительства, вводят их в определенные границы, а идущее по следам их христианство прикрепляет их окончательно к стране созданием религиозных церковных центров, епископств, монастырей.

Но если мы знаем, что франкские владения в Галлии разделялись между потомками Кловиса, то имеем право ожидать, что самую значительную, самую сильную часть между ними должна быть северо-восточная часть, германская окраина, вожди и воины которой находились постоянно на самом опасном месте, требующем особенного мужества, энергии и искусства. И действительно, мы видим, что северо-восточная часть франкских владений, так называемая Австразия, берет явно перевес над юго-западною, или так называемую Нейстриею. После первых Меровингов история франков в Галлии представляет картину смут, усобиц, оканчивающихся переменою владельческого дома, и во все это время зарейнские германцы оставляют франков спокойно устраивать свои дела в Галлии, не пользуются удобным случаем взять над ними верх, не трогают их в богатой, завидной Галлии: опять доказательство истощения зарейнской, или собственной, Германии.

Какая же была причина смут и усобиц между франками в Галлии? Обнаруживаются бессилие, неспособность к правительственной деятельности между членами Меровингского королевского дома, являются так называемые *ленивые, ничего не делающие короли*. Это явление объясняется легко, если вспомнить, с какою варварскою алчностью Меровинги бросились на чувственные наслаждения благодаря средствам, которые доставило к тому их верховное положение в Галлии. Понятно, что такой образ жизни должен был скоро повести к физическому и нравственному ослаблению, одряхлению рода. Прежде всего оказалось, что Меровинги больше не воины, а потому и не вожди, могут заниматься только мирными делами, судом; впоследствии оказалось, что они и ни к чему не годны. Если короли не могут быть вождями, то на их место должны быть другие вожди. Меровингов вдруг отстранить нельзя: это давний, знатнейший владельческий род. К их верховному значению привыкли, но главное, у этого рода большие материальные средства; у Меровингов много земель, у них большая *труста*, большое количество людей, связанных с ними земельными отношениями, кормящимися от них; главный между членами *трусты*, антрустионами, — это управляющий домом, хозяйством коро-

левским, *major domus*, палатный мэр. После короля он виднее всех в его доме; во время малолетства короля он его опекун; а если король постоянно будет недорослем, нравственно несовершеннолетним, то палатный мэр будет постоянно занимать его место, и если король будет постоянно недорослем, а должность палатного мэра будет оставаться в одном роде, станет наследственной, то рано или поздно род, действительно владеющий, станет владеющим и номинально, отняв у старой династии и номинальное владычество.

Палатные мэры франков имеют важное значение в истории Западной Европы, в истории этих трех стран — Галлии, Италии и Германии, так тесно связанных друг с другом, потому что эта тесная связь явилась вследствие деятельности палатных мэров. Организм в новорожденных государствах был крайне слаб, внутреннего равновесия между органами быть не могло, вследствие чего сильнейший стремился подчинить себе слабейшего. При неразвитии народной деятельности богатство, сила основаны исключительно на землевладении, и сильнейший землевладелец стремится подчинить себе слабейшего. Это подчинение происходит известным образом чрез обращение вотчин в поместья: слабейший отдает свою вотчину сильнейшему и берет ее назад в виде поместья и с известными обязанностями подчинения, зависимости, ибо при господстве земельной собственности получение земли в бенефиции, или поместье, было самым ясным выражением зависимости, подчинения, а владение своею землею, вотчиною, служило вернейшим выражением независимости. При таком положении дел, при таких стремлениях бедный, слабый землевладелец мог сохранить свою независимость, сохраняя свою вотчину, свой жребий, или аллод, только при помощи верховной власти; но это возможно было только в том случае, когда верховная власть была сильна, а при тогдашнем государственном быте это могло быть только при условиях личных средств правителя, способности его бороться с сильными, давать им чувствовать свою силу и защищать слабых.

Когда между Меровингами перестали являться такие сильные правители, то сильные люди начали стремиться, с одной стороны, к независимости от короля. Так как эта за-

зависимость выражалась в получении от короля поместий, или бенефиции, и в получении от него в управление городов и областей, то освобождение от зависимости, естественно, состояло в обращении поместий в вотчины и в обращении временных правительственных должностей в наследственные. С другой стороны, произошло стремление сильных землевладельцев подчинить себе слабых чрез обратное изменение вотчин их в поместья; слабые, не находя себе защиты в верховной власти, естественно, должны были закладываться за сильных, отдавая им свои вотчины и принимая их обратно в виде поместий. При долгом ряде королей-недорослей, то есть при продолжительной слабости верховной власти, оба эти стремления должны были увенчаться верным успехом; Галлия должна была явиться поделенною между известным количеством крупных землевладельцев, за которыми слабейшие были бы в закладниках, захребетниках, — одним словом, гораздо ранее должно было бы произойти то же самое, что произошло позднее, при падении Каролингской династии, именно — при крайнем ослаблении государственной власти, господство частного союза по земле, господство закладничества или, по западному выражению, феодализма. Разумеется, столкновение между этими сильными землевладельцами, не знающими над собою никакой власти, повело бы к войнам между ними; могла бы открыться возможность сильнейшим, способнейшим между ними подчинять себе других. Но все это потребовало бы времени, и Галлия или франки, ею владевшие, не могли бы иметь того влияния на Италию и Германию, сыграть той посредствующей роли между ними, какую они сыграли при Каролингах.

Палатные мэры, перенеся на себя значение и средства Меровингов, сдержали на некоторое время стремление, долженствовавшее необходимо привести к феодализму, удержали, следовательно, на некоторое время Франкское государство от феодализма и дали начало новой династии, которая при Карле Великом соединила с Галлией Италию и всю Германию. Каким же образом палатные мэры могли противодействовать развитию закладничества или феодализма? Если антрустионы, пользуясь слабостью Меровингов, стремились оставить за собой навеки земли, полученные от ко-

роля, обратить поместья в вотчины и должности сделать наследственными, то палатные мэры должны были ослаблять их отнятием у них земель и должностей. Этим отнятием земель и должностей у слишком богатых и сильных вельмож они приобрели средство набирать для себя более покорных слуг, раздавая новым, бедным людям конфискованные земли и должности, набирать новых, более верных антрустионов. Так поступал палатный мэр Гримоальд, сын Пепина Ланденского; так поступал палатный мэр Эброин, знаменитый своею ожесточенною борьбою со старыми вельможами, заменявший их людьми новыми, покорными, Эброин, который, по свидетельству одного источника, наказавши людей несправедливых и гордых, водворил совершенное спокойствие, а по свидетельству другого источника, человек худородный, Эброин заключил в темницу всех франков знатного происхождения; он заменил их людьми худородными, которые не смели противиться его нечестивым приказаниям. Так поступал палатный мэр Карл Мартелл, который, нуждаясь в землях для раздачи в поместья своим антрустионам, отбирал земли у епископов.

Понятно, что борьба палатных мэров со старыми вельможами была тяжелая, что не все они могли выходить из нее победителями. Вельможи составляют заговор убить Пепина Ланденского, и он спасается от смерти только чудом; Гримоальд и Эброин гибнут в борьбе. Вельможи стараются не допускать наследственности в должности палатного мэра, не хотят даже допускать пожизненного занятия этой должности одним лицом. Но, несмотря на все старания врагов подавить эту силу, палатные мэры торжествуют, и опять повторяется то же явление, торжествуют палатные мэры из германской украины, из Австразии. Они дают франкам и новую династию. Попытка заменить династию королей-недорослей новою, крепкою династией из австразийских палатных мэров была сделана давно, но, как обыкновенно бывает, первая попытка не удалась, ибо силы противников были еще велики. В половине VII века известный Гримоальд, палатный мэр при австразийском короле Сигиберте II, ведет сильную борьбу со знатью, в пользу короля отбирает у нее земли, которые были ею получены до совершеннолетия короля, не

щадит и духовенства. Но когда Сигиберт II умирает, Гримоальд постригает его сына, отсылает его в монастырь в Ирландию и провозглашает королем своего сына, выставляя, что последний был усыновлен покойным королем. Но попытка, как сказано, была преждевременная: Меровинги не превратились еще совершенно в недорослей, и царствовавший в Нейстрии Меровинг (Хлодовик II) не хотел спокойно перенести потери для своего рода Австразии; враждебные Гримоальду австразийские вельможи соединились с Меровингом, и Гримоальд умер в темнице.

Первая попытка не удалась и долго не повторялась. Не поднимая опасного вопроса о перемене династии, оставляя меровингских королей-недорослей владеть по имени, довольствуясь скромным, но многозначительным титулом вождей франков, палатные мэры усиливались на самом деле все более и более; причем, как легко было предвидеть, палатные мэры германской украины, Австразии, низлагают палатных мэров Нейстрии. Чтобы вторая попытка заменить совершенно старую династию новою удалась, палатным мэрам необходимо было сломить всякое сопротивление со стороны вельможества, со стороны светских и духовных землевладельцев, ибо со стороны Меровингов сопротивления быть не могло. Это было сделано окончательно палатным мэром Карлом, носившим знаменательное прозвище молота (Мартелл). Мы уже упоминали, что Карл для достижения своей цели употребил те же средства, которые употреблялись его предшественниками — палатными мэрами, которые употреблялись и в другие времена, в других, далеких странах, но при одинаковых обстоятельствах, когда государства носят земледельческий характер, когда земля составляет главное богатство, главную силу. Он раздает приближенным, верным людям епископства и монастыри; у епископов, которые остались на прежних местах, он отнимает часть земель, чтобы раздать их в поместья своим людям. Мартелл покончил дело своих предшественников, и сын его Пепин спокойно свел с престола Меровинга и сам сел на его место. Разумеется, религиозное освящение, данное новой династии церковью, старшим римским архиереем или папою, имело свое значение, но нельзя думать, чтобы дело не обошлось и без этого освящения: все

было приготовлено к событию; Пепин получил новое значение, новый титул благодаря преимущественно отцовской деятельности, уничтожившей всякое сопротивление окончательному возвышению Каролингской фамилии.

Приготовленные Карлом Мартеллом средства Пепин передал сыну своему Карлу Великому, которого важное значение состоит в том, что он соединил судьбу трех главных западноевропейских континентальных стран, судьбу Италии, Галлии и Германии. Мы видим, что северо-восточная часть Галлии представляла крайнюю римско-христианского мира, хранившего остатки древней языческой цивилизации и начатки новой, христианской. Далее, на востоке был мир варваров, варваров, способных по своей природе к принятию цивилизации, германцев, и варваров если не совершенно неспособных, то крайне тугих к ее принятию, степных варваров, обыкновенно знаменующих свою деятельность в истории отрицательно, чрез опустошение, разрушение: такими были в описанное время авары. Следовательно, здесь, на границе двух миров, мы должны ожидать тех явлений, какие обыкновенно происходят на окраинах между цивилизованными и варварскими народами: постоянную борьбу между ними. Если цивилизованный народ слабеет в силу каких-нибудь внутренних причин, то варвары берут верх, усиливают свои нападения, даже покоряют цивилизованный народ и, смотря по своей способности, или основывают новое государство и новое общество, или довольствуются только внешним подчинением, данью. Если же усиливается цивилизованное государство, то оно теснит варваров, с которыми мирное сожительство невозможно, покоряет их и подчиняет цивилизации с большим или меньшим успехом, смотря по способности варваров в принятии цивилизации. Таково было отношение Рима к галлам.

Когда Рим, пользуясь последними своими силами, покорил Галлию и романизовал ее, то эта провинция явилась окраиной римского цивилизованного мира относительно варварского мира германцев. Борьба между этими мирами началась немедленно, и так как Римская империя постоянно ослабевала, то варвары взяли верх, наводнили Галлию и утвердились в ней. Образование в этой богатой стране нового

владения воинственными вождями варваров и, с другой стороны, указанное выше истощение Германии дает Галлии перевес над последнею; ближайšie народы ее должны признавать свою зависимость от франкских вождей, владетелей Галлии. Разумеется, тут не могло быть прочности отношений: при первом удобном случае, при первой усобице между франками германские князья свергали с себя зависимость и начинали действовать враждебно против франков. Среди этих германских народов мы встречаем уже знакомое нам явление: как в Галлии времен Цезаря те народцы были суровее, энергичнее и крепче, которые были подальше от римских владений, меньше были тронуты цивилизацией, так и в Германии описываемого времени самыми суровыми из племен были те, которые были подальше от галло-франкской границы; самыми суровыми, энергичными и крепкими между германцами были саксонцы.

Среди саксонцев франки должны были встретить самое упорное сопротивление, и время страшной, окончательной борьбы приближалось: силы франков сосредоточились благодаря австразийским вождям, преимущественно Карлу Мартеллу. Средства постоянного, упорного наступления на Германию, варварскую, разделенную и потому слабую, приготовились, но нападение на Германию шло с двух сторон: кроме франкских вождей постоянно упорное наступательное движение на Германию видим со стороны христианских проповедников. Заодно с Карлом Мартеллом действует знаменитый проповедник Винфрид, или Бонифаций, но идет далее вождя франков. В дремучих лесах, в заповедных языческих святилищах является безоружный богатырь, и свирепые варвары боязливо сторонятся перед ним; в его словах страшная сила, он проповедует Бога, который сильнее их богов; по его мановению подсекаются, падают священные деревья, и ни один бог не приходил отмстить за свою обиду. В пустынных местах, где до сих пор жили только дикие звери, слышится звук колокола: там стоит деревянная церковь, около которой живут монахи. Скоро к этим местам пролагается дорога отовсюду, а куда идет много народа, там и начинает постоянно жить много народа, и под сенью монастыря растет город. Но завоевания христианских про-

поведников подвергались иногда горькой участи: варвары, оскорбленные вторжением чужих людей, чужой веры, собираются, истребляют церкви, монастыри, убивают, выгоняют проповедников. На место убитых и прогнанных являются другие, но, желая обезопасить начатки христианства, дать ему пустить корни, они ищут покровительства светской силы, и вождь франков — их надежный покровитель, верный союзник, ибо у них одно общее дело. «Если бы не страх перед герцогом Австразийским, — говорили миссионеры, — то нам нельзя было бы ни устанавливать город, ни защищать духовенство». Помощь была взаимная, и тот же Бонифаций помазывает на царство, провозглашает королем Пепина, сына своего союзника и покровителя Карла Мартелла.

Пепин получил венец королевский; Бонифаций жаждал и получил венец мученический: семидесятилетний старик оставил свою Майнцскую епископию, пошел проповедовать христианство между фризами и был убит ими. Пепин опустошил за это земли фризов, но сын его Карл поставил задачей своей деятельности, чтобы вперед в Германии не убивали проповедников христианства. В исполнении этой задачи и состоит историческое значение Карла Великого. Он уничтожил черту, которая до него отделяла Германию от римско-христианских стран — Италии и Галлии, сделал Германию также христианскою и доступною к принятию начатков цивилизации; дал Германии единство, во сколько она была способна к нему; ввел ее в общую жизнь с Италией и Галлией; расширил историческую европейскую сцену, перенесши место борьбы с варварским миром из Галлии (из северо-восточной части преимущественно) в Германию, сделал последнюю крайною европейского христианского мира. Но что Цезарь сделал с Галлией, то Карл Великий сделал с Германией, и понятно, что приемы Карла в войне с германцами очень сходны с приемами Цезаря в войне с галлами. Состояние германцев при Карле было одинаково с состоянием галлов при Цезаре, как вообще с состоянием всех варварских племен, разделенных и потому слабых в борьбе с народом, обладающим известною степенью цивилизации. Цивилизация дает широту и ясность взгляда, уменьше сосредоточивать силы; у варваров достает силы несколько раз

подниматься против завоевателей благодаря случайным воинским обстоятельствам, особенно благодаря личности какого-нибудь отдельного человека, вождя. Но эти восстания не возвращают свободы, ибо внутренней, органической народной и государственной связи нет; такие же черты представляет нам последующая борьба западных славян с Карлом и его германскими преемниками и борьба пруссов с тевтонскими рыцарями.

Но если борьба германцев (преимущественно саксонцев) с Карлом Великим представляет поразительное сходство с борьбою галлов против Юлия Цезаря, если, по-видимому, она и кончилась одинаковым образом, если Карл завоевал Германию и подчинил ее господствовавшему в Галлии порядку, как Цезарь завоевал Галлию и подчинил ее римским началам, то в последствиях обоих явлений обнаруживается большое различие. При завоевании Галлии Цезарем движение шло еще из крепкого государственного тела, из страны, легко задавившей богатством своей цивилизации варварскую Галлию, не дававшей развиться в ней самостоятельности политической и нравственной, но другое было в отношениях между Галлией и Германией во времена Карла Великого. Во-первых, движение шло из страны внутренне далеко не сильной, из государства далеко еще не сложившегося, из государства, которое само переживало болезненное состояние рождения; во-вторых, цивилизация в Галлии была слаба, несколько еще не сложилась, не определилась. Остатки римской цивилизации боролись с германским варварством и заглушались им; еще не образовался язык. В деле подчинения Германии сильным, могущественным средством в руках галло-франкских вождей было христианство, но христианство по своему существу, по всеобщности своей не заключало в себе условий подчинения, поглощения одной национальности другою; церковные же отношения, о которых будет речь впереди, связывали Германию с Италией, а не с Галлией.

Но если Галлия была слаба в политическом и духовном отношениях, не имела средств держать Германию в подчинении себе, то Германия в то же время приобретала силу: она приобретала христианство и начатки цивилизации, при-

обретала единство религиозное и сознание о единстве политическом, выражавшееся в стремлении иметь одного короля. Благодаря этим обстоятельствам Германии не только легко было приобрести самостоятельность, но и важное значение, значение украины христианского цивилизованного мира, переняв роль, которая до сих пор принадлежала Галлии, — роль, как известно, благодарную, ибо она поддерживает народные силы постоянною борьбою и опасностью. Если эта роль дала в Галлии первенство ее северо-восточной части, Австразии, то она же давала теперь преимущество Германии перед Галлией и была причиною, что германский король удержал за собою первенство по титулу, удержал за собою императорское достоинство. Но с другой стороны, и Германия, ставши настолько сильною, чтобы удержать самостоятельность и приобрести первенство положения, была, однако, как государство новорожденное, неустановившееся, заключающее в себе много борющихся друг с другом элементов, так слаба, что не могла подчинить себе Галлии, и та спокойно могла переживать внутренние процессы своего государственного образования, ставши Францией.

Таким образом, в начале западноевропейской истории мы видим на континенте две главные страны, которые обе настолько сильны, чтобы сохранить свою самостоятельность, и настолько слабы, чтобы посягнуть на самостоятельность друг друга, и это равенство положения двух главных стран Западной Европы, не исключая их постоянного и сильного соперничества и борьбы, носило, однако, в зародыше будущую политическую систему Европы, ее политическое равновесие. Политическая связь Галлии и Германии могла продержаться только при Карле Великом благодаря личным качествам этого государя и тому, что Карл действительно воспользовался преимуществом положения франкского владения в Галлии, чтобы подчинить Германию христианству и цивилизации. Но как скоро это дело было совершено, то Германия получила такие силы, которые уравнивали ее положение с положением Галлии, что делало подчинение этих стран друг другу невозможным, условливало их раздельную, самостоятельную жизнь, тем более что знаменитый исторический деятель со своею династией, принадлежа Галлии как

владелец, не принадлежал ее национальности, которая еще не выработалась, он принадлежал собственно германской национальности, хотя несовершенно, принадлежа также миру римско-христианскому и цивилизованному. Эта принадлежность двум мирам, двум странам и делала Карла способным сыграть ту посредствующую между ними роль, которой он знаменит в истории, но при этом для каждого ясно, что Карл Великий есть собственно деятель германской истории и начальный ее деятель; он был то же для Германии, что Кловис для Франко-Галлии или последующей Франции. Франко-Галлия от деятельности Карла не получила ничего; она потеряла только вследствие ее значение украины цивилизованного мира, ибо это значение благодаря Карлу перешло к Германии, но Германия получила от деятельности Карла все.

Кроме Галлии и Германии деятельность Карла Великого обняла также и Италию; но здесь эта деятельность должна была подчиниться условиям, в которых жила Италия, которые она вынесла из прежней своей истории. Здесь римская старина была сильнее, чем где-либо; здесь был Вечный город со своим притязанием на всемирное главенство, со своим соперничеством относительно Византии, которая предъявляла то же притязание, со своею извечною борьбою против варварских вождей, хотевших владеть Римом так, как владели другими городами Италии; со своею формою быта, как она образовалась во время религиозного переворота, когда епископ города получил первенствующее значение, а епископ Рима был верен притязаниям своего города и потому считал себя главою всех других епископов. Карл явился в Италию как верный слуга Рима: он освободил его и от лонгобардов, и от византийского императора и за это был выкрикнут в Риме императором. При подчинении варваров римской цивилизации, при господстве римских представлений и форм могущественный обладатель Галлии, Германии и Италии получил и высший титул императора, тогда как предки его назывались только римскими патрициями. Раз этот высший титул был передан сильнейшему из владетелей Западной Европы, то он и остался между ними. Италия и Рим оставались при этом в том положении, какое началось для

них в последнее время империи, когда императоры покинули Рим для Равенны; теперь императоры жили еще дальше Равенны, за Альпами, и потому Рим имел еще более свободы определять свои отношения по новым историческим условиям. При этом главное явление прежнее — борьба за независимость против слишком сильных владельцев, стремившихся подчинить Италию, Рим, своему влиянию, своей власти. Борьба происходила и теперь под знаменем Рима, но знамя по условиям времени имело другой вид: Рим развил особенную власть, власть папскую, имевшую притязания на всемирное владычество, но тот же Рим сохранил из своей старины другую власть, тесно, необходимо с ним связанную в мысли народов, власть римского императора, и две эти власти должны были вступить в борьбу, имевшую важное значение для жизни всей Западной Европы.

Поэтому восстановление титула римского императора для одного из государей новых западноевропейских владений имело важное значение для последующей истории, но в начале этого восстановления, при Карле Великом, разумеется, никто не мог предугадать всех последствий. Рим признавал императором сильного владельца, жившего в Ахене, как признавал императорами государей, живших в Равенне или Константинополе. На очереди было явление, к которому уже давно привыкли: после сильного человека, сосредоточившего в своих руках большое количество земель, владения его распадались, ибо между ними не выработалась крепкая внутренняя, органическая связь, которая бы поддержала единство и порядок и при отсутствии силы в правителе. Династическое начало вместо помощи единству действовало против него разрушительно, ибо родовое начало не знало никаких сделок с государственным. За всеми сыновьями признавалось право наследовать в отцовских владениях, и только силе, жестокости и властолюбию предоставлялось возобновлять нарушенное единство, когда сильнейшие владельцы отделялись от младших братьев и племянников, убивая их, ослепляя, заключая в монастыри. Все зависело от случайности: будь преемник Карла похож на него, то единство сохранилось бы в его царствование; но так как сын Карла вовсе не был похож на отца, то единство Карловых владе-

ний рушилось; но дела Карла остались — основание новой Германии и приведение ее в связь с Италией; после него налицо было три страны, от взаимодействия которых зависела последующая судьба Западной Европы: Галлия, превращавшаяся во Францию, и Германия, одна подле другой с равными силами, третья — Италия, заменяющая недостаток политического влияния нравственным влиянием, приносящая в это народное взаимодействие особую силу.

Теперь посмотрим, что было сделано при Карле Великом и владетелях из его рода относительно внутреннего строя. Деятельность Карла носит тот же характер, как и деятельность наиболее энергичных его предшественников: он старался задержать установление того порядка вещей, который был необходим по тогдашним условиям новорожденных государств Западной Европы, именно закладничества, или так называемого феодализма. Мы видели, что варвары наследовали от империи самое жалкое состояние экономического быта: город упал, жители его, не могшие удовлетворить требованиям казны, бежали, мелкие землевладельцы закладывались за богатых, отдавали им свои земли, на которых оставались уже в виде временных владельцев, что, по выражению современников, было первым шагом к рабству. Подданные империи желали, говорят современники, владычества варваров; их желание исполнилось; но могли ли они выиграть что-нибудь чрез эту перемену? Основные отношения остались прежние. Новые варварские короли роздали своим сподвижникам земли в поместья и вотчины, разослали своих сподвижников правителями областей; по-прежнему слабые и бедные явились беспомощными пред сильными и богатыми; по-прежнему для получения защиты от них они должны были за них закладываться. Единственное временное облегчение происходило, когда сильный правитель, какое бы название он ни носил, начинал преследовать других сильных, преследовать людей, которые хотели усилиться около себя, набрать себе всякими средствами побольше земель, полученные от короля поместья превратить в вотчины, управление областями сделать наследственным для себя. Истребление таких *тиранов*, как они называются в источниках, разумеется, должно было давать временное облегче-

ние угнетенным, но только временное, ибо сильный правитель, истребивший опасных для его власти тиранов, раздавал их земли и должности преданным себе людям, своим антрустионам, которые опять пользовались своею силою и властью, чтобы обогащаться, усиливаться на счет слабых, приводить последних в зависимость от себя. Внук Мартелла Карл Великий, император Римский, имел много побуждений водворить правду в своих владениях, защитить слабых от сильных, воспрепятствовать исчезновению свободных землевладельцев, переходу их в закладники или захребетники за частных людей. Но какие были у него для этого средства, соответствующие собственному его представлению о своем характере и представлению подчиненного населения?

Представитель верховной власти был прежде всего для народа судья праведный, защитник от насилий. Епископ говорил новому королю: «Мы просили у Бога государя, который бы управлял нами по правде, управлял каждым по его месту и званию, — государя, который был бы нам покровом и защитою». В своих просьбах народ говорил королю: «Если хочешь, чтоб мы были тебе верны, дай силу законам». «Я буду судить по правде, — говорил король, — если вы будете послушны».

Мы хорошо знакомы с этим общим для народов представлением: «Поищем себе князя, иже бы владел нами и судил по праву». Как же могла доходить к народу королевская правда и прежде всего как могли доходить до ушей королевских известия о неправдах, жалобы на них? Чем обширнее было новорожденное государство, тем, разумеется, было больше препятствий этому. Известная часть народонаселения, именно военная, свободные землевладельцы-вотчинники должны были собираться весною (сначала собирались в марте, а потом в мае месяце) на военный сбор, или смотр. Но как обыкновенно бывает в государствах новорожденных, неразвитых, один и тот же орган служит для разных отправлений, одно учреждение должно удовлетворять разным потребностям, и потому майские военные сборы, или смотры, являлись сеймом, на котором король совещалялся с вельможами и знатным духовенством о строе земском и церковном, составлялись постановления, которые тут же объявлялись и утвер-

ждались одобрительными криками собрания; на сейме решались и важнейшие дела судные. Пока каждый свободный человек мог являться на сейм, до тех пор он мог на нем представлять свои интересы и сдерживать сильных.

Но свободные люди, мелкие землевладельцы-собственники недолго сохраняли возможность являться на сеймы. Обширность франкских владений делала эти путешествия затруднительными и тяжкими; поселение воинов на земельных участках необходимо производило перемену в их характере, ослабляло воинственность, охоту к движению, выдвигало на первый план другие интересы, хозяйственные; отсюда естественное стремление отбывать от походов и сеймов. Отдаленные походы Карла Великого не могли не иметь вредного влияния на мелких свободных землевладельцев: во-первых, они должны были истреблять значительное их число, вследствие чего в вотчинах оставались вдовы и сироты, которых легче было притеснять насильникам; во-вторых, отдаленность похода ужасала опасностями и разорениями вследствие покинутости хозяйств; по первой же причине уменьшилось и число свободных людей на сеймах: интересы их оставались без защиты, а между тем стремление их отбывать от военной службы, отговорки давали возможность областным правителям обвинять их в непослушании, говорить, что с ними нельзя ничего сделать иначе как силою, захватом их домов.

Чтобы избежать военной службы, мелкие землевладельцы стали закладываться за монастыри и за богатых светских землевладельцев. Но у правителей областных были еще средства заставлять мелких землевладельцев закладываться за себя; свободные люди несли тяжкие повинности: у них останавливались королевские гонцы, кормились на их счет и брали подводы даром. Кроме того, свободные же люди должны были содержать в исправности дороги и мосты; областные правители заставляли их работать на себя, и для избежания всех этих тягостей свободные люди закладывались, тем более что управы против насильников получить было трудно. Сначала свободное население небольших округов или сотен должно было являться в назначенные сроки, через неделю или две, на место, назначенное для суда, но во время частых и далеких походов, во время отсутствия обла-

стных правителей, которые были вместе и судьями, во время отсутствия свободных людей, способных носить оружие, такое соблюдение сроков и полноты суда было невозможно, особенно когда число свободных людей становилось все меньше и меньше вследствие закладничества. После, при Карле Великом, надобно было ограничить число свободных людей, собиравшихся на суд; вместо всех должны были являться так называемые *scabini*, соответствующие нашим *лучшим людям*, ибо один указ, или капитулярый, говорит о них как о «лучших людях, каких только можно найти, таких, которые Бога боятся, справедливы, кротки и добры». Скабины избирались государевыми посланцами при содействии областных правителей и народа из среды свободных людей.

Но подобные меры только указывали на уменьшение числа свободных людей и никак не могли усилить их благосостояние и дать им средства удерживаться от закладничества. Карл очень хорошо понимал, как важно было для его значения и власти сохранение свободных людей, которые давали ему независимые средства вести внешние войны и внутри держать в повиновении сильных людей; очень хорошо понимал, что с переходом вольных людей в захребетники к богатым землевладельцам он или по крайней мере его преемники очутятся в руках последних. Карл давал предписание за предписанием в пользу свободных людей, но предписания мало помогали в новорожденном обществе, которое по своей слабости, по своему хаотическому состоянию не могло помогать власти, и действие власти ослаблялось самим Карлом, который, расширив пределы своих владений и своей деятельности, тем самым отнимал у себя средства прямо и сильно действовать в пределах прежних своих владений. У Карла оставалось одно средство — личное посредственное действие, посылка доверенных людей для наблюдения за исполнением предписаний, и Карл схватился за это средство как наиболее действительное и употреблял его в обширных размерах, так что ему приписывается учреждение «государевых посланцев» (*missi dominici*), хотя оно употреблялось и прежде него.

При Карле же это учреждение получило постоянство и правильное определение; установлено было десять округов (*missatica*), из которых каждый объезжали два лица — свет-

ское и духовное; каждый округ заключал в себе шесть графств и четыре епископства. Разъезды государевых посланцев увеличили еще тягости, лежавшие на областных жителях, которые должны были содержать их на свой счет и давать подводы; содержание доставлялось натурою: 40 хлебов, два поросенка, барашек, четыре цыпленка, двадцать яиц и т. д. Брать деньги было строго запрещено. Прибывши в назначенный округ, посланец собирал всех свободных франков и объявлял им о цели своего приезда; не будучи в состоянии обозреть лично все местности округа, *missus* избирал лучших, самых верных людей и рассылал их повсюду для наблюдений. Предметом надзора посланцев были: правосудие, общее управление, взимание податей, взимание штрафа, который назывался *heriban*, платимый теми, которые не являлись на воинский сбор (*были в нетях*, по старому русскому выражению). Посланец осведомлялся, кто из людей, приставленных к разным делам, хорошо исполнял свою должность, чтобы донести о них государю; сам сменял дурных, но главного областного правителя, или графа, сменить не мог, а доносил только государю. Когда какой-нибудь сильный человек, светский или духовный, отказывался исполнить приказание посланца, то последний оставался со всею свитою жить в его владениях, то есть кормился на его счет, до тех пор, пока непокорный смирялся. Этот обычай замечателен, во-первых, потому, что показывает, как тяжело было содержать посланца; во-вторых, что было общего у средневековых народов и считалось самым естественным наказанием для ослушников; в русской летописи в рассказе о белозерских волхвах говорится: «В это время пришел от князя Святослава Ян, сын Вышатин; вошедши в город к белозерцам, Ян сказал им: "Если не перехватаете этих волхвов, то целое лето не уйду от вас". Белозерцы привели к нему волхвов».

И знаменитое установление государевых посланцев не могло остановить усиления закладничества. Чтобы эта мера была успешна, надобно было, чтобы все *missi dominici* были достойны королевского доверия, чтобы кроме честности имели много ума, проницательности, ловкости для усмотрения злоупотреблений и их прекращения, но этим условиям удовлетворить было нелегко. Впрочем, оставя в стороне зло-

употребления правителей, всякого рода отягощения, которыми сильные заставляли слабых закладывать себя, мы должны остановиться на одном побуждении к закладничеству, которое одно имело большую силу и против которого *missi dominici* при всей добросовестности не могли ничего сделать: это побуждение было избывание военной службы, дальних походов. Как только воин, дружинник, делался землевладельцем, хозяином, то он терял военный характер; поход, особенно отдаленный, был ему в страшную, нестерпимую тягость, и, чтобы избавиться от него, он закладывался за ближайшего крупного землевладельца, выговаривая себе большие льготы именно относительно военной повинности. «Эти люди были свободны, но так как они не могли выносить воинской повинности, то отдали свои земли (заложились)», — говорят источники.

Таким образом, закладничество, или феодализм, знаменует время усаживания народов в известных странах, прекращение воинственных движений, которыми знаменуется предшествующее время, время движения дружин, переселения народов. Воины, получившие земли, припадают к ним, не хотят с ними разлучаться, вступают в частный союз, в зависимость, лишь бы не отлучаться от своих земель, по крайней мере надолго. Здесь обнаружилась необходимая реакция предшествовавшему направлению наступательному; здесь обнаружилось стремление стать крепко, удержаться, сохранить приобретенное. Страна покрылась замками, и все землевладельцы уцепились, так сказать, друг за друга для защиты. Карл Великий был последний завоеватель. Германское движение кончилось его походами, и кончилось обратным путем: вождь франков, сначала называвшийся римским патрицием, потом императором, двигался с запада на восток и подчинил себе Германию из Галлии. Морские движения норманнов, начавшиеся с этого времени, уже показывают, что на сухом пути движение германского племени закончилось, что на сухом пути ему нет больше места, что здесь Великое переселение народов завершилось, сделав свое дело; излишку северного народонаселения, беспокойным силам, богатырству оставалась одна морская дорога, завоевание островов и кое-каких оконечностей западной части континента.

Великое переселение народов завершилось, сделав свое дело, давши Западной Европе новые, свежие силы в новом, свежем слое народонаселения, принадлежавшего также к любимому историей племени арийскому, способному перенять древнюю греко-римскую цивилизацию и при ее помощи создать новую. При ее помощи! Давно уже историческая наука трудится над определением степени этой помощи и встречает, как обыкновенно случается, препятствия в своем деле от ложного понимания патриотизма, вследствие которого, с одной стороны, преувеличивается доля участия новых народов в построении нового общества, с другой — преувеличивается дело участия римского, то есть олатыненного, народонаселения; выставляют в новых народах их варварство, страсть к разрушению, бедствия, которые они причинили цивилизации. Но дело в том, что если бы цивилизация римского мира была сильна, если бы она давала обладающему ею народу нравственные и материальные средства, то отношения были бы иные: не варвары покорили бы римские области, а Рим покорил бы себе германцев, как покорил галлов, и заставил бы их совершенно подчиниться своей национальности, олатынил бы их. Таковы бывают всегда следствия столкновения сильных, цивилизованных народов с варварами; если же встречаем обратное явление, то есть что варвары покоряют цивилизованный народ, то это значит, что последний одряхлел, вследствие чего пала и его цивилизация.

Такой упадок цивилизации и представляет нам описываемое время, время разложения Римской империи; одряхлевший римский элемент и его цивилизация были слишком слабы и потому не могли подчинить себе варваров, олатынить их, и этим самым варварам была дана возможность начать жить своею жизнью, хотя и при новых условиях. Их национальность не была задавлена чужою, римскою цивилизацией, но отчасти только подчинилась ее влиянию, и подчинение это имело свои степени, что обнаружилось на языке, этом показателе народности: и в прежних римских областях варвары не приняли вполне латинского языка, но изменили его, образовали особые языки из смешения латинского с германским, а за Рейном, вне прежних областей римских, германский язык сохранился свободным от латинского влияния. При

столкновении с Римом новые народы встретили одну действительную силу и безусловно покорились ей: эта сила была сила новой религии, христианства; остаток нравственных сил древнего общества весь ушел сюда; новые народы также выставили на служение новой религии лучшие свои силы, и началась новая сильная жизнь преимущественно под влиянием нового начала; под покровом этого сильного начала нашла себе убежище и слабая цивилизация Древнего мира.

Древнее государственное устройство и древний экономический быт оказались несостоятельными, не могли служить непосредственному образованию прочных государственных тел. Самыми сильными внутренними и внешними средствами исторические деятели не могли тут ничего сделать, и государство Карла Великого, знаменитого восстановителя Римской империи, представляло внутри хаос, разложение общества, безнаказанность силы за насилие: «Власть лежала тяжелым гнетом на слабых; разбойники безнаказанно совершали свои грабительства; мстители беззаконий являлись сообщниками преступлений» (Алкуин).

Если так было при Карле Великом, то легко понять, что стало после него, когда личное ничтожество и междоусобные войны еще более ослабили власть его преемников. Частный союз, частные сделки между слабыми и сильными явились единственным средством спасения. Государство должно было отказаться от борьбы против частного союза, должно было отказаться от своих претензий, и Мерзенский эдикт 847 года провозглашает: «Всякий свободный человек может избирать себе господина».

в) Франция и Германия до теснейшего соединения последней с Италией

Мы остановились на Мерзенском постановлении 847 года, которое провозгласило, что «всякий свободный человек может избирать себе господина». Этим постановлением правительство торжественно заявило свою несостоятельность и тщету борьбы своей против частного союза, который один мог поддержать новорожденное общество. Общество начинается кровным или родовым союзом, который при

известных обстоятельствах может развиваться и долго быть крепким, может существовать в виде крепкого частного союза и тогда, когда из отдельных родов образовался народ, выработавший себе общее правительство, государство.

Сильные препятствия для своего развития родовой союз встречает, во-первых, когда происходит переход от кочевого быта к оседлому; пребывание на одном месте, землевладение необходимо ведет к вопросу о разграничении, о «твоем» и «моем», а как скоро земельная собственность перестала быть в общем владении у членов рода, то этим наносился сильный удар родовому единству и союзу, но и при оседлости, если земли много, она не ценна, не возбуждает желания иметь ее в собственность, родовой быт с нераздельностью земли может существовать чрезвычайно долго. Разумеется, он существует преимущественно в земледельческом народонаселении; город, условливающий необходимо сильнейшее движение, разделение занятий, которое вызывает членов рода к самостоятельной жизни, наплыв на небольшом пространстве разнообразного народонаселения, город в смысле обильного народом торгового и промышленного центра наносит самые сильные удары родовому быту, родовому единству, с одной, и родовой особенности — с другой стороны. Понятно, что родовой быт исчезает скорее в странах, обильных народонаселением и обильных большими городами, имеющими вышесказанное значение, и что он держится долее в странах, носящих преимущественно земледельческий характер, в странах медленно развивающихся, обширных и малонаселенных.

Но подле этой первоначальной формы, подле естественного, кровного союза с самых ранних пор замечаем уже другие формы союза, союза искусственного в противоположность кровному. Это союз *закладничества*, заключаемый под разными видами и разными условиями, от *захребетничества* и *соседства* до *холопства*, но во всех видах имеющих одну отличительную черту: слабый ищет покровительства сильного, причем лишается известной доли своих личных и имущественных прав, иногда всех личных прав, ибо холоп, несмотря на свое добровольное вступление в это состояние, мало разнился от раба. Наконец, третья форма час-

тного союза, вторая искусственная его форма есть форма *дружинная*, когда люди соединяются добровольно вместе для какого-нибудь предприятия. В первобытные, так называемые варварские времена такой союз заключали обыкновенно с целью войны, добычи, нападения. С развитием общества цель дружинного союза изменяется: вместо нападения он заключается для охранения мирного общества от нападений и насилий; таковы средневековые общины и коммуны, ганза, братства и т. п.; наконец, с усилением государственного порядка дружинные союзы заключаются уже исключительно для соединения сил, для большого успеха в каком-нибудь мирном предприятии или занятии: торговые и промышленные компании, ученые общества, артели и т. п. Эти две формы искусственного союза, так называемого нами в противоположность естественному, кровному, родовому, — эти две формы — формы искусственного союза, закладничество и дружина, резко отличаются друг от друга: отличительная черта первой формы есть зависимость одного члена союза от другого; отличительная черта дружины есть равенство членов и свободный выбор вождей или старшин.

Мы видели, что дружинный союз с целью военной, с целью нападения, завоевания и добычи сыграл важную роль при разложении Римской империи, при образовании новых государств. Но как скоро военные дружины прекратили свое движение, уселись на добытых землях, то изменили свою прежнюю форму под влиянием государственного начала; на суше Западной Европы движение дружин прекратилось, и они являлись только на морях под страшным именем норманнов, преследуя обычные цели военных дружин — грабежи, а при первой возможности поселение на землях и образование особого владения. Нашествия этих морских военных дружин норманнских, входивших по рекам далеко в глубь стран, во многих местах служили сильным побуждением к образованию частных союзов для защиты при слабости или совершенном отсутствии защиты государственной, и тут мы видим во всей силе первую форму частного союза для защиты, форму закладничества, хорошо известную германцам в их лесах и найденную ими во всей силе на почве империи. Это господство первичной формы частного

союза для защиты, формы закладничества, или феодализма, ясно указывает на неразвитость, младенчество германского общества и на неразвитость или упадок, старчество римского общества. Государственное начало, переданное из Рима сильнейшему вождю варваров с самым пышным титулом, после напрасной борьбы с частным союзом должно было признать свою слабость и провозгласить, что всякий свободный человек может избирать себе господина.

Взглянем на некоторые подробности борьбы, могущие представить нам некоторый интерес для сравнительного изучения исторических явлений.

Первое любопытное явление представляют нам отношения между членами владельческого рода. Майорат во владельческом роде еще не выработался и должен был бороться с сениоратом, с правами дяди пред племянником. При борьбе двух представлений о праве воля царствующего владельца, разумеется, имела важное значение, но эта воля имела нужду выразиться не на словах, не на бумаге, но на факте, который трудно было переделать: Карл Великий при жизни коронует сына своего Людовика венцом императорским. Карл счел нужным это сделать потому, что у него был внук от старшего сына Бернгард, которого право выставлялось пред правом деда; у Бернгарда была сильная партия. Так точно у нас великий князь Василий Темный при жизни своей объявил великим князем и правителем сына своего Ивана, а последний ввиду борьбы между сыном и внуком от старшего сына короновал внука. Но если Карл Великий боялся усобицы между Людовиком и Бернгардом и спешил предупредить ее коронованием первого, то тем более Людовик должен был бояться усобицы между своими сыновьями и Бернгардом как старшим между двоюродными братьями, и Людовик точно так же коронует императором старшего сына своего Лотаря. Таким образом, торжествует первоначальное представление, по которому князь, осиротевший при жизни деда, лишился права на место и значение, которого отец лишен был смертью.

У нас в Древней России при большой силе и развитии родовых отношений существовали уже известные определения подобных явлений, и князь-сирота, лишенный смертью отца движения к старшинству, как будто перед ним выпадала сту-

пень на родовой лестнице, причислялся к *изгоям*, людям, лишившимся средств оставаться в прежнем положении, продолжать наследственное занятие, как, например, сын священника, не умеющий грамоте и потому лишенный способности оставаться в духовном звании, и т. п. Такое представление еще имело силу, как видим, и во франкском государстве, и Бернгард являлся именно изгоем. Но подле этого представления существовало уже и другое, бьющее на разрушение родового единства, на постоянное выделение и возвышение старшей линии посредством майората, и Бернгард не хочет быть изгоем, хочет силою защищать свои права, тем более что у него партия между вельможами. Но его предприятие не удалось: он был приманен ложными обещаниями, схвачен и судом императорских вассалов осужден на смерть как виновный в измене. Здесь мы видим уже влияние других, государственных начал, которые, разумеется, не могли позволять родовым отношениям существовать в их чистоте и силе, как они могли существовать гораздо долее у нас, на востоке Европы. Император Людовик смягчил приговор суда, переменял смертную казнь на ослепление. Здесь видим уступку христианскому влиянию. Магометанские владельцы при господстве первоначального представления о сениорате и единстве рода хладнокровно умерщвляют всех соперников себе и своим детям, всех младших братьев и племянников. В мире христианском вместо смерти является ослепление, лишение способности быть соперником, и это явление общее в подобных случаях: вспомним, что во время окончательной борьбы между московскими князьями за старый и новый порядок престолонаследия мы встречаемся с ослеплением двух князей.

Вдовство императора Людовика и вторичный брак его повел к обычным в древней семье волнениям. Братья теперь стали не одной матери; энергическая мачеха Юдифь (урожденная Вольф, графиня Баварская) из опасения, что пасынки обездолят ее сына, всеми силами старается дать последнему преимущество пред братьями. Понятно, что сыновья Людовика от первого брака не могли сносить этого равнодушно, и начинаются усобицы, которых слабый характером император сдерживать не в состоянии. Усобицы продолжались и по смерти Людовика между троими его сыновьями.

В 843 году был знаменитый уговор между братьями в Вердене насчет раздела отчины и дедины своей. Родовые владения франкских князей разломались по этнографическим, географическим и историческим порезам на три части: Галлию, Италию и Германию. Старший, Лотарь, взял Италию, которая удерживала за собою первенство по историческим преданиям, по Риму, по империи. Новая история, однако, началась; началась она тем, что те части Европы, которые до сих пор были за границею истории, выступили на историческую сцену с важным значением, но поддержать это значение и развиваться они могли только при условии поддержания тесной связи с прежними историческими странами, в которых жила древняя цивилизация; старое не имело силы без нового, новое не имело средств к развитию без старого. Старое жило в предании о Риме, об империи, что давало в Средние века основание и действительные силы папству, первенству римского архиерея, новое выражалось в действительной материальной силе. Сознание необходимости соединить старое с новым, старую Европу с новою должно было высказываться наглядно, и оно высказалось в том, что император Лотарь к своим итальянским владениям присоединяет полосу земли от Роны до устья Рейна, — ту полосу земли, где было первоначальное гнездо австразийского дома, где романские и германские народности соприкасались друг с другом.

Это распоряжение, разумеется, не может не напомнить нам того распоряжения наших русских князей, по которому Новгород, северный конец великого варяжского пути, постоянно находился в зависимости от старшего князя, сидевшего в Киеве, и таким образом необходимость соединения Северной и Южной Руси высказывалась наглядно.

Не выработался в княжеской семье майорат с государственным подчинением младших братьев старшему, не выработались и феодальные отношения, связь между братьями должна была быть только родовая. Относительно владений эта связь между сыновьями Людовика Благочестивого выразилась тем, что каждый из них имел часть в своей отчине, во франкском гнезде, в Австразии, точно так, как московские князья, деля между собою города и волости и отда-

вая город Москву старшему брату, удерживали, однако, каждый известную часть в этой самой Москве.

При связи только родовой, при отсутствии государственной подчиненности императору Карл Лысый был совершенно независим в управлении доставшеюся ему страной, будущей Францией. Обязанность правителя этой страны в описываемое время была тяжка. Галлия во время сухопутного движения народов подверглась варварским нашествиям как крайняя Римской империи; теперь, с прекращением сухопутного движения народов и с усилением морского движения запоздавших северных дружин, она подвергается норманнским опустошениям как приморская страна. Города, начавшие было подниматься вследствие выгодного торгового положения на водяных путях, были разорены вконец, являлись в виде жалких деревушек. Эта остановка торгового и промышленного движения вследствие норманнских опустошений продолжила и утвердила господство недвижимой, земельной собственности, дала окончательное развитие закладничеству по земле, или феодализму. Независимые мелкие собственники исчезали совершенно; король для отражения врагов не мог собрать войска, непосредственно относившегося к нему и стране; он стал зависеть от крупных землевладельцев, которые являлись окруженные толпами своих закладчиков, или вассалов. Заставить этих крупных землевладельцев защищать страну король мог только уступкою им должностей и поместий в наследственное владение, уступкою им независимости, а между тем голод истреблял низшее народонаселение; ели землю, умягчив ее несколько медом; волки стаями бродили по опустошенной страде. Стремления сильнейших землевладельцев к полной независимости вели к войнам их против короля, который при недостатке военных сил не мог выходить из них победителем. При усобицах между королем и вельможами, которые искали всюду помощи, даже у арабов, трудно было братьям, Лотарю, Людовика и Карлу, жить в дружбе, но их столкновения прерывались явлением, с которым мы знакомы по древнерусской истории. Между братьями происходили съезды; каждый являлся со своею дружиною или вельможами, и начинались мудрые речи о том, сколько злого и вредного правителям и народу

произошло от братского несогласия и недоверия; что братья хотят забыть все прежнее и жить впредь по любви; ни один не станет желать земель и слуг другого, не станет слушать клеветников, смущающих братию своими наветами, но будут все трое помогать друг другу в нужде и проч. Не знаешь, с западными ли источниками имеешь дело или читаешь перифраз русской летописи: так тождественны явления!

Заметив сходство, заметим и несходство. Родовые отношения если и прорывались при благоприятных обстоятельствах, то вовсе не с тем господствующим характером, как у нас, на Востоке. На Западе господство земельных отношений налагало крайнюю преграду их развитию, именно уничтожая общее родовое владение. По смерти Лотаря (855 г.) императорский титул и владения его не переходят к старшему по нем брату; императорский титул переходит к старшему сыну Лотаря, Людовику II, и владения делятся также между его сыновьями, как опричина, удел. Быстрое вымирание этой лотаровской линии потомства Карла Великого вело между остававшимися Каролингами Галлии и Германии к столкновениям и сделкам по поводу наследства; здесь впервые обнаруживается борьба между государями Галлии и Германии за Италию, которая не может образовать независимого целого благодаря Риму.

Рим, пользуясь борьбою, выбирает между соперниками, волнуется партиями по этому случаю; главное лицо в нем — епископ; главный епископ на всем Западе пользуется больше всех соперничеством государей из-за титула императорского; уступкою новых выгод они должны платить ему за венчание в Риме императорским венцом. В 876 году Карл Лысый успел предупредить своего брата Людовика Германского и получить в Риме императорский венец при содействии особенно папы Иоанна VIII, который получил за это хорошую благодарность, как увидим после в своем месте. Вообще в последнее время царствования Карла Лысого Галлия, по-видимому, пересиливала Германию. Но это видимое преимущество кончилось со смертью Карла Лысого. Дело разъединения государственных сил шло быстрым шагом вперед благодаря усилению подчиненных землевладельцев путем частного союза, закладничества, или феодализма; бла-

годаря тому, что при междоусобных войнах и норманнских нашествиях король, не имея войска при исчезновении мелких свободных землевладельцев, должен был покупать помощь крупных землевладельцев новыми уступками в пользу их силы и независимости.

Закладничество, или феодализм, достигало господства; раздробляя страну на множество почти независимых владений, оно в то же время связывало всех владельцев цепью собственно одних только нравственных отношений, довольно сильных, однако, для того, чтобы сохранить сознание единства страны, пока при новых благоприятных условиях явилась возможность установить в ней единство политическое. При неотразимом стремлении феодализма к господству землевладелец, стоявший на верхней ступени феодальной лестницы, человек, имевший захребетников, или вассалов, но сам не бывший ничьим захребетником, естественно, становился главным человеком в стране, представителем ее единства и брал на себя старинное, освященное употреблением имя верховной власти.

Положение наверху феодальной лестницы и королевский титул могли остаться за Каролингами или перейти в другую фамилию; это было явление уже чисто случайное, зависевшее от того, оставались ли Каролинги достаточно материально сильны для того, чтобы иметь первенство между другими землевладельцами, и имели ли достаточно личных средств, способностей для охранения своих исторических прав. Историки, нередко преклоняющиеся пред успехом, не очень сочувственно и справедливо относятся к Каролингам, тогда как при внимательном изучении их деятельности оказывается, что у многих из них не было недостатка в способностях, с помощью которых они изворачивались в иных затруднительных обстоятельствах. Но нельзя не заметить, что судьба не была к ним благосклонна.

Карл Лысый, несмотря на ослабление правительственных средств, в чем он был виноват, окончил свое царствование с большим почетом внутри и вне. Ему наследовал сын его Людовик, но не прожил и двух лет. Сын его Людовик III процарствовал около четырех лет, успев, однако, в это короткое время прославиться знаменитою победою над нор-

маннами при Солькуре. Брат его восемнадцатилетний Карломан процарствовал с небольшим два года. У него остался малолетний брат Карл. Но при тогдашней неопределенности прав наследства и при тогдашнем состоянии страны, когда король не должен был выпускать из рук оружие для отражения норманнов, малолетний король был невозможен, и потому призвали Карла Толстого, единственного представителя восточной, германской линии Каролингов, который таким образом стал владеть всеми частями империи Карла Великого. Но империя Карла Толстого не была похожа на империю Карла Великого: то, что начиналось при последнем и чему он не мог противопоставить крепких и долговечных преград, то совершилось ко времени Карла Толстого — феодализм господствовал, децентрализация была полная. Карл Великий приобрел себе славу знаменитого исторического деятеля тем, что умел направить пока еще сплоченные силы новой Галлии для подчинения христианству и цивилизации раздробленной, варварской Германии; но для потомка его выпадала задача гораздо труднее — *без средств* сохранить под своею властью Галлию, Италию и Германию, привыкшие уже к самостоятельности; *без средств* защитить все эти три страны от норманнских и арабских опустошений.

Задача была не по человеческим силам, и вопрос о личных средствах какого-нибудь Карла Толстого — вопрос лишний. Через три года после своего провозглашения императором всех владений Карла Великого умер Карл Толстый, увидев еще при жизни своей отделение Германии. В Галлии по смерти Карла Толстого королем провозглашен был самый видный из землевладельцев, Одон, граф Парижский, но из Каролингов оставался еще Карл, сын Людовика II, и в пользу его образовалась сильная партия, провозгласившая его также королем. Смерть Одона примирила на время партию, и Карл, известный под прозвищем Простого, был единогласно признан королем. Но этот король, несмотря на свои стремления подняться с помощью духовенства и усилить свою власть, без обладания собственными средствами, землями и войском мог быть только игрушкой в руках сильных землевладельцев, тем более что преемники Одона, герцоги Франции, не могли забыть о королевском титуле. Во время усоби-

цы королевский титул перешел к герцогу Бургундскому. Карл Простой умер в темнице; сын его Людовик нашел убежище за морем, в Англии, почему и называется «заморским». Гуго Французский, или Парижский, призвал Людовика из-за моря и дал ему королевский титул, но с тем, чтобы иметь короля в полной зависимости от себя, и когда этот Каролинг не захотел быть похожим на последних Меровингов, то страшная и долгая уособица была следствием. Людовик и сын его Лотарь не позволяли забывать в себе королей, хотя владения их ограничивались почти одним городом Ланом с окрестностями, и только когда сын Лотаря Людовик V умер бездетным, Гуго Капет Французский мог спокойно принять королевский титул и короноваться в Реймсе (987 г.).

Мы не можем останавливаться на истории четырех первых Капетингов, потому что она не представляет ничего важного для наблюдателя общих явлений в жизни народов и разных особенностей, обнаруживаемых тою или другою народною личностью. Можем упомянуть об одном, что эти Капетинги для утверждения королевского титула в своей фамилии объявляют при жизни своей старших сыновей соправителями и коронуют их — явление, как уже замечено, общее для государей разных стран на западе и востоке Европы.

Обратимся к начальной истории другой части империи Карла Великого, к истории германской. Мы уже видели, что значение деятельности Карла Великого состояло в расширении европейской исторической сцены: он ввел Германию в область истории, давши ей христианство, начатки цивилизации и начатки государственности. Вследствие такого расширения исторической сцены Германия получает значение украины западного римско-христианского мира, — значение, которое имела прежде Галлия. Германцы, утвердившиеся в Галлии, франки, принявшие христианство и усюновившись Риму, переняли на себя обязанность бороться со своими зарейнскими соплеменниками, которые, особенно как язычники, являлись для них варварами. Теперь восточные германцы, принявшие христианство, относятся точно так же к народам, жившим на восток от них, относятся к ним, как к варварам, считая своею обязанностью распространять между ними христианство и подчинять их Римской империи,

то есть делать с ними то же самое, что сделал Карл Великий с самими восточными германцами. Эти варвары, восточные народы, относительно которых Германия становилась крайней западной римско-христианского мира, сильно различались между собою: одни были народы туранского происхождения, не перестававшие по следам гуннов делать опустошительные вторжения в Европу до самой Галлии. Германия, как крайняя, должна была подвергнуться сильным ударам этих народов, ограничиваясь борьбою оборонительною.

Но кроме этих кочевых пришельцев из Азии восточными соседями германцев были давние оседлые жильцы Европы, народы арийского племени, славяне. Столкновения их с германцами, разумеется, должны были начаться очень рано, но с Карла Великого начинается это, можно сказать, систематическое движение германских королей на славян с целью распространения между ними христианства и подчинения их своей власти. Относительно некоторых славянских племен это стремление увенчалось полным успехом: разрозненные и потому слабые славяне не могли успешно противиться германцам, теперь объединенным и потому сильным; должны были принимать христианство и вместе отказываться не только от своей независимости, но и от народности, немечиться, утрачивая основу народности — язык. Слитие понятий — немца и христианина, с одной стороны, и славянина и язычника — с другой, естественно, вело к этому онемечению славян: славянин, принявши христианство, слишком резко отделялся от своих соплеменников, становился к ним поэтому во враждебное отношение и потому стремился вполне приравняться к своим братьям по вере.

Но такой успех германцы могли получить только относительно некоторых племен славянских. Другие племена выставили сильный отпор; в них обнаружилось движение, свидетельствовавшее их жизненность, способность к истории; обнаружилось стремление к соединению сил, к образованию государств, что, разумеется, должно было служить самым могущественным средством к охранению самостоятельности; явилось стремление к образованию независимой церкви с богослужением на родном языке, чего можно достигнуть с помощью Восточной империи, с помощью Восточ-

ной греческой церкви. Борьба со славянами стала трудна для немцев. Разумеется, главной целью их государей стало не допускать образования больших славянских государств. Им удалось с помощью туранцев разрушить государство Моравское, разорвать связь западных славян с южными и с Византией; им удалось остановить усиление чехов и крепко вцепиться в их страну, не выпустить ее из зависимости от римско-германских императоров, но они не успели удержать в этой зависимости более отдаленную Польшу. Кроме того, славянское племя раскинулось далеко по Восточной Европе и здесь успело образовать христианское государство, которое по этому характеру своему стало европейскою крайною в отношении к варварскому миру, к языческой и магометанской Азии со всеми условиями этого положения и с особенностями, каких не имели ни Галлия, ни Германия, когда были крайнами европейского мира. Мы рассмотрим отдельно, в своем месте эти условия и особенности, а теперь будем продолжать наблюдения над исторической жизнью германского племени, поставленного в новые отношения.

Германия и теперь представляла еще относительно страну девственную, покрытую обширными густыми лесами и, следовательно, с народонаселением редким. Немногие города по Рейну и Дунаю были остатками от римских времен, созданием римской администрации. Во Франконии, Турингии и Саксонии виднелись только большие села, прислонившиеся к замку или монастырю. В такой стране все надобно было начинать сначала. Народонаселение представляло сплошную одноплеменную массу, что, по-видимому, условливало быстрое объединение страны; но это была только видимость. В Галлии, по-видимому, было более различия в элементах народонаселения, но эти элементы находились в политическом смешении, в соприкосновении друг с другом и потому быстро содействовали образованию единой новой национальности, тогда как народонаселение Германии состояло из нескольких больших племен, из которых каждое с незапамятных пор привыкло смотреть на себя как на отдельный народ и враждебно относиться к другим племенам. Германские племена были сопоставлены друг с другом вследствие деятельности Карла Великого; сознание единства было у них крайне

слабо, и усилению этого сознания препятствовало резкое различие в племенном говоре при отсутствии образованности, при отсутствии общего литературного языка.

Господство частного союза в форме закладничества, или феодализма, было на очереди и в Германии, как в Галлии и других странах, вследствие одинаковых причин, вследствие тягостных для бедного народонаселения требований верховной власти и вследствие несостоятельности той же власти в защите слабого от притеснений сильного. Но понятно, что в Германии, и именно в той ее части, которая более сохранила первоначальный быт, которая еще недавно выставила такое упорное сопротивление франкскому завоеванию и введению христианства, в Саксонии, установление феодальных отношений не могло произойти без сильного сопротивления свободных людей, хотевших остаться свободными. Мы видели, что установлению феодальных отношений очень много способствовало стремление усесться, припасть к земле, избежать беспокойства далеких походов — стремление, в котором высказалась естественная и необходимая реакция сильному движению, сопровождавшему переселение народов, и разложению Западной Римской империи. Мелкий землевладелец закладывался за ближайшего крупного, чтобы избежать государственных позывов к дальним походам; отсюда такое ограничение военной обязанности в феодализме, отсюда мелкость феодальных войн. У нас в России то же явление в Московском государстве, то же стремление служилых людей не расставаться со своими землями, отбывать от военной службы, стремление, последовавшее также за периодом сильного движения дружин, беспрестанно перебежавших со своими князьями из области в область.

Но в Саксонии, в этой уkraine *Восточного царства* (*regnum orientale*, как называют летописцы Германию), вольные люди, не получившие привычки к военным движениям, неохотно входили в феодальную зависимость от сильных землевладельцев, тем более что последние были чужие люди, явившиеся в их страну вследствие франкского завоевания. В Саксонии труднее, чем где-либо, можно было принудить свободных людей отказаться от своей независимости, и они вспомнили о ней при первом удобном случае. Во время ус-

бицы между внуками Карла Великого старший из них, Лотарь, зная неудовольствие саксонцев, принужденных отказаться от своей независимости, и желая отвлечь их от своего брата Людвига Германского, обещал им восстановление прежнего быта. Недовольные образовали союз под необъясненным еще именем «стеллинга» (stellinga), истребили или выгнали знатных людей из страны. Но Лотарь оставил без помощи своих союзников, и Людвиг Германский нанес им страшное поражение. Пленные не получили милости: сто сорок два из них были обезглавлены, двенадцать — повешены. Это различие в способе казни указывает, что первые были старые свободные люди (фрилинги), принужденные к закладничеству, последние же были прежние закладчики, меньшие люди (lassi), низведенные потом до полной зависимости или рабства и вошедшие вместе с фрилингами в стеллингу.

Попытка соединить все владения Карла Великого под одною властью, попытка материального соединения в то время, когда по возрасту народов было на очереди полное материальное разъединение и связь могла оставаться только в области нравственной, — эта попытка, необходимо неудачная, тяжко отозвалась на судьбе болезненного Карла Толстого, бывшего орудием попытки. Германия, как восточное царство, Украина западного мира, не могла спокойно дожидаться кончины больного императора, обязанного проводить столько же времени на берегах Сены, как и на берегах Майна. Против Карла Толстого поднялся герцог Арнульф Каринтийский, побочный сын Карломана, сына Людвига Германского. Германия стала за Арнульфа, и Карл должен был отказаться от верховной власти в восточном царстве. Германия стала за Арнульфа, ибо незаконное происхождение в глазах тогдашних народов, еще не вполне христианских, не могло иметь того значения, какое получило впоследствии. (И у нас на Руси, кроме княжны Рогнеды, никто не вспоминал о происхождении Владимира Великого от наложницы-рабы.) Притом же германцам предстоял выбор между Арнульфом и побочным же сыном Карла Толстого, которому отец хотел доставить престол. Они должны были предпочесть Арнульфа, который по личным достоинствам был способен управлять восточным царством, то есть защищать Украину от враждебных соседей.

В этом восточном царстве, в этой уkraine уже обозначилось явление, замеченное нами и в Галлии, когда она была ukraineю: большая сила видна на востоке, на самом порубежье, где происходит постоянная борьба с чуждым народом. В этой борьбе отличился и Арнульф, владеец порубежной страны на юго-востоке, Каринтии. Франкская Галлия имела свою Австразию, где была ее главная сила; Германия будет иметь свою восточную область, свою Австрию, которая будет долго сильнейшим владением в Германии, пока не усилится *северо-восточное* порубежье, марка Бранденбургская. Постоянная борьба с опасными соседями необходимо возбуждала энергию в народе германском и его правителях; и немудрено, потому что в Германии в описываемое время мы видим больше крупной деятельности, больше подвигов, чем в ново-рожденной Франции и ветхой Италии. В челе германского народа мы видим людей более крупных, и неудивительно, что они, перенявши роль старых знаменитых украинцев, Каролингов австразийских, одни в состоянии удержать за собою власть над Римом и титул императорский. Франция не мешает им в этом; у ней нет еще средств для крупной внешней деятельности; она довольствуется тем, что может сохранить свою независимость от германского владельца, носящего титул римского императора. Франция, освободившись от опасного украинского положения, перенятого Германией, имеет возможность предаться процессу внутреннего развития, что окажется для нее прочнее, выгоднее; тогда как Германия, выигрывая во внешнем, теряет во внутреннем.

При Арнульфе Германия освободилась от опасности со стороны славян, пытавшихся в Моравии образовать сильное самостоятельное государство, самостоятельное не в одном политическом, но и в церковном отношении, образовать среди западных славян то, что после могло образоваться только среди самых отдаленных, северо-восточных славян. И если Германия освободилась от опасности со стороны моравских славян, и освободилась с помощью венгров, то явилась новая опасность со стороны этой дикой орды, которая не скоро уселась и успокоилась в дунайской долине. Особенно стали опасны венгры Германии по смерти Арнульфа, при малолетнем сыне его Людвиге, когда каждый год та или другая немецкая

область подвергалась их опустошительным набегам. Одним словом, Германия испытывала теперь то, что после перенявшая на себя значение европейской украины Русь испытывала от печенегов, половцев и татар. При таких значительно усиленных ударах со стороны *поганных* украинское народонаселение, истощивши все средства борьбы, прибегает обыкновенно к покупке отдыха. И король Людвиг должен был платить ежегодную дань венграм. Этот Людвиг, по прозванию Дитя, был последний Каролинг в Германии. После него и здесь, как во Франции, по прекращении Каролингской династии королевский титул должен был перейти к одному из сильнейших владельцев областей; в Германии эти люди имели еще другое значение: здесь, каково бы ни было их происхождение, они были начальниками, герцогами племен.

Выбран был Конрад Франконский и должен был вступить в борьбу с герцогом Генрихом Саксонским. Потом поднялся против короля герцог Арнульф Баварский; изгнанный Конрадом, он возвратился с венграми, как изгнанные русские князья возвращались с половцами. Царствование Конрада прошло во внутренней борьбе, и летописцы говорят, что на смертном одре он советовал брату своему Эбергарду уступить престол Генриху Саксонскому. Пусть это известие выдуманно летописцами, писавшими при Саксонской династии, но современники не могли не признавать особенной силы, особенных средств за этим северным порубежным племенем и за его вождем, уже известным своею отвагою и вместе ловкостью, осторожностью. «Генрих непременно добьется королевства, — говорил умирающий Конрад своему брату. — Так лучше уступи ему его добровольно и приобрети его дружбу, а то будет беда франкскому народу и тебе с ним».

Предание говорит, что Генрих ловил птиц в то время, когда явился к нему Эбергард Франконский с предложением Конрадова наследства: отсюда и прозвание Генриху — Птицелов. Царствование этого Птицелова особенно для нас замечательно, потому что, несмотря на сухость, краткость источников, в деятельности Генриха выпукло обозначаются черты украинского владельца. Толпы венгров напали на Германию и прорвались в пределы самой Саксонии. Генрих зашел со своею дружиною в родном замке, у подножия Гарца, и

не думал вступать в битву с врагами. Наконец по счастливому случаю один из венгерских вождей попался в плен к немцам, которые привели его в замок к своему королю. Венгры предложили выкуп за пленника; Генрих не соглашался; потом переговоры кончились тем, что Генрих согласился выпустить пленника и обязался платить ежегодную дань венграм, которые за это обязались девять лет не опустошать Саксонии и Турингии: — только; остальные же части Германии оставались открытыми для их опустошений. Немецкие историки, которые не находят слов, как бы сильнее заклеить поведение западных Каролингов, покупавших золотом мир у норманнов, разумеется, с трудом переваривают это известие летописца: для них Генрих Птицелов — герой, носивший в голове целую систему государственного строя, но для нас Генрих — просто умный, ловкий и энергический украинский владелец, воспользовавшийся счастливым случаем для заключения девятилетнего перемирия и воспользовавшийся этим перемирием для приобретения больших средств к борьбе.

Одним из средств усиления является у Генриха постройка городов. Страна обширная, девственная, народонаселение живет разбросанно, особняком, привыкло, любит жить так, жить просторно, свободно, у себя, не сгучиваясь на небольших пространствах, огороженных стенами, на виду у чужих, в постоянных столкновениях с чужими. Но страна порубежная окружена врагами. Нападут враги — разрозненное народонаселение бросится в разные стороны, ища спасения в горах и лесах, но множество его захватывается врасплох в жилищах или нагоняется во время бегства и становится добычею врагов. Надобны средства, которые бы избавляли от такой беды.

И вот, как только являются начатки центральной власти в стране, представители этой власти начинают строить города, то есть окружают известные удобные места стенами, валами, рвами, и волею и неволею сводят туда жителей. Разумеется, им выгоднее всего населять эти города людьми отважными, воинственными, лучшими людьми по-тогдашнему. Город, населенный такими людьми, удержит и отобьет врага; кроме того, при слухе о неприятеле окрестное народонаселение найдет в стенах города безопасное убежище.

Но при постройке городов достигались не одни военные цели: города в мирное время стягивали к себе окрестное народонаселение, становились правительственными центрами для власти светской и церковной и в то же время центрами промышленными и торговыми. В России, в этой европейской окраине, первый князь, Рюрик, уже начинает *рубить города*; ему подражают почти все его преемники, переселившиеся на юг, где со стороны степей рубка городов было дело необходимое; новосрубленные города населяются *лучшими* людьми, за недостатком своих населяются пленниками. Переходит князь с Юго-Запада на пустынный Северо-Восток, первое его дело — строение городов и свод в них народа отовсюду, и потом та же деятельность продолжается постоянно: русские города вырастают незаметно в пустынях, и по берегам Нижней Волги и ее притоков, и за Уральскими горами вплоть до Восточного океана. Зная хорошо значение этой деятельности правительств украинских стран, мы с особенным любопытством читаем известия немецкого летописца о деятельности Генриха Птицелова как знаменитого строителя городов с целью безопасности государственной — *urbes ad salutem regni fabricavit*.

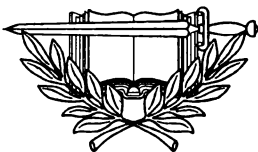
Для снабжения новых городов жителями Генрих употреблял и такой способ: он брал из сельского народонаселения девятого человека в новый город; этот девятый должен был держать в городе наготове двор, в котором восемь человек, оставшихся для земледельческих работ в селе, могли найти убежище на случай неприятельского нашествия. В России, где и в XVII веке даже в центральных областях город удерживал это значение, какое он имел в Германии при Генрихе Птицелове, то есть значение убежища для окрестного народонаселения на случай неприятельского нашествия, в России такие дворы в городах имели особое название, сохранившееся в памятниках: они назывались *осадными дворами*; помещик жил постоянно в деревне, но в ближайшем городе имел *осадный* двор, куда переезжал в случае неприятельского нашествия. Чтобы заставить разбредшихся саксонцев тянуть к городам как правительственным центрам, Генрих велел держать суды и устраивать всякого рода собрания и торжества в городах.

Любопытно известие о том, как Генрих населил город Мерзебург: он призвал вольных, гулящих людей, разбойников, дал им землю и оружие и запретил беспокоить своих немцев, но позволил разбойничать на счет славян сколько угодно. Так образовался знаменитый мерзебургский легион, наделавший много зла славянам. Здесь мы видим опять украинское явление. Пустынные порубежья всегда и везде служат притоном для людей сомнительной репутации, для людей, поссорившихся с обществом и принужденных оставить его. На пустынном порубежье эти люди разминают свое плечо богатырское, не щадя ни своих, ни чужих, пока с усилением мирной колонизации государство мало-помалу не приберет степного рыцарства в свои руки и не принудит его к правильной службе себе. Известно продолжительное и важное значение казачества на русском порубежье. Благодаря обилию источников это явление достаточно объяснено, но историк бывает особенно рад, когда может прошедшее явление объяснить настоящим, что дает яркое освещение и наглядность делу. В Северной Америке между Соединенными Штатами, из которых движется колонизация на запад, и краснокожими индейцами находится пустыня, и в этой пустыне по общему закону являются рыцари пустыни — люди, не ужившиеся в Европе, не ужившиеся и в Соединенных Штатах, удалившиеся в пустыню на запад и наводящие ужас на пограничных жителей, путешественников и торговцев. Но между рыцарями пустыни попадают люди и не с такой печальной славой: попадают люди, бежавшие в пустыню по разным семейным обстоятельствам, от преследования заимодавцев; наконец, очень многие между ними принадлежат к числу молодых горячих голов, которым тесно в цивилизованном обществе и привольная, дикая жизнь в пустыне пришла больше по сердцу, именно люди, подобные нашим казакам-богатырям, которые шли в дикое поле разминать свое плечо богатырское, которым было грузно от силушки, как от тяжелого бремени, по выражению старых песен⁶.

⁶ См.: А. Курбский. «Русский рабочий у североамериканского плантатора», гл. VII//Русский рабочий у североамериканского плантатора. Воспоминания, очерки и заметки А. Курбского. СПб., 1875.

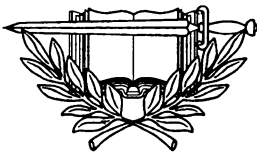
Таких-то рыцарей пустыни, водившихся в порубежье между германским и славянским миром, Генрих Птицелов употребил на службу первому против второго. Время от смерти Карла Великого до Генриха Птицелова было для славян относительно временем отдыха. При Генрихе происходит усиленный напор немцев на славян. В 928 году он ходил за Эльбу и примучил славянские племена по рекам Гавелю и Шпре; потом обратился к юго-востоку, основал здесь город Мейсен; в то же время подчиненные Генриху саксонские графы примучивали северных славян между Эльбою и Одером. Мы употребляем слово из древней русской летописи «*примучивали*», потому что оно совершенно идет к делу; немцы употребляли такой способ покорения: взрослое мужское народонаселение истребляли, а женщин и детей уводили в плен. Немцы в этих войнах обязаны были своим успехом коннице, которой не было у славян. Генрих Птицелов усилил у себя конницу, видя, что без нее нельзя бороться с венграми, которых войско все состояло из конницы.

Испытав счастье в войне со славянами, он решился по прошествии девятилетнего перемирия вступить в борьбу с венграми. Но этот враг был так страшен, что, по свидетельству летописца, Птицелов старался возбудить в немцах религиозное одушевление, чтобы принудить их к борьбе с венграми. «Мы все отдали венграм, — говорил он на сейме. — Только церковные сокровища остались нетронутыми. Должен ли я теперь коснуться и этого сокровища и отдать его врагам?» Религиозное одушевление было возбуждено. Венгерские послы, приехавшие за деньгами, были отпущены с пустыми руками. Вслед за тем толпы венгров вторглись в Турингию и положили ее пусту, поступая точно так же с немцами, как те поступали со славянами: мужчин выше девятилетнего возраста всех убивали, женщин и детей забирали в плен. Но Генрих ждал венгров с большим войском и заставил бежать. Немцы перестали платить дань венграм.



**МОИ ЗАПИСКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МОИХ,
А ЕСЛИ МОЖНО,
И ДЛЯ ДРУГИХ**

«В трудах от юности моея...»



I

5 мая 1820 года, в одиннадцать часов пополудни, накануне Вознесения, у священника московского Коммерческого училища родился сын Сергей, слабый, хворый недоносок, который целую неделю не открывал глаз и не кричал. Помню я тесную, плохо меблированную квартиру отца моего, в нижнем этаже, выходящую на большой двор училища, где в послеобеденное время и вечером гуляли воспитанники. Самыми близкими и любимыми существами для меня в раннем детстве были старая бабушка и нянька. Последняя, думаю, имела немалое влияние на образование моего характера. Эта женщина (т. е. старая девушка), сколько я помню сам и как мне рассказывали другие, обладала прекрасным, чистым характером: она была сильно набожна, но эта набожность не придавала ее характеру ничего сурового; она сохраняла постоянно общительность, веселость, желание занять, повеселить других, больших и малых. Несколько раз (не менее трех) путешествовала она в Соловецкий монастырь и столько же раз в Киев, и рассказы об этих путешествиях составляли для меня высочайшее наслаждение; если я и родился с склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о своих хождениях, о любопытных дальних

местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности. Как теперь я помню эти вечера в нашей тесной детской: около большого стола садился я на своем детском стулике, две сестры, которые обе были старше меня, одна тремя, а другая шестью годами, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица, также с чулком и в удивительных очках, которые держались на носу только. Небольшая, худощавая старушка с очень приятным выразительным лицом (а тогда для меня просто прелестным), с добродушно-насмешливою улыбкою без умолку рассказывала о странствиях своих вдоль по Великой и Малой России. Я упомянул о веселом характере старушки, о ее добродушно-насмешливой улыбке: и в рассказах своих она любила также шуточный тон, была мастерица рассказывать забавные приключения и даже в приключениях вовсе не забавных умела подмечать забавную сторону. Так, например, я очень хорошо помню рассказ ее о буре, которую вытерпело судно с богомольцами в устье Северной Двины, приключение нисколько не забавное, а, несмотря на то, рассказ этот обыкновенно повторялся, когда молодой компании хотелось посмеяться, потому что рассказчица необыкновенно живо и комично представляла отчаяние одного портного, который метался из одного угла судна в другой, крича: «О, ангел-хранитель!»

А между тем судьба моей рассказчицы вовсе не была весела. Родилась она в Тульской губернии, в помещицкой деревне. Однажды, когда отец и мать ее были в поле, и она, маленькая девочка, оставалась одна в избе, приходит приказчик и с ним какие-то незнакомые люди: то были купцы, которым была продана девочка; несчастную взяли и повезли из деревни, не давши проститься ни с отцом, ни с матерью. Потом ее перепродали в Астраханскую губернию, в Черный Яр, к купцу. Рассказы об этой дальней стороне, которой природа так резко отлична от нашей, о Волге, о рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве также сильно меня занимали. Занимали и рассказы о собственной судьбе рассказчицы, о сильных гонениях, которые она претерпевала от хозяйского сына; я не мог понимать причины гонений, потому что на

вопросы получал один ответ: «Да так!» — и сын черноморского купца представлялся мне сказочным злодеем, который делал зло для зла. Я уже после угадал причину гонений, когда угадал, за что жена Пентефрия так сильно рассердилась на Иосифа.

Но старый купец с женою иначе смотрели на свою рабу и по прошествии известного срока отпустили ее на волю за усердную службу. Ей захотелось возвратиться на родину; но как это сделать? У нее была отпускная, но не было денег, и вот она пошла в кабалу к купцам, отправлявшимся с товарами в Москву, т. е. те обязались доставить ее на родину с тем, чтобы она после заслужила у них деньги, сколько стоил провоз. Трогателен был рассказ о свидании ее с матерью, с которою она должна была скоро опять разлучиться и переселиться в Москву, где стала наниматься в услужение.

Я упомянул об умственном влиянии рассказов моей няньки, но я не могу не признать религиозно-нравственного влияния: бывало, начнет она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении с нею на дороге, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми, я в сильном волнении спрашиваю ее: «И ты это не испугалась, Марьюшка?» — и получаю постоянно в ответ: «А Бог-то, батюшка?» Если я и родился с религиозным чувством, если в трудных обстоятельствах моей жизни меня поддерживает постоянно надежда на Высшую Силу, то думаю, что не имею права отвергать и влияния нянькиных слов: «А Бог-то!»

Отходивши меня, Марья-нянька — так ее называли в доме — жила несколько времени в Москве, уже не в услужении, а собственным хозяйством, и вдруг собралась в дальний путь, в старый Иерусалим. Из Одессы мы получили от нее письмо, в котором она уведомляла, что садится на корабль. После возвратившиеся богомолки сказывали, что видели ее на Афонской горе, — и то была последняя весть.

Я распространился о старой няньке своей, потому что влияние ее на образование моего характера считаю довольно сильным и потому еще, что после я не встречал подобной няньки и не мог найти для своих детей няньки, хотя сколько-нибудь похожей на мою Марьюшку. Теперь перейду к другим влияниям, которые начали действовать, когда уже я стал вырастать. Важное влияние на образование моего ха-

рактера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском, отсутствие всяких детских развлечений; сестры мои, как я уже сказал, были гораздо старше меня, их скоро отдали в пансион, и я по целым дням оставался совершенно один; вот почему когда я выучился читать, то с жадностью бросился на книги, которые и составляли мое главное развлечение и наслаждение. Восьми лет записали меня в духовное училище с правом оставаться дома и являться только на экзамены; сам отец учил меня дома закону Божию, латинскому и греческому языкам, для других же предметов я посещал классы Коммерческого училища. В последнем учили плохо, но зато я получил больше средств доставать книги и предаваться моей страсти к чтению. Я читал все без разбора, читал романы всякого рода, и Гуака, и Радклиф, и Нарезного, и Загоскина, и Вальтер-Скотта; раннее чтение романов было мне вредно: оно сильно распалило мое воображение и, по всем вероятностям, много препятствовало укреплению моего организма. Но очень скоро, однако, врожденная склонность взяла верх: между книгами отцовскими я нашел всеобщую историю *Басалаева*, и эта книга стала моею любимицею; я с нею не расставался, прочел ее от доски до доски бесконечное число раз; особенно прельстила меня римская история. Велико было мое наслаждение, когда после краткой истории Басалаева я достал довольно подробную историю аббата Милота, несколько раз перечел и эту, и теперь еще помню из нее целые выражения. Единовременно, кажется, с Милотом попала мне в руки и история Карамзина: до тринадцати лет, т. е. до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз, разумеется, без примечаний, но некоторые томы любил я читать особенно, самые любимые томы были: шестой — княжение Иоанна III и восьмой — первая половина царствования Грозного; здесь действовал во мне отроческий патриотизм: любил я особенно времена счастливые, славные для России; взявши, бывало, девятый том, я нехотя читаю первые главы и стремлюсь к любимой странице, где на полях стоит: «Славная осада Пскова». Живо помню, как я ненавидел Батория; по целым дням мечтал я: а что, если б вдруг сам царь Иван принял начальство над войском и разбил бы Батория, взял бы опять и Полоцк, и Ливонию? Представлялось живо, с каким торжеством Иван въез-

жает в Москву, ведя пленного Батория. Мечталось мне и то: а что, если по какому-нибудь счастливому случаю отыщут продолжение истории Карамзина? Двенадцатый том мне не очень нравился именно потому, что в нем описываются одни бедствия России и, как нарочно, автор остановился там, где должен начаться счастливый поворот событий. Вместе с книгами историческими любимым чтением моим были и путешествия: несколько раз прочел я многотомную «Историю о странствованиях вообще», а также «Всемирного Путешественника».

II

Таковы были мои занятия до тринадцати лет; я уже сказал, что в Коммерческом училище учили плохо, учителя были допотопные. Дома отец мой не имел времени заниматься со мною постоянно; давши мне в руки латинскую и греческую грамматику, он часто по несколько недель не требовал от меня отчета в том, что я из нее выучил, но какая же охота была долбить: *amo, amas, amat* и *τύπτω, τύπτεῖς, τύπτει* — мальчику, который постоянно или защищал Псков от Батория, или вместе с Муцием Сцеволою клал руку на уголья, или с Колумбом открывал Америку? Обыкновенно каждый день по несколько часов я держал перед собой латинскую грамматику, но внутри ее лежала другая книжка, поменьше, обыкновенно какой-нибудь роман. От этого происходило, что когда отец вдруг начнет меня спрашивать или задаст задачу, т. е. перевод с русского на латинский или греческий, то я отвечал плохо и в задачах моих «аористы» сильно страдали. То же самое случалось и на экзаменах в духовном уездном училище, которое помещалось в Петровском монастыре. Поездки на эти экзамены были самыми бедственными событиями в моей отроческой жизни, ибо кроме того, что на экзаменах я большею частью отвечал неудовлетворительно, что огорчало моего отца, самое училище возбуждало во мне сильное отвращение по страшной неопрятности, бедному, сальному виду учеников и учителей, особенно по грубости, зверству последних; помню, какое страшное впечатление на меня, нервного, раздражительного мальчика, произвел поступок одного тамошнего учителя: кто-то из

учеников сделал какую-то вовсе незначительную шалость; учитель подошел, вырвал у него целый клочок волос и положил их перед ним на стол. Я чуть-чуть не упал в обморок от этого ирокезского поступка.

Здесь я должен сказать несколько слов о состоянии того сословия, из которого я произошел. В своей истории подробно объясню причины печального состояния русского духовенства. Главная причина заключалась в том, что при перевороте (Петровском) духовенство не имело возможности удержать за собою то положение, каким пользовалось в древней Руси. Прежде священник имел духовное преимущество по грамотности своей, теперь он потерял это преимущество; правда, он приобрел школьную ученость, но с своею одно-стороннею семинарскою ученостью, с своею латынью он оставался мужиком пред своим прихожанином, который приобрел лоск образования, для которого сфера всякого рода интересов, духовных и материальных, расширилась, тогда как для священника она расширяться не могла. Священник по-прежнему оставался обремененным семейством, подавленным мелкими нуждами, во всем зависящим от своих прихожан, нищим, в известные дни протягивающим руку под прикрытием креста и требника. Выросший в бедности, в черноте, в избе сельского дьячка, он приходил в семинарию, где та же бедность, грубость, чернота, с латынью и диспутами; выходя из семинарии, он женился *по необходимости*, а жена, воспитанная точно так же, как он, не могла сообщить ему ничего лучшего; являлся он в порядочный дом, оставляя после себя грязные следы, дурной запах: бедность одежды, даже неряшество, которые бы легко сносили, даже уважали в каком-нибудь пустынноике, одетом бедно и неряшливо из презрения к миру, ко всякой внешности, эти бедность и неряшество не хотели сносить в священнике, ибо он терпел бедность, одевался неряшливо вовсе не по нравственным побуждениям; начинал он говорить — слышали какой-то странный, вычурный, фразистый язык, к которому он привык в семинарии и неприличие которого в обществе понять не мог; священника не стали призывать в гости для беседы в порядочные дома: с ним сидеть нельзя, от него пахнет, с ним говорить нельзя — он говорит по-семинарски. И священник одичал: стал бояться порядочных домов, порядочно одетых

людей; прибежит с крестом и дожидается в передней, пока доложат; потом войдет в первую после передней комнату, пропоет, схватит деньги и бежит, а лакеи уже несут курение, несут тряпки: он оставил дурной запах, он наследил, потому что ходит без калош; лакеи смеются, барские дети смеются, а барин с барыней серьезно рассуждают, что какие-де наши попы свиньи, как-де они унижают религию!

Бедственное состояние русского духовенства увеличилось еще более разделением его на белое и черное, на черное — господствующее — и белое — подчиненное, рабствующее. Явление, только что дозволенное в древней Церкви, превратилось в обыкновение, наконец — в закон, по которому архиереи непременно должны быть из черного духовенства, монахи. И вот сын дьячка какого-нибудь хорошо учится в семинарии, начальство начинает представлять ему на вид, что ему выгоднее постричься в монахи и быть архиереем, чем простым попом, и вот он *для того, чтобы быть архиереем*, а не по внутренним, нравственным побуждениям постригается в монахи, становится архимандритом, ректором семинарии или академиком и наконец архиереем, т. е. полицеймейстером, губернатором, генералом в рясе монаха. Известно, что такие русские генералы, но генералы в рясе еще хуже, потому что светские генералы все еще имеют более широкое образование, все еще боятся какого-то общественного мнения, все еще находят ограничение в разных связях и отношениях общественных, тогда как архиерей — совершенный деспот в своем замкнутом кругу, где для своего произвола не встречает он ни малейшего ограничения, откуда не раздастся никакой голос, вопиющий о справедливости, о защите — так все подавлено и забито неверным деспотизмом. Сын какого-нибудь дьячка, получивший самое грубое воспитание, не освободившийся от этой грубости нисколько в семинарии, пошедший в монахи без нравственного побуждения и из одного честолюбия ставший наконец повелителем из раба, архиерей не знает меры своей власти: гнетет и давит.

Известно, что нет худшего тирана, как раб, сделавшийся господином; архиерей, как сказано, делается господином из раба; это объясняется не только вышеизложенным состоянием белого духовенства, но также воспитанием в семина-

риях, где жестокость и деспотизм в обращении учителей и начальников с учениками доведены до крайности; чтобы быть хорошим учеником, мало хорошо учиться и вести себя нравственно, — надобно превратиться в столп одушевленный, которого одушевление выражалось бы постоянным поклонением пред монахом — инспектором и ректором, уже не говорю — пред архиереем. И вот юноша, имеющий особенную склонность к поклонению, хотя бы и не так хорошо учился и не так отлично вел себя, идет вперед, постригается в монахи и скоро становится начальником товарищей своих, и легко догадаться, как он начальствует! Мы видели, по каким побуждениям произнес он обеты монашеские: он пошел в монахи не для того, чтобы бороться со страстями и подавлять их, а, напротив, для удовлетворения одной из самых иссушающих человека страстей — честолюбия; он пошел в монахи, чтобы быть архиереем. И вот некоторые из этих ученых монахов и архиереев, не имея никаких нравственных побуждений для обуздания плотских страстей, предаются им и производят соблазн, но надобно заметить, что это еще лучшие архиереи; зная за собою грешки, они мягче относительно других, относительно подчиненных. Гораздо хуже те, которые удерживают себя, надевают личину святости; страсти плотские кипят не удовлетворенные, но и не обузданные христианскими нравственными началами, христианским подвижничеством; черствая душа не размягчается ни постоянною молитвою, постоянным сообщением с предметом религиозной любви, ни мягкими отношениями семейными, доступными мирским людям; черствая душа невольного инока-архиерея ищет удовлетворения другим страстям, удовлетворения приличного и безнаказанного в мире сем; отсюда — необузданное честолюбие, злоба, зависть, мстительность, страшное высокомерие, требование бесполезного рабства и унижения от подчиненных, ничем не сдерживаемая запальчивость относительно последних.

Разумеется, были исключения, но я говорю не об исключениях; я прибавлю, что представительнейший из русских архиереев второй половины XVIII века, Платон, дрался собственноручно, брал подарки от подчиненных, обогащал племянниц своих; преемник его Августин, человек даровитый, знаменит был любовною связью с Марфою Кротковою и не-

приличными остроумиями; преемником Августина был Степан, в иночестве Серафим; посвящение его в монахи любопытно. Он был хорош собою и счастлив с женщинами; однажды к Платону дошла сильная жалоба на семинарского ловеласа; Платон, любивший вербовать всеми неправдами в монахи, воспользовался случаем и предложил молодому преступнику на выбор: или жестокое наказание, лишение будущности, или пострижение и архиерейство. Степан избрал последнее и превратился в Серафима. После этого события однажды Платон гулял с профессорами академии по двору Троицкого монастыря и занимался любимой своею забавою: взглянувши на какой-нибудь предмет, он произносил первый стих, относящийся к этому предмету, а спутники должны были подбирать приличный второй стих. Взглянувши на старый царский дворец, Платон произнес:

Чертоги зрю монарши...

Из толпы спутников немедленно послышался второй стих:

Погиб Степан от секретарши.

Этот Степан, или Серафим, оказался человеком бездарным и, несмотря на то, был митрополитом московским, а потом петербургским и первоприсутствующим членом Синода, ибо правительство боится архиереев даровитых и любит смиренные посредственности. Но Серафим, не отличаясь ничем хорошим, не отличался по крайней мере ничем дурным, был добрый, очень сносный архиерей.

III

Не таков был знаменитый преемник Серафима в московской митрополии — Филарет. Принадлежа, бесспорно, к числу даровитейших людей своего времени, Филарет шел необыкновенно быстро, поддерживаемый масонскою партией, к которой принадлежал, особенно другом своим, князем Александром Николаевичем Голицыным. От природы ли получил он горячую голову и холодное сердце или вследствие положения его, вследствие отсутствия сердечных отношений, внутренняя теплота постоянно отливала

у него от сердца к голове, — только этот человек для коротко знавших и наблюдавших его представлял печальное явление. Рожденный быть министром, он попал в архиереи. Если бы он попал в латинские прелаты, то он нашел бы себе деятельность, но он попал в русские архиереи, между которыми правительство любило ум и талант только в той степени, в какой этот ум и талант употреблялись исключительно на служение ему, правительству. Филарет шел шибко, когда служил правительству, и был удален, когда заметили в нем попытки служить себе или своему сословию. Религия требует от монаха отречения от мира для Бога; русское правительство требует от монаха-архиерея отречения от мира и от Бога для него — правительства. Филарет должен был перестать ездить в Петербург для присутствия в Св. Синоде, где шпоры обер-прокурора, гусарского офицера графа Протасова, зацеплялись за его рясу. По смерти Серафима, Филарета оставили в Москве, а в Петербург, т. е. в первоприсутствующие члены Синода, взяли с юга какого-то Антония, человека ничтожного, после Антония — Никанора из Варшавы, такую же ничтожность сравнительно с Филаретом. Сначала было думали, что Филарет станет явно в оппозицию; некоторые проповеди показывали действительно в нем это направление, но это было только минутное выражение досады оскорбленного честолюбия; Филарет не мог свыкнуться с мыслью жить вне благосклонности царской, архиереем опальным, ибо опала эта уменьшила бы его значение в Москве, — и он стал льстить, поднес голубя¹, который возвратился к нему с масличной ветвью, знаками благоволения. Испорченность Филарета можно было заметить из его разговоров: начнет о чем-нибудь — и сведет на двор, на императора, на свои сношения с царскою фамилиею.

Я сказал уже, что у этого человека была горячая голова и холодное сердце, что так резко выразилось в его проповедях: искусство необыкновенное, язык несравненный, но холодно, нет ничего, что бы обращалось к сердцу, говорило ему.

¹ При торжестве двадцатипятилетия царствования императора Николая I Филарет от имени всего московского духовенства (которое ничего об этом не ведало) просил у государя соорудить над престолом Успенского собора изображение Св. Духа в виде голубя.

Такой характер при дарованиях самых блестящих представил в Филарете печальное явление: он явился страшным деспотом, обскурантом и завистником. Сохрани Боже, если светское лицо скажет что-нибудь прекрасное относительно религии и Церкви; сохрани Боже, если кто-нибудь из дуловных помимо его скажет что-нибудь прекрасное, — он оскорблен. Талант находил в нем постоянного гонителя; выдвигал, выводил в люди он постоянно людей посредственных, бездарных, которые пресмыкались у его ног. Это-то пресмыкание любил он более всего, и ни один архиерей не мог соперничать с ним в этой любви; ни в одной русской епархии раболепство низшего духовенства пред архиереем не было доведено до такой отвратительной степени, как в московской во время управления Филарета. Этот человек (святой во мнении московских барынь) позабывал всякое приличие, не знал меры в выражениях своего гнева на бедного, трепещущего священника или дьякона при самом ничтожном проступке, при каком-нибудь неосторожном, неловком движении. Это не была только вспыльчивость — тут была злость, постоянное желание обидеть, уколоть человека в самое чувствительное место. Об отношениях Филарета к подчиненным всего лучше свидетельствует поговорка, что он ел одного пескаря в день и попом закусывал. И не должно думать, чтобы здесь была излишняя строгость, излишние требования от подчиненных благочиния и нравственности; Троицкая лавра, подчиненная ему непосредственно, была вертепом разврата; на нравственность духовенства вообще он не обращал внимания: Филарет требовал одного — чтобы все клали поклоны ему, и в этом полагал величайшую нравственность.

В ужасном состоянии, под гнетом Филарета, находились духовная академия московская и семинария. Преподаватели даровитые здесь были мучениками, каких нам не представляет еще история человеческих мучений. Филарет по капле выжимал из них, из их лекций, из их сочинений всякую жизнь, всякую живую мысль, пока наконец не кастрировал человека совершенно, не превращал его в мумию. Такую мумию сделал он из Горского, одного из самых даровитых и учнейших между профессорами духовной академии. Филарет являлся для преподавателей хищным животным, которое прислушивается к малейшему шороху, обнаружи-

вающему жизнь, движение, живое существо, и бросается, чтобы задавить это существо. Появится живая мысль у профессора в преподавании, в сочинении — Филарет вырывает ее и, чтоб отнять в преподавателе охоту к дальнейшему выражению таких мыслей, публично позорит его на экзамене. «Это что за нелепость! Дурак!» — кричит он ему. Несчастный кланяется.

Русская Церковь могла с похвальбою выставить пред западную Филарета, который мог превзойти самого ловкого иезуита. Он и не скрывал своего сочувствия к иезуитам, говорил в академии: «Как жаль, что столько талантов, учености, трудолюбия, самоотверженности, благонамеренности употреблено на поддержание папских заблуждений!» Поданный им проект учреждения миссионерских училищ был совершенно иезуитский: так же запрещено было ученикам ходить вдвоем, так же развита была система шпионства и доносов; даже императора Николая оскорбил этот проект, и он отвергнул его. В академической библиотеке сохранилась книга о раскольниках, драгоценная по собственноручным замечаниям митрополита Платона, следующего содержания: спор с раскольниками невозможен, ибо для успешного окончания всякого спора необходимо, чтобы спорящие признавали одно начало. Так, в религиозном споре необходимо, чтоб обе стороны признавали один авторитет — Священное Писание, но невежественный раскольник одинаковую важность с Евангелием придает и творениям отцов, часто ошибавшимся, и приговорам соборов, также часто ошибочным, житиям святых и разным повестям нелепым. Просвещенный богослов опровергать его не может уже и потому, что боится оскорбить и своих слабых, благоговеющих пред всеми этими авторитетами: и потому молчи, просвещенный богослов, и ври, невежественный раскольник! Филарету показали эту книгу; он взял ее к себе и возвратил ее в другом виде: строки, написанные Платоном, уже были уничтожены. «Зачем, — сказал он при этом, — позорить память такого знаменитого пастыря». Какой-то невежда написал книгу против раскольников, где мнение папы Иннокентия III приписал Иннокентию II, другу Иоанна Златоустого, а другой невежда поставил обоих Иннокентиев и приписал им одно и то же мнение. Книга проходила чрез академическую цен-

зуру; профессора представили ее Филарету с указанием явной нелепости. «Пропустить, — отвечает Филарет, — это может принести пользу».

Однажды Филарет выразил желание, чтоб кто-нибудь занялся опровержением Сведенборга, имеющего читателей и почитателей. Один ученый занялся делом и представил ректору изложение учения Сведенборга и опровержение. Первая часть, изложение учения, ужаснула ректора: «Как можно так писать! Сведенборг выходит у вас очень умен». И давай вычеркивать из сочинения все то, что могло выставить Сведенборга в сколько-нибудь выгодном свете; ревность отца-ректора дошла до того, что, встретив известие: в одной гостинице Сведенборг имел видение, он зачеркнул «гостиница» и написал: «кабак». В этом исправленном виде сочинение было представлено Филарету, но тот нашел, что и тут оно представляет Сведенборга в выгодном свете, и еще перемарал, так что когда ректор после этого опять начал читать статью, то с самодовольным смехом повторял: «Какой этот Сведенборг был дурак!»

IV

В таком печальном состоянии находилось русское духовенство, когда я начал понимать. Но скоро я мог уже заметить мерцание света, обещавшее выход из этого страшного положения. Время и то направление, которым шла Россия в продолжение 150 лет, взяли наконец свое: просвещение, начавшее наконец смягчать нравы, проникло с этим благодетельным влиянием своим и в семинарии, и в духовенство. Русский человек любит читать, это искони было залогом его прогресса; читали, и читали усердно, семинаристы и попы, оглянулись на самих себя при новом свете, и стало им гадко; начало распространяться недовольство своим воспитанием, условиями своего быта, и это был уже огромный шаг; начали отряхаться, обчищаться извне, но с этим вместе шло, хотя понемногу, и внутреннее очищение; особенно большое влияние оказали здесь, как и на все русское общество, журналы; при сравнении нескольких поколений священников, старых, средних, новых, легко было увидеть разницу в пользу последних. Здесь Петербург пошел вперед: в этом городе

изначала было больше внешней чистоты, которая всегда имеет влияние на внутреннюю, если не употреблена во зло, не доведена до односторонности. Во всей России вообще и в Петербурге в особенности преобладало стремление к одной форменности: не могло не отразиться это и на духовенстве; с другой стороны, вначале духовенство, особенно в Петербурге, познакомившись ближе с наукою, ударило в протестантизм, потом в рационализм. Но этому явилось противодействие: религиозная потребность начала усиливаться: в XVIII веке смотрели на религию с презрением и не могли не радоваться унижительному состоянию служителей религии; в XIX веке направление изменилось; волею-неволею должны были уступить религии высокое, высочайшее место: обнаружилось стремление к самопознанию, начались толки о старине русской, в которой Церковь играла такую важную роль; с желанием поднять русскую старину, русскую народность необходимо соединилось желание поднять русскую Церковь, православие как главную отличительную черту этой народности; люди, не верующие во Христа, начали толковать о превосходстве православия над другими исповеданиями христианскими; все это необходимо должно было содействовать к очищению духовенства, и признаки этого очищения, как уже сказано, показались в половине XIX века, конечно, признаки не очень резкие, слабое мерцание света, который не мог светить ярко благодаря тяжести атмосферы повсюду в России, но все начинается с небольшого, не вдруг.

Признавая важное значение православия в русской истории, мы не назовем, однако, влияния этого «византийского» исповедания безусловно благодетельным; вместе с этим, впрочем вглядываясь внимательно и в прошедшее, и в настоящее, мы не можем приписывать неприятного во многих отношениях хода русской истории православию, не можем не увидеть в нем светлых сторон относительно и прошедшего, и настоящего, и будущего.

Православие могущественно содействовало утверждению единовластия и самодержавия; по характеру своему это «византийское» исповедание изначала стремилось стать полезным оружием самодержавной власти — и стало. Таким образом, скажут иные, православие способствовало утверждению рабства, было оружием порабощения в руках дес-

пота; элементы сопротивления деспотизму не могли найти в нем опору. Но мы спросим, где были эти элементы сопротивления и каковы были они? Бессмысленное боярство — с одной стороны, и свирепое казачество — с другой! Предположим, что вместо православия был бы в России католицизм; конечно, историк не имеет права толковать о том, что бы из того произошло, но он имеет право сказать, что могли бы произойти такие явления, которым помешало одно только православие, а именно только одно православие помешало Владиславу стать царем в 1612 году и ополячить Московское государство; но кто же решится сказать, что было бы лучше, если бы вся Восточная Европа представляла сплошную Польшу? Православие отняло Малороссию у Польши и дорушило последнюю, собравши всю Восточную Европу в одно целое под именем России: неужели русский человек будет сетовать за это на православие?

Относительно настоящего я спрошу у тех, которые не признают никакой религии, но уважают католицизм за его великую будто бы историческую роль и презирают православие за то, что оно этой роли не играло, — я спрошу у этих господ: «Вы не верите ни во что, громко признаетесь в этом, круглый год не заглядываете в Церковь — и кто вас за это тревожит? Знаете ли вы вашего приходского священника, и знает ли вас этот священник?» Вы совершенно свободны и эту свободу обязаны православию, ибо католический священник не позволил бы вам так спокойно вольнодумничать, так спокойно презирать его: в нем имели бы вы самого злого врага, доносчика, который или запрятал бы вас в недоброе место, или бы заставил ходить к себе в церковь и на исповедь; если в православии правительство имеет орудие, то это орудие тупое, в католицизме оно имело бы острое. Но самое важное и благодетельное значение православие должно, по моему мнению, иметь для будущности народов, его исповедающих. Мы видим, что протестантизм многих не удовлетворяет, я не стану рассуждать, почему он не удовлетворяет; достаточно факта всем известного: движение от протестантизма между англичанами, народом самым практическим, умеющим более других народов остановиться на середине, избежать крайностей, — всего лучше доказывает, что протестантизм неудовлетворителен. С другой стороны, ка-

толицизм, не говоря уже об исторической и догматической неправде папизма, становится, как видим, постоянно на дороге движения народа вперед, никак не может ужиться с новыми потребностями народов. Что же касается православия, то, во-первых, оно не имеет того характера безавторитетности, которым протестантизм именно многих не удовлетворяет; с другой стороны, чуждое неправде папизма православие может быть везде народной формой религиозного исповедания и нисколько нигде не стеснит народных движений, ибо уживется со всякими правительственными формами. Православие отражает теперь на себе всю черную сторону настоящего состояния русского общества; оно страдает вместе с нами; при перемене к лучшему на нем отразится эта перемена, оно не помешает ей; теперь оно страдает вместе с нами — тогда будет радоваться, будет довольно вместе с нами; это — наш верный спутник, не будем же отнимать от него руки нашей.

V

Как я уже сказал, во время моего отрочества в некоторых священнических семействах начало возникать недовольство своим положением, стремление выйти из него, пообчиститься, поотряхнуться. К числу таких семейств принадлежало и наше. В нем начало прогресса представлялось преимущественно матерью. Родня отца моего, священники, дьяконы, дьячки, оставалась в селах; родные моей матери были большею частью светские — отсюда и бóльшая часть знакомства состояла из светских же людей; было и несколько духовных, которых мать очень не любила и которые своими привычками и поведением рознились от светских знакомых не к своей выгоде. Эта противоположность, которую, разумеется, мать старалась выставлять при каждом удобном случае, произвела на меня сильное впечатление, внушила мне отвращение от духовного звания, желание как можно скорее выйти из него, поступить в светское училище. Сестер моих отдали в пансион, что было тогда очень редким явлением между духовными, — страннее было бы меня отдать в семинарию, особенно когда в устах моей матери семинария была синонимом всякой гадости. Отец колебался, мед-

лил, но скоро медлить стало нельзя по той причине, что, как уже сказано выше, я плохо занимался латынью, плохо отвечал на экзаменах в Петровском монастыре; отец видел, что я занимаюсь, целый день сижу с книгами, но знаю не то, что требовалось в духовных училищах, и наконец решился выписать меня из духовного звания и определить в гимназию. И здесь в самом начале произошло сильное препятствие вследствие моего беспорядочного воспитания: я изумил учителя истории и географии моими познаниями, но оказался крайне слаб в математике, к которой питал сильное отвращение с самого начала и во все продолжение моего учения. Меня едва приняли в третий класс.

Здесь прежде всего я должен заняться описанием гимназии, как она находилась в то время, как я вступил в нее. Учение вообще, с некоторыми исключениями, было порядочное, напр[имер], гораздо порядочнее, чем в Коммерческом училище; кроме того, учителя и надзиратели не позволяли себе таких ирокезских поступков, как в духовных училищах, но нельзя сказать, чтобы нравственность учеников была в сколько-нибудь удовлетворительном состоянии. В третьем классе, куда я поступил, было более ста человек; тишины и благочиния, особенно между уроками, было мало; всего хуже было то, что многие ученики, получившие дурное нравственное воспитание дома, позволяли себе громко и беззастенчиво площадное сквернословие. Некоторые учителя, учителя главных предметов, пользовались особым уважением, и у них в классе было тихо, но зато у других — у несчастного немца, у рисовального учителя — ходили вверх ногами. Обыкновенно перед немецким классом толпа отчаянных шалунов отправлялась из классной комнаты в коридоры, и, как только немец усядется на кафедре и начнет заниматься делом, двери отворяются, и ушедшие с шумом входят гусем один за другим; обыкновенно шествие открывал маленький шалун Чесноков² с необыкновенно белым лицом и белыми волосами; немец вскакивал, начинал кричать: «Старший! Хватай, лови! Хватай этого белого, седого первого гуся!» Но старший был сам из учеников, самого его гу-

² Кончивший курс в университете, вступивший в военную службу и убитый на Кавказе.

синое шествие забавляло так же, как и других. Начнет немец диктовать; все пишут и сидят тихо в ожидании, пока он скажет: «semicolon»; тогда все хором: «Зимний Никола!!» Немец опять начинает беситься — и новое наслаждение! Предание ходило, что прежде, лет пять назад, было еще хуже или еще лучше: рассказывали, как в рисовальный класс врывалась толпа учеников переряженных, в вывороченных шубах, как рисовальный учитель приходил с кнутом в класс, за что и прозван был пастухом.

Это было в блаженные времена инспекторства профессора Семена Мартыновича Ивашковского, добрейшего и страннейшего человека. Бывало, Ивашковский придет в спальни к казенным ученикам и найдет там одного из них, по лености не пошедшего в класс, *отгуливавшего*, по гимназическому выражению. «Ты, *буде*, зачем здесь? — кричит грозно инспектор. — Солдаты! Розог!» Ученик не оправдывается, но старается отвлечь внимание Ивашковского на другие предметы: «Семен Мартынович! Извольте поглядеть: вот уже третий день, как форточка разбилась, а ее все не чинят!» «Да, *буде*, хорошо, что ты мне показал». — «Семен Мартынович, вот под кроватями никогда не выметают сору». — «Хорошо, *буде*, хорошо, что ты мне указал». А между тем солдаты пришли с розгами и стоят в дверях. «Вы, *буде*, зачем пришли?» — «Ваше высокоблагородие изволили приказать». — «Врете, *буде*: я вам никогда не приказывал; ступайте вон!» Солдаты уходят, и Семен Мартынович идет далее, забывши об ученике отгуливавшем, о форточке, о соре под кроватями и обо всем на свете.

При мне инспектором был Михайло Игнатъич Беляков, также прежде профессорствовавший в университете. Это был человек неглупый и распорядительный, но желчный и грубый; какой он мог показать пример воспитанникам, как мог приучить их к лучшим, чистейшим формам, видно из того, что как, бывало, начнет кричать на учеников, то не обойдется без «сукина сына» или «дичи!». Был он вдов и жил с толстой нянькой своего сына, что, разумеется, не могло очистить его от дурных привычек и что ученики очень хорошо знали. Еще меньше хорошего примера мог подать главный начальник гимназии, директор Окулов. Этот человек был известен в Москве разгульною, развратною жизнью, мото-

вством, искусством рассказывать анекдоты, преимущественно непристойные; при этом добрейший, приятнейший человек в обществе, не делавший никому зла. Но эти достоинства меньше всего, однако, давали ему право быть директором воспитательного заведения. На гимназию он смотрел как на доходное место: имея много пансионеров, привыкши брать всюду деньги без отдачи, он распоряжался и гимназическим казенным сундуком как своим, что приводило в отчаяние инспектора и учителей, на которых должна была пасть вся ответственность; делами вовсе не занимался, предоставляя все инспектору. И такой-то человек был лет двадцать директором гимназии, умер на этом месте (в 1853 году); тщетно граф Строганов во время своего попечительства пытался несколько раз его свергнуть, аттестуя его, что: «Он способен — только не по учебной части». Окулов держался связями, был любим великим князем Михаилом Павловичем, сестра его была хороша при дворе, а сам он был приятелем министра Уварова, которого потешал своими беседами.

Попечителем учебного округа был знаменитый в Москве вельможа князь Сергей Михайлович Голицын, называвшийся «последним московским барином». Это был человек ограниченный, самолюбивый, привыкший с ранней молодости играть первенствующую роль по своим связям и богатству, но вместе с тем очень добрый, набожный нелицемерно, имевший в себе истинно аристократические свойства. Давно уже он занимал должность председателя Опекунского совета, но эта должность против его воли придала ему должность попечителя учебного округа, и как председатель Опекунского совета он мало занимался делами и мало был способен к занятиям; понятно, что еще меньше занимался он делами округа и еще меньше был способен заниматься ими. Кажется, во все время управления своего он был только раз в университете, и вот по какому случаю: жена генерал-губернатора княгиня Тат[ьяна] Вас[ильевна] Голицына, выдав свою воспитанницу, небогатую племянницу своего мужа за профессора Шевырева, хотела непременно, чтобы попечитель оказал внимание последнему, был у него на лекции. Кн. С. М. Голицын хотел угодить даме и поехал в университет, но вместо Шевырева попал на лекцию к сопернику его, Надеждину, и остался в полном убеждении, что

слушал Шевырева. В гимназии мы видели его раза два или три и этим обязаны были тому, что он жил рядом с гимназией; говорят, что одним из этих посещений мы были обязаны тому, что во время прогулки Голицыну необходимо стало как можно скорее удовлетворить естественной нужде и он, не успевши добежать до дому, забежал в гимназию и из известного места уже потом кстати зашел и в классы.

Гимназия и вообще Московский округ ждали человека для своего преобразования, очищения — и дождалась: по просьбе Голицына он был избавлен от попечительства, и на его место назначен был граф Сергей Григорьевич Строганов. Приехал новый попечитель — и, как по свистку в театре, декорации переменились: в классах — порядок, благочиние, тишина; бывало, прежде у некоторых учителей послабее на передней лавке ученики еще слушали кое-что, на средних разговаривали, а на задних — спали или в карты играли; теперь кто и не хотел заниматься, сидел тихо и не мешал другим. Главное — ученики и учителя пообчистились, отряхнулись, стали с большим уважением смотреть на себя, на свои занятия. Отчего же это произошло? Оттого что явился начальник, какого никогда еще не бывало, человек деятельный, хотевший сделать в своем ведомстве все как нельзя лучше и имевший к тому все средства.

Дух добросовестного начальника сделался присущ каждому заведению; Строганов поселил всюду свой дух, и этот дух блюл за улучшением нравственным и учебным. Всех осенила благодетельная мысль: чтоб заслужить внимание начальника, надобно как можно усерднее исполнять свою обязанность — и только, не заботясь более ни о чем; от начальника не скроется нерадение, он не пощадит; и к нему нельзя подольститься ничем другим, кроме усердного исполнения должности, кроме личных достоинств. К Строганову можно было подольститься только тем, чем у других начальников подчиненный мог только навлечь на себя вечную опалу. Вот случай, который лучше всего определяет взгляд Строганова на отношения подчиненных к начальнику. Однажды я был у него; пришел какой-то другой господин и начал говорить об одном чиновнике, служившем под начальством Строганова. Последний рассыпался в похвалах этому чиновнику и кончил панегирик так: «Что это за человек! Бывало, начну с ним

спорить, указывать ему — не даст слова выговорить! Прекрасный, честный человек, крепкий в своих убеждениях!» Такой взгляд всего резче выдавался оттого, что в наше время у генералов военных и статских подчиненный мог выиграть только лестью, поддакиванием, самоуничижением.

Чтобы испытать твердость убеждений преподавателей, Строганов любил озадачивать, накидываться; конечно, знавшему эти приемы и действительно крепкому в своих ученых и каких бы то ни было убеждениях легко было осадить Строганова и этим снискать его уважение, но некоторые, неопытные, попадались; например, однажды он вдруг спросил учителя физики: «А в какую сторону вертится ручка электрической машины?» — и тот не умел ответить. Но не должно думать, что подобное неумение уже решало судьбу преподавателя, определяло окончательное мнение попечителя о нем; важное достоинство Строганова заключалось еще в том, что он старался долго со всех сторон собирать о человеке разнородные слухи и окончательно определял свое мнение на основании мнения большинства специальных людей в ученом отношении и большинства порядочных людей — в нравственном.

Прийти к Строганову с рекомендательным письмом от знатной дамы, знатного господина значило навсегда погубить себя в его мнении, никогда не получить от него места. Огромна была заслуга Строганова в том отношении, что он уничтожил занятие учебных воспитательных мест по рекомендациям людей, не способных ценить рекомендуемых. Его положение в обществе и характер делали для него это возможным.

Неизвестно, как и где Строганов напитался смолodu аристократическими понятиями. Потомок пермского колониста, именитого человека, Строганов явился самым сильным поборником аристократических стремлений. Основная его мысль — поднять высшее дворянское сословие в России, дать ему средства поддержать свое положение, остаться навсегда высшим сословием; самым сильным для этого средством в его глазах было образование, наука; отсюда — мысль, что люди, поставленные по происхождению и богатству в верхнем слое общественном, должны учиться по преимуществу. Сам он получил плохое, поверхност-

ное образование, но благородным инстинктом понял, что наука есть могущество; отсюда — глубокое уважение к науке, интерес ко всем явлениям науки и литературы. Будучи попечителем, он любил выпытывать, высасывать из подчиненных ему ученых сведения, но понятно, что получаемые таким образом сведения при недостатке первоначального основательного учения неправильно громоздились в его голове, вовсе не гениальной, дурно переваривались, часто безобразно и смешно скоплялись около некоторых любимых его мыслей. Но дело было не в правильности той или другой мысли попечителя, не в том, что этот попечитель часто перепутывал события, имена, лица по недостатку памяти и правильного, измлада начатого накопления сведений; дело было в том, что попечитель уважал мысль вообще, уважал науку, ставил выше всего честность, прямоту, благородство, талант, трудолюбие, святое исполнение обязанностей, имел практический смысл, не увлекался первою мыслью, как бы она ни поразила его с первого раза своею верностью и пользою применения, не доверял самому себе как безошибочному оценщику, не доверял и другим, но выпытывал мнения у многих авторитетных людей посредством спора, сравнивал эти мнения.

Мы часто имели случай смеяться над его учеными промахами, нельзя было не смеяться, как однажды при мне он вздумал в названии города Посидония искать тождества с русским словом *посад* или имя князя Лугвения на печати принял за название города Лугвени; но с одной стороны, уже самые эти объяснения-промахи были почтенны в русском генерале, начальнике университета, тем более что Строганов никогда не давал значения своим ученым мнениям и догадкам, оставляя их при первом решительном возражении и объяснении специалиста; с другой стороны, несмотря на то что Строганов иногда подавал нам причины внутренне посмеяться, никто из нас не выходил из его кабинета без уважения к человеку добра, который умел оценить все хорошее и дать ему ход.

Понятно, что у такого человека, как Строганов, было множество врагов в разных слоях общества. В высшем, в собственном его кругу, его вообще не любили за *гордость*. Действительно, Строганов был горд с равными себе по обще-

ственным значению, ибо в очень немногих признавал себе равных: пред генералами-фельдфебелями, выходцами-лакеями он гордился своим происхождением, чистотою характера, благородством во всех отношениях; пред людьми, равными ему по происхождению, он гордился своею образованностью, тем, что сохранил в чистоте свое происхождение, не пятнал его раболепством, выслуживанием, чем пятнала себя большая часть равных ему по происхождению. Действительно, Строганов был горд, неуживчив; сколько он был уступчив с нами, людьми, которых умственное превосходство он признавал, столько же был неуступчив и горд, резок с людьми, которых нравственного и умственного превосходства над собою он не считал себя обязанным признавать, — а других превосходств никаких он не признавал — ибо считал себя одним из первых вельмож в империи — *Божиею милостью*. При этом он был холоден, дик, малодоступен, скуп. Последнее свойство, — не знаю, крылось ли оно в его природе, по крайней мере, видимо, оно проистекало из его убеждений. Государство сильно только аристократиею, думал он, но аристократия сильна не одним своим происхождением, особенно в России, где выходцам открыта такая свободная дорога; аристократия поддерживается личными достоинствами членов своих, их нравственными средствами — отсюда стремление усвоить образование, науку, преимущественно для высшего сословия, но аристократия могущественно поддерживается также богатством; отсюда — стремление сохранить и увеличить богатство аристократической фамилии. Происходя сам из бедной линии Строгановых, он приобрел огромное имение (с лишком 60 000 душ) за женою, единственной наследницею богатой линии Строгановых, имение было огромно, но обременено долгами; он должен был очищать его; это было новым побуждением к скупости; наконец, имение составляло майорат; все эти 60 000 с лишком душ переходили к старшему сыну, младших должно было наделить деньгами, деньги должно было скопить — еще побуждение к скупости. Но когда нужно было приобрести картину знаменитого мастера, редкую древнюю вещь, монету или что бы то ни было, помочь бедному ученому издать свое сочинение — там Строганов не был скуп; для журнала, который мы собирались издавать в 53-м году, он давал нам

большую сумму денег, но мы не могли воспользоваться его предложением.

Но гордость, недоступность, скупость вооружали против Строганова многих из людей его общества; старание очистить подчиненных ему людей вооружило против него тех из них, которым уже нельзя было очиститься и которым было тяжело при нем. Но для порядочных людей, как принадлежащих к ученому ведомству, так и для всех тех, которым дорого было просвещение, управление Строганова Московским учебным округом было золотым временем. Не могу без глубокого чувства благодарности вспомнить того освежения нравственной атмосферы, которое произошло у нас в гимназии, когда приехал Строганов попечительствовать!

Директором остался тот же Окулов, но он был еще в большем отдалении от дел, в явной немилости у попечителя, который презирал его, не хотел входить с ним ни в какие сношения. Инспектор Беляков оставил свое место, получив высшее место окружного инспектора; порядочных людей было мало, потому пригодился и Беляков, по своему здравому смыслу и знаниям могший быть очень полезным для общего надзора за училищами округа, не приходя в ближайшее соприкосновение с учениками, следовательно, не вредя им своею грубостью. На его место инспектором в гимназии был назначен Погорельский, из тамошних учителей математики и бывший также адъюнктом в университете, человек ловкий, деятельный, сметливый, самолюбивый, умевший понять, чего хотел Строганов, чем надобно быть, чтоб приобрести его расположение. Понятно, как много добра мог сделать такой инспектор при Строганове. Благодаря ему-то произошла такая быстрая перемена, о которой я говорил. Сменены были учителя или слабые, как учитель греческого языка Пантази, или имевшие голову не в правильном состоянии, как, напри[м]ер, Оболенский, сперва учитель русской словесности, потом латинского языка и адъюнкт греческого языка в университете, или давно уже остановившиеся, не хотевшие знать ничего, кроме своего учебника, как, напри[м]ер, учитель истории Добровольский. Все пошло живее и тверже, а главное — распространилось уважение к науке, которая стала высшею, исключительною целью.

Как прежде было сказано, я поступил в третий класс благодаря плохому знанию математики. Вследствие сильного отвращения от этой науки, полной неспособности к ней, невозможности понять, к чему служит эта передвижка цифр и букв, какая благодать от того, что $x^2 + px + q = 0$, что x , наконец, может быть равен 23 или 33, что при таких-то и таких-то случаях треугольники равны, — вследствие этого я не мог делать успехов в гимназии, хотя здесь принужден был силой заниматься и математикою, ломать без пользы голову по несколько часов над задачами, что, разумеется, еще более усиливало во мне отвращение к предмету. В третьем классе учителем был Волков — страшный педант; это чудовище осмелилось однажды поставить меня на колени, что случилось со мною в первый раз в жизни; понятно, каково было моему самолюбию — самолюбию ревностного сопутника героев древней, средней и новой истории. Мало того, Волков обращался ко мне с такими милыми приветами: «Дурак ты, дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца, отец твой хороший человек, а ты дурак!» И вот прошел год; я вышел из всех предметов отличным, кроме математики; инспектор дал знать об этом отцу; отец нанял ученика из старшего класса, чтоб готовить меня из математики к экзамену; я приготовился, взял, как говорится, если не мытьем, так катаньем, выучил наизусть все доказательства; экзаменовал учитель старших классов Погорельский, к которому мы должны были перейти; этот человек любил скорые, твердые ответы; я отрезал ему ответ на диво, а Погорельский восхитился, поцеловал меня, сказал: «Умница, мальчик! Молодец, мальчик!» — и поставил мне 5. Волков стоял тут, и я был вполне отомщен; тем более успех мой был блистателен, что большая часть учеников, пользуясь длиною вакациею по случаю перестройки в гимназии, очень плохо подготовилась. Я поступил в четвертый класс из всех предметов первым.

Здесь я должен заметить любопытное явление: ученики, которых я застал в третьем классе, перешедшие сюда из второго с отличными успехами, начали уже здесь портиться, перешли в четвертый кое-как и не могли дотянуть вовсе до

седьмого, последнего; из ста человек, бывших при мне в третьем классе, не более пяти вместе со мною дотянули до седьмого и поступили в университет; все другие были вступившие позднее нас прямо в 4-й и 5-й классы. Еще любопытный случай, который поразил меня в гимназии: в третьем классе силою и железным здоровьем отличались трое учеников — Чернохостов, Богачев и Шютц, а я был самый слабый и хилый в целом классе: означенные богатыри могли меня повалить пальцем; и что же? Все трое года через два или через три умерли от чахотки! Причиною смерти Богачева и Шютца было, как надобно полагать, раннее и излишнее знакомство с женщинами; что же касается до Чернохостова, то этот очень умный и развитой малый влюбился в Наполеона и пришел к мысли, что он и в России, при ее настоящем положении, может сделаться Наполеоном; в 16 или 17 лет мало ли что воображается, все считается возможным, но, к несчастью, Чернохостов не хотел ограничиться одним воображением; у него достало настолько силы духа, чтоб начать осуществление своих мечтаний. Ему надобно было прославиться на военном поприще; в мирное время этого достичь нельзя, и особенно ему, сыну мещанина, и вот он тайком от матери и старшего брата пешком отправился на Кавказ, чтоб поступить там в солдаты и выбратся в офицеры подвигами против горцев, но уже перед самым достижением цели, сколько помню, в Пятигорске, он зашел отдохнуть на татарское кладбище; правоверные сочли это осквернением и попотчевали его камнями, из которых один угодил в сердце; богатырь свалился, заболел; брат между тем начал розыски; на Кавказе отыскался у них дядя, который принял попечение о больном, и, как скоро наш герой немного оправился, его препроводили назад в Москву. Возвратившись, он стал было готовиться к университету и в то же время занимать место корректора в одной частной типографии, но богатырская природа недолго могла бороться со следствиями происшествия на кладбище, и Чернохостов погиб от чахотки.

С четвертого класса преподавателем русского языка был у нас Попов, учитель превосходный, умевший возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравший образцовые сочинения и сочинения учеников, умевший посредством этих разборов достигать главной цели своего преподавания — выу-

чивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были. Когда он начинал объяснять урок к следующему классу, урок из логики или риторики, я, заинтересованный предметом, начинал вслух высказывать ему свои мысли. Попов не нашел этого странным со стороны ученика, пятнадцатилетнего мальчика, — напротив, находил удовольствие в этих присказываниях, в этой беседе, обмене мыслей со мной; должно быть, я говорил недурно, благодаря огромному количеству прочтенных книг, потому что Попов получил очень высокое мнение о моих способностях и внушил это мнение остальным своим товарищам-учителям. Вследствие этого высокого мнения о моем умственном развитии Попов был чрезвычайно строг к моим сочинениям; хотя он и гордился ими и выставлял их напоказ, но ему все казалось, что я мог бы и лучше писать; разобравши мое сочинение, он часто приговаривал: «Хорошо! Но скажи, пожалуйста, Соловьев, отчего ты говоришь лучше, чем пишешь?» Это действительно могло быть так, во-первых, потому, что учитель, взобравши себе в голову высокое мнение о развитости моих способностей по разговору, — причем его поражала живость мыслей, относительная их самостоятельность, — не мог быть так доволен сочинениями, где на первом плане для него уже была форма; во-вторых, для меня эта форма была тяжка, это были цепи, которые затрудняли естественные движения, наводили на меня тоску, необходимо отражавшуюся в сочинении: учитель задал описание памятника Минину и Пожарскому, а я думаю: «Ну что же я тут стану описывать!» — и ударюсь в описание впечатлений, производимых этим памятником, в рассказ о событиях, в которых участвовали изображаемые герои, — а учитель с упреком: «Задано было описание памятника, а ты из описания сделал повествование!» О, проклятые хрии и формы риторические! Много они мне наделали неприятностей! Несмотря, однако, на это, Попов не уменьшал своего мнения о моих способностях. Однажды собрались учителя у одного из своих товарищей, Красильникова, преподававшего латинский язык в младших классах, подпили и поразговорились; речь зашла о гимназии, об учениках; Попов начал хвалить меня и дошел до того, что сказал: «Ведь вы не знаете, господа! Ведь Соловьев-то

просто гений!» Тут хозяин, Красильников, прервал его восторженную речь: «Полно, полно, Павел Михайлыч! Как это может быть! Положим, что Соловьев мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтоб у нас в гимназии завелся гений?» На другой день ученики, жившие у Красильникова и подслушавшие этот разговор, рассказали его для потехи целому классу. Прав ты, добрый старик, в своем наивном сомнении! Мог ли в самом деле завестись гений в русской гимназии в сороковых годах XIX века? И горе было бы ему, если б он завелся! Было в России просторное для гения время в XVIII и в первой четверти XIX века, но это золотое время прошло; и когда оно возвратится? (Писано 15 ноября 1854 года.)

Так прошли пять лет в гимназии; кроме несносных математических классов, эти пять лет прошли для меня чрезвычайно приятно; начиная с четвертого класса, я был уже первым учеником постоянно, любимцем учителей, краскою гимназии; легко и весело было мне с узлом книг под мышкою отправляться в гимназию, зная, что там встретит меня ласковый, почетный прием от всех; приятно было чувствовать, что имеешь значение; приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту (ученики сидели по успехам, и несколько раз в году происходили пересадки), остававшемуся постоянно за мною. «Не купи дом, купи соседа», — говорит пословица; и в этом отношении я был счастлив: постоянным моим соседом, т. е. учеником, постоянно занимавшим второе место, был Ладыгин, вместе со мною поступивший в третий класс и вместе со мною кончивший курс в гимназии: прекрасное, нравственное, кроткое, женственное существо. Он был воспитан в тихом, нравственном доме, среди многочисленной толпы сестер и отсюда получил, как видно, женственный характер; он был очень прилежен и в противоположность мне имел способность и склонность к математике, очень часто помогал мне в уроках и в приготовлении к экзаменам своими объяснениями, но у него не было той развитости и быстроты в обращении мысли около предмета, какими обладал я; главная причина тому — моя ранняя и относительно громадная начитанность, тогда как Ладыгин начал читать поздно и читал вообще мало, без выбора. С самого начала Ладыгин признал мои преимущества и уступал мне

безропотно первое место; эта уступка, отсутствие соперничества облегчили наши отношения, завязали дружбу, причем, разумеется, высшее нравственное значение имел он, а не я; он был более меня христианин, хотя я с ранних лет был пылкий приверженец христианства и в гимназии еще толковал, что буду основателем философской системы, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию. Внутри меня было много религиозности, выражавшейся в набожности; я ничего не начинал без молитвы, вера была сильная: не готов к отвратительному математическому уроку, не приготовился из некоторых частей науки к экзамену, помолюсь, крепко верую, что этого у меня не спросят, — и действительно не спрашивали; другой товарищ найдется в подобном положении, боится, что *срежется* (по гимназическому выражению), — говорю ему: «Не бойся, только веруй», молюсь за него, верую за него, — и его не спрашивают. Религиозности было много, но христианства было мало; успехи, первенство воздымали дух, высокое мнение о самом себе, развивали гордость, эгоизм; саму веру свою я считал привилегией, особенным знаком Божьего благоволения, ручательством за будущие успехи. В виду были только эти успехи, успехи внешние, житейские — о нравственном преуспевании, о *внутреннем* мало думалось; говорю — о *внутреннем*, ибо *извне*-то было все чисто и чинно, я первенствовал и относительно поведения. Правда, находили и тут иногда минуты опаматования, когда я сознавал необходимость внутреннего нравственного совершенствования и решался внимательнее смотреть за собою, строго смотреть за своими мыслями и словами, но такая решительность не бывала продолжительна: бури молодости срывали утлый челн с якоря.

Так кончилось учение в гимназии; только что минуло мне 18 лет, я должен был держать выпускной экзамен в университете; в первый раз тогда наша гимназия пользовалась правом экзаменовывать своих воспитанников у себя, тогда как прежде гимназисты должны были экзаменоваться вместе с другими в университете. Я был выпущен первым учеником с обязанностью писать рассуждение для акта и с правом получить за это серебряную медаль и быть записанным на золотую доску на вечные времена. Темой заданного мне

рассуждения было «О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного». Я должен был написать это рассуждение на вакации, важной в моей жизни не потому только, что это была последняя учебная вакация, но особенно потому, что в это время впервые покинул я на несколько месяцев родительский дом и переселился в чужой. По окончании экзаменов инспектор Погорельский подозвал меня к себе и предложил — не хочу ли я ехать на вакацию в подмосковную деревню к князю Михаилу Николаевичу Голицыну учить его детей. Я согласился. И вот я в чужом аристократическом доме, среди чуждых для меня нравов и обычаев, среди чужого народа, ибо среди чуждого языка; все, кроме прислуги, говорят вокруг меня по-французски, и молодых французики, т. е. княжат, я обязан учить чуждому для них, а для меня родному языку — русскому, который они изучают как мертвый язык. Тут-то я впервые столкнулся с этой безобразною крайностью в образовании русской знати, и столкнулся в самом живом, впечатлительном возрасте, в 18 лет! Понятно, какое сильное впечатление произвела на меня эта крайность и необходимо увлекла меня надолго, лет на шесть, в крайность противоположную, в славянофилизм, или, лучше сказать, в русофилизм. В селе Никольском, Урюпино тож, в 25 верстах от Москвы по Звенигородской дороге, я начал впервые свою гражданскую жизнь, ибо начал борьбу с одним из безобразных явлений тогдашней русской жизни.

Опишу членов семейства князя и домочадцев из разных наций. Главное лицо сам князь — мужчина лет под 50, очень красивый и с претензиями на красоту и молодость, красящий волосы. По собственным рассказам его, он не получил никакого образования в пышном доме отца своего, потомка знаменитых Голицыных, игравших такую важную роль при двух Петрах — I-м и II-м, получившего в наследство более 20 000 душ и оставившего сыну, моему знакомцу, не более 3000 душ; остальное все было промотано, и, между прочим, великолепное село Архангельское, вотчина знаменитого олигарха Дмитрия Михайловича Голицына, славного своею библиотекою. Архангельское перешло к князю Юсупову, а Голицын должен был ограничиться низменным Никольским

подле него. Сын вышел не в отца, не стал проматывать последних тысяч душ, напротив, отличался бережливостью, даже скупостью и вместе алчностью. «Кабы денег, побольше денег!» — вот слова, которые слышались очень часто из его уст. Этот человек родился с замечательными способностями, имел здравый смысл, большое остроумие, большой талант рассказывать, обладал литературным талантом, написал несколько повестей очень недурных; любил читать, уважал знание, людей знающих; иногда, при известных случаях, высказывались в нем жалобно не совсем задушенные еще благородные стремления: так однажды, разбирая в своей библиотеке портреты знаменитых исторических лиц — полководцев, министров, ученых, художников, — он воскликнул с непритворною горестью: «Боже мой! Чем бы не пожертвовал, чтоб только быть в числе их!» Все эти счастливые наклонности были задавлены дурным воспитанием; он сам говорил: «Меня решительно ничему не учили; если я говорю свободно по-французски, то этот навык я приобрел сам после, в детстве же меня не учили даже и по-французски». После этого надобно было удивляться в этом человеке хорошим сторонам, а не дурным; в детстве его страсти не сдерживались нравственным воспитанием; религиозное воспитание состояло в том, что его заставляли ходить в церковь по известным дням; понятно, что французские книжки XVIII века легко заставили его смотреть на христианство как на хорошую выдумку для мужиков. Что же могло сдерживать этого барина? Общественное мнение? Общественное устройство, законы? Но я сейчас приведу пример тому, как страсти русских помещиков сдерживались общественным устройством, законами. Однажды вечером, когда я сидел в своей комнате за книгами, гувернер швейцарец Фарон, уложивши детей, вышел погулять, но скоро возвратился и пришел ко мне с следующим рассказом: «Только что я вышел в поле, как подходит ко мне мужик и предлагает свою дочь; я сначала остолбенел, потом стал упрекать его за такую страшную безнравственность; мужик отвечал: «Эх, батюшка! Что ж нам делать-то? Ведь князь уж почал!» — и тут рассказал мне обычай, что, как скоро девушка в деревне достигает 15 лет, ее ведут к князю на растление, после чего она получает 50 рублей ассигнациями денег». Кроме того, князь имел еще дру-

гих любовниц в городе, жил со сводною сестрою своей жены, известною в Москве Меропою Беринг, вышедшею потом замуж за Петра Петровича Новосильцева³. С женою своею, урожденной княжной Вельяминовой, князь жил дурно, в чем трудно было его обвинить, ибо это была женщина нестерпимая, ограниченная, капризная, сварливая, скупая, но что было непростительно для князя, это то, что он по страшной лени отдал дражайшей своей половине воспитание детей, выбор учителей, гувернеров и гувернанток в полное распоряжение. С этою госпожою и я, несчастный, должен был иметь дело, выслушивать ее замечания относительно преподавания, делать экзамены в ее присутствии. Я должен был учить двоих княжат и княжну с воспитанницею; старший (Дмитрий) был мальчик лет тринадцати, до безобразия толстый, вялый физически и умственно: тринадцати лет он с трудом читал по-русски; гувернеры жаловались, что успехи его во французском и немецком языках были не блистательнее. К несчастью, это был любимец матери, которая неуспехи сына приписывала не его неспособности и лени, но неумению учителей, которые будто бы не хотели принорочиться к природе ученика. Он пошел в военную службу, вышел рано в отставку; после я с ним встречался: из него вышел красивый, очень приличный, скромный господин; младший был живее, его менее баловала мать, и потому он шел относительно успешнее. Но было еще двое старших сыновей: одного, воспитывавшегося в пажеском корпусе, я не знал, слышал только, что он дурно учился, выпущен был не в гвардию и скоро умер; самый старший, Николай, воспитывался в Царскосельском лицее и вышел в I разряде, т. е. с правом IX класса, равняющимся праву университетского магистра, а между тем познаниями своими был ниже посредственного ученика седьмого класса гимназии — доказательство, как вредно было это дворянское училище, которое детям знатных и богатых отцов давало право быть

³П. П. Новосильцев, человек без чести и совести, служил сперва по особым поручениям у генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Император Николай сказал однажды Голицыну: «Зачем Вы держите при себе этого мерзавца: он доносит мне на Вас». — «Знаю, Государь, — отвечал Голицын, — но что же делать? Он мне нужен». Этот Новосильцев был потом московским вице-губернатором, а потом — рязанским гражданским губернатором.

невеждами в сравнении с молодыми людьми низкого происхождения. Молодой лицеист был ограничен, ленив, эгоист, спускался гораздо ниже отца, который сильно жаловался на это понижение, хотя вообще малый был еще довольно сносен.

Таково было сиятельное семейство; к нему по языку примыкали французы и француженки, гувернеры и гувернантки, ибо члены семейства княжеского не иначе говорили между собою, как по-французски; я был в доме единственный русский не лакей, говоривший не иначе как по-русски, и потому гувернантка-француженка, разливавшая чай, не иначе обращалась ко мне как «m-r Russe!». Князя бессмысленно смеялись над этим, а я с гордостью 18-летнего мальчика провозглашал, что я вполне доволен этим названием, что оно для меня драгоценно, что для меня чрезвычайно лестно, если я один русский в доме или по крайней мере русский по преимуществу.

Меня пригласили давать уроки и после вакации, в Москве. Княгиня настаивала, чтоб я жил у них в доме или по крайней мере оставался с ее детьми как можно долее; ей хотелось сделать нечто вроде переливания крови из здорового тела в больное, но я решительно от этого отказался: жизнь в чужом доме, и еще в доме иностранном, французском, была бы для меня невыносима, притом я знал, какую тяжелую обязанность наложит на меня почтенная маменька, если я поселюсь подле ее детей; я всегда чувствовал страшное отвращение к должности гувернера и с хорошими детьми, не только что с князьями Голицыными; я никогда сам не был ребенком, и понятно, как тяжело, невозможно было для меня делаться ребенком с детьми; наконец, я видел, что такое гувернерство отвлечет меня от студенческих занятий. Вот почему через два года княгиня нашла, что ее дети мало успевают со мною именно потому, что я ограничиваюсь одними урочными часами и не бываю чаще вместе с ними, и вот за мною уже не прислали больше осенью, по возвращении с дачи.

Я имел еще другие уроки, и в последний год студенчества очень много, но дома, в которых я учил, не представляли ничего особенно замечательного, и потому обращаюсь к университетским впечатлениям.

О попечителе графе Строганове я уже довольно говорил; помощником его был Дмитрий Павлович Голохвастов, человек, умевший в противоположность Строганову заслужить самое невыгодное о себе мнение в университете и обществе московском. Это был человек знающий, умный, честный и любивший честность в других, но ум этого человека отличался особенным складом, именно удивительною форменностью. Мы, прочие смертные, мыслим про себя и вслух, разговариваем и пишем, не обращая внимания на самый процесс нашего мышления, на его формы, тогда как у Голохвастова все внимание было обращено на формы мышления; в разговоре своем он хлопотал только об одном, чтобы мысли являлись в законной форме и чтоб эта форменность как можно яснее обнаружилась; отсюда разговор Голохвастова был крайне утомителен. Есть люди нестерпимые в разговоре: они стараются сделать свою речь украшенной тем, что не скажут слова просто; если есть такие фразеры, нестерпимые своею риторикою, то Голохвастов принадлежал к числу людей, которые встречаются гораздо реже, — людей, нестерпимых своею логикою; эта логика в его разговоре являлась столь же изысканною, бездушною, как риторика у фразеров. При этом Голохвастов был страстный охотник говорить, т. е. затягивать мысли в форменное платье, в мундир и выводить их напоказ: вот как они правильно и стройно вытекают одна из другой, связываются и равняются; хотя эти правильность и стройность были часто видимые только, но Голохвастову не было до этого дела. В исторической литературе нашей Голохвастов прославился замечаниями по истории осады Троицкой лавры, напечатанными в «Москвитянине», блестящею критическою статьею; говорили, что он пользовался здесь чужими трудами, и указывали на Забелина, но, зная хорошо Голохвастова, его приемы, я не усумнюсь приписать статью ему — по крайней мере главное в статье, построение ее, принадлежит ему.

По политическим убеждениям своим Голохвастов был сильный охранитель; ему очень нравился существующий порядок вещей, дисциплина, чинопочитание; он много занимался историею своей фамилии, собрал и издал акты, хра-

нившиеся в фамильном архиве; замечания на историю Троицкой осады написал он для того, чтобы защитить честь своих предков от наветов Палицына; когда я однажды в разговоре с ним упомянул об этой статье, то он с самодовольным видом сказал: «Pro domo sua pugnavimus». Но при этом в Голохвастове не было ничего аристократического; в нем была только русская барская спесь, что особенно и отталкивало от него университетских подчиненных, избалованных Строгановым. Голохвастов платил университету тою же монетою: будучи помощником попечителя, а потом попечителем, он ненавидел университет, считал его учреждением, опасным для существующего порядка вещей, и не скрывал этих мнений своих; не советовал никому отдавать сыновей своих в университет и говорил, что своих никогда не отдаст туда, что все дворяне должны служить в военной службе, что предки их служили за поместья, когда же поместья были превращены в вотчины, то этим самым обязанность служить в военной службе не снялась, напротив, удвоилась.

Своими понятиями и обращением Голохвастов больше, чем кто-либо другой, напоминал русского барина XVII или начала XVIII века, надевшего европейское платье, усвоившего даже европейскую науку, европейские языки, но в сущности оставшегося верным старине. Неуважение Голохвастова к подчиненным или по крайней мере к большинству их было возмутительно. Особенно дурную славу приобрел он при управлении округом между попечительством Голицына и Строганова, когда он сообразно характеру своему строгостями, отдачею студентов в солдаты хотел сделать то, что при Строганове сделалось само собою, без всяких насильственных средств, через одно влияние благородной личности начальника, — именно исправление студенческих нравов. При Строганове Голохвастов был председателем цензурного комитета и здесь явился притеснителем; особенно его строгость возбуждала негодование в сравнении с петербургскою цензурою, отличавшеюся тогда свободою. Наконец, в наружности Голохвастова было много отталкивающего: его фигура выражала спесь, натянутость, форменность; это была фигура красивого, рисующегося квартального, который понимает свое высокое значение на публичном гулянье перед толпою черни. Голохвастов был известен своим конским

заводом; на скачках славилась его великолепная лошадь Бычок, и вот из университетских стен явилась эпиграмма:

Вместо Шеллингов и Астов
И Пегаса-старичка,
Дмитрий Павлыч Голохвастов
Объезжает нам Бычка.

Ректором был М. Т. Каченовский. Об ученом значении этого человека я не буду распространяться, потому что исчерпал этот предмет в биографии Каченовского, напечатанной мною в Биографическом Словаре профессоров университета, изданном по случаю столетнего юбилея. В то время, как я был в университете и слушал Каченовского, это уже был старик ветхий; читал он уже не русскую историю, а славянские наречия, предмет, при разработке которого он не мог оказать ученых заслуг ни по летам, ни по приготовлению своему; скептицизм проглядывал и тут при каждом удобном случае; любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно, но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие — старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старичка. Сохранилось у меня в памяти одно из свидетельств, приведенных Каченовским против подписи на Тмутараканском камне: «Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на нее, так и сказал: «Это, должно быть, подложная надпись!»»

Каченовский мог служить лучшим опровержением мнения, что ученый скептицизм ведет necessarily к религиозному и политическому; не было человека более консервативного в том и другом отношении. Скептицизм научный отражался, впрочем, в жизни Каченовского мнительностью, крайней осторожностью, чрезмерным страхом пред ответственностью: так, например, он никогда не брал на дом книги из университетской библиотеки, боясь, чтоб они как-нибудь непредвиденным образом не пропали у него; каждое дело, каждая бумага по управлению встречали с его стороны возражения:

«Да как же это так, да зачем же это так?» и т. п. Во всех отношениях общественной, служебной жизни своей Каченовский был честный человек; полемика его против Карамзина и Пушкина доставила ему много врагов. Говорили, что император Николай при выборе инспектора классов к наследнику обратил внимание на Каченовского, говоря, что уважает этого ученого, по журналу которого он выучился читать по-русски, но карамзинисты помешали Каченовскому, выставивши на вид его вредное направление, скептицизм, чем, разумеется, легко могли напугать охранительнейшего императора. По поводу Пушкина профессор Крюков рассказывал любопытный разговор свой с Каченовским: зашла речь о языке, которым должна писаться история; Каченовский, как следует ожидать, вооружился против украшенного слога, против риторики, поднимающей на ходули события и лица, причем сказал: «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком — это Александр Сергеевич Пушкин, давший превосходный образец исторического изложения в своей «Истории Пугачевского бунта»». Конечно, этот отзыв был произнесен по смерти Пушкина, конечно, по смерти уже Карамзина Каченовский написал разбор XII тома — но всякий ли способен и по смерти врага сделаться беспристрастным в отношении к нему, у всякого ли достанет духа похвалить и умершего врага? Под старость Каченовский уже не мог продолжать полемики с Погодиным, который, однако, не переставал нападать на него и, по обычаю своему, позволял себе грубые выражения на его счет; старика сильно это оскорбляло; со слезами на глазах он жаловался на оскорбления и на невозможность отвечать оскорбителю, который трубит победу. Сильно оскорбляла также старика Венелинская школа — стремление все ославянить, сделать славян древнейшим и славнейшим народом мира: не имея сам средств ратовать против этого, по его мнению, вредного и нелепого направления, Каченовский приглашал молодого Грановского образумить ослепленных, но Грановский отказался подвизаться на этом неблагодарном поприще.

Деканом факультета был И. И. Давыдов. Это был человек, бесспорно, очень даровитый, способный к многосторонней деятельности, могший принести большую пользу науке, если бы посвятил ей всего себя, но он посвятил всего себя

для удовлетворения одной страсти — честолюбия, и честолюбия самого мелкого; мало того, что, думая, хлопоча только о почестях, он пренебрег наукою, скоро сделался ученым отставшим, он продал дьяволу свою душу, ибо для достижения почестей считал все средства позволительными: нипочем было ему чернить человека, загоразивавшего ему дорогу, погубить его в общественном мнении; нипочем ему было унизиться до самой гнусной, невообразимой лести пред человеком сильным и пред лакеями человека сильного, не обращая никакого внимания на умственные и нравственные достоинства человека, уважая только людей сильных, могущих быть ему полезными или вредными. Не имея ни веры, ни совести, этот человек, смотря по надобности, притворялся самым благочестивым: равнодушный к вере с равнодушным к ней министром Уваровым, он благоговейно молился на коленях с набожным министром Ширинским-Шихматовым. Однажды ему нужно было снискать благосклонность некоторых богомольных барынь; вот он явился в их общество, ходя по комнате, пошел в карман за платком и, как будто бы ненарочно, выронил из кармана маленькую книжку; ему ее подняли, и любопытные барыни спросили, что это за карманная книжка у профессора: оказалось, что это Фомы Кемпийского — «О подражании Христу»! Этот любитель Кемпийского встретил на своей дороге Каченовского; чтобы повредить ему, он прикинулся ему другом, стал беспрестанно к нему ездить и уговорил его посещать клуб, стал увлекать его туда беспрестанно — и это-то была главная цель его дружества: он начал с сожалением рассказывать всем и каждому, что вот какое несчастье! Такой достойный ученый, как Каченовский, пристрастился к клубу, к игре, покинул семейство, науку, и он, Давыдов, из дружбы к нему следит за ним, не покидает его, ища случая отвратить от пагубной страсти.

Жалкое зрелище представлял из себя Давыдов, когда жаждал чина или ордена; беспокойство и волнение его не имели границ; даже узнав, что представление подписано императором, Давыдов не мог успокоиться, спрашивал, не может ли случиться, что курьера, везущего орден или чин, постигло какое-нибудь несчастье на дороге, и не может ли этот случай отдалить новое представление на неопределенное время: не бывало ли тому прежде примеров? Получив первую

звезду Станислава, Давыдов не постыдился объявить, что высшие ордена производят удивительное влияние, что он чувствует себя нравственно лучше, выше, получивши звезду. Получивши орден Владимира 2-й степени, он встретился с профессором Никитенко и начал внушать ему, что во всей России чрезвычайно мало людей, которые бы имели владимирскую звезду в чине действительного статского советника. Но что в Давыдове хуже всего — это страшная мстительность; пресмыкаясь перед сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, которые были ниже, слабее его, и горе человеку, в котором он заподозрил чувства, враждебные к себе, или по крайней мере недостаток раболепства; понятен вред, который причинял Давыдов своим характером; понятно, что нашлось много людей, которые соглашались пред ним раболепствовать, получали чрез него места, выгоды — и все это были люди дрянные; люди порядочные, не соглашавшиеся пред ним раболепствовать, подвергались гонению. Страшно вредно было его деканство тем, что он из низких видов явно оказывал поблажку студентам — «отецким детям», выводил их, давал высшие баллы, высшие степени не по достоинству, в предосуждение другим, более достойным, но от которых декан не надеялся получить ничего; при страшном честолюбии Давыдов не оставлял удовлетворять и другой страсти — корыстолюбию: он сильно пользовался казенным добром, когда был инспектором университетского пансиона, любил брать и от студентов, т. е. от их родителей, богатые подарки в благодарность за покровительство сынкам; в воспитанниках университетского пансиона он оставил по себе еще более тяжелое воспоминание: один из этих воспитанников, князь Голицын, явно рассказывал, что Давыдов предавался с ним педерастии. В заключение приведу стихи, которые очень верно характеризуют Давыдова:

Подлец из чести и из видов,
Душеприказчик старых баб,
Иван Иванович Давыдов
Ивана Лазарева⁴ раб.

⁴ Лазарев — попечитель Лазаревского Армянского института, где Давыдов был инспектором.

Душа полна стяжанья мукой,
Полна проектов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.

Я должен был слушать Давыдова с первого курса, и слушал очень долго, потому что второй профессор словесности, Шевырев, был в это время за границею. Содержанием лекций Давыдова было то, что мы уже знали из напечатанного в его «Чтениях о словесности»; книга известна, следовательно, мне не нужно распространяться о ее достоинстве. Но Давыдову не хотелось читать слово в слово по книге, и потому он прибег к средству, возможному только для него: именно целый год переливал из пустого в порожнее; все лекции состояли из набора слов для выражения известного и переизвестного уже; студенты слушали сначала со вниманием, ожидая, что же выйдет под конец, но под конец ничего не выходило, и потому курсу Давыдова дали название «Ничто о ничем, или теория красноречия». К счастью, почтенный профессор избавлял студентов от большого утомления следующим средством: ему нужно было читать два часа сряду, но он приходил в половине первого часа и уходил в половине второго, и читал только час.

Вторым профессором словесности был, как я уже сказал, Шевырев; Давыдов читал теорию словесности, Шевырев — историю литературы вообще и русской. Шевырев наконец приехал из-за границы, мы перешли к нему от Давыдова и попали из огня да в полымя: Давыдов из «ничто» умел делать содержание лекции; Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным проведением известных воззрений. Тут-то услышали мы бесконечные рассуждения, т. е. бесконечные фразы, о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира. Однажды после подобной лекции Шевырева, окончившейся страшной трескотней в прославление России, студент-поляк Шмурло подошел ко мне и спросил: «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалованья за такие лекции?» Так умел профессор сделать свои лекции казенными. Способность к казенности и риторству уже достаточно реко-

мендует человека; взгляните на его портрет — весь человек тут. В сущности это был добрый человек, не ленивый сделать добро, оказать услугу, готовый и трудиться много, но эти добрые качества заглушались страшною мелочностью, завистливостью, непомерным самолюбием и честолюбием и вместе способностью к лакейству; самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сделать его полезным орудием для всего, но стоило только немного намеренно или ненамеренно затронуть его самолюбие, и этот добрый, мягкий человек становился зверем, готов был вас растерзать и действительно растерзывал, если жертва была слаба, но если выставляла сильный отпор, то Шевырев долго не выдерживал и являлся с братским христианским поцелуем. Эта-то зазорливость, соединенная с слабостью, всего более раздражала против Шевырева людей крепких, вселяла в них к нему полное отвращение, презрение. Хороши стихи, написанные на Шевырева Каролиною Павловою, хотя они далеко не определяют еще вполне его характера:

Преподаватель христианский,
Он верой тверд, душою чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист;
И скромно он по убеждению
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Основа недостатков Шевырева заключалась в необыкновенной слабости природы, природы женщины, ребенка, в необыкновенной способности опьяняться всем, в отсутствии всякой самостоятельности. Нельзя сказать, чтобы он вначале не обнаружил и таланта, но этот талант дан был ему в чрезвычайно малом количестве, как-то очень некрепко в нем держался, и он его сейчас израсходовал, запах исчез, оставил какой-то приторный выцвет. Шевырев как был слаб пред всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб пред вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, согласии, братстве и о всякого рода сладостях; сначала, в молодости, и это у него

выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедывающего складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев! Зачем ты не всегда пьян!»

От Шевырева приятно перейти к профессору, который произвел на меня самое сильное впечатление на первом курсе, именно к Крюкову. Крюков, когда я поступил в университет, читал латинский язык на трех старших курсах и древнюю историю на первом. У Крюкова, как у всех самых даровитых профессоров русских, но занимающихся науками, разработанными на Западе, не было самостоятельности; он пользовался результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, читал преимущественно под влиянием Гегеля, но у Крюкова был блестящий талант в изложении, блестящий и вместе твердый, не допускавший фразы, представлявший этим противоположность шевыревскому таланту. Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромною массою новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и потом посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность. Со второго курса мы слушали его уже как профессора латинской словесности, и здесь он был превосходен, обладая в совершенстве латинскою речью и силою своего таланта возбуждая в нас интерес к экзегезису, столь важному для изучения отечественных памятников; привлекательности речи Крюкова, как латинской, так и русской, помогал очень много необыкновенно приятный, звучный орган, на котором он очень искусно умел играть как на инструменте; до сих пор (29 мая 1855 года) еще не встречал человека, который бы умел так играть на своем голосе, приводить его в такую гармонию с мыслью, с рассказом своим; некоторые лекции — например о Таците — он потом напечатал, но в книге это было не то, потому что обаяние уха исчезло.

Когда мы перешли на второй курс, то приехал из-за границы Грановский, начавший читать среднюю и новую историю. Грановский, как и Крюков, не был самостоятелен, явился поклонником также Гегеля, но был художник первоклассный в историческом изложении. Между талантом Крюкова и талантом Грановского была такая же большая разница, как

и между их наружностью: Крюков имел чисто великороссийскую физиономию, круглое полное лицо, белый цвет кожи, светлорусые волосы, светлокарие глаза; талант его более поражал с внешней стороны, поражал музыкальностью голоса, изящною обработкою речи, к нему как нельзя более шло прилагательное *elegantissimus*, как мы, студеи ты, его величали, но при этой элегантности, щегольстве в нем самом, в его речи, в чтениях было что-то холодное; его речь производила впечатление, какое производит художественное изваяние. Грановский имел малороссийскую южную физиономию; необыкновенная красота его производила сильное впечатление не на одних женщин, но и на мужчин. Грановский своею наружностью всего лучше доказывает, что красота есть завидный дар, очень много помогающий человеку в жизни. Он имел смуглую кожу, длинные черные волосы, черные огненные, глубоко смотрящие глаза. Он не мог, подобно Крюкову, похвастать внешней изящностью своей речи: он говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова, но внешние недостатки исчезали пред внутренними достоинствами речи, пред внутренней силою и теплотою, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям. Если изложение Крюкова производило впечатление, которое производят изящные изваяния, то изложение Грановского можно сравнить с изящною картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры ярко расцвечены, говорят, действуют пред вами.

И в общественной жизни между этими двумя людьми замечалось то же различие: оба были благородные люди, превосходные товарищи, но Крюков мог внушать только большое уважение к себе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо в нем было что-то холодное, сдерживающее; в Грановском же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но, что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно было сказать, что тот, кто был врагом Грановскому, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной. Я сказал: кто любил отзываться о нем дурно, ибо и люди самые привязанные к нему должны были

иногда с горем порицать его в глаза и за глаза: лень заставляла его закапывать свой блестящий талант: с необыкновенною легкостью проглатывая чужое и претворяя это чужое в свою собственность, Грановский с величайшим трудом мог заставить себя взять перо в руки; он оправдывал себя перед собою и перед другими тем, что нельзя было ничего печатать благодаря русской цензуре, особенно с 1848—1855 года, но это оправдание не удовлетворяло ни других, ни его самого: печатать было можно и в это страшное время, еще легче было печатать прежде и после него. Грановский женился очень рано на превосходной женщине, дочери доктора Мюльгаузена, сестре профессора, нашего товарища, но детей не имел. Это обстоятельство, разумеется, много способствовало его лени, беспечности; потом я уже сказал, что он был постоянно окружен толпою людей, с которыми весело было проводить дни, ночи, от остроумной веселой беседы с которыми трудно было оторваться для кабинетного труда... К сожалению, не одною остроумною беседою занимался Грановский со своими приятелями, вино также приглашалось часто и умеренно к усилению веселости и остроумия, но и этого мало: у Грановского была несчастная страсть к картам...

VIII

После Грановского и Крюкова самым замечательным профессором нашего факультета был Александр Иванович Чивилев, преподававший политическую экономию и статистику. Это был gentleman в наружности и манерах, честный, точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло-остроумный человек, и если не холодный, то по крайней мере холодноватый. Политическая экономия меня не так занимала; эта наука была для меня слишком жидка, хотя изложение Чивилева в научном отношении, кажется, было безукоризненно; гораздо больше удовольствия и пользы доставили мне его лекции о статистике, особенно та часть их, где говорилось о природе стран, о ее значении в жизни народов.

Греческий язык на первом и втором курсах преподавал В. И. Оболенский, с которым я уже был знаком по гимназии, где он с начала моего поступления преподавал русский язык, а потом латинский. Оболенский был человек знающий,

охотник читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедший. В гимназии он так учил русскому языку: придет в класс и вызовет какого-нибудь ученика говорить урок от доски до доски по книге, потом вызовет кого-нибудь говорить стихи, и в этом проходит весь класс. В университете он мог бы быть полезным на низших курсах, занимаясь переводами авторов, но он вредил делу тем, что не мог внушить к себе никакого уважения в слушателях, которые смеялись над ним, над его странными речами, в которых, начавши за здравие, он сводил за упокой, ибо мысли, иногда здравые, никогда не клеились в его голове одна с другой; потом он вредил преподаванию крайнею слабостью, неумением требовать от студентов приготовления к переводу. Строганов видел его неспособность и насилу додержал его до срока пенсии, чтоб не лишить бедного старика куска хлеба.

На высших курсах преподавал греческий язык А. И. Меншиков, человек бездарный, невыносимый на лекциях и также с головою, не очень стройно организованною. Строганов хлопотал и его выжить из университета, но никак не мог. Еще до выхода Оболенского был приглашен для греческой кафедры немец Гофман. Это был человек не без дарования, могший с пользою преподавать греческий язык, особенно если сравнивать его с Оболенским и Меншиковым, но немец не понимал своего положения в русском университете. И поступавшие в университет ученики гимназии не были достаточно приготовлены в греческом языке, тем менее ученики, поступавшие из других приготовительных заведений и из родительских домов; при приемных экзаменах утвердилось вредное правило, что нельзя строго требовать греческого языка, ибо это предмет трудный, отвращающий многих от поступления в историко-филологический факультет. Видя неприготовленность студентов, Гофман подумал, что им нельзя преподавать по-университетски, а надо по-гимназически, и начал душить нас на грамматике, на ее тонкостях, но что русскому здорово, то немцу смерть, и наоборот. Русский студент 18, 20 лет и больше и не имеющий в виду быть греческим учителем, занимающийся другими предметами, хочет приобрести возможность читать как можно легче греческих авторов, для чего ему нужно постоянное упражнение, а вместо того, пробывши несколько лет в университе-

те, посещая почти каждый день греческие лекции, он видит, что не может прочесть ни одной странички Геродота без лексикона, потому что лекции проводятся в толкованиях о различных оттенках частицы. Это студентам сильно наскучило; многие из них перестали ходить на лекции; другие, сидя на лекциях, не слушали о частице $\acute{\alpha}\nu$ и по окончании курса почти все вышли с такими знаниями греческого языка, с какими вошли в университет; метода Гофмана объяснялась еще и тем, что он преимущественно занимался грамматикой, давал уроки, чтоб приготовить к экзегезису; занять же внимание слушателей и принести им пользу он не имел времени и потому потчевал их одною грамматикою.

Русскую историю мы слушали на четвертом курсе у М. П. Погодина. Сколько прекрасная наружность Грановского приносила ему пользы, гармонируя с его художественным преподаванием, привлекая к нему женщин и мужчин, столько же вреда приносила Погодину его наружность, имевшая в себе кроме дурного еще неблагоприятное, отталкивающее. Мы пришли слушать Погодина с предубеждением относительно его нравственных качеств; он славился своею грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием. Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не слывут такими именно потому, что у Погодина душа нараспашку; что другой только подумает — Погодин скажет; что другой подумает или только скажет — Погодин сделает. Другие так же корыстолюбивы, но скрывают этот недостаток или обнаруживают его не так легко, а Погодин, мелочной торгаш, любит даровщинку, любит не дать, недодать; выпустить деньги из рук для него очень тяжело, хотя бы он и знал, что вперед будут барыши; Погодин сам признается, что он корыстолюбив, и жалуется: «Вот люди! Имей какой-нибудь недостаток, так уже они и привяжутся к нему, и никогда не будешь ты у них порядочным человеком, хотя бы при этом недостатке имел и большие достоинства». Но в том-то и дело, что у Погодина не было больших достоинств, хотя и было достоинство, довольно редкое в русском человеке, в наше время и в нашем обществе, качество, которое он вынес из своей прежней среды (о происхождении своем он не упомянул в своей автобиографии, а потому и мы молчим о нем), именно смелость,

качество первобытного, простого русского человека: смелым Бог владеет — авось! — и идет напролом. Смел он на доброе дело — например написать правду о делах управления и подать ее в руки царю; смел и на то, чтобы сейчас же попросить денег у правительства, которое знает, что он богат, и тем обнаружить свое корыстолюбие, потерять уважение, приобретенное было смелым добрым делом; смел и на то, чтобы, будучи в Брюсселе, зайти к Лелевелю — засвидетельствовать ему свое уважение; смел и на то, чтобы надуть человека, имеющего голос, значение в обществе, человека, следовательно, опасного; смел на то, чтоб обругать своего противника печатно без соблюдения приличий; смел на то, чтоб вредить врагу всякими средствами. Я сказал: смел на доброе дело; значит, в нем было побуждение и к добрым делам; это не был Давыдов, способный только на одни низости, хотя, с другой стороны, и Давыдов не так оскорблял своим поведением, как Погодин, ибо у Давыдова не было такого цинизма, такого неряшества нравственного, как у Погодина.

Человек отражался в писателе и в профессоре. Погодин менее всего был призван быть профессором, ученым; его призвание — политический журнализм, палатная деятельность или — к чему он еще более годился — площадная деятельность, значит, в России он родился некстати. Это был Болотников во фраке Министерства народного просвещения; заметим, что последнее должно было сильно смягчать первое и действительно смягчало, хотя холоп, попавший в действительные статские советники и академики, в нем сильно проглядывал. Человек низкого происхождения, но живой, умный, он в молодости увлекся на поприще, которое одно в России имеет характер публичности, соединено с шумом, движением, обольщающим живых молодых людей, поприще литературное и университетское. Он стал писать повести, издавать журнал, заниматься историею всеобщею и русскою, особенно последнею, вошел в литературный круг. К постоянным ученым, кабинетным занятиям одним предметом Погодин не был способен от природы и не мог приучить себя в молодости при указанном разнообразии своих занятий; вот почему в русской истории явился он наездником сначала очень счастливым; в споре о происхождении варягов подметил, где твердая почва, схватился за Скандинавию,

распространил Байера и явился главою скандинавцев; в споре о летописях подметил, что у скептиков золотая голова и глиняные ноги, и начал бить по ногам, живостью, задором опередил мешковатого Буткова и стал главою школы несторянцев. Но здесь и конец ученого поприща. Легко добывши себе громкое имя двумя диссертациями и несколькими журнальными статейками, Погодин засел в варяжский период, остановился здесь; вследствие прекращения движения явилась плесень. Погодин ничего не ведал дальше варягов, дошел до нелепых крайностей, запутался, завяз, ибо только широкое движение по целому обширному предмету освобождает ученого от пристрастий, спасает от крайностей, необходимого следствия тесноты горизонта, производящей ученую близорукость; крича, что другие ничего не делают, задавая *молодым людям* предметы для занятий, Погодин сам ничего почти не делал для русской истории, а между тем утвердился во мнении, что он — во главе людей, занимающихся русскою историей; все обстоятельства, к несчастью его, содействовали к укреплению этого убеждения: Каченовский ослабел и умер, Строев (Сергей Скромненко) умер, Венелин умер; мнения последнего нашли себе защитников и разработателей в таких людях, с которыми легко было бороться, — в Морошкине, в Савельеве-Ростиславиче и т. п.; поле, следовательно, осталось за Погодиным, и он трубил победу; огромная библиотека, им собранная, заставляла его думать, что в его руках все сокровища русской истории, что *молодые люди* могут заниматься ею только с его позволения, с его благословения, хотя сам он меньше всякого другого имел понятие о своей библиотеке, особенно о древних рукописях; наконец, связь его с славянскими учеными, которые обходились с ним с чрезвычайным уважением, ибо он посылал к ним книги и деньги, давали ему видное место в целом ученом славянском мире.

Но этот пророк не был признан в своем отечестве; в Московском университете ему было не очень ловко. Во-первых, лекции его не могли возбудить в студентах восторга, сделать из них жарких поклонников. Вот как он читал: сначала месяц-другой посвящал славянским древностям, которые читались буквально по Шафартику; потом переходил профессор к подробному рассмотрению вопросов о достоверности

русских летописей и о происхождении варягов-Руси, т. е. прочитывались обе его диссертации. После этого времени оставалось уже немного; это остальное время Погодин проводил в том, что приносил Карамзина и читал из него разные места, не самые слабые и вместе значительные по предмету, требовавшие пояснений, дополнений; этого Погодин, кроме варяжского периода, сделать был не в состоянии, ибо все, что выходило по русской истории, драгоценные издания Археографической комиссии, для него не существовало; он выбирал из Карамзина места красивые, превращал класс русской истории в класс риторики — так, напри[м]ер, читал с восторгом карамзинское описание Тамерлановых походов и требовал от слушателей, чтоб и они также восторгались этим описанием; потом обращал внимание слушателей и заставлял их восторгаться искусством Карамзина в переходах от рассказа об одном событии к рассказу о другом; главная его цель при этом была убедить студентов, что русская история интересна, что она не хуже какой-нибудь другой, французской и английской; иногда, очень редко, впрочем, приносил и летописи, читал из них места; так, напри[м]ер, он прочел нам знаменитое место в споре владимирцев с ростовцами по смерти Андрея Боголюбского. Но какая же была цель этого чтения? Показать, что вот и в русской истории бывали события вроде западных, являлись на сцену города, граждане, выбирали князей и проч. Так, отрывками, добирался Погодин до 1612 года и здесь — по крайней мере на нашем курсе — остановился. Кроме того, значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, указаниям, что вот чем надобно заниматься, — изложить историю сословий, историю княжеств, историю городов и проч., в чем, разумеется, студенты соглашались, но главное, как это делать, об этом не было помину; развивал Погодин притом свою любимую тему, что *молодые люди* самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков. «Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова носить», — так выражался Погодин, разумея под дровами черную ученую работу, приискивание мест в источниках и т. п. Все эти разговоры были забавны, но нисколько не привлекали сердца слушателей к Погодину; смешно было видеть человека самого самолюбивого, жалующегося на самолюбие

других, человека корыстолюбивого, требующего бескорыстия от других.

Таковы были отношения Погодина к студентам; с старыми товарищами своими профессорами Погодин еще сходился, с некоторыми был даже дружен по отношениям молодости, напр[имер] с Шевыревым, Кубаревым, но когда приехала толпа новых профессоров из-за границы, Крюков с товарищами, то между ними и Погодиным началась явная вражда; вражда эта происходила прежде всего из того, что манеры Погодина, его цинизм произвели самое неприятное впечатление на этих новичков, привыкших к совершенно другим манерам; потом эти господа поонемечились, jurabant in verba magistrorum, и так как сначала главное право их на места, главное достоинство их состояло в заграничном образовании, то естественно, что они гордились этим достоинством, превозносили все тамошнее в ущерб здешнему; это задело за живое Погодина, представителя славянофилизма в университете: он стал называть молодых русских профессоров немцами и даже говорить, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки молодых русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов, и проч. Понятно, какие приятные чувства возбудили в молодых профессорах подобные мнения; их вражда разгорелась, и тем менее они могли щадить Погодина, что характер этого защитника Руси не мог внушить им никакого уважения.

Граф Строганов, назначенный попечителем, нашел университетский корпус в плачевном состоянии, именно в таком же, в каком нашел и гимназию, и в университете произвел такой же благодетельный переворот, как и в гимназии. Большая часть профессоров были люди бездарные, отсталые, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшиеся вследствие того насмешкам студентов; мы уже с трудом могли верить рассказам наших предшественников дострогановских о том, что позволяли себе смирновы, маловы, щедритские, снегиревы на лекциях и экзаменах. Строганов выгнал их всех и заместил кафедры новоприбывшими из-за границы учеными; отсюда понятно, что он связал свое дело неразрывно с делом последних, которые нашли в нем покровителя и проводителя их мыслей и планов; отсюда понятно, как он

смотрел на эти остатки старины — на Погодина, Шевырева, Давыдова; он держал их в университете по авторитету, какой они успели приобрести, и по неимению людей, которыми бы можно было их заменить, ибо для кафедры русской истории и русской словесности не посылали молодых людей за границу, а свои еще не подросли; на ученые достоинства этих господ Строганов смотрел чрез очки молодых профессоров, следов[ательно], не очень уважал эти достоинства; кроме того, он их раскусил с первого раза и возненавидел их как людей: Давыдова начал презирать как подлеца, из-за ордена и чина готового на всякую гнусность; Шевырева — как человека мелкого и вместе задорного, несносного; Погодина — как корыстолюбивого, грязного холопа и вместе с тем дерзкого, надменного; закаленный аристократ Строганов сейчас же враждебно оттолкнулся от демократа Погодина, демократа-блужника Болотникова во фраке Министерства народного просвещения. Трое этих господ с придачею еще четвертого, Перевощикова, преподавателя очень способного, но человека грубого, не умевшего разбирать средства для достижения целей, видя отвращение от себя попечителя, бросились к министру Уварову, врагу Строганова.

Уваров был человек, бесспорно, с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента Академии наук etc., но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического; напротив, это был лакей, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце лакеем; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину — императору Николаю; он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочтя в свою жизнь ни одной русской кни-

ги, писавши постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран грязными поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще умном, поражали, однако, крайнее самолюбие и тщеславие; только, бывало, и ждешь — вот скажет, что при сотворении мира Бог советовался с ним насчет плана. Понятно, как легко было поймать в свои сети такого самолюбивого и тщеславного человека людям, подобным Давыдову; стоило только льстить, кадить целый день; и вот Давыдов овладел полною доверенностью Уварова; другим средством к приобретению доверенности и расположения Уварова для Давыдова, равно как и для Погодина, Шевырева и Перевошикова, была вражда к Строганову, ибо последний знал Уварова, как он есть, презирал его как подлеца, грязного человека и по характеру своему не скрывал этого презрения. Мне говорили, что была еще сильная причина ненависти: Уваров имел связь с мачехою Строганова — отсюда ненависть между министром и попечителем, вредившая так много Московскому университету и округу и поведшая к такой печальной для них развязке.

IX

Все эти отношения (1838—1842 гг.) имели большое влияние на меня, на мою будущность. Я говорил уже, с какою страстью в отрочестве предавался чтению Карамзина. Это было еще до вступления в гимназию; в гимназии и в университете я почти не дотрагивался уже до Карамзина, ибо он не представлял более для меня ничего нового; в университете я занялся всеобщею историею вследствие толчка, данного Крюковым и Грановским, но время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель кружил всем головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся студенты не иначе выражались как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно: схвачу несколько фактов и уже строю на них целое здание. Из Ге-

гелевых сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался протестантом, но дальше дело не пошло, религиозное чувство коренилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль — заниматься философией, чтобы воспользоваться ее средствами для утверждения религии, христианства, но отвлеченности были не по мне; я родился историком. В изучении историческом я бросался в разные стороны, читал Гиббона, Вико, Сисмонди; не помню, когда именно попало мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов», эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты, Карамзин ударял только на мои чувства. Эверс ударил на мысль, он заставил меня думать над русскою историею.

С большим запасом фактов от Карамзина и с роем мыслей в голове, возбужденных Гегелем, Вико, Эверсом, я вступил на четвертый курс и стал слушать Погодина. Понятно, что лекции не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня приготовленных. Бывало, он начнет что-нибудь читать по Карамзину, а я ему подсказываю: «Вот тут-то, Михаил Петрович! В примечаниях есть еще важное указание». Товарищи прозвали меня суфлером Погодина, и он сам обратил на меня внимание; внимание это усилилось, когда я подал ему сочинение о первых веках русской истории, или экзегезис известной начальной летописи, где опровергнул несколько его положений. И вот однажды Погодин с кафедры обратился ко мне и сказал: «Г. Соловьев! Зайдите когда-нибудь ко мне». Я явился к нему, принят был благосклонно. Первый вопрос: «Чем вы особенно занимаетесь?» Ответ: «Всем русским, русскою историею, русским языком, историею русской литературы». В последний университетский год действительно таково было направление моих занятий. Крюков, которого заинтересовало мое сочинение о египетской истории, хотел было переманить меня на древнюю почву. «Г. Соловьев! — объявил он мне громко при всех. — Я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться». Потом он говорил моему отцу: не хочу ли я преимущественно заняться древностями? Я поступил, быть может, неучтиво, ничего не отвечая ему на эти заманивания, ибо я знал, что дело пойдет не об одной древней

истории, но также и о партикуле, и о метрике; я знал, что должен буду заниматься всеми этими противными вещами, должен буду стараться писать хорошо по-латыни, к чему я также чувствовал сильное отвращение. Погодин не сказал мне о моем сочинении — нравится оно ему или нет, сказал только: «Я хотел бы с вами потолковать о вашем сочинении, но куда-то его запрятал, так что отыскать не могу». Он пригласил меня посещать его, пользоваться его библиотекой, и я бывал у него довольно часто, хотя не удалось быть у него много раз, ибо это уже было во второе полугодие последнего, четвертого курса; всякий раз я встречал ласковый прием.

Прошел Великий пост; в Вербную субботу получаю от инспектора I гимназии Попова (о котором как учителе моем уже было сказано прежде) приглашение прийти к нему по нужному делу: по поручению гр. Строганова Попов обратился ко мне с вопросом, не соглашусь ли я ехать за границу, чтоб быть домашним учителем при детях брата его, графа Александра Григорьевича. Срок — год, цена — 1200 франков. Я согласился: отвергнувши предложение Крюкова, занявшись преимущественно Русским, я не имел никакой надежды отправиться за границу на казенный счет, а на свой не имел средств; до выдержания магистерского экзамена что бы я стал делать в Москве? Должен был бы определиться учителем в какую-нибудь гимназию, тогда как тут случай побывать за границею и приобрести протекцию Строгановых, важную и при искании места в Московском университете, и в том случае, если это место не отыщется и я принужден буду поступить в гражданскую службу. На третий же день я объявил Попову о своем согласии, но Строганов не велел мне являться к нему для окончательных переговоров до окончания экзаменов, чтоб не развлекать меня в приготовлении к ним, — Строгановская черта! Экзамены, как всегда, шли очень успешно. На экзамене из русской истории Погодин, выслушавши мой ответ, обратился к сидевшему тут начальству и сказал: «Рекомендую г. Соловьева — это лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы; не скажу: лучший из всех — были прежде и другие такие же». В это время Погодин уже разглашал о своем скором выходе из университета и подал в совет имена тех лиц, которые могут

занять его место, то были: Григорьев, ориенталист, написавший магистерскую диссертацию о ярлыках; Калачов, который с самого начала приобрел у профессоров своего факультета репутацию человека необычайно трудолюбивого, но с образцово темною головою, ка́ким он и был всегда на самом деле; третьим был назначен Бычков, кандидат нашего факультета, до сих пор (сентябрь 1855 года) идущий быстро относительно крестов и чинов, библиотекарь в Императорской Публичной библиотеке, занявший место Березникова, место издателя летописей в Археографической комиссии, человек, отличающийся петербургским характером деятельности, поверхностностью, шерамыжничеством; четвертым, наконец, был назначен я.

Когда я сказал Погодину о своем решении ехать за границу при Строганове, он вполне одобрил мое решение, распространившись насчет необходимости для каждого молодого русского человека посмотреть чужие земли.

До гимназии и во время гимназического курса ездил я с отцом и матерью три раза в Ярославль для свидания с дядею моей матери, который был там архиереем (Авраам-архиепископ, знаменитый своею страстью к строению церквей). Эти путешествия совершались на долгих, т. е. бралась кибитка тройкою от Москвы до самого Ярославля; 240 верст проезжали мы в четверо суток, делая по 60 верст в день; выехавши рано утром и сделавши 30 верст, в полдень останавливались кормить лошадей, кормили часа три, потом вечером останавливались ночевать. Таким образом познакомился я с Троицкою лаврою, Переяславлем-Залесским с его чистым озером, Ростовом с его нечистым озером и красивым Ярославлем с Волгою. От этих поездок остался в моей памяти один любопытный случай: в первую поездку (мне было тогда лет восемь-девять), остановившись ночевать в Ростове, отец вместе со мною отправился к архимандриту Яковлевского монастыря Иннокентию; разговаривали они о всякой всячине, и между прочим архимандрит спросил отца: «Чем у вас, батюшка, малютка-то занимается?» Отец отвечал: «Да вот пристрастился к истории, все читает Карамзина». Тогда архимандрит обратился ко мне и спросил: «А что, миленький, вычитал ты о нашем Ростове, что о ростовцах-то говорится?» Я очень хорошо помнил рассказ о событиях по

смерти Андрея Боголюбского, поведение ростовцев относительно владимирцев, помнил оглавление II главы третьего тома «И[стории] г[осударства] Р[оссийского]», где читается: «*Гордость ростовцев*», и помнил только это, позабыл, что говорю с ростовцем, и отвечал: «Ростовцы отличались в древности гордостью». Не знаю, каково было первое впечатление, произведенное моим ответом на архимандрита, только он сказал, обращаясь к отцу: «А что, батюшка, ведь малютка-то правду сказал, до сих пор народ наш отличается гордостью, неуступчивостью».

Я припомнил мои поездки в Ярославль по поводу поездки моей в Петербург в 1842 году. Эта поездка не была похожа на ярославские: поехал я не на долгих, но в почтовой карете, которая на третьи сутки принесла меня на берега Невы; езда действительно была великолепная, европейская, шоссе гладкое, а по сторонам — известно, что бывает в России по сторонам большой дороги, хотя надобно сказать, что стороны шоссе Петербургской дороги все были живописнее и занимательнее сторон железной дороги: по первой проезжали через города, через красивую Тверь, Торжок, Вышний Волочек — русскую Венецию, — через Валдай, Новгород, где Волхов приятно поразил меня своим шумом и напомнил Марфу Посадницу. В Петербурге пробыл я только два дня, на третий уже переехал на пароход «Наследник», шедший в Травемюнде. Переезд через Балтийское море был очень неприятен: пароход был небольшой и весь наполнен; приезжало много иностранцев смотреть торжества по случаю серебряной свадьбы императора, и теперь они возвращались домой; на всем пароходе я только один был русский. Этот внезапный переход к чужим людям был для меня тяжел — не с кем русского слова сказать! Я не выношу тесноты, мне душно и неловко, когда я сяду в театре в середину ряда, а тут спи в ящике, живом подобии гроба; каюта первого класса была занята знатными и богатыми иностранцами; я взял место в каюте второго класса и должен был обедать, завтракать и спать с лакеями знатных и богатых людей. Вечером первого дня (это было 5 июля, день моих именин) заняла меня картина морской тиши, но тишина была перед бурей, на другой день — проливной дождь, ветер, страшная качка, морская болезнь; целый день я пролежал; море мне

надоело сильно, и невыразимый восторг овладел мною, когда я вышел на берег и в дилижансе поехал из Травемюнде в Любек; страна показалась мне земным раем; занял меня и Любек старинною архитектурю своих домов. Из Любека отправился я в дилижансе в Берлин. Первые дни в Берлине — суббота и воскресенье — были для меня очень скучны: один в незнакомом городе, не знал, где отыскать русских; толкнулся в церковь — службы нет, священник летом в Потсдаме, для русской солдатской колонии. В понедельник рано утром приходит ко мне какой-то поляк и предлагает свои услуги; я чрезвычайно обрадовался; первый вопрос: как бы мне отыскать молодых русских, занимающихся в здешнем университете? Чичероне-поляк повел меня в университет, справился о русских, об их квартирах. Я велел вести себя на квартиру Попова, магистра Московского университета, который недавно защищал диссертацию о «Русской Правде», отличился тем, что чрезвычайно ловко защитил жиденькую диссертацию и после диспута еще вел перепалку с Погодиным. Попов свел меня и со всеми другими русскими — с Пановым, Ефремовым, о которых упомяну я после.

Я зажил теперь весело: поутру ходил на лекции, обедал вместе с русскими; после обеда отправлялись вместе на загородные прогулки. Долго в Берлине пробыть я не мог, и потом мне хотелось прослушать по несколько лекций всех знаменитостей здешнего университета. Слышал я Шеллинга, великолепного старика с орлиным взглядом, с торжественною речью, производившего большое впечатление на слушателей уже одною этою торжественностью, так идущею к содержанию философско-мистическому. Слышал я Неандера, знаменитого церковного историка; лекция его была жидка по содержанию, в ней не было ничего для меня неизвестного, не было и новых мыслей, но немцы записывали усердно. Еврей по происхождению, Неандер славился своими христианскими добродетелями и своими странностями, рассеянностью; так, рассказывали, что однажды он пришел на лекцию без нижнего платья; переменявши квартиру, он ходил в университет мимо старой, хотя это было совершенно в другую сторону, но иначе профессор не нашел бы дороги; на кафедру клали перед ним всегда перо: начавши читать, он брал его и ломал во все продолжение лекции, иначе, не

имея чего вертеть в руках, он не мог бы читать свободно; лицо его сейчас же напоминало еврейское происхождение; особенно выдавались на нем необыкновенно густые черные брови. Слышал я географа Риттера, почтенного старичка в туфлях, очень образно объяснявшего свой предмет; его звали котом или котиком за мягкость и плавность манер и речи. Слышал Ранке, коверкавшегося на кафедре, как пьяная обезьяна, и желавшего голосом и жестами выразить характер рассказываемого события; Раумера, довольно видного господина с безжизненной речью. Слышал Бёкка, седевшего на кафедре поджавши ногу и не пропускавшего случая подтрунить над соперником своим Германом Лейпцигским.

Из Берлина я отправился впервые по железной дороге в Дрезден, который мне очень понравился своим положением, Брюлевскою террасою с ее дешевыми наслаждениями — мороженым и музыкою, картинною галереєю и оперою; в картинной галерее любимую картину, перед которой я долее других останавливался, был Тицианов «Il Cristo della moneta»: поражала меня здесь противоположность двух лиц — Христа с его божественным спокойствием и искусителя с его искаженным от лукавства лицом. В Дрездене я осведомился, где Строгановы, узнал, что в Теплице, и отправился туда. Опять очутился я в чужом доме, опять столкнулся лицом к лицу с русскими барами. Александр Григорьевич Строганов, бывший министр внутренних дел, принужденный оставить должность по неудовольствию с императором, служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I могли достигать высших степеней служебной лестницы: зажмурив глаза и прислушиваясь к разговору Александра Строганова, можно было с первого раза подумать, что говорит граф Сергей: так было у обоих братьев много сходного в голосе, в постановке фразы, но как сильно сначала поражало сходство, так же сильно потом поражало различие. Александр имел все недостатки Сергея, не имея ни одного из его достоинств. Конечно, могут сказать, что я выразился очень резко, решительно; могут сказать, что Александр имел некоторые из достоинств Сергея, например был честен, не способен брать взятки, но из уважения к Сергею я не хочу даже считать в числе его достоинств служебную честность. Имея ум чрезвычайно поверхностный, Александр

мечтал, что обладает способностями государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею озадачить, упорно поддерживая и обстроивая другими подобными же нелепостями. При этом — ни малейшего благородства, деликатности. Жена была еще хуже мужа: с умом и образованием также поверхностными, с огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощенный, неразборчивость средств, способность унижаться до самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время гордость, властолюбие непомерное — вот графиня Наталья Викторовна Строганова, урожденная княжна Кочубей. Эта чета была испорчена губернаторством; прежде занятия министерского места Ал. Строганов был генерал-губернатором черниговским, харьковским и полтавским. Понятно, какое страшное искушение представляет и для порядочных лиц первенствующее положение; понятно, как это первенствующее положение, это раболепство русского губернского чиновничества, дворянства и купечества пред генерал-губернатором легко развратили Строгановых. В Петербурге также — блистательное положение: графиня, умевшая владеть разговором, очень недурная собою, особенно вечером, с огромными связями как дочь Кочубея, держала блистательную министерскую гостиную. И вдруг — опала! Император Николай понял наконец, что избранный им министр внутренних дел не годится даже в ротные командиры, и отставил его.

По обыкновению опальных властей, Строгановы отправились за границу прямо в Париж. Экс-министр начал фланжировать, схватывать резкие черты нравов и рассказывать их за обедом жене, вечером — приезжим русским; познакомился с Тьером, также экс-министром, — но этим сходство между ними и ограничивалось, — наконец, стал посещать лекции анатомии. Экс-министерша сначала очень скучала; пользоваться удовольствиями, за которыми приезжали в Париж другие русские, посещать театры и проч. она не хотела: эти удовольствия были ниже ее; она привыкла к более серьезным занятиям, к министерским разговорам; притом парижские удовольствия требовали много денег от дамы, а она была относительно небогата, проживать много не мог-

ла. Она сблизилась с одною русскою дамою, поселившеюся давно уже в Париже, Свечиною. Свечина эта приняла католицизм и под руководством разных аббатигов в сутанах и во фраках занялась делами милосердия. Эти аббатиги и аббатиса Свечина поймали нашу Строганову, что было им нетрудно: досада на все русское, преимущественно на императора, не могла возбудить в ней горячего усердия к русской Церкви, которая, по утверждению не совсем несправедливых католиков, имеет папу в императоре; поверхностное воспитание, холодность нашего духовенства, отсутствие интереса к религиозным вопросам в Петербурге, в сановническом кругу, не дают нашим барам, и особенно барыням, никаких средств узнать правду нашей Церкви относительно католицизма; поэтому всякому аббатигу, иезуиту легко уверить их, что вне католицизма нет спасения. Строганову, женщину без убеждений, без сердца, прельстила эта внешняя, чувственная, театральная набожность католическая; прельстила ее эта новая открывшаяся ей деятельность, это католическое милосердие, так тесно переплетенное с интригою, с составлением обществ, лотереями, со всеми этими мирскими забавами, подкрашенными христианством, но не имеющими в себе ничего христианского. Как только я свиделся с Строгановыми в Теплице, так тотчас заметил, что графиня окунулась, и с головою, в католицизм; она не скрывала своих мнений (сказать *убеждений* было бы много) не только при мне, домашнем человеке, но и при всех других русских, вследствие чего сейчас же распространился слух, что она приняла католицизм. От графа в два года я не слышал ни слова о вере; он аккуратно каждое воскресенье ездил к обедне в русскую церковь, но графиня первый год по воскресеньям отправлялась в католическую, а по пятницам — в русскую для избежания тесноты, но на другой год, когда об этом начали слишком громко говорить, начала и она ездить по воскресеньям в русскую церковь. Говорили, что у нее был любовник в Париже, жиденький французик маркиз де Мелон, занимавшийся делами милосердия в приходе Свечиной; действительно, он часто бывал у нее, часто обедал; видел я, как она прогуливалась с ним вечером по Парижу, по улицам, но вот и все, что я могу сказать. После, уже лет через десять, я слышал в Петербурге, что она ведет дур-

ную жизнь и даже называли ее Мессалиною, но я могу сказать только то, что сказал.

В Теплице у Строгановых было трое детей: сын лет двенадцати, дочь лет тринадцати и еще маленький сын лет семи или восьми. Старший сын был неглуп, но уже в таких нежных годах чувственные наклонности начали в нем сильно развиваться и препятствовать нравственному и умственному развитию; в двенадцать-тринадцать лет уже заметно было нравственное ожирение в мальчике; девочка, очень дурная лицом, была живее и чище во всех отношениях; третьего малютку я не узнал, ибо на пути из Дрездена в Веймар он подавился куриною костью, которую дала ему сама мать, и умер в Веймаре. Кроме меня в доме были гувернер для мальчиков, гувернантка для девочки. Гувернером был бедный савояр Дюфуг без всякого образования и без претензий, добрый мальш. Гувернантка была (позабыл фамилию) швейцарка; она заслужила неблаговоление графини тем, что резко высказывалась против католицизма, и уже положено было в Дрездене ее отправить, а в Франкфурте ожидала уже другая, которая прежде жила у них, также протестантка, швейцарка, но в которой предполагалось более равнодушия к своему исповеданию, но потом и эта по той же причине не понравилась, и взята была католичка, ходившая каждый день к обедне.

Х

Из Теплица я поехал вместе с Строгановыми в Дрезден, уже мне знакомый, из Дрездена — в Веймар, где, как уже сказано, умер маленький граф; из Веймара я доехал с Строгановыми до Франкфурта; здесь на мое место в карете села новоприбывшая гувернантка, и я отправился один, что для меня было чрезвычайно удобно и выгодно: я останавливался где хотел, тогда как, ездя вместе с Строгановыми, я не видел бы ничего, ибо они ездили из Богемии в Париж и из Парижа в Богемию зажмура глаза, хлопоча только о том, как бы поскорее доехать, и смеялись над теми русскими, которые, подобно англичанам и немцам, останавливаются везде и рассматривают все любопытное; эта насмешка показывает лучше всего природу петербургских сановников, потерявших интерес ко всему, кроме мелких интриг честолюбия. Из Майнца я

отправился по Рейну на пароходе в Кёльн. Рейнские берега в первый раз меня сильно поразили, во второй — уже не так, а в третий — я просидел целый день в каюте, разбираясь в своих бумагах. Но Бельгия и в первый, и в другой раз произвела на меня одинаково благоприятное впечатление по своему опрятному, чисто европейскому труду, видимому везде, и необыкновенной деятельности, движению, особенно на железных дорогах, где не довольствуются тем, что предлагают вам напитки и закуски, но также предлагают дешевые брюссельские издания французских сочинений; а города — с их геройскою средневековою историею и с их цветущим настоящим, с их свободою и благочестием, с их церквами, наполненными произведениями искусства и богомольцами, не женщинами, как во Франции, но мужчинами, и молодыми! Бельгия служила для меня утешительным доказательством, что свобода совместима с религиозностью и крепче от этого соединения, что народ, дельный по преимуществу, всегда религиозен. Из Брюсселя я отправился в Париж, куда попал сверх чаяния, ибо Сергей Строганов, отпуская меня из Москвы, прямо сказал мне, что брат его будет жить в Италии; но, приехавши в Теплиц, я узнал, что их сиятельства не могут нигде жить, кроме Парижа. Это известие заставило меня провести несколько очень неприятных дней, ибо быть за границею и не быть в Италии было очень для меня тяжело. Но делать было нечего, надобно было покориться судьбе, и я отправился в Париж, утешая себя мыслью, что через год, накопивши денег, успею съездить как-нибудь на свой счет в Италию.

Итак, я жил тогда в Париже. Париж внешнею своею стороною много поразить меня не мог: я уже видел много больших европейских городов, привык к громадным домам, громадным общественным зданиям, но и после германских и бельгийских городов поразило меня развитие промышленности, эта роскошь в ней; поразили меня мраморные столы в мясных лавках, искусство показывать товары; поразила страшная деятельность, написанная на всех лицах; на этих живых кельтических лицах, которые были для меня очень привлекательны после немцев. Чистый славянин, получивший воспитание русское, свободное, без гувернера-иностранца, я свободно мог предаваться влечению славянской природы, вследствие чего не люблю немцев и сочувствую ро-

манским кельтическим народам. Я плохо говорю на всех иностранных языках, которых знаю четыре: французский, немецкий, английский и итальянский, кроме польского и латинского; я разумею под знанием свободное чтение авторов; свободно читать греческих авторов я не выучился в университете и после, не имея упражнения, скоро позабыл и о том, что знал. По-чешски я не очень свободно читаю, но французский, английский и итальянский языки для меня родные по своему складу, но совершенно чужд немецкий, особенно новый; читать французскую, английскую и итальянскую книгу для меня так же легко и приятно, как читать русскую; читать немецкую книгу — труд тяжелый.

За границу я подметил резкое различие между русским и немецким относительно пищи: русский, т. е. славянин, — преимущественно хлебоедец, немец — мясоедец; маленькие булочки, которые подаются к столу в Германии, приводили меня в отчаяние, ибо совестно было беспрестанно спрашивать хлеба. Французы и бельгийцы гораздо хлебоднее немцев и здесь, следовательно, приближаются к славянам; это приближение особенно заметно в одинаково сильном употреблении медовых коврижек на востоке и на западе Европы, но не в середине. Сильно понравились мне жантиньные француженки после неуклюжих, большеногих немок; понравилась простота в одежде: обыкновенно черное или темное платье, черная мантилья, черная шляпка с маленьким черным пером, тогда как на немках пестрота, потом голошеиность, голорукость, тогда как во Франции голошеими ходят по улицам только женщины известного поведения.

Вообще я был доволен парижскою жизнью. Занятий у Строгановых у меня было немного, не более трех часов до полудня; после все время я мог употреблять для себя. Позавтракавши в 12 часов, я отправлялся в Королевскую библиотеку. Главная цель моих занятий уже была определена — русская история, но для занятий ею у меня было мало средств, кроме Полного собрания русских летописей — ничего, и потому я решился заниматься историею всеобщею, преимущественно славянскою. Чтоб определиться и в этих занятиях, я решился написать сочинение, темою которого было отношение дружины к родовой общине: из антагонизма замкнутого рода и толпы людей, выделившейся из него

большею частью насильственно, я объяснил главнейшие явления в истории человечества. В Азии на семитические племена я смотрел как на представителей родового начала, на персов — как на представителей дружинного, в Европе на пелазгов, под которых включал и славян, смотрел как на представителей родового начала, на еллинов — дружинного; в римской истории в борьбе патрициев и плебеев я видел борьбу родового и дружинного начала. Для проведения моей мысли мне необходимо было изучить мифологию, чем я преимущественно и занимался в Королевской библиотеке. В 3 часа я возвращался из нее и садился писать, писал два часа до обеда, т. е. до шести часов, после обеда читал новые книги и журналы. В воскресенье, вставши и напившись молока, отправлялся я в русскую церковь, находившуюся в конце Елисейских Полей. После обедни заходил к священнику Вершинскому, человеку ученому, но самодуроватому; он снабжал меня также некоторыми книгами. К священнику после обедни сходились пить чай все русские среднего сословия. Из них я больше всего сблизился с Сажиным, гувернером у князя Гагарина; с этим Сажиным я вместе учился в коммерческом училище: это был человек далеко не ученый, но умный, верно смотрящий на все, добрый и веселый. Иногда мы с Сажиным оставались обедать у священника, но обыкновенно после чаю мы отправлялись с ним таскаться по Парижу, по церквам, в Лувр, в загородные места; потом обедали вместе в Пале-Рояле, за два франка, и вечером отправлялись в театр; хаживали мы в итальянскую оперу, не очень, впрочем, часто по причине дороговизны, а стоять спозаранку в хвосте, чтоб иметь дешевые места, мы не хотели; только два раза были во Французском театре — посмотреть Рашель; я признал в ней великий талант, тут же назвал ее лицедейкою по преимуществу, но не пристрастился к ее представлениям; причина заключалась в моей слабонервности; воскресенье должно было быть для меня *recreatio animi et corporis*, я хотел избежать в этот день всего тяжелого, а трагедия была тяжела для моих нервов. Вот почему я преимущественно отправлялся в французские оперы — Большую и Комическую или в Пале-Рояль — смотреть *m-lle* Дежазе, старушку, несравненно игравшую молоденьких девушек и особенно молоденьких мужчин, Равеля, возбуждавшего хо-

хот одним появлением своим на сцену, или в «Водевиль» смотреть Арналя, в «Варьете» смотреть Буффе.

Приближалась зима; начали открываться курсы, которых я дожидался с нетерпением, но они не удовлетворили меня. Разумеется, я прежде всего бросился на исторические курсы к Ленорману в Сорбонну, к Мишле в Коллеж-де-Франс. Ленорман, красивый плотный мужчина с усами, смотрел тамбур-мажором, а не профессором; вместо истории предметом его чтений во все продолжение курса была защита христианства против Штраусса. Защита была довольно жиденькая, несмотря на то, Ленорман производил сильное впечатление; он импровизировал, увлекался своим предметом и увлекал других; я был бы еще довольнее его лекциями, если б он не читал исключительно с католической точки зрения. Повторяю, что в научном отношении лекции его были очень слабы, но можно утвердительно сказать, что из многочисленной толпы его слушателей едва ли человека три читали Штраусса; всего удачнее у него выходила защита христианства как коренящегося на неизменных нравственных убеждениях человечества. Я помню, как однажды он обратился к молодым своим слушателям с такими словами: «Господа! Если когда-нибудь кто из вас хотел обольстить девушку для удовлетворения своей чувственности, то неужели тайный голос не говорил ему, что он делает подлость?»

По свойству таланта, по способности к одушевлению к Ленорману приближался Эдгар Кине. Сначала Кине читал очень спокойно по тетрадке историю литературы в Коллеж-де-Франс, но к концу академического года в палатах и в журналистике разыгрался вопрос об иезуитах, и вот Кине вместе с Мишле начал читать против них лекции. Однажды я, ничего не зная, пришел в аудиторию, где должен был читать Кине, занял место, смотрю — аудитория наполняется больше обыкновенного, становится страшная теснота, а толпа все прибывает; вновь прибывшие, не имея места, начинают кричать, чтобы переменена была аудитория; те, которые уже заняли места, не хотят этого, ибо им невыгодно идти теперь позади и занимать худшие места в новой аудитории. Кине не является, дожидаясь, чем кончится дело; наконец прежде пришедшие осилили и криками заставили профессора явиться. Кине был тут на своем месте,

читал с большим одушевлением, рукоплесканиям не было конца; мне было очень приятно слушать, ибо сильно не жалею иезуитов, хотя, с другой стороны, не жалею и того начала, которое дает силу иезуитам среди людей слабых, не умеющих держаться на середине. Следующие лекции Кине против иезуитов читались уже в другой, большой аудитории.

Я упомянул выше о Мишле. Я пришел к нему на первую лекцию, думая выслушать с пользою целый курс истории Франции; он читал в самой большой аудитории, которая, однако, была наполнена. Вошел на кафедру седой старичок и начал говорить — о чем, Бог его знает! — страшный винегрет, и вовсе не занимательный, утомительный, переданный без одушевления; я бросил ходить на эти лекции. Но когда дело дошло до иезуитов, Мишле оживился, талант его высказался вполне. Я позабыл сказать, что на последней лекции Кине против иезуитов он упомянул, что и знаменитый товарищ его Мицкевич разделяет на своих лекциях его мнения. Начался крик: «Vive la Pologne!»

Сзади меня встает господин огромного роста, трясет шапкой и кричит: «Vive la Pologne!» Это был знаменитый Бакунин, которого прежде встретил я мельком в Дрездене, говорил с ним минут десять и отошел, с тем чтоб после никогда не сходить: неприятное впечатление произвел он на меня своими отзывами о России.

Слушал я и Мицкевича. Это явление было крайне любопытно, ибо давало понятие об этих восторженных учителях, которые производят такое сильное впечатление на толпу, особенно на женщин. Ясно было, что исходит сила, делает впечатление, но исходит эта сила не из содержания речи, убеждающей ум или трогаящей сердце, но исходит прямо от природы говорящего человека и действует на природу слушающего. Ясно было, что передо мною инструмент уже расстроенный, разбитый, и, несмотря на то, этот инструмент звуками своими производил сильное впечатление. Впечатление это усиливалось еще прекрасною наружностью Мицкевича, скорбного, не от мира сего бывшего. Содержание его лекции о мессианизме известно. Он читал по-французски медленно, с дурным выговором: так, например, *sûr* он всегда произносил *шюр*.

Был я и в торжественном заседании академии при приеме в члены Пакье; принимаемый говорил не блистательно; на другой день в журналах высчитано было, сколько раз он употребил частицу *que*. Но прекрасно, с истинно академическим красноречием отвечал ему Минье, понравившийся мне и наружностью своею. Был я и в палате депутатов; меня неприятно поразили беспорядок, бесцеремонность депутатов, шум во время произнесения или чтения речей непервостепенных ораторов; видел невзрачного Тьера, взрачного, осанистого Гизо не с французскою физиономиею. Будучи поклонником Гизо за его сочинения, я легко сделался в Париже приверженцем орлеанской династии и министерства Гизо; по умеренности своей я не мог понять, чего еще французам нужно более того, что они имели в это время? Мой взгляд был вполне оправдан после, когда февральская революция повела к нелепой республике и гнусной империи.

XI

Пришла весна (1843 г.); надобно было думать о будущем годе; Строгановы объявили, что пробудут и эту зиму в Париже, а лето — на богемских водах, в Карлсбаде и Теплице, потом в Ахене. Я свыкся с парижскою жизнью; из России не приходило никаких вестей, которые бы заставили меня спешить туда, и я решился остаться еще на зиму в Париже. Из Парижа в Богемию я должен был отправиться один, ибо, как выше сказано, в строгановских каретах мне не было места; времени мне было дано много на проезд, потому что рано прекращалось ученье в Париже за сборами и поздно начиналось в Карлсбаде, пока еще жизнь не приводилась в порядок. Я воспользовался этим, чтоб объехать Южную Германию; поехал в дилижансе из Парижа в Страсбург, где пробыл недолго, чтоб только посмотреть знаменитый собор, который показался мне меньше, чем недостроенный кельнский. Из Страсбурга я приехал в Карлсруэ, где, разумеется, незачем мне было долго оставаться; из Карлсруэ поехал в Штутгарт, куда приехал вечером, взял лондинера и велел вести себя по достопримечательностям города. «Куда вы меня прежде всего поведете?» — спросил я у него. «В королевские конюшни», — был ответ. «Я не хочу в конюшни, я

не знаю толку в лошадях». — «Ну, так пойдите к памятнику Шиллера». Посмотрел я памятник Шиллера. «Ну, теперь куда же вы меня поведете?» — «В королевские конюшни». — «Но я уже вам сказал, что не хочу в конюшни!» — «Ну, пойдите в парк: там есть великолепные колоссальные нимфы». Пошли в парк, посмотрел я на великолепных колоссальных нимф. «Теперь куда же вы меня поведете?» — «В королевские конюшни». — «Но, Боже мой! Я уже вам сказал два раза, что не пойду в конюшни!» — «Ну, так идти более некуда, у нас нет больше никаких достопримечательностей!» — «У вас есть русская церковь?» — «Есть, вон она на горе за городом; там живет и священник; но теперь уже поздно идти туда; переночуйте, и завтра поутру пойдём». Но я не решился для свидания с русским священником ночевать в Штутгарте и в ночь отправился чрез Аугсбург в Мюнхен. В Мюнхене ждал меня окладной дождь; вследствие этой неприятности я решился весь первый день просидеть дома и, чтоб провести время с пользою, написал статью о Парижском университете, которую потом переписал в Праге и отправил к Погодину для напечатания в «Москвитянине», что и было исполнено. Это была вторая моя печатная статья, если не считать гимназической речи; первая же статья, которую я написал по требованию Погодина и оставил ему, уезжая за границу, была критика на венелинскую «Скандинавонию»; я не знал, что Погодин ее напечатал и подписал под нею мое имя, — как по возвращении из-за границы попался мне в руки «Славянский сборник» Савельева-Ростиславича, где разругана, между прочим, и моя статья, а автор оной назван *лигмеем*: это был мне первый подарок от русской критики.

Окончивши статью о Парижском университете, я сошел вниз в общую залу поужинать и, перебирая известия об иностранцах, нашел, к величайшему удовольствию, имя Александра Попова. На другой день я отправился к нему и введен был им в круг русских художников, из которых самый замечательный и самый приятный как человек был Моллер; замечателен был также гравер Степанов, который в загородных прогулках потешал нас своими шутками с немцами и немками. Степанов был русофил, презирал немцев, смотрел на них как на трусов и уважал свой русский кулак как несомненный при-

знак превосходства. Проведши весело время в Мюнхене, в посещении глиптотеки, пинакотеки, дворца, церквей, проводивши с *эгоистическим* вздохом Попова, — потому что мне жаль было собственно не Попова, а досадно было, что он отправился пешком в Тиролю, а оттуда в Италию, которую судьба заперла для меня, по крайней мере в молодости, — я выехал в Регенсбург, чтоб посмотреть Валгаллу. Погода преследовала меня в Баварии: в Мюнхене почти не было ни одного светлого дня; меня утешали, что здесь это обыкновенная погода. В Регенсбург я приехал также в дождь, но делать было нечего: долго оставаться мне было нельзя здесь, и в окладной дождь я отправился в Валгаллу, по мокрым дорожкам, покрытым улитками, взобрался к знаменитому зданию; оно не поразило меня очень ни формою, ни внутренним содержанием; больше прельстило меня местоположение, хотя половина красоты его уничтожалась дурною погодою. В Регенсбурге с любопытством и тоскою смотрел я на зеленый Дунай: он тек к счастливым странам юга, а я должен был двигаться все на север да на запад! Видел древний собор, где мне показывали дорогие сосуды, но этого добра у нас много и в России; водили меня и к тюремным погребам, для показания глубины которых чичероне зажигал бумагу и бросал вниз; показывали гнусную машину, на которой видны были еще остатки крови после пыток. Вечером, насмотревшись всех этих диковинок, выехал я в почтовой карете из Регенсбурга в Карлсбад; со мною поместилась дама пожилая, но очень приятная с сыном, красивым молодым человеком лет двадцати. По языку я узнал, что это — поляки; по серой студенческой шинели они узнали, что я — русский; завязался разговор на французском языке; оказалось, что дама была литовская графиня Довьялло, разумеется, патриотка, живая, умная, образованная, приятная, вкрадчивая. Она жаловалась на несчастное состояние своего отечества, вспоминала славную старину литовскую, которую знала из истории Нарбута, с ужасом говорила о впечатлении, какое произвели на нее регенсбургская тюрьма и орудия пытки, причем прибавила: «Меня ужасает, что наш век стремится все к старине, к этим Средним векам, от которых остались нам такие страшные остатки». Я отвечал ей на это: «Зачем же вы сейчас так горячо заступались за католицизм? Ведь возвращение к Средним векам делается во имя

последнего, и тюрьмы инквизиции были самые страшные, а католицизм может ли быть без инквизиции?» Она замолчала.

Приехавши в Карлсбад, я пробыл здесь недолгое время: Строгановы еще не приезжали, и не было надежды, чтобы приехали скоро, а потому я отправился в Прагу. Теперь я отправлялся в Прагу уже во второй раз; прошлого года я ездил туда на короткое время из Теплица, встретил там Попова, познакомился с Ганкою, Палацким, и только; Шафарика тогда не было в городе; теперь, взявши еще в Мюнхене от русских письма к «властенцам» (патриотам), я решился пробыть в Праге с неделю и ближе присмотреться к славянскому движению. Прежде всего по письму я близко познакомился с молодым человеком Лиманом, горячим властенцем; он познакомил меня с другими себе подобными, ввел в трактир, где они обыкновенно собирались. Что касается до властенцев, то это были люди превосходные, чистые, добродушные; не на одного меня, но на всех русских производили они самое приятное впечатление, так что каждый, сблизившись с ними, уезжал из Праги с тоскою. Как люди партии, они жили одною мыслью, одною мечтою; горизонт их вследствие этого сузился; они не видали своего положения, не видали, что их очень мало, что народ равнодушен. Кроме трактира они ввели меня в свои дома; я увидал их простую жизнь, ибо все это были люди недостаточные; познакомился с нравами их женщин, которые меня удивили: чешки — настоящие польки, живые, нецеремонные; в отношениях между полами господствует полная свобода; во время загородных прогулок, например, каждый мужчина берет к себе даму (т. е. девушку), идут под руку и говорят сладости. В один прекрасный день, в воскресенье, сговорившись, толпа властенцев и властенок, в том числе и я, вышла чем свет на загородную прогулку к св. Прокопу, в монастыре которого отправлялось некогда славянское богослужение, почему память его и стала священной для властенцев. Прогулка была восхитительная, по горам; возвратились поздно вечером; песням властенского, разумеется, содержания, танцам не было конца. Танцевал и я, это было в последний раз в моей жизни. Возвратившись домой, я нашел в кармане несколько белых пряников с изображением льва: белый лев — герб Богемии, которого властенцы противопоставляют австрийскому орлу. Однажды я зашел

к одному властенцу-рытцу, т. е. граверу; с восторгом на лице показал он мне только что оконченную работу свою: вырезан был орел, которого зубами за шею ухватил лев.

Что касается до знаменитостей чешских, то Ганка имеет чисто русскую физиономию, напоминает наших плутоватых управителей или ходатаев по делам; властенцы — либералы и потому не любят Ганку за его пресмыкание пред русским правительством, за это благоговение к владимирскому ордену, который он имеет. Действительно, Ганка вовсе не отличается бескорыстием, какое я заметил в властенцах. Видевшись со мною не более трех-четырех раз, он уже обратился ко мне с просьбою, не могу ли я через министра Уварова (!!) выхлопотать ему место русского консула в Карлсбаде и Теплице, где летом бывает всегда так много русских! Палацкий — очень ловкий, учтивый, приятный человек в обращении, с приятною наружностью — вот все, что я мог заметить, посетивши его раз. Шафарик — высокая, серьезная протестантская фигура; он мне напомнил схимников в наших монастырях, которые, как к ним придет кто-нибудь, начинают заученную душеспасительную беседу; так и Шафарик, узнавши, что я русский, не дал мне и слова сказать, а начал говорить длинную иеремиаду о плачевном состоянии, в каком находятся они, западные славяне, и окончил тем, что единственное сокровище, оставшееся у них, это язык: «Я твержу своим постоянно: сохраняйте язык — и с ним все сохраните». Тем оканчивалась речь, или лекция.

Подобно всем русским, и я выехал из Праги с тоскою. На дороге развлек меня один забавный случай. Ехал со мною вместе какой-то француз, начал толковать о политике и, узнавши, что я русский, толковать о стремлении к панславизму. «Ведь это слияние довольно трудно, — говорил он, — потому что славянские народы не могут понимать друг друга, — например, вы, русские, не можете понимать чеха?» Мне захотелось подшутить над французом. «Как? — отвечал я. — Русский может понимать чеха, и наоборот; вот вам доказательство: кучер у нас чех; я буду говорить с ним по-русски, а он будет мне отвечать по-чешски», и, обратившись к кучеру, я сказал ему что-то по-чешски, и тот мне отвечал. Француз, не понявши моей шутки, пришел в ужас. «Когда так, то Австрия, разумеется, погибнет!» — сказал он.

Жизнь в Карлсбаде и Теплице (1844 г.) не представляла для меня ничего замечательного: днем — уроки, собственные занятия; вечером — одинокие прогулки по красивым окрестностям. По окончании вод богемских Строгановы решили, что графиня с семейством поедет еще в Ахен, на тамошние воды, а граф из Дрездена отправится в Петербург, где возьмет старшего сына Григория, выходящего из Пажеского корпуса, и привезет его в Ахен на короткое свидание с матерью, после чего опять — в Париж. Отъезд графа опростал для меня место в карете, и я отправился в Ахен вместе с Строгановыми. Вся дорога была мне хорошо известна; Ахен я также подробно рассмотрел прошлого года. Здесь жизнь моя была одинакова с жизнью на богемских водах; большой город представил мне только то удобство, что я мог записаться в библиотеку для чтения. Вздумал было я забраться в театр ахенский, будучи прельщен его красотой. Давали комическую оперу «Постильон де Лонгжюмо», которая так прекрасно шла в Париже; явилась на сцену рыжая немка; как она пела — я уже не помню; помню одно, что, пропевши что-то, она преспокойно пред всею публикою тяжеловесно плюнула на пол. Я бежал из театра и больше уже туда — ни ногой. Приехал граф с сыном; последний, очень похожий на мать, не имел в себе ничего строгановского: живой, болтун, шумиха, крепко пуст с кадетским образованием; красив, строен, но глаза ужасные, свинцовые, большие; после он сделался знаменитым (это он был фаворитом, а после негласным мужем в[еликой] княгини Марии Николаевны). Через несколько дней он уехал назад в Россию, а мы поднялись в Париж, я — особо. Жизнь моя эту зиму в Париже была совершенно сходна с прошлогоднею, только скучнее, ибо по воскресеньям не было моего постоянного спутника, Сажина. В самый Светлый день приехал Попов и пробыл несколько недель.

Весною (1845 г.) Строгановы начали толковать опять, что и следующую зиму проведут в Париже, но я уже решил возвратиться в Россию: в Париже мне решительно нечего было более делать. Я написал два письма: одно — к московскому Строганову, где объяснял ему невозможность оставаться долее в семействе его брата; другое — к Погодину, в котором

объяснял ему мое положение и просил совета, думая, что он лучше других сообщит мне известия о делах университетских. Строганов отвечал мне, что нисколько не удерживает меня в Париже, но желал бы, чтоб я провел несколько времени в славянских странах, сблизился с главными представителями славянской науки. Ясно было, что Строганов хотел, чтоб я занял кафедру русской истории в Московском университете и знакомством с славянщиною на месте приобрел к тому больше средств и прав. Но я считал вовсе излишне для русской истории оставаться долее в славянских странах и вместо чтения источников услаждаться патристическими жалобами Шафарика и Ганки и возгласами молодых властенцев; мне нужно было спешить готовиться к магистерскому экзамену, притом же у меня не было денежных средств оставаться долее за границую.

Письмо Погодина поразило меня своею странностью: оно начиналось и оканчивалось сильными выражениями благодарности за доверие, которое я ему оказывал; чужак, не привыкший, чтобы ему оказывали доверие, счел за нужное благодарить молодого человека, который по неопытности своей никак не мог понять, за что благодарят его. И тут же двусмысленностью ответа, неумением отплатить доверенностью за доверенность Погодин давал мне знать, что я действительно сделал глупость, обратившись к нему. Он писал, что оставил кафедру, что хочет ехать в Швецию — заниматься варяжским периодом, в Южную Сибирь — для занятий монгольским периодом, что мне нужно было бы возвратиться в Россию для занятий русскою историею, но и пожить подольше за границую было бы также очень полезно, что во всяком случае место адъюнкта будет мне готово. Если он вышел из университета, если кафедра опросталась и я должен занять ее, то я должен спешить для этого в Россию; какая же мне польза оставаться за границую, когда я уже пробыл здесь два года? И что значит, что мне будет готово место адъюнкта? После все объяснилось.

Понятно, что такое письмо только усилило во мне желание выйти из темноты поспешным возвращением в Россию. Лето я хотел употребить на путешествие по тем частям Германии, где еще не был. Из Парижа отправился я в дилижансе в Мец, отсюда на пароходе по Мозелю и потом по Рейну в

Мангейм, из Мангейма по железной дороге в Гейдельберг. Приехавши сюда ночью, на другой день отправился в университет узнать, когда и где читают три профессора, которых мне хотелось слышать, — Крейцер, Рау и Шлоссер.

Крейцер по старости читал у себя на дому; я отправился туда и отрекомендовался автору «Символики», дряхлому, очень невзрачному старику в рыжем парике; начали приходить студенты; Крейцер стал читать, и я сначала поражен был очень неприятно неуважением студентов к профессору и к своему делу: они шумели, смеялись под носом у Крейцера. Старик читал о развитии чувства изящного у греков — «triturum pertritum», но когда дело дошло до знаменитого места в «Илиаде», где троянские старцы изумляются красоте Елены, старик Крейцер сам превратился в троянского старца, как будто бы увидал пред собою Елену, и прочел место с большим чувством. Что касается до двух других гейдельбергских знаменитостей, Рау и Шлоссера, то первый читает очень сухо и скучно, а второй, напротив, очень живо, смешит студентов анекдотцами; он мне показался еще очень свежим старичком. На лекции у Крейцера познакомился я с русским студентом Благовещенским, воспитанником педагогического института, бывшим потом профессором в Казани и Петербурге. Это был еще молодой, красивенький мальчик, не обещавший многого. Благовещенский познакомил меня с своим товарищем Мейером, который и тут был тем же, чем после, работал страшно много — и только; наконец, третий русский, которого я встретил здесь, был Вернадский, присланный от Киевского университета. И этот явился передо мною здесь точно таким же, каким я знал его после в Москве: человек живой, не без дарований, без крепких убеждений и невыносимо наглый; не имея способности крепко вдумываться во что бы то ни стало, не находя большого интереса в самих явлениях без отношения к себе, он позволял себе очень часто высказывать нелепости, и если кто осмелится заметить, что это нелепость, вступить в спор, то Вернадский выходит из себя, кричит, громоздит нелепость на нелепость и, чтобы поддержать первую нелепость, говорит дерзости противнику. Вообще это был один из самых неприятных, самых отталкивающих людей, каких только я встречал.

Вторую половину лета провел я с Строгановыми на богемских водах, в Карлсбаде и Теплице, в Дрездене простился с ними и через Берлин, где провел только одну ночь, отправился по железной дороге в Свинемюнде, где сел на пароход, и в начале сентября приехал в Петербург. Здесь провел несколько дней, чтоб исполнить некоторые поручения Строгановых, и в дилижансе отправился в Москву. Сергей Строганов встретил меня как нельзя лучше, сказал, что место для меня очищено выходом Погодина, чтоб я приготавливался к магистерскому экзамену, успешное выдержание которого даст мне право на кафедру, объявил мне, что брат его Александр остался мною чрезвычайно доволен. Но это довольство скоро прекратилось — вот по какому случаю. Однажды, сидя со мною наедине в комнате, граф вдруг спросил меня: «Скажите, пожалуйста, справедливы ли слухи, которые носят здесь, что графиня Наталья Викторовна приняла католицизм?» Застигнутый врасплох, я начал обходить решительный ответ; Строганов настаивал; что мне было делать? Я видел перед собою человека, которого уже считал своим благодетелем, не имел никакой причины не желать добра и Александру и решился сказать все, что знал, именно все то, что изложено мною выше. Строганов все это написал брату с извещением быть осторожнее. Александр, получивши это письмо, сильно рассердился на меня как на человека, наябедничавшего брату на него и на жену его; из его ответного письма Сергей сказал мне одно: «Брат пишет, что вы их не поняли». «Чего же тут не понять, — отвечал я ему, — разве я сказал вам больше того, что говорят другие русские?» Сергей-то очень хорошо знал, что я в своем рассказе очень уменьшил рассказы, в которых ходили слухи относительно поведения графини — религиозного и нравственного, и потому принял мою сторону и сердился на брата, который не умел понять дела, но тот не переставал сердиться на меня и, возвратившись в Петербург, не упускал случая срывать свое сердце: вооружился против моей ученой репутации, кричал, что я человек недаровитый и потому не могу оказать больших услуг науке, что я, находясь в Париже, занимался вовсе не тем, чем бы следовало; когда начала выходить моя «История», находил удовольствие писать брату длинные письма, в которых ругал сочинение. Сергей обыкновенно объявлял мне об этом в таких выражениях: «Вон ка-

кое длинное письмо написал брат о вашей книге! Он до вас не охотник, но он не знает настоящего положения науки, судит по-старому». Только после выхода пятого тома Сергей сказал мне: «Брат пишет, что прочел ваш пятый том, но не прибавляет никакого об нем суждения».

Я начал готовиться к экзамену, т. е. стал писать диссертацию. Выбрал тему: княжение Иоанна III; прежде всего начал заниматься Новгородом и увидел, что для понимания последних судеб Новгорода, последних отношений его к московскому государю необходимо представить полную историю его отношений к великим князьям, и, таким образом, вместо диссертации об Иоанне III вышла диссертация об отношениях Новгорода к великим князьям. Что касается до экзамена, то я перечитывал выписки, сделанные мною прежде из всего прочтенного, и этого было достаточно; из народного права приготовиться было легко по одной книжке, по Клюберу, из древней географии — также по Энциклопедии Древностей Гофмана, из новой беспокоиться было нечего: экзаменовать должен был Ефремов, мой берлинский знакомец, который получил в это время звание приват-доцента географии при университете; оставались политическая экономия и статистика; я решился из этих предметов ограничиться старыми лекциями Чивилева и историею политической экономии Бланки, а между тем отправился к Чивилеву с целью представить ему, что мой магистерский экзамен не может быть обыкновенным экзаменом, что моя цель показать способность свою занять кафедру русской истории, для чего будет служить хорошая диссертация, а чтобы написать хорошую диссертацию, нужно употребить на нее все время, а не тратить его на предметы чуждые. Мне хотелось побудить Чивилева определить мне, из каких предметов именно он предложит мне вопросы. Но Чивилев встретил меня очень сухо, и когда я спросил, что мне нужно приготовить для экзамена, то он отвечал, что если я прочту все книги по политической экономии и статистике, которые он рекомендовал нам на лекциях, то этого будет достаточно. Я знал и без него, что так должно было сделать, но знал, что это невозможно, и потому не прибавил ничего к его лекциям по Бланки и продолжал по-прежнему употреблять большую часть дня на диссертацию.

Причина нелюбезности Чивилева, не хотевшего оказать ни малейшего внимания к моему положению, заключалась в том, что все профессора так называемой западной партии были против меня: они были очень рады, что избавились от Погодина, и, считая меня его клиентом, вовсе не хотели оубаваться из сапогов в лапти, пускать к себе другого, молодого славянофила, а что я не был славянофилом, они этого не знали, потому что я ни к кому из них не ходил, а статья моя о Парижском университете, напечатанная в «Москвитянине», была в славянофильском духе: я уже, кажется, говорил, что в университете и за границею я был действительно жаркий славянофил, и только пристальное занятие русскою историею спасло меня от славянофильства и ввело мой патриотизм в должные пределы.

Итак, против меня готовилось сильное сопротивление; на кого же я мог опереться, в ком искать защиты против профессоров западной стороны, могущественных своим единством, достоинствами, силою у попечителя? На славянофилов? Но и с ними я не был знаком, они меня вовсе не знали; притом в университете у них был один представитель — Шевырев, бессильный по одинокости и по неуважению начальства и товарищей.

ХІІІ

В январе месяце 1845 года начались мои экзамены. Первый был из всеобщей истории. Перед началом экзамена Грановский подошел ко мне с упреком, зачем я не переговорил насчет вопросов, и просил меня указать ему предметы, о которых я желаю получить вопросы. Я отвечал, что выбрал бы вопрос о реформации; на это Грановский заметил, что предмет щекотливый, особенно неловко будет трактовать о нем в присутствии Строганова; тогда я отвечал, что если нельзя отвечать о реформации, которою я в недавнее время особенно занимался, то пусть сам назначит вопросы, ибо мне все равно. Он мне назначил первый вопрос из истории Франции о первых Капетингах; второй — из истории Испании — позабыл уже, что именно; касательно же третьего Грановский предложил вопрос о развитии русской и западной летописи; я заметил, что вопрос мне не нравился, но Грановский

настаивал — и я согласился. Причина такого настаивания со стороны Грановского была та, что славянофилы, органом которых в это время был Шевырев, провозглашали, что русская летопись выше западной, ибо в последней выходит наружу личность летописца, тогда как в русской этого вовсе нет; поэтому западным очень хотелось знать, как я решу этот вопрос.

Моя начитанность в истории, особенно во французской, дала мне возможность и не приготовившись отвечать вполне удовлетворительно; Грановский не мог не признать этого и в отметке написал, что я обнаружил обширную начитанность, но прибавил, что я затрудняюсь в изложении — намек, что у меня нет способности к занятию профессорской кафедры. Второй экзамен был из русской истории; положено было пригласить старого профессора Погодина; Погодин явился и, не сказавши мне ни слова, задал вопрос: изложить историю отношений России к Польше с древнейших времен до последних времен. Я не хочу думать, чтоб вопрос этот был задан злонамеренно; гораздо вероятнее для меня, что вопрос такой был выбран просто по научной бестактности, которою отличался Погодин. Прежде всего, разумеется, я должен был ответить кратко, ибо говорить подробно — для этого недоставало бы целого дня, не только вечера, но с другой стороны, я должен был показать свои знания в подробностях русской истории. Неприготовленный, не имея возможности, времени обдумать, как выйти из затруднительного положения, я начал бросаться в сторону, чтоб показывать свое знание собственно в русской истории, но Погодин не давал мне этого делать, сейчас же замечал, что я вдаюсь в ненужные подробности, не идущие прямо к делу; и таким образом я проболтал целый вечер, протягивая чрез девять веков отношения России к Польше. Да не забудется, что для сколько-нибудь удовлетворительного решения этого вопроса тогда не сделано было ничего, что для этого сделал я же вследствие почти двадцатилетних трудов по неизвестным архивным источникам. Погодин объявил, что я отвечал удовлетворительно, но западники провозгласили, — разумеется, не в заседании, — что вопрос и ответ были гимназические, а не магистерские и из ответа моего вовсе нельзя заключить о моей способности к занятию профессорской

кафедры: заключение совершенно справедливое! Третий экзамен, особенно экзамен из статистики, был совершенно неудачный: Чивилев предложил мне вопрос, которым подробно я именно не успел заняться перед этим, — вопрос о русской торговле.

Эти неудачи мои заставили Погодина и Шевырева действовать решительнее для приведения в исполнение своих замыслов, т. е. для введения Погодина опять в университет. С самого приезда моего из-за границы, видясь с Погодиным, я замечал, что он сильно жалеет о своем выходе из университета и сильно зол на университетское начальство, зачем оно не просило его остаться. «Вот и Шафарик пишет, зачем я так рано оставил университет; вот и Антонский говорит: «Рано, рано в отставку!»» — пел он мне по вечерам, когда я к нему приезжал. Когда я ему сказал, что уже начал писать диссертацию именно об Иване III, то он мне сказал на это: «А почему бы вам не заняться окончательным решением вопроса о варягах?» Я отвечал, что считаю вопрос решенным и нахожу больше интереса в позднейших явлениях. Потом он мне однажды заметил: «Что же вы пишете диссертацию и со мной об ней никогда не поговорите, не посоветуетесь?» Я отвечал: «Я не нахожу приличным советоваться, потому что хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию — она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать вашим советам, то она не будет уже вполне моя». «Что же за беда! — отвечал Погодин. — Мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством». Я ничего не отвечал на это, но всякий поймет, что затаилось в душе моей после этого разговора.

Перед началом экзаменов я как-то зашел к Давыдову как декану. Давыдов с нахмуренным лицом вдруг спросил меня: «Что же это значит? Михаил Петрович Погодин хочет опять войти в университет! Что же, вы-то при чем останетесь: ведь мы имеем вас в виду». Озадаченный этими словами, я отвечал, что ничего не знаю, что это — дело университета: как он решит, так и будет. Давыдов по природе своей заподозрил слова мои в неискренности, заподозрил, что у меня с Погодиным стачка, и так как он не любил Погодина по соперничеству в милостях Уварова, как не любил всех, кто был крупнее, был очень доволен выходом его из университе-

та, то начал смотреть на меня как на погодинского клиента, с которым вместе хочет войти и Погодин опять в университет. После неудачного экзамена я пришел к Строганову, не помню, сам ли или он меня позвал. Он встретил меня жалобами на мой неудачный экзамен. Я рассказал ему прямо причины моей неудачи, прямо объявил, что, имея в виду кафедру русской истории, я счел нелепым, вместо того чтоб спешить главным, диссертацией, которая должна показать мои права на кафедру пред всею ученою Россиею, заниматься статистическими подробностями; что же касается до нелепого вопроса в русской истории, то, конечно, я в нем не виноват. «Экзамен прошел, — продолжал я, — остается диссертация, которую я подам немедленно, она решит все, а против интриг я действовать не умею». «Против каких интриг?» — возразил Строганов. «Считаю неприличным, — отвечал я, — распространяться теперь об этом; если ваше сиятельство еще ничего не знаете, то скоро все узнаете: у меня есть соперник, кто — об этом я вам теперь не скажу». Строганов, как видно, знал об интригах Погодина и Шевырева и очень был рад услышать от меня, что я смотрю на это дело как на интригу, против меня направленную; из тона негодования, досады, с которыми я говорил ему об этом, он понял, что я в этой интриге участвовать не могу, не подставляю своих плеч, чтоб внести Погодина в университет. Строганов тотчас переменил тон, стал меня ободрять, повторял, что главное — диссертация, а не экзамен, и мы расстались очень хорошо.

Я действительно скоро, как мне помнится, в начале Великого поста, подал диссертацию; Давыдов переслал ее к Погодину, у которого она и оставалась в продолжение всего поста и после Святой недели. В это время я по-прежнему ни с кем не видался. В четверг на Страстной неделе пошел я гулять и на Арбате встретился с Грановским и Кавелиным, которые шли куда-то вместе. Грановский с насмешливою улыбкою спросил у меня: «Что же ваша диссертация?» «Давно подана», — отвечал я, удивленный таким вопросом от секретаря факультета, которым был тогда Грановский. «Как подана? — возразил Грановский, не изменяя насмешливой улыбки. — Никто на факультете об ней не знает». Я отвечал, что Давыдов обещал отправить ее к Погодину. «А! Это дело другое», — сказал Грановский, и мы с ним расстались.

Не помню, на какой неделе после Пасхи я отправился к Погодину и решился сказать ему, чтоб он возвратил наконец диссертацию. На эту просьбу мою Погодин отвечал такую речью: «Я долго думал, как объявить вам мое мнение о вашей диссертации, ибо я чувствую, как тяжело должно быть для вас на первый раз при первом опыте выслушать отзыв нелестный: диссертация ваша как магистерская очень хороша, но как профессорская вполне неудовлетворительна; приступ блестящий, правда, есть новое, чем я и сам воспользуюсь, но в изложении нет перспективы, точно так, как в сочинениях Беляева; повторяю: труд прекрасный как магистерская диссертация, но как профессорская не годится». «Михайло Петрович, — отвечал я, — о профессорской диссертации тут и речи быть не может; моя цель — кончить поскорее с магистерством и ехать в Петербург, искать места. Если вы находите, что диссертация как магистерская удовлетворительна, то сделайте одолжение, напишите это, чтоб после факультет вас уже более не беспокоил». Погодин стал отнекиваться, говорить, что подпишет просто — читал, но дело было для меня слишком важно, и видел я очень ясно, с каким человеком имею дело, а потому я настаивал: «Если вы говорите прямо, что диссертация удовлетворительна, то почему вы не хотите этого написать?» Погодин уступил и написал на диссертации: «Читал и одобряю».

Чувство радости, что наконец выручил свою диссертацию, боролось во мне с чувством негодования, когда я вырвался от Погодина и шел по Девичьему Полю домой (жил я тогда по-прежнему у отца на Стоженке, в Коммерческом училище). «Подлец!» — повторял я снова и снова, идя по Полю. Но гораздо более должно было удивляться глупости этого человека, который не умел скрыть своей мысли, своего желания: «Диссертация как магистерская хороша, а как профессорская не годится»; это значило уже слишком ясно: «Магистром-то ты будь, пожалуй, а профессором-то погоди, — я хочу сам быть на этом месте; а ты, если пойдешь ко мне в мальчики, то будешь адъюнктом». Повторять в мыслях последнее я имел право: прежде как-то зашел у нас разговор с Погодиным об адъюнктстве, и он прямо высказал мне, что под этим разумеет: «Вот если бы я был опять профессором, а вы у меня — адъюнктом, то мы бы устроили так: когда бы мне не поздорови-

лось или так почему-нибудь я не был бы расположен читать, то я бы дал вам знать, о чем следует читать, и вы бы эту лекцию прочли за меня». Зная характер Погодина, его громадное высокомерие, властолюбие и отсутствие деликатности в обращении с низшими, зависимыми людьми, я видел, какое страшное рабство предстояло мне, и, разумеется, никак не мог согласиться на подобные отношения.

На другой день поутру я отвез диссертацию опять к Давыдову, который передал ее Грановскому. Грановский, не считая себя судьей в деле, передал ее Кавелину, чтобы тот сказал о ней свое мнение. Кавелин прочел и по впечатлительности своей воспрянул от радости, найдя в ней совершенно противное славянофильскому образу мыслей. Он объявил Грановскому и всем своим то, что после объявил печатно в «Отечественных записках», а именно то, что диссертация моя составляет эпоху в науке, вследствие чего вся западная партия обратилась ко мне с распростертыми объятиями. Когда я приехал к Грановскому за диссертациею, то он встретил меня комплиментами и прямо объявил, что свое суждение основывает на суждении Кавелина. «Ну а что Погодин говорит о диссертации?» — спросил меня Грановский. Я передал ему знаменитые слова об отношении диссертации к магистерству и профессорству. «Подлец!» — сказал на это Грановский; я не стал ему противоречить.

Но если был рад я такому обороту дела, то чуть ли не больше был рад ему Строганов; с восторгом слушал он похвалы моему труду от тех людей, которые прежде отзывались обо мне не очень привлекательно. Еще приятнее было слышать ему, что диссертация моя не славянофильская и даже антиславянофильская, что Погодин интриговал, что можно дать щелчок этому антипатичному господину и заменить его в университете человеком достойным. Когда я пришел к нему, то он сказал, чтоб я готовился к лекциям, что я, разумеется, не преминул исполнить. Но при таком приятном виде на будущее, которое мне открывалось, отношения к Погодину меня страшно тяготили: я еще не успел на него тогда озлиться; успех дела, приятное чувство, которое наполняло мою душу, выгоняло из нее злость; я не считал себя вправе порвать все сношения с человеком за то только, что он объявил мою диссертацию недостойною

профессорской кафедры. Но если не порвать, то тяжело с ним видаться: дело было ясно, что он хотел сам получить обратно кафедру, но что Строганов и западные противопоставляют меня ему, что я делаюсь орудием в руках его врагов, или по крайней мере он должен смотреть на меня так. Чтоб выйти по крайней мере на время из такого неприятного положения, я решил действовать прямо и открыто: пошел к Погодину и сказал ему, что я знаю, что он хочет занять опять кафедру русской истории, но Строганов велел мне готовиться к лекциям, и потому пусть он, Погодин, принимает свои меры. Погодин отвечал мне: «Не знаю, чего хочет Строганов. Хочет ли он, чтоб вы были при мне адъюнктом или при ком-нибудь другом? Слышал я, что он думал о переводе сюда Иванова из Казани; может быть, он хочет, чтобы вы при Иванове были адъюнктом». Это была новая гадость со стороны Погодина, которому хотелось колоть меня тем, что во всяком случае, с ним ли, с другим ли, но я могу быть только адъюнктом. Вообще свидание было очень сухо; я видел ясно, что моя открытость не помогла, что добром не кончить с этим человеком. Зашел я к нему еще раз — прием еще суше.

Между тем июль месяц подходил к концу: 29 июля, в пятницу, Давыдов собрал факультет и объявил, что в нем находятся две вакантные кафедры, кафедра философии и кафедра русской истории, и что попечитель предлагает двоих кандидатов: для первой — Каткова, а для второй — Соловьева; как думает факультет об этих лицах? Относительно Каткова выбор был единогласен, но когда дело дошло до меня, то Шевырев объявил, что странно будет факультету выбирать на такую важную кафедру молодого, ничем не известного человека, когда знаменитый ученый М. П. Погодин, чувствуя, что здоровье его поправилось, желает опять занять прежнюю кафедру. Начался спор; все остальные члены факультета были за меня, и наконец порешили на том, что меня выбрать, а декану Давыдову поручить снести с Погодиным, на каких условиях он хочет читать опять в университете. Давыдов, которому никак не хотелось впустить Погодина опять в университет, опираясь на несогласие попечителя и факультета, предложил Погодину, что он может читать в университете без всякого вознаграждения и без всякого

официального значения, как приват-доцент — для желающих. Погодин отвечал на это предложение грубым письмом в факультет, и тем дело кончилось.

В сентябре 1845 года я начал лекции. Читал я по три часа на третьем курсе словесного факультета и еще три часа на первом курсе юридического, повторяя те же самые лекции. Первые две лекции, заключавшие в себе обзор всей русской истории, произвели благоприятное впечатление. Грановский, пользовавшийся большим авторитетом, сказал: «Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев вступил уже мастером своей науки». Понятно, какое значение имели для меня на первых порах эти слова; ими Грановский привязал меня к себе навсегда, на всю жизнь счел я себя ему обязанным. Строганов, слыша одобрения, сказал: «Дай Бог, чтоб Погодин кончил так, как этот начал». В октябре был мой диспут. Приехал Погодин и учинил неслыханное дело: предложивши возражения, он объявил, что ответов моих на свои возражения он не хочет и не обратит на них никакого внимания, что он приехал не за тем, чтоб спорить со мной, а только изложить свое мнение насчет диссертации: приступ блестящий, но главное положение о новом порядке вещей на севере вследствие преобладания новых городов над старыми — неверно. Давыдов, обратясь ко мне, сказал, что хотя Михаил Петрович и не хочет слушать моих ответов, но по порядку, заведенному на диспутах, я должен защищаться, и я начал опровергать возражение Погодина, что было мне очень неудобно, ибо возражение это было предложено голословно; говоря, я обращался не к Погодину, но ко всем присутствующим. Потом возражали: Грановский, Бодянский, Кавелин, Калачов, Давыдов, Шевырев. Грановский возразил не помню что, что-то пустое, ибо он, несчастный, вовсе не зная русской истории, обязан был возражать как официальный оппонент. Бодянский, чтоб насолить Погодину, с которым он перед тем поругался, превознес мою диссертацию до небес; Кавелин заметил что-то насчет судебного значения веча; что возражал Калачов — я не понял: это уже мое несчастье — никогда не понимать Калачова; Давыдов спросил, зачем я не распространился о значении владыки в Новгороде. Шевырев — зачем я не упомянул о Карамзине, ибо сей великий

историк, как выразился ритор, усеял свою историю плодотворными мыслями, которые нам стоит только подбирать и развивать. Наконец диспут кончился со славою для меня.

В академический год 1845—1846 я успел прочесть только до смерти Ивана Грозного; из этих лекций я составил другую, докторскую диссертацию под названием «История отношений между русскими князьями Рюрикава дома», которую на вакации 1846 года приготовил к печати. Между тем первая диссертация о Новгороде доставила мне ученую известность, оправдала выбор университета; Кавелин в «Отечественных записках» объявил, что она составляет эпоху в русской исторической литературе. Были недовольные моим успехом, но еще молчали; молчал Погодин печатно, но действовал министр Уваров: ему досадно было, что его клиент Погодин обойден и Строганов поместил своего, да что еще хуже — порядочного человека, который делает честь его выбору. Мелкодушие Уварова обнаружилось тотчас же: по окончании моего диспута Строганов представил меня и Каткова в адъюнкты как магистров: Уваров утвердил Каткова адъюнктом, а меня — исправляющим должность адъюнкта, ибо Катков не был строгановский, подобно мне, и вступал в университет, не отстраняя никого уваровского. Мне было очень досадно; так же досадно, как неполучение первого кандидатства: это была первая неудача по службе, начало держания меня в черном теле, непризнание моих трудов, что преследует меня до сих пор (писано 1 сентября 1857 года). Но, «Господи, Ты сохраниши мя и соблюдеши от рода сего и до век!»

В моей досаде я немного утешился, когда, вследствие утверждения моего, в декабре месяце я получил жалованье за четыре месяца с начала курса, — первое жалованье, и как оно мне было нужно! Из-за границы я привез с собою несколько денег, которые употребил на заведение маленькой необходимой для меня библиотеки по русской истории, но надобно было жить целый год без жалованья; я взял один урок, только один, чтоб не развлекаться; но к осени именно, когда нужно было начинать лекции, печатать диссертацию, шить мундирный фрак, денег у меня не было, ибо урок прекратился вступлением моего воспитанника в университет. Я принужден был идти к Строганову и занять у него 300 рублей ассигнациями, на что и была напечатана диссертация.

Строганов, увидев из этого, что я нуждаюсь, предложил мне давать уроки из русской истории его сыну, приготовлявшемуся в университет. Этим я жил до декабря, то есть на это я покупал книги, имея квартиру и стол даром у отца; получение жалованья в декабре особенно обрадовало меня, потому что я мог отдать долг Строганову.

В конце года (1845) я отправился к Погодину, у которого не был с сентября, когда отвез ему два экземпляра моей диссертации. И самому мне было тяжело ехать к нему после поступка его на диспуте, да и ему хотел я дать время ухотиться. Приехал, был принят ласково, сидел довольно долго; потом приехал в другой раз, был принят почти так же; в это самое время принесли ему с почты пакет, заключающий его похвальное слово Карамзину, допущенное наконец, после долгого рассматривания и вычеркивания в Петербурге, к печати. Погодин очень обрадовался и вдруг обратился ко мне с такими словами: «Ну, теперь сердце мое полно, и я пользуюсь случаем объяснить с вами. Ваши два приезда ко мне произвели на меня приятное впечатление, и я подумал: молодой человек еще не огрубел, чувство есть, но скажите, разве хорошо вы со мною поступили?» «Вы прежде скажите мне, что дурного сделал я в отношении к вам?» — отвечал я и думал, что он войдет в объяснения относительно своего отстранения от кафедры; но какие же обвинения я вдруг услышал: «Вы мне привезли экземпляр своей диссертации без всякой надписи, тогда как я видел, что другим вы надписали, — какому-нибудь Ефремову, и тому надписали». «Но видели ли вы экземпляры моей диссертации у членов факультета? — спросил я. — Ни у одного из них вы не найдете с надписью, ибо надписывать я имел право только тем, кому дарил, кому мог дать и не дать, тогда как лицам официальным, каковы члены факультета, я обязан был дать экземпляр; они получили экземпляры, так сказать, казенные, а не от меня в дар; вас я причисляю также к лицам официальным, ибо вы были экзаменатором, но скажу прямо: конечно, вы получили бы экземпляр с надписью, очень для вас лестною, если бы не так поступили со мной, если бы черная кошка между нас не пробежала». «А это хорошо с вашей стороны, — продолжал Погодин, — начать первую лекцию и не сказать ни слова обо мне, вашем предшественнике?» «Ре-

шительно в голову не пришло», — отвечал я. Действительно, в голову не пришло, а если бы пришло, то я очутился бы в крайнем затруднении: что я мог сказать хорошего о Погодине как о профессоре? Такие пустяки выставил против меня Погодин; относительно же первого дела, именно столкновения по кафедре, он не вдавался в подробности, сказал только: «Отец у вас священник, он должен был бы показать вам, как дурно вы со мною поступили». «О, что касается до моего отца, — отвечал я, — то, конечно, он сердился на вас гораздо больше, чем я сам: старик дождался единственного сына из-за границы, открылась возможность, чтоб этот сын остался при нем в Москве, на почетном и обеспечивающем месте, и вдруг он слышит — вы, старый и не нуждающийся больше ни в каком месте человек, перебиваете место у его сына!..» Покричавши таким образом несколько времени, мы расстались, впрочем, без горечи, и я продолжал иногда бывать у него.

Летом я нанял дачу в Давыдкове, чтоб быть поближе к Кунцеву, где жил Строганов, сыну которого я продолжал давать уроки. Лето провел я тихо, хорошо, обрабатывал окончательно докторскую диссертацию, будущее улыбалось, но в конце дачной жизни, в августе, неприятно поразила меня знаменитая крыловская история.

XIV

Я упоминал о Крылове. Это был человек с большими способностями, с головою необыкновенно светлою, с блистательным даром изложения, художественного, пластичного, с оригинальностью, странностью в речи, которая нисколько не вредила, однако, благоприятному впечатлению, ею производимому. Но Крылов служил ясным доказательством тому, как мало значат, как бесплодны умственные способности без основы нравственной. Это был человек, чистый от всяких убеждений, нравственных и научных, ибо способность иметь последние показывает также нравственные требования в человеке, вступившем в ученое сословие. Как человеку с блестящими способностями школьная наука, разумеется, далась ему; как отличный ученик духовной академии, он был отправлен к Сперанскому во II отделение, потом за границу, помещен профессором в Москву совершенно без

спроса с внутренним призыванием; да если б спрос и был сделан, то ответа не последовало бы, ибо ни к чему призывания не было. Крылов был сделан профессором римского права, очаровал слушателей блестящим изложением писаного разума, но, не имея никакого влечения к науке, он за нею не следил, чем объясняются те грубые ошибки, которые он позволил себе позже, в 1857 г., когда ученая Немезида устремила его на литературное поприще. Странно было слушать этого человека: какая-то великолепная логическая машина, мысль с мыслью цепляются, излагаются в блестящей форме, но жизни, духа, внутренней, теплой связи нет, — цепляются мысли друг с другом чисто внешним образом; впечатление, производимое разговаривающим Крыловым, было совершенно тождественно с впечатлением, производимым музыкальною машиною, разыгрывающею произведения великих мастеров: хорошо, но жизни нет; неодушевленные существа играют. Но разумеется, подметить скоро этот характер речи Крылова было нелегко, и потому Крылов очаровал своих товарищей, которые вместе с ним поместились в Московском университете, очаровал Строганова.

Когда я приехал в университет и определился в нем, Крылов был деканом юридического факультета, слыл за самого умного, распорядительного профессора, был вместе с Грановским столпом западной партии в университете, особенно по смерти Крюкова, последовавшей весною 1845 года. Не имея никакой нравственной основы, Крылов, разумеется, способен был на всякое безнравственное дело. Так, сделавшись деканом, пользуясь огромным авторитетом, Крылов начал брать взятки, о чем пронесся слух по Москве; приятели его, члены одного кружка, были так пристрастны, что не поверили им или притворились неверившими. Так, когда я приехал в Москву из-за границы и свиделся с госпожою Благовою, у которой я прежде учил сына и по приезде стал доканчивать приготовление его в университет, то она прямо сказала мне, что для беспрепятственного помещения ее сына в студенты надобно дать взятку, именно, декану Крылову; я начал возражать ей с сердцем, что этого быть не может в университете, но она отвечала мне, что это дело слишком хорошо известно. Вступивши в университет, я пришел как-то к Грановскому посоветоваться с ним о разных делах. Грановский ска-

зал мне: «Я бы посоветовал вам съездить к Крылову». «Тимофей Николаевич, — отвечал я, — об нем идут дурные слухи: говорят, что он взяточник». «Это вздор», — сказал мне Грановский, и я обрадовался этому возражению, и поехал к Крылову, и ездил к нему в продолжение зимы довольно часто; кажется, по средам каждую неделю у него бывали вечера, на которых было довольно весело. Крылов года два перед тем женился на прехорошенькой женщине, одной из многих девиц Корш. Семейство это было еврейского происхождения, что сильно отражалось в чертах лица мужчин и женщин; на младшей сестре женился Кавелин, на третьей ловили меня, но, на мое счастье, эта третья была хуже всех сестер, глупа, с претензиями и заика, — очаровать, следовательно, меня было нечем. Из многих братьев этих многих сестриц Корш самый замечательный был Евгений: редактор «Московских ведомостей» в описываемое время, человек необыкновенно остроумный, с громадной начитанностью, пресимпатичная натура, хотя ленивая, чересчур мягкая, как улитка, скрывающаяся в свою раковину при всяком столкновении, требующем хотя сколько-нибудь энергии, твердости; он был приятель Грановскому, один из самых видных членов в западном кружке.

И вот Крылов женился на его сестре; между Вулканом и Венерой, конечно, не было большей противоположности, чем у Крылова с его супругою: она, как я уже сказал, прехорошенькая, даже красавица, с глазами восхитительными, он — маленький человек с самыми неприятными, отталкивающими чертами лица, с глазами, обыкновенно имеющими какое-то ядовитое, хищное выражение. Но одно наружное безобразие — это бы еще ничего, иногда женщины не обращают на него внимания, но Крылов, опять вследствие отсутствия всякого нравственного начала, несмотря на свой ум и на то гуманное общество, в котором находился, не умел стереть с себя нисколько деревенской и семинарской грязи, являлся олицетворенною грубостью, грязью, особенно там, где ему не нужно было себя сдерживать внешними отношениями, т. е. дома, когда он был в халате, — внутреннего же стеснения перед женою, как перед женщиною, он не знал; ласки его были возмутительны, а когда он был не в духе, то цинизм в присутствии жены доходил до невообразимой степени, — он не удерживался от площадной брани, от самых неделикатных упре-

ков. Молодая женщина долго терпела; наконец в августе 1846 года на даче в Ивановке произошла сцена, которая переполнила чашу: при содействии младшего брата своего, студента Валентина Корша, она бежала от мужа к сестре своей Кавелиной и объявила родственникам и приятелям о поведении Крылова относительно ее, представила несомненные доказательства его взяточничества. Кавелин, Корш, Грановский, Редкин и весь западный кружок вооружились и объявили, что если Крылов останется в университете, то они выйдут из службы, ибо со взяточником, позорящим профессорское звание, они служить не хотят.

Попечителя Строганова в это время не было в Москве; приехавши в Москву и узнавши дело, он сильно рассердился: скандал в Московском университете, гадкая история между людьми, которых он уважал, которыми он гордился, хвастался, торжество ненавидимых славянофилов, которые возликовали от скандала между западниками, — все это его очень раздосадовало, и он прежде всего высказал свою досаду против Кавелина с товарищи, приписывая им по крайней мере необдуманность, ребячество, ибо самолюбие заставляло его сначала не верить тому, что они говорили против Крылова, которого он облек полною своею доверенностью. Но потом, благодаря особенно помощнику своему Голохвастову, который знал все очень хорошо, он убедился в справедливости обвинений на Крылова во взяточничестве и повернулся к нему спиною, но все это дело продолжалось целый год, до самого выхода Строганова в ноябре 1847 года. Что же делал в это время Крылов? Он выказал всю мелочность и грязность своей душонки: сначала был ошеломлен, впал в отчаяние, перестал ходить на лекции, потом начал подличать, доносить на своих товарищей, что они безбожники, развратники и проч., рассказывать то же самое про свою жену и ее братьев; ездил с этими доносами к Филарету, перекинулся к Погодину, притворился православным русским человеком; здесь уже было положено начало его славянофильству, т. е. сближению с славянофилами, хотя в это время он сблизился, собственно, только с Погодиным, ибо другие славянофилы, ходившие тогда еще в белых перчатках, отворачивались от него вследствие обвинений во взяточничестве, тут же повернул к востоку и Лешков.

Лешков, воспитанник педагогического института и посланный за границу, назначен был в Московский университет по кафедре народного права и приехал позднее, чем первая партия заграничных, т. е. Крылов, Редкин, Крюков и другие. Это был человек трудолюбивый, но бездарный и тупой. Он прицепился к кругу заграничников, западников, отдался в услужение Крылову, который за верную службу стал двигать его вперед, смеясь, впрочем, в глаза и за глаза над его тупоумием; он, благодаря могуществу своей партии и Строганову, очень скоро выдвинул его в ординарные профессора, с нарушением права других. Лешков остался ему за это благодарен, и когда случилась описанная история, то он один из профессоров юридического факультета принял явно его сторону; из других факультетов сторону Крылова взяли: из математического Спасский, из медицинского Иноземцев, Варвинский, Глебов, все, кроме последнего, люди ограниченные, хотя Иноземцев и Варвинский, не знаю как, были звездами первой величины на медицинском небе.

Так знаменовался 1846—1847 академический год для университета распадением западной партии профессоров. Мне и Чивилеву, с которым я в это время очень сблизился, было это крайне неприятно. До сих пор западная партия в университете, т. е. партия профессоров, получивших воспитание в западных университетах, была господствующею. Партия была обширна, в ней было много оттенков, поэтому в ней было широко и привольно; я, Чивилев, Грановский, Кавелин принадлежали к одной партии, несмотря на то что между нами была большая разница: я, например, был человек религиозный, с христианскими убеждениями; Грановский остановился в раздумье относительно религиозного вопроса; Чивилев был очень осторожен — только после я узнал, что он не верил ни во что; Кавелин — также, и не скрывал этого; по политическим убеждениям Грановский был очень близок ко мне, т. е. очень умерен, так что приятели менее умеренные называли его приверженцем прусской ученой монархии; Кавелин же, как человек страшно увлекающийся, не робел ни перед какою крайностью в социальных преобразованиях, ни перед самым даже коммунизмом, подобно приятелю их общему, знаменитому Герцену. С последним я не был знаком по домам, видел его у Грановского и в дру-

гих собраниях; я любил его слушать, ибо остроумие у этого человека было блестящее и неистощимое, но меня постоянно отталкивала от него эта резкость в высказывании собственных убеждений, неделикатность относительно чужих убеждений; так, например, он очень хорошо знал о моих религиозно-христианских убеждениях и, несмотря на то, не только не удерживался при мне от кощунств, но иногда и прямо обращался с ними ко мне; нетерпимость была страшная в этом человеке. Противоположность в этом отношении представлял Грановский, в высшей степени деликатный относительно религиозных убеждений: он не только никогда не отзывался резко при мне о христианстве, но, оставаясь со мною наедине, особенно впоследствии, любил заводить со мною разговоры о христианстве, высказывая к нему самую сильную симпатию, проговаривался о зависти, которую чувствовал к людям верующим. Кавелин также не церемонился со мною относительно выходов против религии, но у Кавелина это меня не оскорбляло по короткости наших отношений; мы с ним спорили в потасовку и потом упивались развитием наших сходных научных взглядов. Таким образом, в так называемой западной профессорской партии было много оттенков, но эти оттенки уживались в ней мирно, единство преобладало, все стояли друг за друга горой. Но после крыловской истории отношения переменились; вражда, нарушив единство, вывела наружу оттенки, резко определила их внутри и вне. Если, как я уже сказал, Кавелин, Грановский, Редкин, Корш называли Крылова подлецом, взяточником, то Крылов с товарищи не щадил для них названия безбожников, коммунистов. Наше положение было крайне затруднительное.

Между тем в конце 1846 года я сблизился с славянофилами. Я уже упоминал, что во время моего студенчества и в первый год пребывания за границу я был жарким славянофилом, но потом все больше и больше занятия историею, и особенно русскою, дали мне возможность приобрести правильный взгляд на отношения между древнею и новою Россиею; благодаря науке и умеренности моего характера я не увлекся: признав необходимость Петровского периода, признав его закономерность, правильность истечения его из предшествовавших условий русского общества, я сохранил от прежних моих любимых занятий древнею русскою исто-

рию, от прежнего славянофильства всю теплую симпатию к древней Руси, к ее лучшим людям. Эта теплота высказывалась в моих лекциях, в моих статьях, чего славянофилы не могли не заметить, особенно в противоположность с выходками Кавелина и других крайних западников против древней Руси. По приезде моем из-за границы я видался с тремя славянофилами — Александром Поповым, Пановым и Валугевым. С первым, как уже было сказано, я познакомился в Берлине, потом встречал в Мюнхене и Париже. По возвращении я нашел его в Москве в одинаковом со мною положении, т. е. добывающимся кафедры в Московском университете по юридическому факультету. Это был тогда человек с большими способностями, преимущественно на словах, бойкий, смелый, иногда дерзкий говорун, малоспособный к труду; отсюда, блестящий на словах, он оказывался чрезвычайно слабым на деле; слушая его, всякий должен был сказать: какие блестящие способности у этого человека! А прочтя его статью, всякий должен был пожать плечами. Юридический факультет, сплошно составленный из западников, никак не хотел пускать к себе Попова — и имел на то полное основание, хотя славянофилы и провозглашали, что это — великий философ. По выслушании его пробной лекции факультет объявил, что лекция слаба; Попов напечатал ее в «Москвитянине»; критика согласилась с факультетом. Тогда Хомяков через Веневитинова рекомендовал его Блудову, который и поместил его во II отделении собственной е[го] и [мператорского] в [еличества] канцелярии. И здесь Попов оказался таким же, каким был известен и в Москве.

Панов был совершенная противоположность Попову. Это был человек умный, распорядительный, несколько не даровитый, до крайности неказистый, вялый, насилу вытаскивающий слова изо рта, но святой человек: окруженный самолюбцами, он отличался отсутствием самолюбия, скромностью необыкновенною, но где приходилось работать, работал за всех.

Валугева я знал еще во время студенчества, он был курсом старше меня: живой, красивенький мальчик, без устали бегавший по лекциям не только своего, но и юридического факультета, нахватывающий отовсюду знания, с подозрительным румянцем на щеках; потом я встретился с ним мельком в

Париже; когда же я возвратился в Москву, то чахотка уже разрушала его; несмотря на то, он работал над изданием памятников древней русской истории и особенно над разработкою местничества; плодом этого труда был «Симбирский сборник»; вскоре отправили его вторично за границу, но он в Новгороде умер. Валуев и Панов (который также скоро умер, в 1849 или 1850 году) были лучшие из славянофилов в нравственном отношении. Обращусь к другим, которые остались жить и действовать. Хомяков — низенький, сутуловатый, черный человек с длинными черными косматыми волосами, с цыганскою физиономиею, с дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою уверткою, ни перед какою ложью: выдумать факт, процитировать место писателя, которого никогда не было, — Хомяков и на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей. Понятно, что в нашем зеленом обществе, не имевшем средств оценить истинного знания, добросовестности и скромности, с последним неразлучных, Хомяков прослыл гением; это вздуло его самолюбие, сделало раздражительным, неуступчивым, завистливым, злым.

После Хомякова самое видное место в славянофильском кружке занимали Аксаковы. Старик Сергей Тимофеевич — в молодости театрал, игрок, клубист, легонький литератор, переводчик, стихоплет; в старости, когда я с ним познакомился, человек больной, никуда уже не выезжавший, умный, практический, хитрый, с убеждениями ультразападными, чего при случае и не скрывал, а между тем очень легко прилаживался к славянофильскому кружку, где ему было очищено почетное место, первый готовый подтрунить над сыновьями, над их славянофильством и в то же время считавший славянофильство своим родным, семейным делом, делом священным и неприкосновенным. Жена его Ольга Семеновна — старуха добрая до тех пор, пока дело не шло о ее сыновьях, о их мнениях, о их кружке, но, если бы кто вздумал задеть их, Ольга Семеновна превращалась в фурию, и только окрик мужа, наследника «багровщины», заставлял ее умерять свои неуместные порывы. Старший сын этой четы, Константин, достойный прозвища Багрова, — человек, могущий играть большую

роль при народных движениях и в гостиных зеленого русско-го общества, со львиною физиономиею, силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарований, но тупоумный; последнее можно было бы легко сносить за открытость, добродушие, наивность, но что делало его нестерпимым, так это крайнее самолюбие и упорство в мнениях, для поддержания которых он средств не разбирал. В Хомякове эта неразборчивость смягчалась шутливостью, которая мешала противнику его раздражаться, но спорить с Аксаковым было глупо и вредно для здоровья; правда, Аксаков не позволял себе выдумывать фактов, но зато никакая самая чудовищная натяжка его не останавливала, и это, разумеется, раздражало гораздо больше, чем всякая выдумка, ибо против последней легкое средство — сказать и доказать, что нет ничего подобного, но против способности перевернуть всякое слово и событие в свою пользу — где средство?

К. Аксаков когда-то хорошо учился в Московском университете, когда именно нечему было в нем учиться и ученик, т. е. студент, кончал курс университетский лет шестнадцати; он считал себя знатоком русской истории, потому что прочел Румянцевское собрание грамот и несколько томов изданий Археографической комиссии; для подкрепления своих любимых мыслей он брал наскоком в древней русской истории несколько явлений, но у него никогда не доставало ни времени, ни духу проследить русскую историю хотя бы и не по источникам; Карамзина он не читал, из моей истории прочел первый том, когда писал свою статью против родового быта, а потом начал читать с VI тома, когда в славянском совете ему поручено написать разбор моей истории для «Русской беседы»: это он мне сам сказал откровенно; о новой русской истории, с XVIII века, не имел никакого понятия, об истории западных и славянских народов — также. Считал он себя и филологом, но филологи отзывались об его занятиях очень неудовлетворительно. Что же делал этот человек всю свою жизнь? Летом в деревне сидел у пруда с удочкой; зимой в Москве с утра до вечера разъезжал по гостям или принимал у себя гостей: Аксаковы жили очень открыто, хлебосольно, всегда можно было у них застать кого-нибудь, всегда кто-нибудь обедал. Второй сын Аксаковых, Григорий, служил в губернии, не был ничем замечателен;

третий, Иван, воспитанник Училища правоведения, — человек с поэтическим дарованием, умнее брата, но никак не ученее. Сначала могло казаться, что из него будет путь, что он успеет избежать крайностей своей партии. Но он скоро бросил службу, и отсутствие крепкого научного образования, с одной стороны, и практической деятельности — с другой, выставили и его на жертву этим крайностям. Кроме сыновей у Аксаковых было еще пять дочерей, очень некрасивых, непривлекательных. Старшая, Вера, отказавшись от надежды на замужество, начала играть роль в славянофильской гостининой. После одна из них сумела выйти замуж; три умерли одна за другой в короткое время.

Товарищ К. Аксакова по университету и приятель его Юрий Самарин, человек замечательно умный, но холодный, несимпатичный господин, сделался сначала славянофилом по недостатку ученого образования, особенно в истории, потом укрепился в славянофильстве по самолюбию; он имел на это некоторое право: в начале службы своей у лифляндского г[енерал]-губернатора Суворова он перенес свои убеждения на практическую почву, стал держать оппозицию Суворову за преданность последнего немецким интересам, написал и распустил против Суворова письмо, за что был посажен в крепость, потом послан в Киев на службу и тут окончил свое служебное поприще; понятно, что он озлобился, и, когда после другие члены кружка освежались надеждою на лучшее будущее, Самарин оставался пессимистом.

Наконец, в славянофильском кружке изредка появлялись два человека, которые считались также коноводами: это два брата Киреевские — Петр и Иван. Петр — доброе, кроткое, симпатичное существо — напоминал мне добродушных чешских властенцев; он был очень трудолюбив, много читал, но не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь — порок, которым страдали все эти люди вообще, — в Петре Киреевском доходил до невероятных размеров; вобрать в себя, начитаться, послушаться, наглядеться — это было его дело, но самому что-нибудь написать, сделать — для этого нужны были усилия необычайные.

Брат его Иван Киреевский — человек даровитый, крайний западник вначале, потом круто повернувший в против-

ную сторону вследствие перемены религиозных убеждений. Его славянофильство ограничивалось сферою философскою и религиозною. Как прозелит относительно христианских убеждений, он враждебно стал смотреть на нерелигиозное движение мысли в просвещенном человечестве, вывел, что такое движение коренится в свойстве западных народов, в их церковных условиях и что соглашение мысли с чувством должно произойти у народов, к восточной Церкви принадлежащих; как это должно произойти, этого уяснить для себя он не мог и потому должен был ограничиться одною скудною отрицательною деятельностью, вооружаться против западной философии, толковать о возможности православной философии.

К этим — не скажу мыслителям, но мечтателям, поэтам и дилетантам науки, из которых по большей части слагался славянофильский кружок, — присоединялся человек с противоположною натурою, человек практический, мастер обсуживать предметы осязательные, но становившийся совершенным дураком, когда предмет поднимался в высшую сферу: то был Кошелев. Кошелев благую часть избрал в мирском земном смысле: отказался от служебного движения, от служебных почестей, чтоб приобрести состояние, и приобрел большое посредством откупов и еще кое-каких сделок, как говорят, вовсе не чистых; рассказывали, что в одну прекрасную ночь он подбегал беспрестанно к зеркалу, чтоб смотреть, не поседел ли он от мучительного беспокойства, ибо дела по откупам пошли так дурно, что грозило разоренье круглое; наконец он решился на дело нечистое, на смешение воды с вином, что ли, и этим спас себя; рассказывали также, что он выгодно купил большое имение, подкупивши управителя, который доносил барину, что имение никуда не годится, что его следует продать, хотя и за бесценок. Разумеется, все это рассказывалось не в славянофильском кружке. Наживши большое состояние, надворный советник Кошелев, полный еще сил, мужик и горлан, захотел играть роль передового человека в обществе; он бросился в оппозицию, примкнул к славянофилам и стал для них чрезвычайно полезен денежными средствами. Обращение его в славянофилы происходило постепенно на моих глазах. Сначала он хотел играть роль примирителя, срединного человека, приглашал к себе

на богатые обеды и ужины людей из обеих партий — Грановского и Аксакова — и рассаживал их по концам стола, сам садился посередине и подле себя сажал меня и других средних, умеренных, к которым думал принадлежать, но недолго продержался он на середине и хватил в самую сильную крайность — начал строго соблюдать посты, с одной стороны, с другой — отрастил бороду и надел армяк, нарядил в какой-то шутовской, будто бы старинный русский, костюм и жену свою, отличавшуюся глупостью.

XV

Вот и все действующие или действительные славянофилы, не перечисляя страдательных, которых обязанность состояла съезжаться в собрания кружка, слушать и восхищаться Хомяковым с товарищи. Я в этом кругу не бывал, как сказано уже, до конца 1846 года, несмотря на знакомство с отдельными его членами — Поповым, Валуевым, Пановым. Впервые я увидел круг в сборе на вечерах у Свербеевых. Свербеев Дмитрий Николаевич, служивший когда-то по дипломатической части, но давно в отставке, человек богатый, очень неглупый и образованный, любивший оригинальничать тем, что становился в оппозицию против порывов нашего зеленого общества, так склонного к порывам и способного доходить в них до смешного, — оппозицию, со стороны Свербеева законную и почтенную, если б он сумел не пересаливать; так, например, оппозиция была законна и почтенна, когда она направлялась действительно против смешных и более чем смешных порывов, но Свербеев позволял себе вооружаться и против таких порывов, которые были вполне законны. Вообще Свербеев был человек почтенный, очень мне нравившийся по умеренности, сдержанности, столь редкой в нашем обществе, хотя, как сказано, он и из этой умеренности любил делать парад. Жена его — в молодости очень привлекательная лицом, женщина крайне самолюбивая, любившая играть роль, окружать себя избранным обществом, особенно мужским; вот почему всякий сколько-нибудь замечательный человек приглашался к Свербеевым на вечера, которые поэтому в описываемое время были очень оживленны и приятны, — это была нейтральная почва для

западников и славянофилов. Тут увидал я последних во всей их красе и выводил их из терпения тем, что упорно молчал, когда они задирали меня, начиная споры о предметах, близких мне по занятиям.

Я слыл сначала западником. Сближение мое с славянофилами произошло таким образом: К. Аксаков писал тогда драму «Освобождение Москвы в 1612 году»; по обычаю, господствовавшему у славянофилов, она перед окончанием и напечатанием читалась в разных кружках; автору очень хотелось узнать мнение специалиста, и он затащил меня к себе; сочинение его, не удавшееся на сцене, было очень эффектно в чтении; я не мог не выразить сочувствия к сценам драмы, — это, разумеется, очень понравилось. Несколько дней спустя, по какому-то, не помню, случаю, я должен был писать к Аксакову и, для шутки, написал записку старым русским языком XVII века, никак не предполагая, чтобы шутка эта произвела такое впечатление: Аксаков просто сошел с ума от восторга, перенесшись моею запискою в древнюю Русь, и привязался ко мне страстно, не хотел слушать, когда ему замечали, что я — западник, познакомил меня с своим семейством. Умный старик мне понравился, и я стал бывать у них очень часто, ибо у них всегда было очень весело. Константин начал ходить ко мне на лекции, а я, как нарочно, читал тогда специальный курс истории смутного времени: самая живая эпоха в древней Руси читалась живо, с сочувствием, и это еще более воспламенило Аксакова.

Весною 1847 года, в Великий пост, Аксаков защищал диссертацию свою о Ломоносове; много было смеху, когда я, возражая ему, начал его упрекать в нелюбви к древней Руси; много было смеху, когда в тот же день после пира, данного новым магистром, я прочел написанное мною языком летописи сказание о том, как славяне, т. е. славянофилы, ездили жениться, по поводу помолвки Панова; чрез несколько дней явился новый источник смеха: я написал также языком летописи сказание о том, как Аксаков писал и защищал свою диссертацию. Жилось мне тогда весело; с обеих сторон, и с востока, и с запада, меня уважали, ласкали; фимиам, который мне воскурляли со всех сторон, мне очень нравился. В это время, именно Великим постом, я окончил печатание моей докторской диссертации «История отношений между

русскими князьями Рюрикова дома», и с субботы Фоминой недели начались мои экзамены, которые были совсем не похожи на магистерские; они были форменные; мне стоило только сказать экзаменаторам, близким теперь людям, приятелям, на какие вопросы я хочу отвечать. Строганов был опять в восторге, ибо Голохвастов сказал ему о моей книге: «Это такая книга, что по прочтении каждой страницы я мысленно с почтением кланяюсь автору».

В это же время Погодин вдруг разослал повестки по своим многочисленным знакомым, мужчинам и дамам, что он хочет прочесть пред публикою первые главы своей «Русской истории»; я получил также приглашение и нашел огромное стечение народа; автор прочел пред внимательным собранием напечатанные после в «Москвитянине» статьи об Олеге, Игоре, Ольге, Святославе и Владимире. Публика встала с своих мест, как говорится, «несолоно хлебавши»; самые преданные автору люди едва выпускали изо рта обычные комплименты. Некоторые имели неделикатность подходить ко мне и спрашивать моего мнения; я им ничего не отвечал и был в крайне затруднительном положении: ни хвалить, ни бранить я не мог. Погодин раза два подходил ко мне с странными словами: «Пожалуйста, будьте хозяином, распорядитесь насчет гостей!» Это еще более меня затруднило, и я ему не нашелся ничего отвечать, — должно быть, представлял в его глазах странную фигуру, ибо он смотрел на меня внимательно, подозрительно и угрюмо. Я скоро уехал. Понятно, что Погодин был раздражен, не мог не заметить холодности публики, был обманут в своем ожидании, ибо ждал взрывов восторга. Мое смущение и скорый отъезд должны были раздражать его; мое молчание, нежелание сказать ему ничего приятного, могло показаться ему крайне недоброжелательным; может быть, я в самом деле поступил невеликодушно; может быть, мне в самом деле нужно было переломить себя и сказать ему что-нибудь утешительное, быть с ним помягче, потеплее...

Не оправдываю себя, ибо не могу скрыть, что в душе моей было недоброжелательство к этому человеку. Никак не припомню, когда, прежде или после этого несчастного чтения, был я у Погодина и отвез ему свою докторскую диссертацию, взглянув на которую он сказал: «Вишь, какой блин испек!» По окончании студенческих экзаменов, в начале июня

1847 года, я защищал докторскую диссертацию так же славно и с честью, как прежнюю, магистерскую. Погодин не был на диспуте; Кавелин опять прогремел в «Отечественных записках» хвалу моей книге, а подробный разбор поместил после в «Современнике». Но это были уже последние улыбки людского расположения ко мне; начинались времена испытаний. Я жил тогда на даче, на дороге, ведущей из Петровского парка в Петровско-Разумовское. 1 июля с праздника, который обыкновенно бывал в этот день в парке, заехал ко мне Аполлон Григорьев и объявил, что в «Петербургских ведомостях» Ксенофонт Полевой написал бранный разбор моей книги: это была первая журнальная брань (если не считать бранчливой выходки Савельева-Ростиславича за мою рецензию венелинской «Скандинавомании», напечатанную в «Москвитяине» Погодиным в мое отсутствие за границу; Савельев назвал меня тут *пигмеем* в сравнении с Венелиным). Я не читал статейки Полевого не из презрения, ибо я еще тогда не был так равнодушен к журнальной брани, как после, когда она сыпалась на меня в презрительном количестве, но потому, что все внимание мое было поглощено выходкою Погодина, о которой я узнал 6 июля вечером от Ефремова. Я немедленно поехал с дачи в Москву, подписался на «Москвитянина» и написал в «Московских ведомостях» ответ Погодину. Что заставило последнего сделать против меня выходку — пусть это он сам объяснит в своих записках; я не хочу здесь (т. е. в записках моих) с ним судиться, тем более что публика произнесла суд свой, конечно, не в его пользу, хотя сначала и нашлись люди, которые взяли его сторону против меня: вдруг выросший из земли авторитет мой, хвалебные взгляды журналов возбудили неудовольствие в некоторых господах, менее счастливых в своей ученой карьере; знаменитый Мстиславский (см. «Москвитянин», 1847 года) выступил против меня печатно; были и другие Мстиславские, которые не печатались, но сильно голосили против меня, минуя правду моих научных мнений, толковали, что не годится мне вооружаться против учителя, что это неблагоприятно с моей стороны; сам Погодин голосил на все стороны о моей неблагодарности!!

Таким образом, я начал новый академический год с новым до тех пор для меня чувством — чувством оскорбленно-

го авторского самолюбия. В октябре я был обрадован утверждением меня экстраординарным профессором, но эта радость была непродолжительна. 24 ноября, в Екатеринин день, я провел вечер в доме будущей моей жены, мать которой была именинница; это было в понедельник, на другой день, во вторник, после лекций подошел ко мне молодой граф Строганов, студент (Григорий), и сказал мне, что отец его просит меня зайти к нему. Старик граф встретил меня словами: «Вы укоренились в университете, больше не нуждаетесь в моей помощи; я вышел в отставку». Удар был так неожидан, что отнял у меня способность почувствовать всю его силу. Вошел Попов, инспектор I гимназии (известный читателям записок как мой учитель): «Как, ваше сиятельство! Неужели правда, что оставляете нас?» «Правда, правда, — отвечал Строганов. — Теперь я уже вам не начальник, — продолжал он, — но не могу не заметить, что вы сделали нехорошо, введши золотую медаль и давши ее Васильчикову: что это за различия, отличия?» Попов стал оправдываться, но Строганов с ним не согласился и был вполне прав: золотая медаль сделана была для аристократа Васильчикова, которого всеми средствами тащили за уши и дотащили до первого места. Выпроводивши Попова, Строганов обратился ко мне и сказал: «Официальные отношения между нами кончились, должны начаться более тесные отношения». Сердце у меня начинало разрываться...

Служебные испытания мои начались: я лишился начальника, которого любил, в привязанности которого ко мне был уверен, следовательно, был вполне обеспечен с этой стороны. Удар был тем тяжелее, что был первый, падал на меня, неопытного, доверчивого к жизни молодого человека; это было сиротство, горькое сиротство. Удар был тем тяжелее, чем неожиданнее; хотя давно уже носились слухи об усилившейся борьбе между Уваровым и Строгановым, которая легко может повести к отставке последнего, но это были только слухи; неопытный, не привыкший еще ждать от жизни больше дурного, чем хорошего, я не верил им, ибо не веришь тому, чему не хочется верить. Усилению борьбы между министром и попечителем способствовал Давыдов, который окончил свою службу в университете и был переведен Уваровым в Петербург, на место директора Педагогического

института. Одним из самых приятных угодничеств, какое мог оказать Давыдов Уварову, это — ругать Строганова, и Давыдов не щадил этого угодничества тем более, что ненавидел Строганова; последний, получая из министерства неприятности в усиленном приеме, не выдержал и, не обратив внимания на характер самодержца, послал ему требование — или дать ему возможность действовать независимо от Уварова, чтоб принести всю пользу, или отпустить в отставку. Царь не соглашался ни на то, ни на другое, Строганов настоял на втором. Уваров и Давыдов торжествовали; в Москве все, что при Строганове было в черном теле, т. е. все черное, подняло головы; поднял голову Погодин, Перевощиков, Крылов с толпою своих бездарных сателлитов, Лешковым, Спасским. Перевощиков, узнав об отставке Строганова, напился пьян и перепоил своих сыновей; потом все эти господа на пиру у Иноземцева с бокалами в руках кричали «regeat» Строганову: они прежде этого не кричали, когда Строганов был в силе. Редкин, Кавелин, Грановский и Корш подали в отставку. Редкин, Кавелин и Корш получили ее и перебрались в Петербург. Грановский был задержан на том основании, что еще не выслужил срока за свою заграничную поездку на казенный счет. Попечителем был назначен Голохвастов, скоро оказавшийся вполне неспособным по мнительности, медленности: он только и делал, что рассуждал и ничего не разрешал; дела, самые необходимые по хозяйству, останавливались.

Приближались и ректорские выборы, ибо Альфонский, заступивший место Каченовского в 1842 году, оканчивал срок профессорской, а следовательно, и ректорской службы. Что касается лично до меня, то вначале назначение Голохвастова меня успокаивало, ибо я знал, что Голохвастов имеет ко мне слабость за мои сочинения, к тому же Строганов сохранял над ним сильное влияние. С другой стороны, в конце 1847 и начале 1848 года я имел сильное развлечение: 11 февраля 1848 года я женился. Но и медовый месяц был потревожен: не помню которого числа, после обеда тесть мой, в доме которого я жил после свадьбы, принес журнал с известиями о февральской революции; прочитавши известия, я сказал: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!» Сердце мое сжалось черным предчувствием.

Пророчество мое слишком оправдалось. Чтоб показать, почему оно оправдалось, нужно мне рассказать состояние русского общества под державою Николая I и характер сего державца. Известно, что добрый и благонамеренный Александр I подписал самодержавное: «*Быть по сему*» под манифестом, в котором в неопределенных выражениях приказывалось всем народам, кроме русского, быть свободными и счастливыми. Благословенный ждал благословений за свой подвиг и сильно оскорбился, когда увидел, что народы, вместо того чтоб довольствоваться манифестом, начали хлопотать об определении форм, под которыми они должны быть свободны и счастливы, и начали хлопотать об этом, не спросясь манифестодателей. Известно, в каком колеблющемся положении находилась Европа во время смерти Александровой; известно, каким несчастным событием в России сопровождалось восшествие на престол преемника Александра. Это событие — великой важности, ибо оно объясняет многое в жизни русского общества. Крайне небольшое число образованных, и то большею частью поверхностно, с постоянным обращением внимания на Запад, на чужое; все сочувствие — туда, к Западу, ибо там — жизнь, там — движение, там — деятельность, но все это сочувствие и должно было оставаться сочувствием только, единственным выражением которого было слово, и то не публичное, а домашнее, кабинетная или гостиная болтовня; у себя в России нет ничего, где бы можно было действовать тою действительностью, которую привыкли видеть на Западе, о которой привыкли читать и рассуждать. Отсюда — отрицательное отношение к своему, привычка к бесплодному порицанию, к бесплодному протесту, к бесплодной насмешке. Вот откуда насмешливость, сатирическое направление русского человека — жалкое, страшное настроение! Отсюда же этим образованным, мыслящим русским людям Россия представлялась «*tabulam rasam*», на которой можно было начертать все, что угодно, начертать обдуманное или даже еще не обдуманное в кабинете, в кружке, после обеда или ужина.

Движение в пользу народностей, происшедшее вследствие высокого развития западноевропейских обществ и

вызванное внешним материальным сжатием Наполеоновской системы, — это движение не могло не отозваться и у нас, русских, и у славян вообще и обнаружилось сначала, разумеется, младенческим лепетом еще у декабристов, но это был именно только младенческий лепет; славянского у декабристов было только незрелость, распушенность, рознь. Да не сочтет кто-либо слов моих словами укора: сохрани Боже! Грустный опыт, грустный взгляд на настоящее не позволяет мне укорять моих несчастных предшественников; прошло более тридцати лет после их попытки, и мы находимся (в 1858 г.) в совершенно таком же положении, как и они. Их участь поразительно сходна с участью последних из римлян; если бы им удалось их начальное дело, как удалось оно Бруту и Кассию, то следствия были бы одни и те же; будем утешать себя только тою мыслью, что дело римских заговорщиков было произведением обветшалости римского общества, дело же наших декабристов было произведением незрелости русского общества. Попытки не удались в самом начале; Цезарь восторжествовал, Бруты и Кассии погибли позорною смертью.

Но кто же был этот Цезарь? Это была воплощенная реакция всему, что шевелилось в Европе с конца прошлого века: на лице Николая всякий легко мог прочесть страшные «*мани, факел, фарес*» для России: «остановись, плесней, разрушайся!» Эта колоссальная фигура Николая олицетворяла в себе ту бездну материализма, которая ныне давит духовное развитие России в его царствование. Деспот по природе, имея инстинктивное отвращение от всякого движения, от всякого выражения индивидуальной свободы и самостоятельности, Николай любил только бездушное движение войсковых масс по команде. Это был страшный нивелировщик: все люди были пред ним равны, и он один имел право раздавать им по произволу способности, ум, все, что мы называем дарами Божиими; нужды нет, что в этом нечестивом посягновении на права Бога он беспрестанно ошибался: он не отставал до конца от своего взгляда и направления, до конца не переставал ненавидеть и гнать людей, выдававшихся из общего уровня по милости Божией, до конца не переставал окружать себя посредственностями и совершенными бездарностями, произведенными в великие люди по воле начальства, по милости императора. Не знаю, у какого дру-

того деспота в такой степени выражалась ненависть к личным достоинствам, природным и трудом приобретенным, как у Николая; он не желал, подобно известному безумному императору, чтоб народ имел одну голову, которую можно было бы отрубить одним ударом; он хотел бы другого — возможности одним ударом отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем. Приезжает он в одну губернию, кажется, Рязанскую; на представлении всех губернских властей председатель казенной палаты (Княжевич, если не ошибаюсь), выполняя инструкцию, выдвигается и подаст рапорт о финансах губернии; в ответ получает гневный, громовой взгляд и выговор: как смел это сделать! Как смел выдвинуться, выказаться, нарушить порядок, т. е. безжизненность, молчание! Несчастный председатель за точное исполнение инструкций ссылается в одну из отдаленнейших губерний. Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, оказывающего необыкновенные способности, следящего за современною войною, по своим соображениям верно предсказывающего исход событий; что же отвечает император? — Радуетя, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу отечества? Нисколько: нахмурившись, отвечает Николай: «Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!» С этими словами он берет за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам.

С[ен]-Симон, мастерски изображая в своих записках Людовика XIV, напоминает нам нашего Николая. С[ен]-Симон рассказывает, между прочим, как Людовик XIV питал отвращение к вельможам и умным людям за то, что они не от него получили свои права на отличия, но делал исключение для одного герцога и умного сведущего человека вместе; почему же делалось такое исключение? Потому что король замечал в герцоге, когда тот подходил к нему, трепет; этот страх нравился деспоту и заслужил его расположение.

Подобное же можно рассказать и о нашем Николае. Однажды перед дверями его кабинета собрались министры с портфелями, военный министр Чернышев и министр финансов Вронченко. Никак не думая, чтоб император сам вышел

из кабинета, и дожидаясь, пока их позовут, министры разговаривали, и Вронченко вынул табакерку; вдруг отворяется дверь кабинета, и Сам является пред изумленными взорами верных слуг своих; Вронченко в испуге роняет из рук табакерку и представляет пресмешную фигуру; Чернышев, как слуга более близкий и знатный, осмеливается улыбнуться при виде, как испугался слуга более мелкий, но господин замечает эту улыбку и обращает к Чернышеву грозную речь: «Чему тут улыбаться; это очень естественно! Граф Вронченко, войдите в кабинет!» Последние слова были знаком милости к Вронченко и опалы на Чернышева, потому что последний по своей службе, как военный министр, всегда входил первый.

В таком-то господине воплотилась реакция тому движению, которое знаменует русскую историю во все продолжение XVIII и в первую четверть XIX века. Начиная с Петра до Николая просвещение народа было целью правительства, все государи сознательно и бессознательно высказывали это; век с четвертью толковали только о благодетельных плодах просвещения, указывали на вредные следствия невежества в раскольниковстве, в суевериях. Самодержцы и самодержицы, разумеется, смотрели односторонне на дело, именно смотрели на него с одной материальной стороны: им нужно было просвещение для материальных успехов, для материальной силы; они покровительствовали просвещению, заводили академии и университеты, ласкали ученых и поэтов, давали права образованным молодым людям, преследовали невежество, ибо представителями последнего был для них буйный, строптивый раскольник, смотрящий на их герб, как на печать антихристову; представителем же просвещения был профессор, говорящий на актах похвальные слова им, или поэт, подносящий торжественную оду. Так, некоторые родители очень довольны просвещением и не жалеют денег для образования детей своих, когда эти дети ловко танцуют и возбуждают удивление родных и знакомых, лепечут на иностранных языках и в день именин подносят папаше и мамаше сочинение в стихах и прозе, где величают их виновниками своего блаженства и проч. Но ведь эти милые дети вырастают, и для пожилых родителей начинается горькое разочарование: милые дети начинают считать себя образо-

ваннее, умнее родителей, не хотят сообразоваться с их желаниями и обычаями, которые называют дикими, устарелыми, требуют себе самостоятельности, средств к свободной жизни; тут-то папаша и мамаша начинают горькие жалобы на просвещение, на молодых учителей-развратителей: воспитали, выучили детушек на свою голову, а теперь яйца и начали учить кур! То же самое случилось и с русскими благочестивейшими и самодержавнейшими папашами и мамашами. Уже мудрая мамаша Екатерина II, которая писала такие прекрасные правила для воспитания *граждан*, на старости лет заметила вредные следствия своих уроков и сильно гневалась на непокорных детей, заразившихся правилами так любимых ею прежде учителей. Благодушный Александр I всю свою жизнь тосковал и жаловался на непокорность и неблагодарность детей, о благе которых он так заботился и даже хотел их выпустить на волю — под надзором Аракчеева. Но Николай I не имел такого благодушия. Он инстинктивно ненавидел просвещение как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное: «не *рассуждать!*» При самом вступлении его на престол враждебно встретили его на площади люди, и эти люди принадлежали к самым просвещенным и даровитым, они все думали, рассуждали, критиковали, и следствием этого было 14 декабря.

По воцарении Николая просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства; университеты подверглись опале; Россия предана была в жертву преторианцам; военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь способности, знания, опытность в делах — на это не обращалось никакого внимания. Фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарилось невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки. Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Вся Россия 30 лет была на смотре у державного фельдфебеля. Все делалось напоказ, для того чтоб державный приехал, взглянул и сказал: «Хорошо! Все в порядке!» Отсюда все потянулось напоказ, во внешность, и внутреннее развитие

остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на больших дорогах — и здесь было все хорошо, все в порядке; а что дальше — туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, выложено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем, в[аше] и[мператорское] в[еличество]!» Больше ничего не спрашивалось. Терпелись эти заведения скрепя сердце, для формы, напоказ, чтобы-де иностранцы видели, что и у нас есть училища, что и мы — народ образованный.

Впрочем, до последнего времени, до 1848 года, явного гонения на просвещение не было. Тяжелая рука лежала на нем, враждебное начало проводилось в системе государственного управления, все чувствовали, понимали, что государь до просвещения не охотник, но он ограничивался еще только отрицательными действиями. Николай Павлович покровительство изволил оказывать просвещению: но какую цену было куплено это покровительство? Министр Уваров имел способность уверять его, что воспитывается новое поколение монархически мыслящих людей, которые посредством науки доходят до убеждения в необходимости и превосходстве порядка вещей, желаемого его величеством, что великое царствование его служит новою эпохою в истории человеческого и русского просвещения, в основании которого легли православие, самодержавие и народность. Лесть ловкого, умного лакея нравилась барину: отчего же к славе великого законодателя, политика, правителя не присоединить и славу покровителя просвещения, просвещения истинного, могущего упрочить *спокойствие* народа! И вот лакей ловкою лестью выманивал от времени до времени разные льготы и хорошие вещи, как, напр[имер], археографическую комиссию. К этому времени принадлежит и попечительство Строганова в Московском округе с сильным развитием серьезного, научного движения. Но свистнул свисток на Западе, и декорация переменилась на Востоке: февральская революция отозвалась совсем печальным образом на России. Повелитель перепугался, перепугался самым глупым образом, как только он один мог перепугаться. Николай, начальник петербургских казарм, вовсе не знавший России, перепугался; перепугалась его глупая жена, перепугались все

его унтер-фельдфебели от той же самой причины и глупости, по невежеству вообще и незнанию России в особенности. Думали, что и у нас сейчас же вспыхнет революция. Рассказывали, что императрица, возвратившись с прогулки по петербургским улицам, с удовольствием говорила: «Кланяются! Кланяются!» Она думала, что петербургские чиновники вследствие изгнания Людовика Филиппа перестанут снимать шляпы пред особами императорской фамилии. Но Петербурга еще не так боялись, боялись особенно Москвы; с часу на час ждали известий о московской революции. Но все было тихо; опомнились, посмеялись над страхом своим и поблагодарили русский народ доверенностью за преданность и усердие? Ничуть не бывало! Тут-то Николай и его креатуры показали всю мелочность и гадость своей натуры; они озлобились, начали мстить за свой страх, обрадовались, что в событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза. Николай не стал скрывать своей ненависти к профессорам, этим товарищам-соумышленникам членов французского собрания: «А эти — хорошо себя ведут?» — спрашивал он у харьковского попечителя, указывая на профессоров при представлении университета.

Вздорный брат его Михаил воспользовался случаем, чтоб излить свою ненависть к просвещению; редактор «Отечественных записок» Краевский был инспектором классов в Павловском корпусе, следовательно, под начальством Михаила; Краевский был смнен, но этого мало: Михаил призвал его к себе, чтоб объявить, что он его выгоняет, выгоняет как литератора, как редактора журнала, и сказал ему, что он глубоко презирает литературу и литераторов. Это был стрелецкий бунт своего рода; грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных. Время с 48-го по 55-й год было похоже на первые времена Римской империи, когда безумные цезари, опираясь на преторианцев и чернь, давили все лучшее, все духовно развитое в Риме. Начали прямо развращать молодых людей, отвлекать их от серьезных занятий, внушать, чтоб они поменьше думали, побольше развлекались, побольше наслаждались жизнью: такие внушения делал глупый принц

Ольденбургский воспитанникам Училища правоведения; то же толковалось в университетах. Принялись за литературу; начались цензурные оргии, рассказам о которых не поверят не пережившие это постыдное время; говорю. — постыдное, ибо оно показало вполне, какие слабые результаты имела действительность XVIII и первой четверти XIX века, как слабо было просвещение в России; стоило только Николаю с товарищи немножко потерять лоск с русских людей — и сейчас же оказались татары. Цензуру отняли у профессоров и отдали в руки шайке людей, занимавшихся направлением литературы из-за хорошего жалованья, которого они лишались, если пропускали что-нибудь могущее быть заподозрено, и оставались покойны, если марали. И вот на суд невежды поступает книга или статья, в которой он ничего не смыслит; читает он, спеша на обед или на карты, и все, что кажется ему подозрительным, марает безответственно; кажутся ему подозрительными, недозволенными факты, давно уже известные из учебников, и он марает их, ибо давно уже позабыл учебник, если когда-либо и держал его в руках, — марает или даже еще переделывает сам, выдумывает небывальщину; в романах и повестях нельзя было выставлять лиц так называемых высших сословий.

Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать возвращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось. Лень, стремление получать как можно больше, делая как можно меньше, стремление делать все кое-как, на шерамыгу, — все эти стремления, так свойственные нашему народу вследствие неразвитости его, начали усваиваться, поощряемые развращающим правительством; гимназии упали; университеты упали вследствие падения гимназий, ибо в них начали поступать вместо студентов все недоученные школьники, отученные в гимназиях от серьезного труда, стремящиеся хватать вершки и заноситься, ищущие на профессорской лекции легкого развлечения, а не умственной пищи, для переварения которой нужно собственное большое усилие. Таким образом, невежественное правительство, считая просвещение опасным и сжимая его, испортило целое поколение, сделало из него не покорных слуг себе, но вздорную толпу ленивцев, не способных к серьезному,

усиленному занятию ничем, совершенно не способных к зиждательной деятельности и, следовательно, способных к деятельности отрицательной как самой легкой. Мальчик, отученный еще в гимназии от серьезного труда, чрез это вовсе не становился на точку зрения правительства; он сохранил и развил в себе все либеральные замашки; он только привык отрицательно относиться ко всему, и прежде всего, разумеется, к правительству.

Разврат состоял в том, что всякая правительственная дисциплина исчезла; мальчик, повинуясь внешним образом, привыкал презирать и смеяться над начальниками своими, в которых не мог не видеть людей, совершенно не способных быть начальниками учебных заведений. С другой стороны, уважение к лучшим, просвещеннейшим людям не могло исчезнуть, а эти люди, вследствие обращения правительства к ним спиною, естественно, стали в оппозицию, начали роптать, — и вот во всех кругах, в которых еще оставался интерес к общественным вопросам, только и слышались с утра до вечера жалобы, порицания, насмешки над мерами, действиями правительства; а молодое поколение, прикосновенное к этим кружкам, привыкало к такому прекрасному занятию; обрадовались люди — не думая, ругать все правительственное. Правительство, по безумию и невежеству своему, сделало страшную ошибку: если оно считало себя вправе заподозрить профессоров, то оно должно было прогнать их всех и набрать новых, которым верило, или если не могло это сделать, то должно было оказывать профессорам полное доверие, поддерживать их, осыпать милостями; вместо того что же оно сделало? Оно наложило на них опалу, подвергло глупому, ни к чему не ведущему полицейскому надзору, сжало их литературную деятельность, раздражило, сделало их заклятыми своими врагами и оставило их на местах, на которых они, несмотря на все глупые, мелкие полицейские меры, могли вполне высказывать свою враждебность к правительству и воспитывать в ней молодое поколение. «Вот тебе наставник! — говорило правительство молодому человеку. — Записывай и учи его уроки, но это человек опасный и мне противный, я ему не верю, за ним наблюдают ректор и декан, чтоб он не сказал тебе чего-нибудь дурного про меня». Как будто ректор или декан могли

усмотреть за мастером науки, чтоб он не провел перед слушателями своего взгляда; и если бы даже они могли воспрепятствовать ему в этом на лекции, то как могли воспрепятствовать ему дома, в кабинетной беседе со студентами? Между молодыми людьми укоренилось мнение, что университет пропитан либеральным духом, что надобно либеральничать, чтобы понравиться профессорам; молодежь с любопытством, ей врожденным, стремилась в университет, чтоб вкусить запрещенного плода, послушать свободных мнений; ум их был так настроен, что они в самой обыкновенной фразе профессора старались видеть какой-нибудь намек. «Какое множество у вас слушателей! — сказал я однажды Каткову, выходявшему с лекции. — Приятно видеть такое сочувствие к философским лекциям». «Что тут приятного? — отвечал мне с сердцем Катков. — Вся эта толпа ничего не понимает из моих лекций, а ждет, не ругну ли я Бога».

Таковы были общие явления в народной нравственной жизни в несчастную эпоху от 1848 до 1855 года. Обращусь к явлениям частным, мне близким.

XVII

Первою неприятностью для нас в университете была перемена ректора. Прежний ректор Альфонский дослужил (в 1847 г.) свой срок, и вот антистрогановская, черная партия, которая стала называть себя уваровскою, начала выдвигать своего кандидата, Перевощикова, человека черного, грубого, взяточника, доносчика. Строганов не терпел его за черноту, но держал как хорошего профессора; видя нерасположение Строганова, Перевощиков, вместе с Давыдовым, Погодиным и Шевыревым, подлез к Уварову; теперь он торжествовал с выходом Строганова и стремился в ректоры, чтобы удобнее было брать взятки. Мы, разумеется, противились избранию Перевощикова всеми силами, но нас было мало; мы опирались на то, что Перевощикова нельзя выбирать, ему остается до заслуженного профессора гораздо менее четырех лет, на которые выбирается ректор, но большинство выбрало Перевощикова; относительно же незаконности выбора написали в протоколе, что совет просит министра утвердить избранного и мимо законности, но совет никогда

не думал просить, и мы протестовали против этой статьи в протоколе. Уваров утвердил Перевощикова как своего, но понятно, что в новом ректоре мы получили злого врага, который стал хлопотать, как бы выжить молодых строгановских, которые покрупнее, а других скрутить. Он стал провозглашать, что мы — опасные либералы, что нас нельзя терпеть; действовал в этом смысле у Уварова, у нового генерал-губернатора Закревского (как утверждали, — я сам, разумеется, не слышал его доносов); мне лично сделал он гадость осенью же 1848 года, убедив Уварова взять назад данное мне позволение читать публичные лекции. Это было мне крайне тяжело в том отношении, что я крайне тогда нуждался, женившись и обзаводясь хозяйством в тяжелый голодный год, когда все было очень дорого; потом, в январе 1849 года, он уговорил Уварова взять назад утверждение мое ординарным профессором, придрался к моим лекциям, сказал декану Шевыреву (выбранному вместо Давыдова, перешедшего в директоры Педагогического института), что я на первых лекциях, читая обзор русской исторической литературы, бранил всех писателей, бывших до меня, и таким образом старался будто бы показать, что до меня не было сделано ничего по русской истории. Справедливо ли это было, мне не нужно говорить, ибо эти лекции напечатаны в «Архиве» Калачова, — всякий, следовательно, может видеть, как обруганы мною Татищев, Щербатов, Болтин и Платон.

Говорят, что несколько раз пытался он представить Уварову необходимость меня выжить, но Уваров всякий раз отмалчивался: я уже выдавался вперед, обо мне много кричали, а придраться было не к чему; пострадал менее известный, менее видный Бодянский как жертва гнусного мщения Уварова Строганову. В «Обществе Истории и Древностей», где Строганов остался председателем, а Бодянский секретарем, напечатали в «Чтениях» перевод Флетчера. Уваров сделал из этого историю, донес царю, что это сочинение страшно антицензурное, и вот что делает Строганов! Я не знаю, как отписался Строганов, но Уваров спешил нанести ему самый чувствительный удар: он велел Бодянского перевести из Москвы в Казань, а на его место — тамошнего профессора славянских наречий Григоровича в Москву. Бодянский, поддержанный Строгановым, не поехал, вышел в отставку,

и, как только Уваров вышел из министерства, Строганов настоял у нового министра Ширинского-Шихматова, чтоб тот отменил приговор предшественника своего; Бодянский опять получил свою кафедру в Московском университете, а Григорович был поворочен назад в Казань.

В это время, когда под прикрытием правительственной о направления черная уваровская партия в университете торжествовала над строгановскою, мы представляли гонимую Церковь, но и в этом печальном состоянии было не без утешений. Мы все, молодые профессора, определили сблизиться тесно, ничего не делать без взаимного совета, собираться у каждого по очереди на вечера и толковать. Кто же составлял это общество? Катков, я, Шестаков и приехавшие из-за границы Кудрявцев, Леонтьев и Пеховский; после уже примкнул к нам Грановский и еще несколько молодых. Грановский не был отпущен министерством в отставку под предлогом, что еще не дослужил казенного срока, но Кавелин и Редкин вышли. Я должен сказать несколько слов о членах нашего кружка, о которых еще не было речи. Катков, как уже было упомянуто, был выбран в один день со мною в профессора и получил кафедру философии. У этого человека была престранная природа. Это был человек чрезвычайно даровитый, с блестящим талантом публициста; талант его обнаруживался во время движения, спора; чтоб выжать у него этот талант, надобно было задеть его колоссальное самолюбие, иначе этот человек предавался совершенному бездействию, просиживал дни и ночи на диване в халате, почесывая голую грудь или расхаживая по комнате. Он вступил в университет по филологическому факультету, блистательно кончил курс, съездил за границу, прожил два года в Берлине, слушал Шеллинга, потом возвратился, написал прекрасную филологическую диссертацию и был выбран в профессора философии, — а почему, до сих пор остается для меня темным; вероятнее всего потому, что не было другой кафедры свободной. Кафедра была не по нем, как и вообще всякая кафедра была бы не по нем. Как даровитый человек, разумеется, он не мог читать дурно; лекции истории философии возбуждали сочувствие в слушателях, но лекции логики и психологии совершенно пропадали: ни один студент ничего не понимал в них, и вина была не на одной стороне

студентов. Эта обязанность читать предмет, к которому не имел большого сочувствия, предмет, которого не понимали слушатели, вообще противная природе его обязанность потрудиться срочно над составлением лекций, и лекций неблагодарных, эта обязанность была страшно тяжела для Каткова; другие имели блестящий успех, о других кричали, другие выставлялись на первый план, а он был в тени, о нем не говорили или отзывались неблагоклонно, как о человеке, неспособном к своему делу, неприготовленном по крайней мере. Каково же это было для такого громадного самолюбия! И вот Катков поник, изнемог, по целым полугодиям сказывался больным и вел ужасную жизнь — сидел взаперти в своей комнате, ничего не делая и не будучи болен физически; напротив, у него была прекрасная натура, ибо кто другой мог бы вынести такое положение, не разрушившись физически или не сойдя с ума? К последнему, впрочем, он некогда был близок: однажды вечером ко мне приезжает брат его и с встревоженным видом просит, чтоб я поехал к ним, поговорил, разговорил брата его Михайлу; я отправился, нашел философа в сильной хандре, говорил, что умел в таком затруднительном положении, но мог ли я помочь ему! Помогла благодетельная судьба.

Уваров, при всем своем лакействе, не мог оставаться министром, при учащенных ударах, наносимых просвещению, вышел в отставку; министром был назначен товарищ его князь Ширинский-Шихматов. Много терпела древняя Россия, Московское государство, от нашествия татар, предводимых его предками — князьями Ширинскими, самыми свирепыми из степных наездников, но память об этих губительных опустошениях исчезла, а вот во второй половине XIX века новый Тамерлан — Николай — наслал степного витязя, достойного потомка Ширинских князей, на русское просвещение. Человек ограниченный, без образования, писатель, т. е. фразер, бездарный, Ширинский славился своим благочестием, набожностью. Действительно, он был исполнен страха пред Богом и пред помазанником Его, исполнен страха пред архиереями, особенно же исполнен страха пред дьяволом и «аггелы» его, исполнен страха до того, что по ночам обкладывал себя дровами, дабы не стать добычею домового. Ставши министром просвещения, он начал прежде

всего действовать против духа неверия: для этого представил императору о необходимости уничтожить кафедру философии в университетах, поручив чтение логики и психологии священникам — профессорам богословия, не позаботясь прежде о том, чтобы эти профессора богословия были порядочные люди, могущие прилично являться на кафедре пред слушателями, с научным образованием, с даровитостью и теплотою, быть проповедниками Евангелия, а не диктовальщиками сухих параграфов так называемого догматического и нравственного богословия. И вот этим-то людям дали теперь еще читать философию! Наш бездарный, сухой, но умный и добросовестный Терновский со слезами отмаливался от новой кафедры, выставлял свою совершенную неприготовленность к ней; ему выставили высочайшее повеление, и старик должен был приниматься за логику и психологию. Катков, таким образом, потерял кафедру философии. Для вознаграждения этих профессоров философии, потерявших свои кафедры, Ширинский создал новую кафедру — педагогики. Как будто люди, вредные на кафедре философии, могли быть невредны, преподавая педагогику? Но Катков не получил и кафедры педагогики, как увидим впоследствии.

О Шестакове (Сергее Дмитриевиче) мне сказать нечего, ибо я не знаю случая, в котором бы он мог резко выставиться, и я с ним тесно не сближался; считался он человеком умным, хорошим, был образован, трудолюбив, но больших способностей не имел. Он был курсом старше меня, занимался древними языками, по окончании курса отличился как учитель латинского языка и был определен преподавателем в университет.

Петр Николаевич Кудрявцев — высокий, худощавый, плешивый, с болезненным, грустным, привлекательным лицом, тихим приятным голосом; он был из числа даровитых, с высшими стремлениями людей, надорванных нравственно семинариею. Все выходцы из духовных училищ в светские делились на три класса: одни, натуры спокойные, не очень даровитые, оставляли духовное поприще, или случайно, или по расчету, выходили в медики, служили по учебной, ученой, судебной и административной части, дослуживались, наживались, не относясь враждебно к местам прежнего сво-

его воспитания, к духовным училищам, а скорее с сочувствием, благодарностью; другие, люди с сильными и беспокойными натурами, вырывались из семинарий и академий, люди даровитые, но шумные, крикуны, относившиеся обыкновенно враждебно к своему прошлому и отличавшиеся противоположными церковному стремлениями, впадавшие в другие крайности; наконец, третьи, натуры мягкие, впечатлительные, они чувствовали сильнее других всю черную сторону семинарщины, но скрадывали все это в себе, и если им удалось выбраться на простор в светское звание, то они очень враждебно относились к своему прошлому, но не высказывали этого, по крайней мере очень редко и не резко: Кудрявцев принадлежал к третьему из этих разрядов. Мягкая и болезненная его природа сильно оскорблена была грязью и жестокостью семинарского быта; он был сын московского (кладбищенского) священника; это дало ему большие сравнительно удобства для того, чтоб почаще выглядывать из окон своей темницы на широкий мир; он почитывал, почувствовал в себе дарование, начал писать повести, сблизился с Белинским и, разумеется, легко пошел по покатой дороге отрицания ненавистного прошлого, но самая мягкость, нежность и болезненность природы не допустила его до крайностей или по крайней мере до резкого выражения этих крайностей. Кудрявцев перешел в университет в историко-филологический факультет, где не мог, разумеется, не прильнуть к самому симпатичному из профессоров, Грановскому; тот в свою очередь не мог не отметить симпатичного, даровитого и трудолюбивого, начитанного Кудрявцева и представил его к отсылке за границу по кафедре истории. В университете, во время студенчества, я видал Кудрявцева мельком — он был курсами двумя старше меня — и сблизился с ним только тогда, когда он возвратился из-за границы и поступил преподавателем в университет. Я сказал, что Кудрявцев был даровит, но талант его был крайне легкого свойства; в своих лекциях и сочинениях он не отличался ни силою и самостоятельностью мысли, ни художественностью изложения (как Грановский); вялость, натянутость и обилие иностранных слов бросались в глаза; особенно неприятно поражало последнее и обличало отсутствие силы, способности вполне овладеть предметом, сделать его совершенно сво-

им. Но как человек, как товарищ Кудрявцев был чрезвычайно привлекателен: в нем было что-то святое, и это святое было самого мягкого, снисходительного свойства, в нем виделось отсутствие страстей, но без холодности, напротив — какая-то очень приятная, ласкающая теплота. Сильно привязывались все к Грановскому, но при нем, как при человеке крупном, все же, несмотря на его гуманность, должны были держать руки по швам в известном отношении; при Кудрявцеве этого было не нужно, и его очень любили близкие к нему люди.

Павел Михайлович Леонтьев — маленькая, двугорбая фигура с четверугольным матово-бледным лицом, густыми русыми волосами, карими, холодными, не проницательными, но внимательными, старающимися проникнуть и потому очень неприятными глазами. Первое, что поражало в Леонтьеве внимательного человека, это — напряженное внимание, с каким он обращался ко всему, желание проникнуть, изучить человека, дело, отношение. Все это было бы прекрасно в человеке даровитом, с благородными, чистыми, светлыми стремлениями, но в Леонтьеве этого ничего не было. Он был способен заниматься пустяками без усталости, причем ему помогала необычайная медленность в словах и деле. Начнет говорить — тянет, тянет и утомляет слушателя, но сам не утомляется; студенты смеялись, что на лекциях он делал обыкновенно движения руками, как бы загребая ими, помогая этим выходу слов изо рта, которые шли чрезвычайно медленно, с крайним затруднением. Заговорившись, т. е. затянувшись, а не заболтавшись, он опаздывал со всем во всем: он постоянно опаздывал на лекции, на железные дороги; во время экзаменов всегда нужно было посылать за ним солдата. Цепкость была отличительным качеством Леонтьева: вцепится во что-нибудь — не отстанет; «собака» (репейник) есть лучшее для него подобие. Эта цепкость в каждом деле была драгоценным его качеством для Каткова, когда они вместе издавали журнал, газету, завели лицей: нетерпеливый, впечатлительный, Катков приходил в отчаяние от каждой неудачи, от каждой ошибки, от каждого препятствия, но Леонтьев вцепился крепко в дело, и ничем нельзя было его отцепить; всякую беду он надеется переждать, всякое препятствие преодолеть, всякую ошибку поправить; он везде

ровен, выдержлив; бешеный Катков опрокинется на него с упреками; Леонтьев выдержит спокойно и успокоит. Та же цепкость — в привязанности и во вражде. Хвалили его привязанность к родным; привязанность его к Каткову и семейству последнего была изумительна; и вовсе не нужно объяснять ее чем-нибудь корыстным.

Но, как сказано, Леонтьев был цепок во вражде, и здесь он был отвратителен по мелкости взгляда, по стремлению копаться в отхожих местах натуры человеческой, обходя места чистые, — это был художник клеветы; всякий совершенно случайный поступок неприятного ему человека он перетолковывал в дурную сторону и тут не робел ни перед чем; наглость, до какой он мог доходить в клевете, ошеломляла; честный человек поникал, окончательно падал духом на первое время; тут Леонтьев являлся совершенно адским существом, ибо заставлял верить в силу зла. Интрига — было первое и последнее слово Леонтьева; все, по его мнению, интриговало, ничто не делалось просто; каждое движение, каждое слово искусно подводилось под известную интригу, каждый камешек искусно обтачивался и служил для мозаической работы. Но когда Леонтьев появился среди нас, то эти качества его вовсе не высказывались; мы приняли его как умного, честного и знающего свое дело человека, видели в нем хорошего товарища. Он жил вместе с Кудрявцевым и Шестаковым; и тот и другой, как мы все, имели о нем самое выгодное мнение; только жена Кудрявцева, женщина очень умная и привлекательная (не наружно, потому что была дурна собою), позволяла себе в дамском обществе отзываться не очень хорошо о Леонтьеве по отношению к его не физическим, а нравственным горбам. Острое чутье женского существа, живущего более чувством, чем головою!..

Дружеский кружок и молодость, еще полная надежд, помогли нам пережить то тяжелое время. Что мы были отданы под надзор полиции — это нас не беспокоило и не мешало нашим дружеским собраниям. Грановский, теснее сблизившийся с нами вследствие отъезда Герцена за границу, естественно, по своему значению, как общий учитель, стал душою кружка; к нашему же кружку примыкал человек, о котором нельзя не отозваться с благодарностью за те минуты чистого, молодого и трезвого веселья, которыми он нас

дарил в наших собраниях, — минуты драгоценные особенно потому, что дарились в тяжелое, безотрадное время: то был Сергей Петрович Полуденский, старше меня курсом по университету. Несмотря на свои связи, которые могли бы доставить ему сильное служебное движение, он взял скромное место университетского библиотекаря; его тянуло к высшим интересам, которыми жили лучшие представители науки. Этот человек обладал неистощимым запасом веселости и остроумия; в последнем он уступал разве Герцену, но зато у Полуденского не было герценовской колючести, нетерпимости и односторонности; он был неподражаем в придумывании сцен, в которых действовали очень знакомые всем люди, вносявшие каждый комическую сторону своего характера и быта. Кроме урочных собраний, бывало, после лекции идешь в библиотеку и там в отдаленной комнате найдешь милого библиотекаря и с ним одного или двоих из наших: тут узнаешь все новости и отдохнешь в умном, серьезном разговоре, и посмеешься вдоволь от комических разговоров и острот Полуденского. И этот человек, виновник нашей веселости, должен был готовиться к скорой смерти: все братья его один за другим умирали чахоткою, и доходила уже очередь и до нашего Сергея Петровича.

Наш кружок расширялся благодаря Грановскому, который делал иногда обеды, вечера и, приглашая нас, приглашал и людей из другого своего кружка, который чувствительно опустел, лишившись Герцена; приглашались и молодые подростки, будущие ученые деятели, профессора Бабст, Чичерин и другие. Из этого кружка, сводимого с нашим у Грановского, виднее или, собственно, слышнее всех был Кетчер. Студент Московской медико-хирургической академии, Кетчер до глубокой старости сохранил студенческий образ жизни; добрый малый, отличный товарищ, готовый на услугу, крикун, буян, вовсе не пьяница, но, дорвавшись до шампанского, перепьет всех, неряшливый, беззаботный — вот Кетчер при поверхностном знакомстве. Будучи медиком и служа по медицинской части, он не был практическим врачом и вместо медицинской практики стал заниматься литературою, вследствие чего и сблизился с литераторами и вообще с людьми, имевшими сферу пошире; он был известен как переводчик Шекспира, которого, по его собственному

выражению, он не переводил, а *перепирал*; он следил за легкой литературою, особенно за театром, и при тогдашних небольших требованиях получил в кружке людей, занимавшихся литературою, почетное место и сильный голос и, как обыкновенно бывает в слабом обществе, расступающемся перед силою, стал мужиком-горланом. Я нашел Кетчера уже совершенно сформировавшимся. Собирается общество рассуждать о чем-нибудь, спорят тихо; вдруг из передней раздается трескучий голос, и является человек довольно высокого роста, с круглою, гладко обстриженной головою, очень некрасивым, но замечательным лицом, в истрепанном сюртуке, без белья, летом в белых панталонах без подштанников. «Что, о чем идет дело?» Ему говорят — о чем. «А, — кричит Кетчер, — это ты (тот или другой из собеседников) все толкуешь об этой дряни!» (книга, пьеса или человек) — делается стремительное нападение, сопровождаемое насмешками и остротами, иногда порядочными, возбуждающими общий хохот, иногда тупыми, но насмешки пересыпались и бесцеремонною бранью, например: «Ведь это оттого, что ты глуп, ничего не понимаешь!» или «Так говорят только такие дураки, как ты!» Обыкновенно Кетчер выбирал себе жертву, кого-нибудь из присутствующих, и целый обед или вечер, по поводу какого-нибудь события или слова, издевался над несчастным на потеху публике; я уже сказал, что было принято на Кетчера не сердиться, криком и бранью его не оскорбляться. Увидевши раз человека, Кетчер при другом свидании говорил ему уже *ты* и считал себя вправе выбирать его себе жертвою, пищею на обед или ужин.

XVIII

Так мы проживали самое тяжелое время конца николаевского царствования. Беда, общий гнет сближают людей, и это сближение, соединение сил дают нам возможность легче переносить горе. Литературный интерес был силен. Несмотря на то что мысль была в опале, скована цензурою, книжки журналов ожидались с нетерпением и прочитывались с жадностью, но мне эти журналы часто приносили и горе. С самого вступления на кафедру я предался сильнее литературной деятельности по страсти к предмету, по лю-

бопытству, съедавшему меня с детских лет, по крайней необработанности предмета моего преподавания. Разумеется, я мог бы ограничиться чтением, выписыванием, составлением хороших лекций, но кроме общего людям стремления заявлять свою умственную деятельность у меня были еще и другие побуждения печататься как можно скорее и как можно больше. Во-первых, отличительной чертой моего характера была торопливость: я спешил во всем — скоро ел, скоро ходил, всегда являлся первый; называли это аккуратностью, но это была торопливость; мне не сиделось дома, я не мог ничем заняться, когда нужно было куда-нибудь ехать; понятно, что я точно так же торопился писать и издавать. Во-вторых, и без этой врожденной торопливости я побуждался как можно больше и скорее издавать: я добыл себе место с бою и должен был удерживать его боем, должен был в короткое время сделать столько, чтоб не смели сказать, что университет проиграл, заменивши старого профессора Погодина новым. Наконец, к сильному труду побуждали меня семейные обстоятельства: я женился в начале 1848 года, и каждый год у меня пошли дети: профессорского жалованья было мало.

С самого начала моей литературной деятельности два первых журнала-соперника «Современник» и «Отечественные записки» просили моего сотрудничества, и я стал участвовать в них обоих: в «Современник» стал давать статьи подписанные: обзор смутного времени, царствования Михаила Федоровича; в «Отечественные записки» кроме статей подписанных с осени 1847 г. я взялся писать рецензии о книгах и изданиях по русской истории, и эти статьи являлись без подписи. Помню, что с особенною злостью я разбирал историю русской Церкви Филарета за его односторонне-славянофильский и клерикальный взгляд. Но эта-то журнальная деятельность и причиняла мне часто горе. Являлся номер журнала, где помещена моя статья; по моему расчету, должно выйти столько-то печатных листов — смотрю, выходит меньше: цензор вымарал! Оскорбление было тем чувствительнее, что смолоду я обращался с наукою уважительно, не позволяя себе тенденции, передавал факты, связывая и освещая их, почерпая их из источников печатных, самим же правительством большею частью изданных. И тут невежественный и желаю-

щий непременно что-нибудь вычеркнуть цензор вычеркивал! Однажды он вычеркнул из моей статьи донесение годововского шпиона, что Филарет Никитич жил со своим слугою душа в душу и поэтому от верного слуги нельзя ничего выведать. Я справился через редакцию, зачем выключена такая прекрасная черта из жизни родоначальника Романовых. Цензор объяснил, что вычеркнул из опасения, чтобы не подумали, будто между Филаретом и слугою была противоестественная связь. С 1848 года я начал заниматься «Историею России». Дело сначала шло медленно, лекции не были еще все приготовлены, много надобно было писать посторонних статей из-за куска хлеба; кроме того, задерживали нелюбимые мною исследования о начальных временах, так что первый том мог выйти только в августе 1851 года.

А между тем в университете произошли важные перемены. На место Голохвастова, явившегося совершенно неспособным к управлению вследствие своей медленности, нерешительности, привычки много говорить и не делать, назначен был генерал Назимов, пользовавшийся особенным расположением императора и еще большим — наследника. Назимов был человек добрый, простой, необразованный, со всеми привычками тогдашнего *енерала*: при первом удобном случае любил на шуметь, распечь подчиненного, но последний не должен был этим оскорбляться, потому что его превосходительство, распекши, потом и обласкает его. Самая дурная привычка в нем — это была привычка к казнокрадству, которую оправдывали всегдашнюю нуждою, бедностью. Но, несмотря на это, я, как всегда говорил, так и напишу, что назначение Назимова было благодеянием для университета в то время гонения. Его главное правило, общее генеральское правило, состояло в том: «Будьте покойны, в[аше] в[еличество], у меня все покойно и хорошо». Его послали попечителем, чтоб он по-военному скрутил университет, согнул в бараний рог профессоров, этих злонамеренных либералов, бунтовщиков. Но вместо бунтовщиков генерал нашел людей очень скромных, почтительных, робких. Генерал изумился. «Все наврали, — сказал он, — никакого бунта нет в университете!» Тщётно ему внушали, чтоб он не смотрел на наружность, что эти тихони содержат в себе скрытый яд, обманывают начальство. «Что же это такое, —

отвечал Назимов на эти внушения, — все подлецы да подлецы, где же честные-то люди?»

Наша судьба, судьба молодых опальных профессоров, быстро переменилась к лучшему при Назимове. Новый попечитель искал в университете человека, которого советами мог бы пользоваться в совершенно новой для него сфере. Этот доверенный человек, разумеется, не мог быть из профессоров как людей, с которыми Назимову было все же неловко, как неловко бы было с каким-нибудь иностранным путешественником; доверенный человек должен был быть из своих, из военных. Такого он нашел в инспекторе студентов из моряков, Ив[ане] Абр[амовиче] Шпейере, человеке очень ловком, готовом услужить доброму начальнику даже насчет казенного имущества, особенно во время построек, к которым Шпейер был большой охотник и считался знатоком, почему и носил название Ивана Строителя. В университете был обычай, что инспектора студентов, зависевшие по старому уставу прямо от попечителя, враждовали с ректором, по пословице, что два медведя в одной берлоге не уживутся, и действительно, вина была на уставе, который сажал двоих медведей в одну берлогу. Шпейер сейчас же стал во враждебные отношения к Перевощикovu и, естественно, стал ухаживать за нами как находившимися в оппозиции ректору. Мы отвечали любезностью за любезность, ибо ничего не знали о строительных наклонностях Ивана Абрамовича, а видели в нем доброго, честного моряка, который сближается с нами по сочувствию к людям, напрасно гонимым. Отсюда — дружба между молодыми профессорами и Шпейером. Ко мне он был особенно расположен по знакомству с тестем моим, тоже моряком. После назначения Назимова попечителем я как-то сделал визит генеральше Тимофеевой, жене начальника военного корпуса, у которого Назимов был начальником штаба. Разговор пошел о назначении Назимова; генеральша говорила, что Назимов очень добрый человек, в университете будут им довольны, но по совершенной неприготовленности к делу попечитель нуждается в человеке благонамеренном, который бы познакомил его с порядками нового места, дал ему понятие о людях и проч. Я отвечал, что такой человек есть, именно инспектор Шпейер. Мое указание принято было к сведению, и

Шпейер стал доверенным человеком у Назимова. Благодаря ему Назимов утвердился в мысли, что все было наврано на молодых профессоров, которые вовсе не бунтовщики, а ректор Перевощиков — негодяй, который гонит достойных людей. Когда кто-то сказал ему про меня, что ходят слухи о моей неблагонамеренности, то он отвечал: «Пустяки! Я знаю его тестя, прекрасный человек!» В этом ответе Назимов высказался вполне, но дело известное, что «*Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur*», и мы были выведены из опасного и тяжелого положения «енералом» Назимовым, вернейшим слугою императора Николая.

Император с целью подтянуть университет и держать в руках бунтовщиков-профессоров уничтожил выборных ректоров и сделал коронных, но это распоряжение послужило, по крайней мере нашему университету, во благо, ибо удалило Перевощикова: Назимов, предубежденный против него рассказами Шпейера и находясь в первое время под влиянием Строганова, слышать не хотел о Перевощикове как о постоянном коронном ректоре и представил на это место прежнего ректора, Альфонского. Это было, разумеется, наше торжество, ибо Перевощиков был наш враг, а за Альфонского мы стояли в пользу его против Перевощикова. Альфонский действительно оказался на это время прекрасным коронным ректором: холодный, апатичный, любивший прежде всего спокойствие и гран-пасьянс, он, чтоб не нарушать собственного спокойствия, никогда не решался нарушить спокойствие других, если только соблюдался внешний порядок, оказывалось внешнее уважение к его превосходительству. «И прекрасно!» — была его любимая фраза.

Удаление Уварова из министерства, врага Строганова, покровителя Давыдова, Погодина, Перевощикова, Шевырева, не могло опечалить меня, равно как и всех строгановских. Но и преемник его Ширинский не замедлил показать нам свое татарство. В 1850 году, в августе месяце, он явился в Москву и прежде всего, разумеется, стал осматривать университет, ходить по лекциям. Пришел ко мне; лекция была первая в курсе; я говорил об источниках русской истории, о летописи, утверждал ее достоверность, опровергал скептиков, но закончил тем, что она дошла до нас в форме сборника, причем первоначальный текст, приписываемый Несто-

ру, восстановить трудно. Что же? На другой день Ширинский призывает меня к себе и делает самый начальнический выговор за мое скептическое направление, что я следую Каченовскому. «Правительство этого не хочет! Правительство этого не хочет!» — кричал разъяренный татарин, не слушая никаких объяснений с моей стороны. Погодин мог радоваться выговору, полученному мною от министра, но радовался недолго: тот же Ширинский выхлопотал высочайшее повеление не подвергать критике летописного известия о смерти Димитрия-царевича, — следовательно, волею-неволею нужно было утверждать, что Димитрий был убит Годуновым; точно так же запрещено было подвергать критике вопрос о годе основания русского государства, ибо-де 862-й год назначен *преподобным* Нестором; запрещено произносить греческие слова по Эразму, ибо новогреческое произношение утверждено православною Церковью введением в духовные училища. Понятно, как должна была вести себя цензура, подчиненная такому министру.

Бывало, с трепетом ждешь номера журнала, где помещена моя статья: сколько-то выпущено цензурою? И всегда найдешь выпуски и недоумеваешь, что могло заставить выпустить то или другое место, тот или другой отрывок из акта, уже напечатанного в правительственном издании. Но как догадаться о побуждениях невежды, который, спеша играть в карты, марает, что ему угодно, ибо знает, что за вымаранное не подвергается ответственности. А у несчастного автора расстраивается здоровье от этого, ибо кроме разбойничьего похищения умственной собственности, искажения литературного произведения отнималось и материальное имущество, отнимался кусок хлеба у семейства.

Я уже упоминал об уничтожении философских кафедр Ширинским. Катков остался без кафедры; ему следовало получить кафедру педагогики, но в это время подбился к Назимову Шевырев и получил сильное влияние как *преподаватель христианский*. В это время Шевырев был деканом историко-филологического факультета на место Давыдова, переведенного Уваровым еще в директоры Педагогического института. Шевыреву возмнилось, что педагогика должна быть главным руководящим предметом в факультете и потому ее нельзя отдать какому-нибудь Каткову, надобно взять себе. Он успел

убедить в этом Назимова, тот успел убедить в этом Ширинского, и кафедра педагогики отдана была Шевыреву, который оставил за собою и кафедру словесности, сам получил две кафедры, а Катков остался без места.

Эта проделка Шевырева возбудила к нему страшную ненависть в нашем кружке, и когда подошли деканские выборы, то Шевырев был забаллотирован и в деканы выбран Грановский. Но Шевырев не хотел снести такого поражения, и Назимов с Ширинским решили, что Грановский — человек подозрительный, либерал известный и потому не может быть деканом, вследствие чего наши выборы были кассированы, и Шевырев был назначен от министра деканом. Ненависть к *казенному* декану стала еще сильнее.

ХІХ

Между тем я начал «Историю России». Давно, еще до получения кафедры, у меня возникла мысль написать историю России; после получения кафедры дело представлялось возможным и необходимым. Пособий не было; Карамзин устарел в глазах всех; надобно было для составления хорошего курса заниматься по источникам; но почему же этот самый курс, обработанный по источникам, не может быть передан публике, жаждущей иметь русскую историю полную и написанную, как писались истории государств в Западной Европе? Сначала мне казалось, что история России будет обработанный университетский курс, но когда я приступил к делу, то нашел, что хороший курс может быть только следствием подробной обработки, которой надобно посвятить всю жизнь. Я решился на такой труд и начал сначала, ибо, как уже сказано, предшествовавшие труды не удовлетворяли. К весне 1851 года я приготовил первый том и отдал его в цензуру. Когда весть об этом распространилась, попечитель Назимов, встретив меня не помню где, спросил меня, почему я не хочу посвятить своей книги императору, а если не хочу императору, то посвятил бы наследнику. Я отвечал, что не имел бы ничего против посвящения императору, но не считаю себя вправе ходатайствовать об этом, — дело трудное; притом же, пожалуй, отдадут мою книгу в Академию наук для оценки, достойна ли она чести посвящения,

академик же Устрялов уже обнаружил ко мне свое нерасположение, объявив, что моя докторская диссертация не стоит Демидовской премии, на которую я ее представил; если бы я был уверен, что дело обойдется без академии?.. «Вы ординарный профессор университета, — сказал Назимов, — вы имеете полное право просить о посвящении; напишите мне письмо, я еду в Петербург и попрошу министра, чтоб он прямо доложил государю». Я поблагодарил доброго «енерала» и написал ему письмо, которое он и повез в Петербург. Когда он возвратился, я отправился к нему и по лицу его сейчас увидал, что добряк не успел оказать мне услугу. «Министр, — сказал он, — никак не согласился доложить государю о посвящении: нельзя, говорит он, посвящать первый том; неизвестно, успеет ли он кончить; когда кончит сочинение, тогда я доложу». После не раз со смехом вспоминал я об этом обещании доложить: когда умер Ширинский, умер Николай I, переменилось много министров просвещения — а «История России» все не оканчивалась, выходя каждый год.

С радостью вспоминаю я и о том, что книга не была посвящена Николаю. Впрочем, дело этим не кончилось. Первый том оканчивался печатанием к августу 1851 года. В это время Москва находилась в сильном движении: ждали приезда императора, который хотел в первопрестольной столице праздновать двадцатипятилетие своего царствования. Назимов опять говорит мне: «Хотя посвящение и не дозволено, но приготовьте подносные экземпляры: я поднесу их императору и всем членам царской фамилии, которые приедут в Москву». Я приготовил экземпляры и отвез попечителю. Самодержец приезжает, и скоро разносится слух, что он омрачен, недоволен: он ждал более торжественного приёма, ждал поднесения титулов за двадцатипятилетнее славное царствование, и ничего не было. Какое влияние это неудовольствие монарха имело на судьбу моей книги, я не знаю; знаю, что Назимов передал мне письменную благодарность наследника (впоследствии государя Александра II), устную благодарность других членов фамилии, а об экземпляре для императора сказал, что ген[ерал]-губернатор гр. Закревский взял у него для поднесения императору, но что случилось с этим экземпляром — мне неизвестно: побоялся ли Закревский подносить профессорскую книгу, швыр-

нул ли ее раздраженный царь — ничего не знаю; знаю одно, что Назимов в присутствии приближенных людей горевал, что я не получил подарка за поднесенный экземпляр.

Но дело и этим не кончилось. Весною 1852 года выходил из печати второй том «Истории России». Я спрашиваю Назимова, готовить ли подносные экземпляры; тот отвечает, что готовить. «Я, — говорит он, — отошлю их для поднесения министру с уведомлением, что первый том поднесен». Экземпляры приготовлены, отправлены в Петербург. Какие же следствия? Не помню, в мае или июне месяце меня требуют в канцелярию попечителя, останавливают у загородки, отделявшей столы чиновников от места, где должны были стоять просители, и правитель канцелярии читает мне бумагу министра, гласящую, чтоб я не смел беспокоить его сиятельство присылкою подносных экземпляров моей «Истории», что они подносимы быть не могут до окончания сочинения, присланные же экземпляры будут до этого времени храниться в министерстве. Решительно не понимаю, что заставило Назимова, которого не перестану называть добрым человеком, сделать мне такой афронт: разве он не мог показать мне бумагу у себя дома или переслать ко мне копию? Но среди таких любезностей одно мне несколько польстило. Из членов царской фамилии в 1851 году не было великого князя Константина Николаевича. Вскоре после отъезда царского из Москвы я получаю письмо от секретаря великого князя, Головнина, в котором он пишет, что ген [ерал] Муравьев указал великому князю на мою книгу, великий князь прочел ее с большим удовольствием и просит присылать к нему следующие томы, даже за границу, куда великий князь отправляется.

До сих пор написание русской истории считалось у нас, как некогда составление летописи, делом государственным. При изъявлении намерения оказывались всевозможные пособия. Карамзину дан был титул историографа вовсе не в том смысле, в каком он употреблялся на Западе, но дан был для того, чтоб написанию и древней русской истории дать значение труда государственного. Устрялов точно так же принялся за написание истории Петра Великого с богатыми субсидиями от правительства. Полевой сделал свой наезд на русскую историю не на счет государства, а на счет общества. Я предпринял свой труд с чисто научною целью выучиться

самому, чтоб быть в состоянии читать сколько-нибудь достойный университета курс русской истории и дать средство другим знать основательно свою историю, а не толковать вкось и вкривь о ней и чтоб отнять занятие у людей — охотников в мутной воде рыбу ловить. Но при этом я не либеральничал, и, когда правительственное лицо предложило мне отдать мой труд под покров государя, посвятив императору, хотя и антипатичному мне, я согласился. Посвящение и даже поднесение книги было отвергнуто, государство отказалось от моего труда; как же отнеслось к нему общество?

Сначала появление книги было принято очень радушно: 1200 экземпляров первого издания разошлись быстро; книгопродавец Салаев купил у меня большинство экземпляров и после сам мне признавался, что покупка была для него очень выгодна. Но скоро ополчился легион, с тем чтоб стереть с лица земли дерзкого профессоршкку, осмелившегося стать на высоту Карамзина. Это мое выражение, может быть, не совсем будет понятно молодым поколениям. В литературах сильных, развитых, где много обширных и важных исторических сочинений, начало обширного и важного исторического труда встречается сочувственно, не нарушая прав других знаменитостей, прав законно приобретенных. В нашей литературной степи было не так. После ставшего неудобоваримым Щербатова, внутренними и внешними средствами поднялась знаменитость — Карамзин. Явление не прошло без завистливых протестов со стороны ученой братии и со стороны шумливых и невежественных либералов, этой язвы нашего зеленого общества, убивающей в нем всякое правильное движение к свободе. Карамзин свысока, аристократически равнодушно взглянул на чернорабочих копотунов, да и нельзя было иначе, когда они, выругавшись, протягивали к нему руку за милостынею, как Ходаковский; но шумливый протест либералов затронул историографа, тем более что с крикунами надо было встречаться в великосветских салонах; чтоб помирить их с своею историею, он бросил им искаженный, рассеченный пополам труп Ивана Грозного; но умиловительная жертва не помогла; либералам нужно было пожертвование не случайностью, не лицом, а принципом. Впрочем, Карамзин понапрасну тревожился, прикрытый щитами кружка, сильного дарованиями членов, их общественным и государ-

ственным положением, прикрытый и отношениями к императору. По смерти Карамзина кружок сделал из него полубога, и горе дерзкому, который бы осмелился поставить свой алтарь подле божества. Неудавшаяся попытка Полевого еще более утвердила кружок в том мнении, что идол его останется навсегда на недосягаемой высоте и блеском своих лучей будет освещать их и давать им значение.

Легко теперь понять, с каким чувством Блудов и Вяземский встретили появление первого тома «Истории России», тем более что они имели основание опасаться успеха: труд ученый, являющийся через двадцать пять лет после Карамзина; автор мог воспользоваться всеми успехами исторической науки и дал уже в прежних трудах своих задаток, что способен ими воспользоваться, способен удовлетворить настоящим потребностям образованных русских людей, — такой труд мог отдалить «Историю государства Российского» на второй план не по значению его в истории русской литературы, а для настоящих потребностей публики, и этого опасения уже было очень достаточно для жрецов Карамзина. Блудов, человек вообще очень приветливый, хорошего тона, решился сказать мне в лицо, что мое предприятие очень смело — писать русскую историю после Карамзина; другое дело, если б я издал лекции о русской истории, которые я читаю в университете. Я отвечал, что заглавие лекций было бы странно для труда, который грозит быть очень обширным, многотомным. Это еще более озлило Блудова, и он сказал нелепость, показавшую все его невежество. «Да, — сказал он, — и в Англии пробовали писать многотомные истории, а до Юма-то не дотянули».

Здесь кстати несколько слов о Блудове, ибо он представляет явление, возможное только в русском обществе второй половины XIX века. Везде так называемое счастье играет важную роль, но нигде оно не играет такой громадной и такой безобразной роли, как у нас на Руси (о, Русь! о, rus!), и Блудов представляет баловня этого безобразного счастья. Небогатый, незнатный, непригожий, недаровитый, он достиг высшей степени чести, до какой только можно достигнуть подданному; человек с самым поверхностным образованием, которое впоследствии стерлось вследствие общей нашим знатым людям привычки не читать по недостатку

времени, тратящегося на множество пустяков, Блудов до самого конца слыл самым образованным человеком, что объявлялось на весь свет в императорских рескриптах. Эта репутация происходила оттого, что он сначала принадлежал к литературному кружку, имевшему значение наверху, терся около Карамзина, Жуковского, Вяземского, Пушкина и потом, поднявшись по служебной лестнице, стал меценатствовать. Но, как уже сказано, из этого покровительства исключался несчастный московский профессор, осмелившийся писать «Историю России». Блудов, который, конечно, не прочел ни одной страницы этой истории, пользовался своим значением, чтоб топтать ее, а легко понять, какое значение имели публичные презрительные отзывы о моей книге в устах государственного мужа и образованнейшего человека.

Другой жрец Карамзина, кн. Вяземский, также счел своею обязанностью вооружиться за монополию своего культа: его отношения ко мне видны всего лучше из того, что когда впоследствии я был приглашен преподавать цесаревичу, то Вяземский счел своею обязанностью протестовать у императрицы, выставляя, что я буду держаться взглядов, противоположных Карамзину, взгляды которого по русской истории одни суть истинные и достойные внушения царственному отроку. Строганову стоило труда настоять на своем, но затруднительное положение Строганова высказалось: с необыкновенным в нем волнением начал он мне вдруг говорить, чтоб я ни под каким видом не говорил наследнику ничего против Карамзина. Когда я посмотрел на него изумленными глазами, то он принял это изумление за несогласие и с новым жаром начал настаивать; тогда я рассердился и сказал, что напрасно он так беспокоится, у меня нет никакого побуждения и нет времени занимать наследника критикою «Истории государства Российского».

Легко понять, как эти жрецы полубога Карамзина обрадовались, когда увидели, что все, что претендовало на какое-нибудь занятие русскою историею, с ожесточением накинулось на «Историю России». Этим господам было легко до сих пор: на безрыбье все раки были рыбы, привыкли к равенству при отсутствии авторитетов; мертвый Карамзин не стеснял; живые Погодин и Устрялов — также, ибо всякий мальчуган считал для себя дозволенным пройти на их счет

насмешкою при очень небольшом уважении к ним в обществе. Успех двух моих диссертаций смутил, покоробил; сильно обрадовались, когда Погодин начал полемизировать против них, но все не было дружного ожесточенного нападения; молодой профессор написал две диссертации, пописывает в журналах — этим, пожалуй, все и кончится, и вдруг дерзкий выдает «Историю России» — первый том, значит, будут и другие томы, — дерзкий, которому исполнилось только тридцать лет, в Карамзины лезет, хочет быть господствующим авторитетом! Это нельзя было перенести равнодушно. Но разумеется, прежде всех не мог перенести этого равнодушно Погодин. Просидел двадцать с лишком лет на кафедре, приобрел авторитет первого знатока русской истории и на поверку что сделал? Написал две диссертации — о варягах и Несторе. А этот молокосос не только в два года своего профессорства написал две диссертации, но и теперь приступил к изданию обширной истории, хочет быть Карамзиным. Что же ему, Погодину, в гроб, что ли, ложиться? Лучше в гроб, чем стусеваться пред каким-нибудь Соловьевым. Одна надежда, что дерзкое предприятие рухнет, как рухнула «История русского народа» Полевого, но надобно ускорить это падение, ополчиться и разнести по камешкам здание при самом его начале, разнести фундамент.

Сотрудников много. С шипением, с пеною у рта собирается около почтеннейшего Михаила Петровича, ставшего чрезвычайно популярным, дружина, и поход объявлен. «Москвитянин» открыл свои страницы ругательными статьями против меня. Выступил какой-то Мстиславцев — но кто его знает и помнит? Выступил Беляев, которому я до тех пор доставлял уроки, но который теперь нашел гораздо приятнее и выгоднее для себя пристать к кружку, могущему много сделать для него благодаря покровительству Блудова; Беляев действительно награжден был щедро по архиву юстиции, где служил, и потом, по настоянию Погодина и Шевырева пред Назимовым, попал в профессора Московского университета по кафедре истории русского права. Беляев по своей способности борзописания взял на себя задачу по косточкам разбирать «Историю России», не оставить ни одной строки без возражения. Камни возопили; Калачов написал нечто; Погодин и дружина его могли рассчитывать на успех: постоянным ру-

гательством, исходящим от людей, считавшихся специалистами, ошеломить русскую зеленую публику, остановить успех книги, ход ее, раздражать и утомить автора, который, видя себя окруженным врагами и не видя ниоткуда помощи, откажется от бесполезной борьбы. Действительно, я пережил тяжелое время зимою 1851—52 года; я считал нужным отписываться и от Беляева, и от Калачова, — труд, страшно неприятный, труд защиты и труд одинокий. Но сила Божия в немощи совершается; никогда не приходила мне в голову мысль отказаться от своего труда, и в это печальное для меня время я приготовил и напечатал 2-й том «Истории России», который вышел весною 1852 года. Как видно, я защищался удачно не полемическими статьями, но именно томами истории, постоянно ежегодно выходившими; 3-й и 4-й томы не опоздали. Книга шла, несмотря на продолжавшуюся руготню в «Москвитянине». Своею твердостью — я выигрывал дело в глазах публики, а Погодин проигрывал — усилением ругательств, так что приятели его сочли нужным внушить ему, чтоб он остановил ругательства, сильно ему вредившие.

XX

В 1853 году, раннею весною, я поехал в Петербург в первый раз, для сбора материалов в Публичной библиотеке, и был очень доволен, особенно напавши на тверскую летопись. По приезде сделал визит министру просвещения; швейцар отвечал: «Князь у нас очень болен, никого не принимает». Через несколько дней я узнал о кончине сего князя Ширинского. Перед отъездом я отправился с визитом к его преемнику Норову, от которого пахнуло на меня сейчас же сильною теплею. Норов поразил меня своею противоположностью покойному министру. Прекрасное, симпатичное лицо с грустным оттенком, добродушная приветливость, отсутствие всего казарменного и департаментского — вот черты, которые приятно поражали в Норове. Но с первых же слов поразило меня в Норове и неуменье избежать крайностей, характеризующее всех наших господ, наверху стоящих, и в Норове по мягкости его натуры видное более, чем в ком-либо. «А, чай, как вы нас, Сергей Михайлович, ругаете, ругаете!» — обратился вдруг ко мне Абрам Сергеевич. «За что, в[аше] п[ревосходи-

тель]ство?» — спросил я с удивлением. «Да за цензуру-то, но ведь вы не знаете, с какими препятствиями мы должны бороться» и проч. Удивительное дело! Защитники Николая толковали и толкуют, что цензурные безобразия не от него происходили, что он не знал об них, и если бы знал, то не позволил бы. Но почему же император об них не знал? Почему люди, близкие к нему и привязанные к нему, не дали ему знать об них как о явлениях, противных его славе и пользе народа, почему позабыли свою присягу? Дело в том, что Николай стоял спиной к литературе; это знали и подлаживались из подлости к положению господина, не имея никакого сочувствия к литературе, — провались эта дрянь, а понадобится что-нибудь прочесть от скуки, прочтем и французскую книжку, а другие, немногие, которые не так смотрели на дело, не смели подступить к деспоту с неприятными для него представлениями из робости, следовательно, тоже из подлости. Но понятно, что эти люди, замерзшие в подлости, привыкшие преклоняться пред силою, привыкшие не сметь своего суждения иметь, при перемене правления, при появлении новых сил будут не в состоянии вести дело систематически, правильно, разумно, станут трусить и подличать пред новою силою, и так как старая сила еще оставалась, то будут двуверниками, представлять явление постыдного служения и нашим и вашим, рабство во дворце, искание всеми средствами милости владыки и в то же время либеральничанья, заискивания у литературных и всяких демагогов.

Время, в которое должны были обнаружиться эти печальные явления, приближалось. Надвигалась страшная туча над Николаем и его делом, туча восточной войны. Приходилось расплатиться за тридцатилетнюю ложь, тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил, превращение русских людей в палки, за полную остановку именно того, что нужно было более всего поощрять, чего, к несчастью, так мало приготовила наша история, — именно самостоятельности и общего действия, без которого самодержец гениальный и благонамеренный остается бесполезным, встречает страшные затруднения в осуществлении своих добрых намерений. Некоторые утешали себя так: «Тяжко! Всем жертвуем для материальной, военной силы, но по крайней мере мы сильны, Россия занимает важное место,

нас уважают и боятся». И это утешение было отнято в доказательство, что дух есть иже живет, плоть ничтоже пользует, в доказательство гибельности материализма, в доказательство, что сила и материя — не одно и то же.

В то самое время, как стал грохотать гром над головою Навуходносора, когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, с другой — мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет. В массе народной заметно было равнодушие; причина войны не была ясна, правительственным известиям не верили, причины неудачи не понимали, жертвовали машинально, патриотические писания в стихах и прозе отличались поддельным чувством, не производили впечатления, все отличалось казенностью, как и следовало.

Я находил отвлечение от тяжелых дум в трудах над пятым томом «Истории России»; были и другие занятия. Университет готовился праздновать столетний юбилей 12 января 1855 года. Была назначена комиссия для приготовления к торжеству — из деканов Шевырева и Баршева (декана юридического факультета) и из профессоров Морошкина, Грановского и меня. Историю университета взялся написать Шевырев, но я должен был участвовать в словарях профессоров и замечательных воспитанников университета, кроме того, должен был написать речь на акт о Шувалове. Самодержец, умягченный бедою, явился благосклонным к университету, причем не без влияния был благодушный новый министр просвещения Норов. Человек, потерявший ногу при Бородине, являлся беспристрастным и правдивым оценщиком благонамеренности русских ученых, более беспристрастным и правдивым, чем блестящий ученый и потому подозрительный Уваров и трепещущий подьячий Ширинский. Норову удалось выхлопотать позволение представлять императору лучшие

произведения русских ученых и литераторов; моя «История России» была представлена, вследствие чего я удостоился получить монаршее благоволение осенью 1854 года. Смягчение Николая и влияние Норова высказались и на самом юбилее в ласковом рескрипте, в очень щедрых по тому времени наградах; Норов сделал так, что получили награды только выдающиеся по своим способностям и учено-литературным заслугам профессора; Грановский и я получили орден Анны 2-й степени, но потом Назимов, уже после юбилея, представил гуртом почти всех ординарных профессоров к той же награде и хвастался своим подвигом: «Когда это бывало в университетах, чтоб ордена профессорам ящиками возили?» — не думая по своей простоте, что значение отличия уронено. Моя речь о Шувалове не была произнесена на акте. Шевырев истомил публику своею речью, очень длиною; давка и духота были невыносимые: профессора должны были стоять около кафедры, сесть было негде, а тут Норов беспрестанно вызывает меня к себе, прося, чтоб я что-нибудь сократил в своей речи. Я исчеркал весь свой экземпляр карандашом, отмечая, что выкинуть; наконец Норов вызывает меня и объявляет, что речь вовсе не может быть произнесена по недостатку времени и истомлению публики. После, когда речь была напечатана, я был изумлен отзывами, что она производит сильное впечатление своею смелостью и либеральностью. Я нарочно привожу это для того, чтоб читатели поняли, что в николаевское время считалось смелым и либеральным! Самарин, пресловутый либерал и страдалец за смелость, встретив меня где-то, поздравил с успехом моей речи между либералами и объявил, что сам Чаадаев так восхитился ею, что переводит ее на французский язык. Но перевод не был окончен, и впечатление моей речи исчезло: раздался свисток судьбы, декорации переменены, и я из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором.

После 15 февраля стали ходить слухи, что император болен. 19-е число было воскресенье; я пошел к обедне в свой приход (Николы-на-Песках на Арбате), в котором был прихожанином также и Хомяков; он подошел ко мне и сказал: «Теперь, должно быть, уже присягают в Сенате: умер!» Эти перемены царствующих лиц при нацией форме правления производят особое какое-то, ошеломляющее и отупляющее вначале впечатление. Конечно, я не был опечален смертью

Николая, но в то же время чувствовалось не по себе, при-
мешивалось беспокойство, опасение: что, если еще хуже бу-
дет?! Человека вывели из тюрьмы — хорошо, легко дышать
свежим воздухом; но куда ведут? Может быть, в другую, еще
худшую тюрьму? Хорошо, если выпустят на свободу. Воз-
вратясь домой, я нашел повестку явиться в мундире в уни-
верситетскую церковь для принесения присяги. Приехавши
в церковь, я встретил на крыльце Грановского; первое мое
слово ему было: «Умер!» Он отвечал: «Нет ничего удивитель-
ного, что он умер; удивительно то, как мы с вами живы». То
тревожное, ненормальное состояние, в каком мы тогда на-
ходились, располагает к суеверию. Так как это было воскресе-
нье, то, по обычаю, я поехал обедать к старику отцу, и тут
пришло известие, что во время звона на Ивановской коло-
кольне часть ее внутри обрушилась и задавила людей. Само
по себе печальное событие в этот день произвело на всех
особенно неприятное впечатление. Люди надеются лучше-
го, а тут в первую же минуту черное предвещание! Но это
впечатление, разумеется, было непродолжительно, стали
жить надеждою.

Как-то я зашел к Хомякову. Тот надеялся по-своему. «Бу-
дет лучше, — говорил он, — заметьте, как идет род царей с
Петра, — за хорошим царствованием идет дурное, а за дур-
ным — непременно хорошее: за Петром I Екатерина I — пло-
хое царствование, за Екатериною I Петр II — гораздо луч-
ше, за Петром II Анна — скверное царствование, за Анною
Елисавета — хорошее, за Елисаветою Петр III — скверное,
за Петром III Екатерина II — хорошее, за Екатериною II Па-
вел — скверное, за Павлом Александр I — хорошее, за Алек-
сандром I Николай — скверное; теперь должно быть хоро-
шее. Притом, — продолжал Хомяков, — наш теперешний
государь страстный охотник, а охотники всегда хорошие
люди; вспомните Алексея Михайловича, Петра II». В разго-
ворах с Хомяковым я обыкновенно улыбался и молчал; Хо-
мяков точно так же улыбался и трещал. «А вот, — продол-
жал он, — Чаадаев никогда со мною не соглашается, гово-
рит об Александре II: «Разве может быть какой-нибудь толк
от человека, у которого такие глаза!»» — и Хомяков залился
своим звонким хохотом. Вот как главы двух противополож-
ных московских кружков отзывались о новом главе России!

Первое время нового царствования умы были заняты печальным исходом восточной войны. Александр II прежде всех других распоряжений по громадному наследству должен был заплатить страшный долг, заключить постыдный мир, какого не заключали русские государи после Прута. Новый император чувствовал всю тяжесть этого дела, весь позор его. Не знаю, оправдывал ли он себя внутренне, складывая всю вину на родителя, но историк, не оправдывая и не обвиняя, должен объяснить дело. В этом первом акте выразился характер нового властителя и его положение, его окружение. Рожденный без выдающихся способностей, без энергии, он получил образование самое одностороннее и при умственной лени не подумал употребить долгое время наследничества на пополнение недостатков образования чтением и обращением с людьми живыми и знающими: последнее, впрочем, если и не невозможно, то крайне трудно для наследников русского престола. Кроме обычных военных упражнений Николай поручил своему наследнику начальство над военно-учебными заведениями, что могло иметь одну пользу — закрепить в памяти будущего государя предметы общего образования по учебникам кадетских корпусов, ибо наследник усердно посещал экзамены. В Римской империи императоры восходили на престол из разных званий; в Российской империи Александр II вошел на престол из начальников военно-учебных заведений. При восшествии Александра II на престол внешние дела были вовсе не в таком отчаянном положении, чтоб энергическому государю нельзя было выйти из войны с сохранением достоинства и существенных выгод. Внутри не было изнеможения, крайней нужды; новый государь, которого все хотели любить как *нового*, обратясь к этой любви и к патриотизму, непременно вызвал бы громадные силы; война была тяжка для союзников, они жаждали ее прекращения, и решительный тон русского государя, намерение продолжать войну до честного мира непременно заставили бы их попятиться назад. Для отнятия предложения к продолжению войны нужно было уступить Европе совокупное право распоряжаться турецкими делами, но не уступать ничего более — ни Дунайского устья, ни черноморского флота. Англичане не могли вести войны, вся сила союза была у Франции: нужно было прямо сблизиться с Напо-

леоном, что новому императору русскому было легко сделать без всякого унижения, — нужно было обещать Наполеону все относительно Италии и Австрии. Пусть бы при содействии русского оружия Франция взяла Савойю и Ниццу, которые взяла и без русского содействия, но тогда французское приобретение уравнивалось бы сохранением устьев Дуная, черноморского флота и приобретением Галиции; ничто не могло быть популярнее войны с Австриею — Пруссия тогда не двинулась бы за Австрию, Пруссию можно было бы легко приманить. Но для этого кроме широты взгляда необходимы были смелость, способность к почину дела, энергия. Их недоставало у нового императора как у одного человека; их бы достало у него, если бы он был поддержан окружением, но около него не было ни одного человека силы умственной и нравственной. Его окружали те же люди, с которыми и Николай из ложного страха воевать с целою Европою стал пятиться назад и этим навязал себе на шею коалицию; и теперь раздавались одни возгласы: «Мир, мир во что бы то ни стало!» — и мир был заключен после падения Севастополя, тогда как Севастополь играл тут именно ту же роль, какую играла Москва в 1812 году: тут-то, после этой жертвы, и надобно было объявить, что война не оканчивается, а только начинается, чтоб именно заставить союзников ее кончить.

Несмотря на то что новый император исполнял свято сыновние обязанности, относясь благоговейно к памяти Николая, которого всюду величал незабвенным, с первого же раза почувствовалась реакция, перегибание дуги. Сам император, естественно, желал быть популярным как добрый, хороший человек, кроме того, внутренними популярными преобразованиями желал заставить забыть позор внешних отношений. В природе его не лежало столько твердости, чтобы самому умерять эти два сильных стремления, и, главное, недоставало широты взгляда, а этот недостаток проистекал от незнания России, ее настоящего и прошлого, незнания умоначертания своего народа и положения различных общественных слоев; он действовал в потемках, часто шел не туда, спотыкался, озадачивался и трусил там, где нечего было бояться, и шел прямо, бодро туда, где была действительная опасность. Из окружающих не было никого, кто бы осветил для него эту тьму; все это были слепые; некоторые из них могли не одобрять

стремлений императора, желали остаться при старом, николаевском; некоторые желали идти потише, поосторожнее, но они обнаруживали свое неодобрение тайным или явным ворчанием, и никто не смел, а главное, не умел высказать свое мнение пред императором: все это были лакеи, привыкшие пред господином только льстить и поддакивать, говорить одно приятное для заискивания доброго расположения и ласки барина. Но, что хуже всего, эти господа, воспитанные в николаевском рабстве, не имели никакого гражданского мужества; они привыкли преклоняться пред всякою силою, и, когда Александр II по своей внутренней слабости и отсутствию внешней подпоры не мог сдержать реакции, ослабил пружины власти и этим дал простор так называемому отрицательному направлению, когда снизу раздались громкие крики, — царская дворня, привыкшая только к крикам команды, приняла и эти крики за крики команды, смутилась, не знала, что делать, попавши между двух огней, — и началось постыдное двоедушие, двуверие, начали ставить свечи обоим богам, несмотря на их противоположность; и, кто чем более подличал, льстил, заявлял свою преданность власти, тот всего сильнее подличал, льстил, заявлял свою преданность пред представителями новой силы, всех больше либеральничал, и все это — в одно и то же время.

У всех, начиная с самого императора и его семейства, было стремление вырваться из николаевской тюрьмы, но тюрьма не воспитывает для свободы, и потому легко себе представить, как будут куролесить люди, выпущенные из тюрьмы на свет, сколько будет обмороков у людей от не привычки к свежему воздуху. Первым делом было бежать как можно дальше от тюрьмы, проклиная ее; следовательно, первое проявление деятельности интеллигенции должно было состоять в ругательстве, отрицании, обличении, и все, что говорило и писало, бросилось взапуски обличать, отрицать, ругать; а где же созидание, что поставить вместо разрушенного? На это не было ответа, ибо некогда было подумать, некому было подумать, не было привычки думать, относиться критически к явлению, сказать самим себе и другим: «Куда же мы бежим, где цель движения, где остановка?» Для подобных вопросов требовалась твердость, гражданское мужество, но на эти качества давным-давно спроса не было,

их давно перестали поэтому предлагать, они вывелись; была мода — молчать и не думать, и все хотевшие жить по моде молчали и не думали; теперь пришла мода — кричать и отрицать, бранить все существующее, и желавшие жить по моде принялись кричать, бранить, отрицать существующее. В конце концов должны были прийти к одному решению. Создать мы не умеем, нас этому не учили, а существующее скверно, и потому надобно разрушить сплошь все — вот наше дело, а там новое, лучшее создастся само собою.

Хотя было мало, очень мало, но все же были люди с авторитетом, люди науки, люди мысли и опыта, которым было не под стать бежать как угорелым неведомо куда, которые могли поднять голос против такого бегства, пригласить остановиться, подумать, поусумниться в пользе и необходимости бесцельной беготни. Таких людей было мало, и, главное, для укрепления их авторитета не было почвы, ибо в николаевское время все стремилось уничтожить эту почву; человек мысли и знания был гоним. Если он имел влияние в небольшом кружке, то вследствие оппозиции правительству, существующему порядку, вследствие того, что он необходимо относился отрицательно к существующему. Беда была в том, что в это несчастное время самый положительный человек был отрицателем и своим авторитетом приучал к отрицанию. Да и таких людей, повторяю, было очень мало, а большинство людей, стоящих наверху и долженствующих быть авторитетами, было таково, что подрывало всякий авторитет: это были глупцы или по крайней мере невежды и некрасивые в нравственном отношении; над ними смеялись, их презирали, перед ними преклонялись только физически, служебно, с ненавистью в сердце, с проклятьем на устах: где же тут могла быть привычка к авторитету, нравственная дисциплина?

XXI

Я сказал, что все, начиная с самого верха, стремилось выйти из положения, созданного Николаем. Прежде всех стремился император, который хотел быть популярным, хотел громкими делами внутреннего преобразования загладить позор Парижского мира. Мир был заключен, чтоб поскорее иметь возможность заняться внутренними делами, расстрой-

ству которых приписывалась военная неудача; следовательно, восстановлением народных сил через перемену системы, посредством внутренних преобразований дать возможность России подняться опять и во внешнем значении и утвердить его прочно. Этот естественный, правильный, необходимый вывод повторялся всюду и должен был торопить государя. Но как, с чего начать? Сначала ничего определенного не было. Необходимость освобождения крестьян вовсе не сознавалась, тем более что Александр II был связан с наследнической стариной: будучи наследником, он высказывался решительно против освобождения; вот почему, ставши императором, из самолюбия, желания быть последовательным он в обращении к дворянству также высказывался против освобождения. При неимении системы, определенных целей, как обыкновенно бывает, начали распускать, ослаблять вообще, пошла на это мода, началось либеральничанье. Но ясное дело, что, как скоро почувствовали отсутствие целей, так начались движение и шум, странные телодвижения с целью размять члены, дать крови правильное обращение, послышались разные речи, которых прежде не слышно было. Стали бранить прошедшее и настоящее, требовать лучшего будущего. Начались либеральные речи, но было бы странно, если б первым же главным содержанием этих речей не стало освобождение крестьян. О каком другом освобождении можно было подумать, не вспомнивши, что в России огромное количество людей есть собственность других людей (причем рабы одинакового происхождения с господами, а иногда и высшего: крестьяне — славянского происхождения, а господа — татарского, черемисского, мордовского, не говоря уже о немцах). Какую либеральную речь можно было повести, не вспомнивши об этом пятне, о позоре, лежавшем на России, исключавшем ее из общества европейских, цивилизованных народов? Таким образом, при первом либеральном движении, при первом веянии либерального духа, крестьянский вопрос становился на очередь.

Волею-неволею надобно было за него приниматься. Кроме указанного нравственного давления указывалась опасность для правительства: крестьяне не будут долго сносить своего положения, станут сами отыскивать свободу, и тогда дело может кончиться страшною революциею. Освобожде-

ние совершилось. Сто лет тому назад Екатерина, спросившая Россию относительно освобождения крестьян, услышала ответ резко, решительно отрицательный. Я в «Истории России» изложил причины этого явления. Александр II не спрашивал об этом у России, и конечно, если б вопрос был подвергнут тайной всеобщей подаче голосов (исключая, разумеется, крепостных), то ответ, надобно полагать, вышел бы отрицательный.

В экономическом отношении, особенно в северной России, народонаселение в сто лет не увеличилось до такой степени, чтоб обязательный труд мог быть заменен вольнонаемным; северные землевладельцы должны были пострадать, и сильно пострадать. Но дело в том, что в сто лет западное давление чрезвычайно усилилось; русский человек по отношениям к остальной Европе стал похож на человека с маленькими средствами, но случайно попавшего в высшее, богатейшее общество, и для поддержания себя в нем он должен тянуться, жить не по средствам, должен отказывать себе во многом, лишь бы быть прилично одетым, не ударить лицом в грязь в этом блестящем, дорогом ему обществе. Голоса помещиков были заглушены либеральными криками литературы, сосредоточенной в столицах. Дело было произведено революционным образом: употреблен был нравственный террор; человек, осмелившийся поднять голос за интересы помещиков, подвергался насмешкам, клеймился позорным именем крепостника, — а разве у него была привычка поддерживать свое мнение? Пошла мода на либеральничание: люди, не сочувствовавшие моде, видевшие, что нарушаются их самые близкие интересы, пожимали плечами или втайне яростно скрежетали зубами, но противиться потоку не могли, не смели и молчали. Как бы то ни было, переворот был совершен с обходом самого трудного дела — земельного. Крестьян наделили землею, заплативши за нее помещикам. Красные торжествовали: у прежних землевладельцев отняли собственность и поделили между народом, замазавши дело выкупом, но выкуп был насильственный! Глупые славянофилы торжествовали, не понимая, на чью мельницу они подлили воды: им нужно было провести общинное землевладение! Во многих местах с самого начала уже крестьяне не были довольны наделом, — что же будет с увеличением народонаселения?

Для простого практического смысла крестьян естественное и необходимое решение вопроса представлялось в новом наделе, и они стали его дожидаться как чего-то непременно должствующего последовать. Стали дожидаться.

Сначала дело обошлось спокойно, хотя наверху струсили, боялись народного восстания; в Петропавловской крепости приготовлены были средства к защите; положили обмануть ожидание: манифест был обнародован не 19-го числа февраля, а позднее, в последнее воскресенье к Посту. Меры напрасные, происходившие от незнания состояния народа вообще и русского в то время в особенности. Крестьяне приняли дело спокойно, хладнокровно, тупо, как принимается массою всякая мера, исходящая сверху и не касающаяся ближайших интересов — Бога и хлеба. Интеллигенция по недостатку внимания, изучения умоначертания низшего класса изумлялась этому равнодушию, приписывала его или великим качествам народа, или его тупости, кипятилась своим собственным жаром, подзадоривая себя опьяняющим словом «свобода»; а мужичок оставался спокойным, не обращая внимания на происходившее около него беснование. Простого человека свободою опьянить нельзя, ему надобно показать осязательно, что выгоднее, но этого вдруг показать было нельзя; целого установления, сколько-нибудь сложного, он не поймет, он не приготовлен к этому привычкою обращения мысли в широких сферах, школьным и книжным образованием; он озадачит вас вопросом, который покажется вам странным и мелким, но этот вопрос его прежде всего занимает, он об нем думал, а вы не думали и не хотите признать за мужиком права мысли, думания, только не о тех предметах и отношениях, о каких вы думаете. У вас, например, толкуют о том, что англичане привязаны к свободе, французы — к равенству, но простой человек всегда привязан к равенству, а не к свободе, потому что свобода отвлеченнее равенства. Скажите простому человеку: «Ты свободен», и он станет в тупик; что он будет такой же, как его барин, — это он поймет, но сейчас спросит: «А имение-то как же? Пополам или все мне?» — и тут не теоретический коммунизм, которого он не понимает и никогда не поймет: ему нет дела до барина; тот может получить от царя (который, по мнению мужика, может все сделать) богатейшее вознаграж-

дение; он ему завидовать не станет, ему нужно только обеспечить себя насчет ближайших земельных отношений.

Крестьянин знал, что и прежде его братья становились вольными, через выкуп и отпуск на волю, но тут главной была возможность жить хорошо на воле, средства человека; человек накопил денег и откупился, чтоб еще удобнее торговать и промышлять; когда сам барин отпускал на волю, то первый вопрос был: чем будет жить отпущенный? Без денег воли не надобно. Чтобы крепостной крестьянин понял, в чем дело, надобно было ему просто сказать: «Ты будешь, как государственный крестьянин». Крестьянин это понял бы, но почесал бы затылок, а не стал бы плясать от радости. Скажут: не мог же крестьянин не обрадоваться, узнав, что он не будет более зависеть от произвола помещика, что его семейство и собственность будут безопасны. Отвечаю: те крестьяне обрадовались, которых семейство и собственность были в опасности, но это были не все крестьяне и не большинство.

Злоупотребления помещичьей власти продолжались до последнего времени, иногда обнаруживались в ужасном виде, но это было *иногда* и преимущественно относительно дворни. *Иногда* крестьяне и убивали своих помещиков; крестьяне наиболее зажиточные, которые по известному закону могли бы скорее и сильнее других поднять вопль и голос против притеснений, ибо имели, что защищать, — такие не имели побуждений тяготиться своею участью, потому что были наиболее обеспечены: это были оброчные крестьяне богатейших землевладельцев, гр. Шереметева и других.

Как бы то ни было, дело первой важности было совершено, и совершено на первых порах спокойно. Теперь должно было обратить внимание на следствия переворота, на переход от обязательного труда к вольному в стране, где при этом должно было встретиться сильнейшее препятствие — недостаток рабочих рук. До сих пор работник находился в опеке; опекун принуждал его работать и, разумеется, иногда принуждал более, чем сколько следовало. Это зло опеки, зло крепостничества теперь уничтожилось, но надобно было иметь в виду другое зло, зло свободы, когда человек, свободный от принуждения, станет работать меньше, чем сколько следует, предоставленный одному принуждению, идущему от стремления поддержать свое благосостояние. Но чтоб это стремле-

ние было сильно, надобно известное развитие, знакомство с потребностями, которые очень желательно удовлетворить, привычка к свободному и правильному труду, нравственное влияние семейства и общества и т. д. Но в какой степени всего этого можно было ожидать от русского крестьянина, вступившего в самое опасное положение, переходное положение из неволи к свободе, когда является необходимое стремление воспользоваться отсутствием принуждения и работать как можно меньше? Всего важнее было, что при таком опасном положении, при возможности сделать самые дурные привычки, крестьянин мог сохранять в целости свои умственные, нравственные и физические силы, чтоб он был трезв, — и тут, как нарочно, дают ему возможность пьянствовать. С полным бессмыслием при отсутствии всякого внимательного отношения к делу литература пошла в поход против откупов, с требованием удешевления хорошей водки для простого народа, требуя легчайшей и действительнейшей отравы для него.

Откупа представляли большие злоупотребления; нужно было уничтожить злоупотребления, уничтожить самое учреждение, за которое никто бы не стал заступаться, хотя легко было заметить, что в основе яростных нападков на откупа и откупщиков лежали зависть и ненависть к людям, обыкновенно быстро наживающим огромные состояния. Нужно было уничтожить злоупотребления; можно было уничтожить учреждение, заменив его лучшим, и при этом поддержать значительно высокую цену водки, чтоб не дать крестьянину быть пьяным очень часто, чтоб по-прежнему ограничить случаи пьянства особенными днями, праздниками. Вместо того вдруг удешевили водку, которая чрез это приобрела название скверной памяти в истории русского общества, название *дешевки*. Тяжело сказать: появление дешевки было принято простым народом гораздо с большею радостью, чем освобождение; интерес был ближе; являлась возможность дешево добыть наслаждение опьянения и пользоваться им часто. И вот пьянство быстро распространилось в ужасающих размерах; человек, который для достойного пользования свободою должен был явиться в полноте физических и нравственных сил, явился пьяный. Хозяйство крестьянское получило страшный ущерб, ибо пьянство неразлучно с праздностью; стали увеличивать чис-

ло праздников, чтоб больше иметь предлогов предаваться пьянству; слова апостола: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», разумеется, должны были оправдаться, и сифилис страшно распространился, уничтожая в корне физические силы народонаселения, но важны были беспорядки нравственные. Пьяный отец не мог запретить пить своим сыновьям, жене, снохам и дочерям; начали пить молодые люди обоего пола, едва вышедшие из детства; стали пить женщины и забывать в пьяном виде всякий стыд, всякое приличие; к чему привыкли в пьянстве, от того не могли отстать и в трезвом состоянии, и привыкли публично и громко ругаться так, что прежде и мужику было зазорно. Пьяному море по колено: пьянство приучило к дерзости, к забвению всех нравственных, священных отношений, к уничтожению семейной дисциплины; молодые перестали слушаться старших, дети начали браниться, драться с родителями, ни во что их ставить, стремиться к выделу, к освобождению от уз семейных. Скоро послышались громкие жалобы на совершенное ослабление семейной дисциплины; все крестьянские общественные отправления, хозяйственные распоряжения, суд подчинились господствующему стремлению к пьянству; явилось взяточничество целым миром, продажа правды за ведро вина.

В городах та же язва напала на рабочий класс. Отличные работники и слуги, напивавшиеся прежде очень редко и потому сносно для хозяев, не устояли пред искушением и бросились на дешевку; вовсе не стало сладу с поварами, лакеями и кучерами; наниматели стали сидеть без обеда, как нарочно, в самые большие праздники, ибо повара лежали пьяные в кухне; стали трепетать за безопасность своих жен и детей, когда они куда-нибудь ехали с кучером и лакеем, напившимися в то время, когда господа сидели в гостях. Кончилось тем, что люди среднего состояния отказывались от порядочного стола, прогоняли поваров и нанимали кухарок, тем более что грабительство поваров вследствие потребности постоянного опьянения достигло высшей степени; продавали лошадей и брали наемных, что стоило гораздо дороже; требовали только от поставщиков лошадей, чтоб кучер был трезвый, хотя бы и не очень хороший в других отношениях, неряшливый и т. п. Почти так же искали и лакея — какого-нибудь, только бы не пьяницу — или заменяли лакея женскою прислугою. Но го-

раздо хуже было положение содержателей разных ремесленных заведений, портных, сапожников, прачек и т. п. Работники пьянствовали, не стесняемые прежнею необходимостью платить оброк господину и надзором последнего, работа останавливалась, заказы не поспевали ко времени; для отвращения этих неудобств хозяин должен был увеличивать издержки производства, искусный работник стал редок и очень дорог, отсюда — необходимое увеличение цены на произведения его труда, дороговизна, начавшая возрастать страшно.

Хороший рабочий, хороший слуга стал требовать большей платы вследствие своей редкости; это подняло плату вообще всех мастеровых, всей прислуги, ибо тут определить строго различие между хорошими и дурными было нельзя. Большая плата уничтожила в этом классе прежнюю бережливость и умеренность в пище и одежде, явилась небывалая роскошь; лакеи и горничные стали одеваться почти так же, как господа; горничные стали носить шелк и шерсть, шляпы с цветами, зонтики; обувь покупали такую же дорогою ценою, как и госпожи их. Легко понять, как чрез такое увеличение потребителей увеличилась ценность потребляемого, увеличилась дороговизна.

XXII

Но сейчас же явилась и другая причина дороговизны в стране, где относительно так мало рабочих рук, — явилась судорожная промышленная деятельность, стремление к освобождению капиталов, к приобретению на них как можно больших барышей, процентов. До сих пор сбережения сохранялись в правительственных кредитных учреждениях; с них получались очень умеренные проценты, но при дешевизне они были достаточны; с другой стороны, эти учреждения поддерживали сословие землевладельцев, дворян, доставляя им возможность выгодного закладывания имений. Теперь землевладельцы, в самую критическую для них минуту, потеряли поддержку знаменитого опекунского совета, который был опекуном не сиротским, а общедворянским; капиталы были вытеснены из государственных кредитных учреждений ничтожностью процента — надобно было волею-неволею помещать их в более выгодные предприятия. Первое из таких пред-

приятней было построение железных дорог, предприятие, необходимое для страны, где надобно искусственно противоборствовать вредному влиянию неизмеримых пространств, препятствующих страшно общественному развитию. Последняя война показала ясно необходимость железных дорог для защиты государства от внешнего врага. Следовательно, против усиленного строения железных дорог не могло быть возражения. Но и здесь скоро перейдена была граница. Предприятие найдено выгодным, посредством него можно было легко обогатиться, и вот явилась мания железнодорожная. Для приобретения концессий стали употребляться разные неблагоприятные средства наверху. Стали проводиться железные дороги и там, где были не нужны или где можно было с ними пообходать: обогащение посредством железных дорог заменило обогащение посредством откупов; явились железнодорожные тузы, возбудившие своим богатством сильную зависть и соревнование; материальный интерес выдвинулся, горячка обогащения начала овладевать; после железных дорог пошли промышленные предприятия, явились банки, платившие огромное жалованье служившим в них; началась биржевая игра, распалившая особенно страсть к обогащению, утвердившая господство материального интереса. А тут еще два выигрышных займа. Четыре раза в год множество людей обоого пола — в распаленном лихорадочном состоянии вследствие возможности обогатиться вдрут, без всякого труда, усилия с своей стороны, по воле бессмысленной судьбы; страшный нравственный и даже физический вред от нервного напряжения, от бессонных ночей.

Крестьянин пьянствует и терпит нужду, не имеет, чем уплатить податей; он уже испытал правительственный или революционный способ действия для перемены своей судьбы и надеется, что таким же способом произойдет и новая перемена: правительство, царь нарежет крестьянам еще земли. А между тем для многих из них под руками — способ кормиться: отовсюду требования работника — на железную дорогу, на фабрику, в кабак; крестьянин, крестьянка покидают деревню, семью, но этого рода заработки не способствуют к улучшению нравственному крестьянина: возвращаясь в деревню, если он и приносит несколько денег, зато приносит и сильнейшую привычку к пьянству, кутежу, разврату, прино-

сит сифилис и распространяет его в деревне, где по недостатку средств народ гниет от гнусной болезни; приносит роскошь: до сих пор крестьяне носили то, что сами дешево приготавливали дома, — теперь пошли люди носить фабричные произведения. На фабрике, в заведении, на каких-нибудь постройках крестьянин входит в зависимость от хозяина или подрядчика, своего брата, разбогатевшего всеми неправдами и стремящегося всякими средствами выжать из работника лишнюю копейку. При злоупотреблениях крепостного права в дурном помещике крестьянин видел барина, человека, высоко над ним стоящего, начальника, имеющего право управлять, владеть крестьянином; это была внешняя сила, гнет, который удручает, но не озлобляет, разве в крайних случаях. Но хозяин — это свой брат мужик, богатый мужик, притесняющий бедного мужика, притесняющий мелкими средствами; тут права никакого, кроме права сильного, и это право основано на деньгах. Такие отношения могли возбуждать только озлобление, ненависть.

Землевладелец, особенно в северных губерниях, разорился вследствие уничтожения крепостного права. Ему оставалось продать или все имение, или по крайней мере лес. Охотников покупать много, потому что дрова нужны на усиленную промышленность, особенно на железные дороги, — и вот началась страшная вырубка лесов, которая скоро возбудила вопли, вопли бесполезные, ибо причину отстранить не могли.

С одной стороны — дороговизна, нужда в деньгах, уменьшение доходов, неудобство положения, даже разорение людей, которые в какой бы то ни было степени были представителями духовного развития в народе; с другой — примеры быстрого обогащения людей, которые успели, обдуманно или случайно, употребить выгодно свои капиталы; с третьей — шум, суетня преобразовательного движения, крик печати, — все это должно было произвести страшную смуту между людьми нисколько не приготовленными, сжатыми в своей деятельности царствованием Николая или затянувшимися в это царствование в мелких интересах, покорно повиновавшимися команде: «Не рассуждать!» — или между развитыми, рассуждавшими, но в этих рассуждениях развившими только отрицательное направление, отрицательное отношение к деятельности нравственной; в болтов-

не, в словопрепирательствах они нисколько не приучили себя к деятельности положительной, способность к которой приобретается не на словах, а на деле. К тому же вследствие привычки дрожать пред Николаем и его орудиями русские люди дрожали пред каждою силою, пред каждым окриком, громким словом и потому не были способны мужественно высказывать свои убеждения, упираться; при виде начавшейся кутерьмы многие поняли опасность положения и втихомолку сетовали на неправильность, революционность движения, но не могли громко заявить своего мнения, чтоб не прослыть ретроgrадами, жалеющими о крепостном праве, и т. п. Да и в трудном положении они находились.

Крайности — дело легкое; легко было завинчивать при Николае, легко было взять противоположное направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II, но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было. Преобразования проводятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI и Александры II. Преобразователь вроде Петра Великого при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен, но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель.

Сумятица, шум, возня в обществе, нисколько не приготовленном к повороту на новую дорогу, жившем долгое время одними ожиданиями перемены, но не определившем своих желаний, в чем именно должна состоять перемена, причем в сфере, которой принадлежало руководство и которая упорно удерживала его в своих руках, — совершенная неспособность к руководству, совершенное непонимание самых первых вопросов: что, откуда и куда? Сильные энергиею, способностями, самостоятельностью люди были уничтожены системою Николая. Отыскать таких людей для новой деятельности был совершенно не способен преемник Николая по своей необразованности, лени, по страху пред новыми людьми, по сознанию своего неумения извлечь из них пользу, обсудить их мнения, разобраться в том разнообразном материале, который бы они предложили, откуда приистекало стрем-

ление вращаться только в привычном кружке людей, издавна известных, посредственностей, не представлявших никакой опасности для самолюбия, людей, перед которыми не нужно было держать себя застегнутым, охорашиваться умственно и нравственно. Судьба не послала ему Ришелье или Бисмарка, но дело в том, что он не был способен воспользоваться Ришелье и Бисмарком; у него были претензии, страх слабого человека казаться слабым, несамостоятельным; под внушениями этого страха он в одно прекрасное утро прогнал бы Ришелье и Бисмарка. Отсюда — страшная бездарность наверху, один выбор хуже другого; каждый выбор возбуждал неприятные толки, насмешки; уважение ко власти рушилось в самодержавном государстве: никакой системы, никакого общего плана действий, каждый министр самодержавствовал по-своему, — совершенная смута, — вместо того чтоб править, судорожно задерживали, выводили из терпения; но как же выражалось это нетерпение? Для уяснения этого вопроса надобно обратиться к воспитанию, которое стали получать новые поколения с 1855 года.

XXIII

При Николае воспитание в общественных заведениях было подорвано фальшивостью, двоедушием. С низших классов дети привыкли различать науку казенную от настоящей, которая представлялась им в виде запрещенного плода. Молодые учителя, если не все, то некоторые, желая облегчить для себя скуку, тяжесть преподавания и приобрести популярность, пользовались случаями заявить пред воспитанниками об этой quasi-настоящей и у нас запрещенной науке; отсутствие всяких педагогических правил, системы приготовления больше всего содействовало этому. Старый учитель был синонимом негодного учителя; чем моложе был учитель, тем более ценился; он недавно еще слышал в университете новые лекции, последнее слово науки, и не было никому нужды, что он сам еще ребенок, до такой степени неопытный, что пред учениками гимназии готов был выкладывать эти университетские лекции, иногда дурно записанные и все более и более забывающиеся. Вообще у нас так называемое высшее образование играет жалкую роль. Молодой человек отлично

кончит курс в университете, поступит на службу и перестает читать, так что по прошествии известного времени он выходит хуже невежды, ибо сам считает себя образованным и другие считают его таким, а между тем из прежнего образования, не обновляемого и не развиваемого чтением, у него остались какие-то смутные понятия; станет говорить о научных предметах — говорит чепуху, клянется какими-то старыми богами, остались у него одни претензии, не имеющие никакого основания; если он что-нибудь и прочтет, то выхватит наудачу, без связи, или увлечется, восхищается без толку, или вдруг, не понявши, станет без толку ругать прочитанное — и все с видом знатока, особенно если успел попасть по службе в большие чины. Учителя не составляли в этом отношении исключения. Они поступали на службу, чтоб получить больше удобств в жизни, занимались уроками и были с утра до ночи на уроках. Приедет несчастный с уроков совершенно истомленный, отупевший — где же ему читать! Таким образом, выходит, что если у нас все люди с высшим образованием очень мало читают и поэтому высшее образование является скоро у них в виде каких-то безобразных развалин, то учителя читают меньше всех. В будни некогда, откладывают на вакацию, но тут после томительных экзаменов спешат физически отдохнуть и имеют нужду в отдыхе; идет день за днем в обычных развлечениях в семействе или без семейства, и не видно, как вакация приходит к концу, и книга остается раскрытой на первой странице. Таким образом, и молодой учитель скоро делается старым задавателем и спрашивателем по учебнику; если же иному хотелось поддержать живость, интерес преподавания, поддержать расположение к себе учеников, то пускался в либеральничанье, позволял себе насмешки над казенными выражениями учебника и подрывал доверие учеников к источнику их знания: каково было ученику зубрить осмеянное, объявленное ложью! Или, прочтя урывком какую-нибудь журнальную статью, учитель с важным видом возвещает о новом взгляде на предмет, тогда как этот новый взгляд — сущий вздор. Всякий поймет, что я говорю преимущественно о преподавании истории, но история есть единственная политическая наука в среднем образовании, и потому ее преподавание — чрезвычайной важности: от направления ее преподавания зависит политический склад бу-

дущих граждан. При взгляде на такую трудность преподавания истории, особенно у нас в России, естественно приходит на ум об исключении истории из предметов общего образования, но, во-первых, что же это будет за общее образование без знания истории; во-вторых, гимназисты разойдутся по математическим, медицинским и юридическим факультетам, где они никогда не услышат истории.

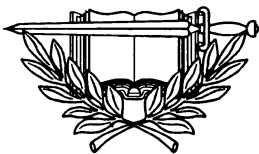
Легко понять после этого, с какими возбужденными головами выходили ученики из средних заведений, пропитанные неуважением к авторитетам, ибо книга, руководство должны были являться для них в продолжение всего курса высшим авторитетом, и этот авторитет был осмеян, обвинен во лжи. Но авторитет подрывался еще другим способом, особенно в военных училищах, чрез назначение в начальники людей необразованных, глупых, но отличающихся выправкою, точным исполнением военно-служебных обязанностей. Как ни неразвиты были старшие воспитанники, все же они стояли выше подобных начальников, ибо все же они находились в процессе какого-то развития, тогда как почтенные начальники давно уже почили в умственном отношении. Отсюда смешные выходки начальников в классах, на экзаменах, целый ряд рассказов об их глупости и невежестве, подрывавших всякое уважение к ним, подрывавших авторитет, нравственную дисциплину в корню. Но стремление занять начальнические места фельдфебелями в генеральских эполетах было ощутительно и в гражданском учебном ведомстве. Таковы были «енералы», назначавшиеся попечителями, таков был в Москве Назимов, о котором в округе ходили удивительные рассказы: например, когда во время университетского юбилея Шевырев предлагал, чтоб для обстановки пригласить девять актрис, которые бы изображали девять муз, то Назимов отвечал: «Зачем же только девять? — Сколько угодно пригласим». Или его помощник Муравьев потребовал от университетской типографии, чтоб она соблюдала экономию, набирала старым, избитым шрифтом, а набело печатала хорошим, новым. Надобно было послушать, как эти господа объяснялись с воспитанниками, студентами, чтоб понять, как в молодых людях подрывалась дисциплина.

Дисциплина в школах поддерживалась уважением только к товарищам более способным, усердно занимающимся и

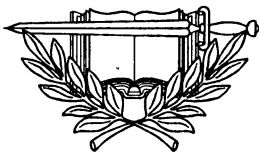
потому более знающим, хотя и тут по слабости общего развития люди более дерзкие, более способные к словоистечению, не разбиравшие средств в спорах при самом поверхностном знании, выхваченном из журналов или приобретенном понаслышке, часто брали верх над людьми серьезными, действительно что-нибудь знающими. Но вот с 1855 года пахнуло оттепелью; двери тюрьмы начали отворяться; свежий воздух производил головокружение у людей, к нему не привыкших, и в то же время замерзшие нечистоты начали оттаивать и понеслись миазмы. В то время как люди серьезные, мыслящие, знающие внимательно вглядывались и вслушивались для уяснения себе положения дел, усердно занимались важными вопросами преобразования, — люди, которые знали, что не способны выйти вперед способностями, знаниями, тяжелыми усердными занятиями, выступили в поход первые. У них было огромное преимущество — смелость или дерзость, качества, которые в обществе благоустроенном ведут к виселице, но у нас в описываемое время могли повести только к выгодам. Первому произнести громкое слово, обругать, проклясть прошлое, провозгласить, что спасение состоит в движении к новому, в движении вперед во что бы то ни стало, было очень выгодно; внимание обращалось на передового человека; он приобрел значение героя, человека, отличавшегося гражданским мужеством, тогда как теперь никакого мужества в этом не было; при Николае его бы сослали куда Макара телят не гонял, да при Николае он бы и не заговорил; он заговорил теперь, когда произошло неправильное поступательное движение по определенному плану, руководимое сильною рукою при помощи многих других сильных рук. Началась смута, когда наверху люди ходили как шальные, ничего не понимая, не зная, что хочет самодержец, как ему угодить и где сила, к которой надобно забежать и поклониться.

Теперь было безопасно говорить, обличать; заговорила, явилась целая обличительная литература, следствием чего было усиление пагубной привычки к отрицанию, делу чрезвычайно легкому, приходившемуся как нельзя лучше по ленивой натуре неразвитого народа и особенно российского благородного дворянства, привыкшего жить чужим трудом, ничего не делая. Людями, способными к труду, производились известные преобразования, но люди, не способные к такому

положительному труду, пустились во всю прыть по легкой дороге отрицания, обличения, и остановки им не было никакой. Безнравственная и глупая цензура очумела окончательно при новых условиях — решительно не знала, что делать, что запрещать и что пропускать; заправляли ею люди по-прежнему неспособные и невежественные; в ней господствовал полный произвол: в одно и то же время запрещалась вещь самая невинная, какой-нибудь исторический факт из времен давно прошедших, и допускался явный призыв к восстанию низших классов против высших. Партий не было, которые бы выставили разные знамена, вступили в борьбу друг с другом и этою борьбою сдерживали друг друга, сохраняли равновесие и уясняли взгляд общества на известные вопросы. Для одних людей, идущих отрицательным путем, труд был легкий и выгодный; толпа их поэтому постоянно увеличивалась; они говорили по невежеству страшный сумбур, ругались друг с другом, но все же у них было единство направления, все же они имели один общий цвет, тогда как люди противоположного направления, люди серьезные и достаточно образованные, были рассеяны, не составляли партии с определенными уже давно принципами; каждый из них занимался одним своим каким-нибудь делом и не мог его оставить; самая серьезность их не позволяла им быстро и дружно выступить против безумных отрицаний всего; они привыкли обдумывать дело прежде начатия, приготавливаться, спеваться, тогда как их противники в этом вовсе не нуждались; они выступили налегке, казаками (как и сами себя называли) и заняли местность, утвердились на ней. Но разумеется, при всем своем невежестве они инстинктивно понимали, что выступили в поход очень налегке, что при первой встрече с «регулярным» войском им может быть очень нехорошо, и потому должны были принять меры. Меры эти, естественно, должны были состоять в предупреждении врагов и в наступательности...



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА



I

...Я понимаю твоё нетерпение: столько важных вопросов возбуждено в науке и жизни, жизнь так много требует от науки, настоящее требует так много объяснений от прошедшего! Ты меня закидываешь вопросами: как я думаю об этом; как я смотрю на то; не отыскал ли я в архивной пыли какого-нибудь известия, которое бы объяснило нам то и то. С чего же начать мне мой ответ?

Не раз я замечал в твоих письмах горькое чувство, сомнение насчет будущности европейского человечества. В одном письме, обозревая состояние европейского общества и литературы, ты говоришь: «Что это такое? Утомление ли от слишком быстрого движения, желание отдохнуть, оглядеться, подумать, чтобы, собравшись с новыми силами, пуститься опять в путь, или действительно одряхление, неспособность идти далее по дороге жизни? И что это за протест против настоящего, поднимаемый во имя прошедшего? Какой его смысл?»

Постараюсь сначала отвечать тебе на этот вопрос. Но прежде всего надобно условиться в смысле слов, которые мы будем всего чаще употреблять. Сколько раз в твоих письмах встречается слово «прогресс»: в его значении, думаю, мы прежде всего должны условиться.

Ряд изменений, замечаемых при развитии семени в дерево или яйца в животное, состоит в движении от простоты и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. На первой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии обозначается появлением различия между частями этого вещества; потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется, и через бесконечное умножение такого выделения частей образуется наконец сложная сеть тканей и органов, составляющая животное или растение в полном его развитии. Это явление, которое мы называем прогрессом, общее всем организмам, как природным, так и общественному. Первый шаг к прогрессу в человечестве, заключавшемся в одном человеке, было появление различий между мужчиною и женщиною. «Не добро быти человеку единому», — сказал Виновник жизни, и явилась женщина. В обществе, на низкой ступени развития находящемся, дикарь производит сам все для себя нужное; но потом постоянно является разделение занятий, образуются отдельные органы общественные. В обществах недовольно развитых первосвященник и государь слиты в одном лице; религиозные и гражданские законы смешаны: в силу прогресса все это мало-помалу различается, разделяется. Тот же самый прогресс в языке, от однозвучия животных до членораздельных звуков человеческих и т. д.

Но прогресс не состоит в одном только бесконечном членоразделении; для образования организма необходимо, чтобы части, органы, выделяясь, обозначаясь, находились в тесной связи между собою; отдельного, тем менее враждебного друг другу положения они иметь не могут; движение, жизнь, прогресс обуславливаются соединением, следствие одиночества — бесплодие, неподвижность. Чем развитее организм, чем развитее его члены, органы, тем в более тесной связи находятся они друг с другом, тем менее для них возможности одиночного существования. Этот общий закон организма имеет силу и в применении к высшему из организмов, организму общественному. Но если среди организмов природных, чем выше организм, тем с большею медлен-

ностию развивается, тем большего требует для себя старания, ухода — то нечему удивляться, что организм общественный так медленно совершенствуется, что истины относительно его образования достаются человечеству с таким трудом. Из глубокой древности идет притча о том, как члены человеческого тела отказались служить друг другу и этим довели тело до гибели; давно, следовательно, принимали одинаковость законов как для организмов природных, так и для общественного, давно старались обращать внимание людей на эту одинаковость.

Дело уяснения законов общественного организма начато давно, но вот прошло столько веков, а все кажется, что оно только еще в начале. Легко сравнивать организм с организмом общественным: действительно, сходство поразительное, законы одни и те же; но не должно забывать, что члены общественного организма суть существа свободно-разумные или целые соединения таких существ; что каждое из них первоначально вращается в тесной сфере, где видит преимущественно только себя; что сфера эта расширяется чрезвычайно медленно; медленно члены общественного организма приходят к сознанию о необходимости тесной внутренней связи друг с другом для поддержания полной жизни каждого из них и, наоборот, о необходимости полнейшего развития каждого из органов для поддержания тесной внутренней связи между ними, для совершеннейшего развития общественного организма. Прежде чем достигло этого сознания, сколько раз человечество приходило в отчаяние от прогресса, протестовало против него, старалось остановить его, уйти от него; в древнем мире — начиная от индийских воззрений в сфере религиозно-философской и оканчивая республикою Платона в сфере философско-политической; в новом мире...

Но я вижу издали твое нетерпение, желание остановить меня и потребовать прежде всего объяснения, что за связь между индийскими воззрениями и воззрениями Платона.

Самый мягкий, самый дряблый из народов Востока, народ индийский — первый наскучил борьбою жизни, не мог сладить с прогрессом, привести в возможную гармонию отношения, им порождаемые, и протестовал против него. Он

объявил: что все многообразие явлений видимого мира не имеют действительного существования; что задача человека состоит в удалении от этого кажущегося существования, от этого непрерывного коловращения мира и в погружении в Брамму, душу вселенной, находящуюся в совершенном бездействии, покое. В буддизме индеец старался также избежать от «неугомонного вращения колеса мира», от жизни, исполненной страданий. Что за причина старости, смерти, всякого рода страданий? Рождение. Что за причина рождения? Зачатие, вожделение, чувства. Чтоб уничтожить страдание, надобно уничтожить рождение; чтоб уничтожить рождение, надобно уничтожить зачатие, вожделение, чувства, надобно уничтожить соприкосновение с миром, — человек через это отрешение, через это самоуничтожение должен перейти в пустоту, из которой не может быть возрождения к ненавистной жизни. Какой же смысл всех этих воззрений для историка? Здесь обнаруживается неспособность народа выдержать борьбу с жизнью, распорядиться разнообразием отношений, страшная слабость, одряхление, порождающие сильное желание покоя, стремление уйти от прогресса, от движения, возвратиться к первоначальной простоте, то есть пустоте, в состоянии, до прогресса бывшее.

Когда греки, в конце своего блестящего, но одностороннего развития, не могли сладить с прогрессом, то и у них, у лучших людей, у лучших умов между ними, явился протест против прогресса, который преимущественно обнаружился в политических сочинениях Платона («Государство» и «Законы»). Здесь высказалось стремление возвратить общество к первоначальной простоте, единству, остановить дальнейшее движение, развитие личных отношений, личных способностей, личных средств, и высшим идеалом поставлено то общество, в котором у человека отняты семейство и собственность, два могущественных двигателя при развитии силы человека. Понятно, что мысль о подобном общественном устройстве могла явиться в языческом мире, когда господствовал самый низкий взгляд на достоинство человека.

Человек, по этому взгляду, вечно ребенок, вечно нуждающийся в строгой опеке, обязанный вечно пребывать в школе, и общество должно быть устроено по образцу школы или,

если угодно, по образцу лагеря, дисциплиною своею так близко подходящего к школе. И в обществе, как в школе, человек-ребенок встает, ложится, ест, работает в определенное время вместе с другими; каждому дано в собственность ни больше ни меньше, как и другим: у школьника есть своя кровать, платье, столик, книги, все это совершенно такое же, как и у других; в обществе Платона у каждого свой участок земли, который нельзя ни увеличить, ни уменьшить; движимое имущество — это язва, от него больше всего надобно беречься, приобретение его надобно затруднять всеми средствами, ибо понято было, что движимое имущество — самое сильное средство движения, развития общественного. Человек — ребенок; дайте ребенку нож, он его в пользу не употребит и скорее всего порежется или другого порежет, лучше до греха отнять у него нож; дайте человеку семейство, дайте возможность приобретать, увеличивать собственность: человек с этим не сладит, не будет от них добра ни ему, ни другим, а пойдут только ссоры, тяжбы, бедный будет завидовать богатым; лучше отнять у человека и семейство, и собственность!

Надеюсь, теперь ты оставишь за мною право сблизить политические мечтания одряхлевшей Греции с религиозными воззрениями Индии: и здесь и там одно и то же отвращение от движения жизни, неумение сладить с прогрессом и стремление остановить его, возвратиться к первоначальной простоте, однообразию, небытию; и здесь и там одинаковое непризнание достоинства человека, одинаковое презрение к его нравственным силам, которые не могут дать ему средств сладить с прогрессом и устроиться при разнообразии общественных отношений. Какими же средствами ветхий мир мог быть обновлен, мог быть спасен от этих грустных воззрений, так ясно обличавших истощение нравственных сил в древнем человечестве? Разумеется, спасение могло прийти от воззрений противоположных. Для обновления мира нужно было поднять значение отдельного лица, объявить, что человек не есть ребенок, долженствующий быть вечно в школе, но совершеннолетний, могущий владеть всем, не употребляя во зло для себя и других; надобно было вдохнуть в человека сознание об этом совер-

шеннолетия его, об обязанностях, какие оно налагает, о трудных обязанностях самостоятельной жизни; надобно было внушить человеку сознание его нравственных сил, обязанность их непрестанного развития; надобно было внушить ему, что идеал деятельности человека состоит не в страдательном только повиновении закону, но в свободном превышении закона, в предупреждении его требований. Древнее общество говорило: отнимем у человека собственность, и он перестанет ссориться и тягаться; новое общество должно было сказать: совершенствуем человека нравственно, искореним в его сердце побуждение к вражде, ссоре, и дадим ему все; пусть пользуется на благо себе и другим.

Древнее человечество, не признавая нравственного достоинства человека, веровало в формы, искало только в них спасения. Но история показала тщету этого верования; показала, что все эти многообразные политические здания, в строении которых упражнялась языческая древность, строились на песке. Надобно было поэтому начать постройку здания с другого конца; для прочности здания общественного надобно было заняться нравственным совершенствованием отдельных членов общества; надобно было оставить заботу о формах и заняться содержанием; надобно было упразднить веру в плоть и уверовать в дух.

Все это было совершено христианством, которое провозгласило, что человек более не раб, но сын и наследник, что он есть храм Духа Святого. Высоко стало значение человека, высоко стало значение ближнего; обязанный любить ближнего, как самого себя, человек необходимо получил обязанность уважения, страха пред ближним, страха пред его мнениями (до Бога высоко, до царя далеко, но до ближнего близко).

Новое вино не было влито в старые мехи; для образования новых обществ явились новые народы, ибо одною из могущественных причин древних государств было одностороннее развитие городской нормы жизни. Что такое Древняя Греция? Царство городов: один город существует, сел нет, земледельческое народонаселение не имеет ничего общего с городским; это были рабы, привезенные из разных стран, не имеющие не только гражданских, но и человече-

ских прав, без семейства, без религии, низведенные на степень рабочего скота. Империя Римская была империей города: колонии Рима, которые он выводил в покоренные провинции, были его оттисками, были городами; когда Рим овладел всею Италией, то в этой стране начали господствовать две формы: город и пустыня, где бродили многочисленные стада, пасомые скотоподобными пастухами-рабами. Развивая исключительно городскую форму жизни, не признав подле города свободного, единого народного сельского населения, древнее общество произносило себе приговор; как Ахиллес, оно выбрало блестящее, но кратковременное существование: у городских жителей были все права, но зато на них же одних падали и все обязанности; и когда вследствие этого городское народонаселение истощилось, то откуда могла быть вознаграждена его убыль? Из села не могли прийти для этого в город сильные, свежие люди, могшие продолжать движение, начатое в городе, по одинаковости народного характера, способностей, воззрений, верований, — одним словом, по тесной общественной связи, которая всегда существовала между ними и горожанами; из полей могли прийти в древний город только люди, совершенно чуждые его прошедшего и настоящего, и приход таких людей, испомещение их по необходимости в число граждан окончательно губили город, то есть государство, ибо государство состояло из города! Какой же смысл имеет так называемое великое переселение народов, утверждение варваров в областях Римской империи? Они восполнили то, чего именно не выработало древнее общество: деревенщина, варвары нахлынули из лесов для продолжения обновленной христианством европейской жизни, к которой не было более способно истощенное народонаселение города; но так как это вторжение варваров было насильственным и внезапно, то образованность исчезла на долгое время, деревня в свою очередь подавила город.

В новом обществе видим несколько общественных органов друг подле друга, связанных единством народным и государственным, видим церковь, замок, город, село. Правильнейшее определение отношений между общественными органами, такое определение, при котором бы эти орга-

ны не враждовали, не исключали, не подавляли друг друга, но, сознавая значение каждого, поддерживали друг друга, такое определение отношений составляет задачу европейско-христианского общества. Наука, разумеется, всем своим могуществом должна помогать при решении этой задачи; и прежде всего история должна способствовать установлению правильного взгляда на настоящее, устанавливая правильный взгляд на отношения настоящего к прошедшему. Как же в настоящее время наука исполняет эту великую обязанность свою? Чтобы удобнее отвечать на этот вопрос, я обращаюсь к книге, которая произвела сильное впечатление в ученой Германии, книге Рила «*Die Naturgeschichte des Volkes*»; она, как вижу из твоих писем, произвела сильное впечатление и на тебя: ты часто упоминаешь о ней то с удовольствием, то с неудовольствием; видно, что она тебя занимает и смущает.

Я понимаю, что цель сочинения Рила, как сам он ее высказывает, должна была возбудить твое полное сочувствие: «Общественная жизнь может быть улучшена только тогда, когда каждый отдельный человек и целые сословия приобретут способность ограничиваться, не выходить из должных пределов. Пусть человек среднего сословия желает быть опять человеком среднего сословия, поселянин — поселянином, аристократ да не считает себя особою привилегированною, для господства над всеми другими рожденною. Пусть каждый с гордостью и радостью признает себя членом того общественного круга, к которому он принадлежит по рождению, воспитанию, образованию, призванию; пусть с презрением отбросит от себя обычай выскочки, который играет роль знатного господина. Эту роль играют теперь почти все состояния, исключая настоящее сельское народонаселение, которое я потому и особенно люблю. Общественное преобразование должно состоять в раскаянии, обращении отдельных членов общества».

Цель сочинения прекрасная; в наблюдательности и таланте у автора нет недостатка, приемы при изучении земли и народа образцовые; надобно желать, чтобы русские люди покороче ознакомились с этими приемами и воспользовались ими при изучении своей земли и своего народа. Но как достоинства, так и недостатки подобных сочинений не дол-

жны оставаться под спудом. При решении общественных вопросов прежде всего необходимо правильное историческое понимание, а его-то иногда и недостает у Рия. Чтобы понять ясно требования настоящего, удовлетворить им вполне, но не увлекаясь крайностями стоящего на очереди начала, надобно прежде определить отношение последнего к началу, выработанному предшествующею эпохою. В истории существует строгое разделение занятий между эпохами; каждая эпоха вырабатывает свое начало. При этом господствующее направление обыкновенно позволяет себе злоупотребления; вырабатываемое эпохою начало доводится до крайности: это значит, что начало еще вырабатывается, что общество не доросло еще до настоящего пользования им, не ясно сознает, в чем дело. Как же скоро это сознание является, то общество отбрасывает крайности и стремится к выработыванию нового начала — наступает новая эпоха, причем выработанное предшествующею эпохою начало во всей полноте и чистоте переходит в сокровищницу исторического человечества, в вечное ему пользование, и новое начало может быть крепко, может с успехом вырабатываться только тогда, когда основывается на предшествовавшем, тесно прилегает к нему и через него имеет связь со всеми прежде выработанными историею началами. Новая эпоха может иметь непосредственное отношение только к эпохе ближайшей; новое начало получает непосредственно свое питание от начала, только что перед ним выработавшегося; в истории нет эпох пустых; нет эпох, вырабатывавших только какие-нибудь вредные для человечества начала, через которые человечеству нужно перескочить назад, чтобы получить нравственное питание, жизненные средства от начал, выработанных отдаленнейшими эпохами.

Средние века, века юности европейского человечества, представляют нам государственные тела в хаотическом состоянии: члены тела, общественные органы, налицо, но они еще в борьбе друг с другом, в неправильном отношении друг к другу. Начало, связующее части, дающее единство телу, согласное, стройное направление его деятельности, — это начало еще слабо. Части, отдельные общественные союзы живут особо, так сказать, циклопически; общество в крайне

незавидном состоянии: человек только и безопасен в кружку своего частного союза, вследствие чего частные союзы эти развиты и крепки, обнаруживают много жизни и движения, ибо вся жизнь человека, все его интересы сосредоточиваются здесь; далее стен своего города человек не видит ничего. Каждое жилище, каждое местечко укреплены; горожанин, который так отважен, что решается выступить из стен своего города, подвергается величайшим опасностям: вот вдали, на скале, висит гнездо хищной птицы — рыцарский замок; там уже завидели путешественника — это добыча; опускается подъемный мост, и из ворот неподвижного замка выдвигается несколько подвижных замков, что-то вроде человека на лошади, но и конь и всадник залиты в железо, и не видать человеческого образа: нет спасения бедному страннику-горожанину!

Ибо он член не того частного союза, к которому принадлежат эти подвижные замки, и потому между ним и последними нет ничего общего, они в постоянной вражде. Но вот цельное государство мало-помалу образуется, усиливается стремление к единству, усиливаются средства того начала, которое блюдет за соединением частей для достижения общей цели, блюдет за соблюдением мира и согласия между частями, за общественную безопасность, начала правительственного. Как скоро водворяется мир, является общественная безопасность, обнаруживается сила закона, дающего покровительство каждому и везде, то стены, защищавшие до сих пор частные союзы и отделявшие их друг от друга, рушатся: происходит явление, подобное которому жители холодных стран видят при наступлении теплых весенних дней, когда стар и млад с радостью выходят из закупоренных по-зимнему домов, чтобы подышать свежим воздухом, полюбоваться широким раздольем.

Преграды рушились, можно двигаться свободно; горожанин может безопасно отправляться по своим делам куда ему угодно: его не ограбят, не убьют; горизонт расширяется; вместо своей маленькой общины человек видит перед собой целое государство; перед ним открыты бесчисленные сферы деятельности, из члена частного союза он делается членом государства, пред ним открывается возможность широкой

общественной деятельности: что же ему прежний узкий, сдерживающий его деятельность частный союз? Он более не нуждается в нем и пренебрегает им; в силу общественной безопасности перед купцом, членом какой-нибудь городской общины, открывается обширный круг деятельности; свободно и безопасно переезжает он из одного места в другое, перед его кораблями открываются неведомые океаны, открываются новые части света с их неисчислимыми богатствами: что же ему после того старая его маленькая община? Будет он о ней много заботиться? Таким образом, вследствие водворения общественной безопасности, вследствие расширения круга деятельности частные союзы, крепкие прежде по недостатку общественной безопасности, но узкие, не могшие более удовлетворить новым потребностям общества, оказались несостоятельными, стали ослабевать, могли с прежнею крепостию сохраниться только в тех сферах, куда стремительный поток новой жизни еще не проник. Наступила великая эпоха, в которую вырабатывалось начало единения: человек освобождался из тесных замкнутых союзов и становился членом государства, определялись непосредственные отношения каждого человека к государству; отсюда естественным необходимым путем выработалась идея человечества.

Великая эпоха совершила свое дело; были увлечения, крайности при этом совершении; но один из знаменитейших современных историков сказал вполне справедливо об этой эпохе: ей много оставится, потому что возлюбила много. Наступила другая эпоха, в которой нельзя не заметить, как один из отличительных признаков, стремление к частным союзам, к образованию новых частных союзов, к скреплению старых, родового, сословного, общинного, ибо известно, что только с помощью крепких частных союзов человек может воспитаться, привыкнуть к гражданской деятельности; что только с помощью частных союзов частная деятельность, развитие частных средств и сил могут быть вполне обеспечены: государство доставляет безопасность, но оно не может заменить для каждого ни отца, ни брата, ни собрата. Что же — это стремление к частным союзам есть ли возвращение к старине, выражение несостоятельности направле-

ния предшествовавшей эпохи? Нисколько! Благодаря началу, выработанному предшествовавшей эпохой, частные союзы, скрепления которых требует наше время, не имеют никакого непосредственного отношения к частным союзам, существовавшим при начале европейских обществ, в средние века. Новый европейский человек стремится скрепить частные союзы, но благодаря началам, выработанным предшествовавшей эпохой, он возвращается в эти союзы иным человеком, с иными понятиями, с иными условиями, в силу которых новые частные союзы будут гораздо крепче; так, например, относительно семейного союза иные поставлены отношения между старшими и младшими, между отцом и детьми, между мужем и женою; формы те же, но дух иной, а это главное, это — все.

Новый европейский человек хочет скрепить сословный союз: но разве отношения между сословиями теперь те же, что были в средние века? Все сословия, как органы одного тела, должны поддерживать друг друга, дружно, со взаимным уважением стремясь к одной общей цели, зная, что ослабление одного органа болезненно отзовется во всех других; а эта мысль откуда взята новым европейским человеком, разве из XII века? Теперь люди с одинаковыми занятиями, с одинаковым положением стремятся, для поддержания друг друга, к частным союзам: но разве эти союзы могут быть похожи на старинные цехи? Цель частного союза — обеспечение свободной широкой частной деятельности, а не ограничение, не стеснение ее какими-нибудь материальными условиями, например общим владением. Члены частного союза не должны идти скованные об ногу друг с другом, а должны для частной и общей пользы двигаться свободно и быстро, но при первом колебании собрата должны стремиться к нему на помощь, поднимать его всеми средствами, материальными и нравственными.

Одним словом, древние частные союзы, удовлетворявшие потребностям своего времени, не могли удовлетворять более потребностям европейского общества, двинувшегося вперед по широкому пути развития; их ослабление в известную эпоху, которое дало возможность вырабатывавшемуся в эту эпоху началу доходить до крайности, показывает

ясно их несостоятельность. Частные союзы, эти необходимые органы общества, должны были пересоздаться на новых, более широких началах, а эти новые начала выработались именно в эпоху, предшествовавшую нашей эпохе.

Итак, ты видишь, любезный друг, что стремление нашего времени к частным союзам не есть возвращение к отдаленной старине, не есть протест против направления непосредственно предшествовавшей эпохи, но есть прямое произведение последней, имеет прямое, непосредственное отношение к ней, а не к эпохам отдаленным. Вот почему так странен тот антиисторический взгляд, порожденный плохим знанием и плохим пониманием истории, по которому, найдя в отдаленных эпохах явления, по-видимому сходные с теми, которых требует настоящее время, устремляют к ним свое сочувствие, упрекая эпоху непосредственно предшествовавшую, будто бы она, вырабатывая новые, чуждые, вредные начала, подавила старые прекрасные начала, которые во что бы то ни стало нужно воскресить. Но такой взгляд, во-первых, показывает слабость, несостоятельность этих хваленых начал древности, потому что если бы они были крепки, удовлетворительны, то не дали бы подавить себя; во-вторых, люди с антиисторическим взглядом, толкуя о любимых явлениях отдаленной древности, поднимают, изукрашивают их сообразно с своими настоящими понятиями и тем самым свидетельствуют, что им нужно вовсе не то, что представляет седая древность. Наконец, во всех этих антиисторических толках повторяется старинное явление: протест против прогресса вследствие нравственной слабости, неумения сладить с ним; отсюда — пристрастие к первоначальным, простым, неразвитым формам быта, политический буддизм.

В книге Рия мы часто встречаемся с этим нашим старым знакомым буддизмом. Наш автор сильно наскучил этим беспрестанным коловращением мира, беспрестанным шумом, движением, господствующим в городах, в больших городах; он проклинает город — большой город преимущественно — и спешит в поле. Он говорит, что земледельческое сословие ему особенно нравится, потому что в нем меньше стремления высказывать; но это сказано не совсем откровенно.

но. В книге читатель легко заметил другую причину пристрастия автора: это именно господство в земледельческом сословии первичных, простых форм и бессознательное стремление к их сохранению. Но автор недоволен и полем; как истый буддист, он ищет большей пустоты и стремится в лес, который пользуется особенным его сочувствием. Затем, любезный друг, как протест против прогресса, буддизм необходимо связывается с крайним материализмом, ибо одно из основных положений наших новых буддистов таково: человечество было только тогда юно, свежо, когда жило в лесу, при начальных формах быта, при господстве общего владения.

Вышедши из этого состояния, оно одряхлело, не в состоянии более восстанавливать своих сил; шаг из лесу в поле и шаг из поля в город — не суть шаги вперед, но шаги назад, шаги к дряхлости, к порче. Это положение основано на вере в одни материальные условия, на отрицании духовных сил человека и общества. У Рилья это суеверное обожание форм высказывается очень резко: так, он условием нравственной крепости семьи полагает постоянное пребывание в одном доме, и так как это постоянное пребывание господствует в селе, а не в городе, где большинство народонаселения живет в наемных квартирах, то сельское народонаселение относительно семейной крепости и нравственности имеет громадное преимущество перед городским. Не ясно ли ты видишь здесь полное подчинение человека, его духовной деятельности, его нравственных, чисто человеческих отношений — материи? Дом, дерево, камень здесь главное! Как скоро человек освобождается от этих материальных условий, то его нравственные отношения необходимо портятся, человек ниже дерева и камня, он не может от них освободиться и сохранить свое достоинство, крепость нравственных связей!

«Нечего рассуждать, — говорит Риль, — о естественной связи семейства с жилищем в наше время, когда большинство горожан живет на наемных квартирах. Многие ли из них знают, в каком доме они родились? Удивительно еще, что столько людей знают, сколько им лет!»

Острота пошла не впрок нашему автору, ибо всем хорошо известно, кто обыкновенно не знает, сколько ему лет: не горожанин, имеющий квартиры, а селянин, живущий посто-

янно в доме прапрадедовском. Человеку не нужно знать, какие стены были свидетелями его рождения: ему нужно знать, к кому он должен иметь нравственное, чисто человеческое отношение; ему нужно знать, к какой семье он принадлежит. И бобр строит плотину, и медведь имеет свою берлогу, и птица вьет гнездо: один человек имеет семейство. В другом месте Риль говорит: «Во многих местах Северной Германии (как и в Скандинавии) каждый крестьянский дом имеет свой знак, о происхождении которого ученые ломают голову. Этот домовый знак для крестьянина так же дорог, как для дворянина герб. Но между ними большое различие: крестьянская семья, переменяя двор, что, конечно, случается редко, переменяет и свой домовый знак, тогда как герб дворянина привязан к фамилии и от фамилии переносится уже на замок; герб не есть знак владения, но знак рода, тогда как крестьяне берут свой знак прямо от дому». Автор не хочет понять всю важность этого различия: при первоначальных формах быта, господствующих в земледельческом сословии, материальное — дом — господствует и подчиняет себе человека и его человеческие отношения, человек, семья не имеют своего знака, отмечают все знаком своего господина — дома; тогда как в другой сфере род, чисто человеческое отношение, преобладает, человек есть господин дома и отмечает его родовым знаком.

Ты очень хорошо знаешь, что новые буддисты смотрят на важность земледельческого сословия вовсе не с той точки зрения, какая показана в начале моего письма. Земледельческое сословие, свободное, единонародное со всеми другими сословиями, составляет необходимый орган государственного тела, и пренебрежение этим органом ведет неминуемо к падению государств, как доказал пример древних языческих государств и пример одного нового государства, павшего также вследствие одностороннего, исключительного развития одного органа на счет других. Риль убедительно доказывает это; но, к сожалению, он не довольствуется признанием важности земледельческого сословия, важности существования села подле города: он как будто хочет дать первенство первому над вторым, обнаруживает невольное пристрастие к селу и непримиримую вражду к городу. «Немецкий народ, — го-

ворит он, — есть народ сельский, тогда как греки и римляне были народы городские. Немецкий народ жил сначала дворами и избами, и только впоследствии, под иностранным влиянием, образовались города. Процветание римских национальных нравов выражалось словом *урбанитет*; процветание немецких национальных нравов должно означаться словом *рустицитет*». Читатель, разумеется, захочет знать, в чем же состоит эта противоположность между римскими и германскими национальными нравами. Что такое римский *урбанитет*, германский *рустицитет* как выражения различных народностей? Читатель не найдет ответа на эти вопросы; ибо все это не иное что, как игра в пустые выводы из положений, не основанных ни на истории, ни на настоящей действительности. Впрочем, из одного места книги можно отчасти видеть, что автор понимает под желанным *рустицитетом*. «Рассказывают, — говорит Риль, — о старобаварских местностях, где пирушка не считается веселою, если обходится без смертоубийства. Здесь уже слишком много натуры, но все же ведь это натура».

Понятна ненависть Рилиа к большим городам, на которые он смотрит как на язву государства. «Уже в 1840 году, — говорит он, — на 45 пруссаков приходился один берлинец, на 35 французов — один парижанин и из 15 англичан один жил в Лондоне. В этих цифрах, выражающих переселение страны в большой город, скрывается для развития нашей народной жизни гораздо большая сумма опасностей, чем в цифрах переселений в отдаленные части света».

Но спрашиваем: где же эти опасности? Разве народонаселение больших городов увеличивается на счет сельского народонаселения? Разве около новых европейских больших городов, как в старину около Рима, образуются пустыни? Новые буддисты в слепой ненависти к большим городам, как могущественным органам прогресса, не хотят понять, что большие города живут не на счет той страны, где находятся, а на счет всего мира, и потому не истощают родной страны, а увеличивают ее благосостояние. Пусть они потрудятся рассчитать, сколько англичан, жителей Лондона, живет на счет Англии, а сколько на счет других стран Европы и преимущественно других частей света. Новые буддисты не хотят

понять, что в этих громадных городах находит себе убежище та часть народонаселения страны, которая без них или должна была бы выселиться, или, оставаясь, заставить переселиться другую равную ей часть народонаселения. Сграшивается: куда бы девался пятнадцатый англичанин, который живет в Лондоне и кормится на счет Португалии, например?

К буддистским стремлениям обыкновенно присоединяется самозванное стремление к народности. Новые буддисты обыкновенно жалуются, что цивилизация, содействуя общению народов, сглаживает народные черты, делает образованного немца похожим на француза, на англичанина. При этом они обыкновенно указывают на земледельческое сословие, до которого цивилизация не коснулась или коснулась очень мало, которое поэтому сохранило во всей чистоте народные черты и потому должно служить образцом для образованных сословий: последние должны возвратиться к нему, приравняться к нему, чтобы возратить себе народный образ, потерянный чрез прогресс, чрез цивилизацию.

И здесь, как везде, новые буддисты видят мираж; предметы представляются им вверх ногами: они не догадываются, что прогресс, цивилизация не уничтожают народности, а, наоборот, могущественно развивают ее. В книге Рилья есть превосходное место, которое резко противоречит другим встречаемым у него воззрениям и которое ясно указывает на значение прогресса, цивилизации относительно народности; это место читается там, где он говорит о значении женщины, против так называемой эмансипации последней. «В противоположности мужчины и женщины уже предвозвещаются многие основные черты естественного расчленения общества; с другой стороны, сословный быт также могущественно действует на эту противоположность. На низших ступенях общества характеристические черты мужчины и женщины еще не обрисовываются во всей полноте. Противоположность их образов вырабатывается вполне только благодаря цивилизации: ибо истинная цивилизация разделяет, расчленяет, *гурная* равняет. Крестьянская баба во всех отношениях и по наружности — еще полумужик,

только при высшей образованности женщина в каждой черте выражает противоположность свою мужчине».

Ты, конечно, догадался, почему я подчеркнул слова *истинная* и *дурная* цивилизация; они не имеют смысла и употреблены автором только из желания оговориться, ибо он понимал, как указанное им важное явление противоречит встречающемуся у него воззрению на цивилизацию и на отношение к ней земледельческого сословия: если истинная цивилизация разделяет, а дурная равняет, то выходит, что в земледельческом сословии господствует дурная цивилизация! Дело в том, что цивилизация, прогресс вообще разделяет, расчленяет; при отсутствии прогресса сохраняется единообразие.

Высказанную мысль автор развивает далее: во всех почти изображениях знаменитых красавиц прошлого времени поражает нас резкость черт; все эти головы кажутся нам слишком мужественны в сравнении с первообразом женской красоты, который носится перед нами, людьми нового времени. Старинные изображения мадонн и других святых девиц имеют в себе резкие черты, которые делают их мужевидными или несколько старообразными; Ван-Ейковские мадонны смотрят тридцатилетними. Живописец следовал природе, а природа с тех пор переменилась; триста лет тому назад молоденькая девушка сохраняла еще мужеские черты; Мария Стюарт, эта прославленная красота своего времени, поражает глаза XIX века своими мужскими чертами. У бедных, уединенно живущих земледельцев, равно как у бедных работников городских, голова мужчины и женщины имеет почти одинаковую физиономию; женщину из этого класса нарисуйте в мужском платье — и вы не отличите ее от мужчины; особенно старики и старухи похожи друг на друга как две капли воды. Даже средняя величина тела в низших классах ровнее для обоих полов, чем в образованных; наши маленькие городские женщины подле высоких мужчин обличают следствия образованности. Даже звуки голоса меж людьми, в простоте быта живущими, сходнее у обоих полов, чем меж людьми образованными. То же самое замечается и относительно одежды: одежда обоих полов у древних народов, у народов азиатских, у народов, сохранив-

ших первоначальную простоту быта, сходна: сравните одежду турка и турчанки, тирольца и тирольки; но какая противоположность между фраком образованного европейца и между длинным и широким платьем его жены! Какая противоположность между их шляпами!

Так наглядно объясняет Риль положение, что цивилизация, прогресс разделяет, а не равняет; но он как будто не догадывается, что цивилизация, прогресс обнаруживает точно такое же действие и относительно народности: чем сильнее прогресс, тем резче обозначаются народные черты, народные различия. Это явление у нас перед глазами (разумеется, если мы их не зажмурим): когда народности, народные стремления обозначались резче, как в наше время, чудесами цивилизации, так сблизившей народы, заставившей их жить в одной тесной семье? Вот англичанин, француз, итальянец, немец: с обыкновенною быстротою примчались они по железным дорогам из разных концов Европы в условленное по телеграфу место; рассуждают об общем деле, говорят на одном языке; одеты в одинаковое платье, и между тем какое различие между ними! Кто по их лицам и слову не признает в них членов четырех различных народов? И чем ближе они друг к другу, чем теснее соединены их интересы, тем сильнее чувствуют они различие своих народностей; цивилизация не уравнила их, не сгладила их народных черт — она произвела только то, что они могут столкнуться об одном общем деле, тогда как вследствие отсутствия цивилизации обыкновенно и люди одного народа никак не могут столкнуться между собою. Новые буддисты никак не могут понять, что, по общему, непреложному закону развития, люди низших слоев общества, в которых, по их мнению, сохраняется истинный народный дух, по всем понятиям, обычаям, поверьям гораздо сходнее с подобными же себе у других народов, нежели члены образованного общества в разных народах, и народный дух, следовательно, обитает по преимуществу в образованных классах общества, ибо здесь высшая, духовная область, область сознания.

Такое непонимание зависит от узкого представления народности, от мелкой, недостойной великого народа вражды, зависти к другим народам. Так, у Рилья ненависть к пред-

шествовавшей эпохе соединяется с ненавистью к французам, которые в эту эпоху при распространении господствующего направления ее играли самую видную роль. Немцы сначала блаженствовали в лесах; потом вследствие чуждого нехорошего влияния сделали шаг назад, стали жить в отдельных городках, общинках, из которых каждая знала только самое себя; хуже им стало против прежнего, лесного быта, но все же еще хорошо *рустицитет* соблюдался. Но вот явились французы со своими вредными идеями о человеке и человечестве и перевернули доброе старое немецкое общество: *рустицитет* исчез и — *finis Germania!* За это защитники немецкой народности поклялись к французам вечною ненавистию и объявили, что для спасения Германии ее сынам надобно возвратиться в леса; но так как лесов, к несчастью, осталось уже мало, то по крайней мере надобно возвратиться к средневековым формам жизни. «Идея гуманизма, — восклицает Риль, — поглотила мысль о семействе, за человечеством позабыли людей!» Это он решается сказать о предшествовавшей эпохе, которая больше всего хлопотала о том, чтобы в человеке не забывали человека; чтобы прежде всего видели в нем это значение! Идея гуманизма не поглотила мысли о семействе; но вследствие этой идеи было сознано, что не человек для семейства, а семейство для человека; что человек не есть раб семейства, но свободный член его, свободно, сознательно исполняющий святыя обязанности, налагаемые этим первым человеческим частным союзом. Ослабление семейных связей было именно следствием того, что старая семья со своею материальною связью, со своими обычными формами не удовлетворяла уже общества; нужна была для семьи другая, более прочная духовная связь, и эта связь была получена чрез гуманные идеи; чрез заявление достоинства человека. Но пусть сам автор покажет нам и характер старой семьи, и новые требования общества.

«Во французско-немецких театральнх пьесах того времени, — говорит Риль, — комический задор состоит в том, что дети обманывают своих родителей, жены — мужей и наоборот. Над этим обманом смеялись, как над тонкою, ловкою интригою, тогда как старые немецкие народные фарсы, где комическое обыкновенно состояло в том, что муж

колотил свою жену, были презираемы как безнравственные и низкие. Я тоже считаю эти драматические палочные эффекты очень низкими, однако и наполовину не столь низкими, как тонкие обманы между супругами, родителями, детьми, родственниками, которые даже теперь очень часто составляют интригу комедий, из Франции к нам завозимых. Наша знатная и образованная публика охотно смотрит эти комедии, тогда как, нравственно оскорбленная, она оставила бы ложи, если бы ей представили на сцене старую пьесу, в которой муж наделяет жену свою палочными ударами. Средство было выбрано действительно грубое, но цель побоев была очень похвальна».

Почтенный автор никак не может догадаться, что обманы между членами семейства, которые составляли обыкновенную интригу комедий в известное время, были естественным следствием тех палочных эффектов, без которых не обходились древние народные фарсы: там, где, с одной стороны, сильный, пользующийся без отчета своею силою, не видящий в слабом прежде всего человека, а с другой — слабый, ничем не обеспеченный от насилий сильного, — там необходима неразвитость сознания о нравственном достоинстве, о нравственных обязанностях человека; там разврат и, со стороны слабого, обман для избежания мести сильного. Автору можно было бы припомнить, что и в старинных народных фарсах комическим задором служит обман, за что обманувший, то есть обманувшая, и получала палочные удары.

Итак, в старину общество потешалось зрелищами с обманом и палочными ударами; потом начали потешаться зрелищами без палочных ударов, но с тем же обманом, ибо палочные удары не вывели обмана и безнравственность из семьи, а еще более усилили их: что же, это отсутствие палочных ударов, которые омерзили общество, эта материальная безнаказанность обмана сгубила общественную нравственность вконец? Пусть отвечает Риль на этот вопрос: «Надобно признаться, к чести настоящего поколения, что мы теперь тонкие непристойности школы Виланда и Коцебу, которые нашим отцам казались благородными, считаем уже чем-то неблагородным. Скромность усиливается в нашем обществе вместе с укреплением семейного духа». В нескольких мес-

тах автор распространяется об улучшении семейной нравственности в настоящее время и, несмотря на то, вследствие непонимания истории, отречения от нее не может понять непосредственного отношения этого улучшения к началам, проповеданным предшествовавшей эпохой; руководясь узким национальным взглядом, не перестает делать выходы против французов за проповедание этих начал, вздыхать о немецкой старине и указывать на деревенскую избу как на единственную купель очищения для образованного немецкого общества.

«Французское представление социальной свободы и независимости отличается от немецкого существенно тем, что французы хлопочут только о личной самостоятельности и независимости, тогда как, по немецкому представлению, личная независимость должна заключаться в силе и независимости общественной группы и семьи, к которой индивидуум принадлежит. Эта противоположность двух представлений всего яснее видна из следующего. В Пфальце французское представление о личной независимости так вкоренилось, что произвело перемену в сельских общественных и хозяйственных отношениях. Стремление каждого частного лица совершенно свободно стоять на собственных ногах повлекло к имущественному раздроблению, какого в других немецких странах мы не найдем. Индивидуум не хочет жертвовать своею личною независимостию блеску и силе семейства; отец не мог бы умереть спокойно, если бы он для сохранения своего семейства в чести и богатстве уменьшил наследство младших сыновей и завещал бы им для поддержания семьи служить старшему брату в виде помощников.

Это последнее, чисто немецкое и глубоко нравственное распоряжение кажется безнравственным жителю Пфальца, пропитанному французскими идеями. Наследство дробится на разные части, и большая часть сыновей принуждена через это искать хлеба в услужении у чужих людей. С изумительным прилежанием и постоянством трудятся люди, чтобы голодать на маленьком участке и быть свободными, зависеть от ростовщиков-жидов и быть свободными, служить чужим людям, быть в поденщиках и быть свободными.

Удивительное противоречие! Работать в доме родного брата в виде помощников и привилегированных слуг для охранения собственности семейства, как нравственного лица, — это называется нестерпимым рабством, а быть в службе у чужих людей — называется свободою!»

Автор не хочет понять, что всякий частный союз, а также и родовой, тогда только крепок, когда основан на нравственных, а не на материальных отношениях; а где же тут нравственное отношение, когда для поддержания значения и богатства рода одному члену дается все, а другие должны находиться у него в услужении! Родовой союз может быть только тогда крепок, когда братья, получив равные доли, для взаимного поддержания и обеспечения свободно соединят свои материальные и нравственные средства в общей деятельности или, употребляя, по призванию, свои силы в различных сферах деятельности, тем не менее сохраняют нравственное единство рода, считая священною обязанностью обеспечивать благосостояние друг друга. Толкуя, что член рода должен приносить свою личную самостоятельность в жертву роду, этому естественному, первому частному союзу, Риль, однако, требует, чтобы жертва приносилась некоторыми членами рода, а не всеми! Да и зачем эта жертва при *чисто немецком и глубоко нравственном распоряжении*, на которое указывает Риль? Старший, богатый брат для поддержания чести и богатства фамилии вовсе не нуждается в услугах младших, обделенных братьев: у него есть средства приобрести и других работников, а у младших братьев нет никакого нравственного побуждения предпочитать службу у родного брата службе в чужих людях; но так как тут оскорбительно и невыгодно сталкиваются противоположные друг другу отношения, родственные и рабочие, то младшие братья и бегут из дому старшего, чем последний, разумеется, должен быть очень доволен.

Немецкая семья мир спасла — это факт несомненный, по мнению Риль; немецкая семья создала новую эпоху немецко-христианских средних веков. Но чтобы какой-нибудь западник, лишенный патриотизма, не посмел сделать возражения, автор спешит представить немецкую семью в язычестве, когда она еще не подвергалась влиянию чуждых,

враждебных начал: «На могиле господина, по древнеязыческому немецкому обычаю, закалались рабы. Здесь мы не должны видеть одного только варварства: здесь выражается глубокомысленное представление целостности дома, так как индийское сожжение вдов есть символ семейной неразрывности. Слуга в целостном доме должен признавать свою судьбу неразрывно связанную с судьбою господина». Конечно, и ты, любезный друг, согласишься вместе со мною в глубокомыслии этого немецкого обычая, хотя он есть вместе и скифский, как известно; но не могу удержаться от одного замечания: ведь гораздо лучше было бы для выражения нераздельности семьи, *целостности дома*, на могиле отца заколоть одного из сыновей, а не раба. Мне кажется, что эти язычники, будучи чрезвычайно глубокомысленны и нравственны, были себе на уме: кололи рабов да жен, которых считали также рабами, но сыновей не трогали.

После попытки придать глубокий нравственный смысл умерщвлению рабов на могиле господина нас, разумеется, уже не может ничто удивить в книге почтенного германофила, например следующее великолепное место: «Глубокомысленное немецкое представление дома как личного, из семейной жизни выросшего существа всего более выражается в многочисленных народных преданиях о домашних духах. Домашние духи не только покровители и друзья дома, но они также мстят и наказывают за пренебрежение домом. Таким образом, мы имеем здесь дело с народным суеверием, в основании которого лежат великие нравственные народные идеи, идеи органической (!) связи между жилищами и семействами, личности дома и святости домашней жизни. Следует ли такие народные верования называть суевериями? Должно ли искоренять их, если известно, что вместе с ними искоренятся прекраснейшие обычаи крестьянского дома?»

Итак, господин пастор! Остерегайтесь говорить своему немецкому крестьянину, что вера в фрау Гольду есть недостойное для христианина суеверие; а прежде всего постарайтесь освободиться от убеждения, что религия, вами проповедуемая, способна без помощи верований в фрау Гольду очистить, укрепить и освятить семейную жизнь в избе и палатах!

В своем письме, указывая на это место Рилевой книги, ты выразил удивление, как автор забыл *Немецкую мифологию* Гримма и предания о домашних духах решил назвать выразителями немецких представлений, тогда как эти предания общи разным народам, славянам столько же, как и германцам. Но, любезный друг! Если бы Риль не позабыл многого еще, кроме мифологии Гримма, если бы не освобождался от науки как от докучного произведения ненавистного прогресса, то не был бы германофилом и не стал бы искать немецкой народности именно там, где ее нет; тогда бы он знал, что немецкая народность выразилась в творениях Шиллера и Гёте, Баха и Моцарта, Канта и Шеллинга, а не в преданиях избы, одинаких у разных народов, в избах живущих.

Книга Рилья, писателя с таким талантом, с такою благонамеренностью, показывает всего яснее, к каким невероятным странностям и к какому бесплодию ведет антиисторическое направление и этот буддистский протест против прогресса, это стремление возвратиться к первоначальной простоте отношений — стремление, обличающее недостаток нравственных сил, неумение сладить с прогрессом, материализм, неверие в нравственные силы человека, который, по мнению буддистов, тогда только чист и свеж, когда живет в лесу, и портится, когда выступает на высшее общественное поприще. Быть может, ты мне ответишь: «Все это так; но грустно состояние общества, в котором являются подобные воззрения и возбуждают внимание; грустно, что и такие люди, как Риль, высказывают эти воззрения: это плохой знак!»

Но разве, отвечая тебе, прежде этого не бывало? И однако, общество в угоду буддистам не отказывалось от прогресса. В XVI веке, когда начиналось неслыханное до того времени движение в европейском мире, когда книгопечатание окрылило мысль человека, когда открыт был Новый Свет и неведомые пути к отдаленным частям Старого, — тогда послышался протест против прогресса от одного из самых ученых людей времени: Томас Морус написал утопию, где предлагал обществу возвратиться к родовому быту. Но общество, приняв к сведению курьезную книгу, шло своим путем. Известно пристрастие к первоначальному быту, к

невинным будто бы нравам неразвитых обществ, пристрастие, обнаружившееся в XVIII веке. Мы сами были свидетелями, как буддистское направление проникло в поэзию и поэты в звучных стихах жаловались, зачем они родились в образованном обществе, а не в хижине дикаря:

О Боже! Если б мать моя
Меня родила в чаще леса
Или под юртой остяка
В глухой расселине утеса.

Так воспевалось, когда господствовала идея человечества; теперь под влиянием идеи народности начались воздыхания по крестьянской избе, куда будто бы укрылась народность. И Бог весть, сколько еще форм переменит буддизм на европейской почве; но будь покоен, любезный друг: «отважное потомство Яфета» не изменит своему характеру.

Извини за длинное вступление: я считал его необходимым. В следующих письмах постараюсь изложить тебе историю общественных отношений в нашем отечестве, которой ты так от меня домогаешься.

II

И мы были в Аркадии, любезный друг! И наши предки жили в том блаженном состоянии, о котором мечтают новые буддисты. Разбросанные на неизмеримых пространствах, затерянные в непроходимых дремучих лесах, они жили отдельными родами, жили независимо, просторно, владели землею сообща. Несносного шума от непрерывного коловращения жизни не было слышно, слышен был шум дубрав, да стоны раненых, да вопли убиваемых: «убивали друг друга», говорит летописец. Впрочем, надобно ли верить летописцу? Летописец был человек грамотный, ученый, оставший от народной жизни, которая для него потеряла смысл; он имел свои идеалы уже в другом обществе, в другом народе. Житель города, испорченного цивилизацией, чуждым влиянием, он враждебно смотрел на старину, сохранившуюся в селе, клеветал на нее; явление частное, случай-

ное он сделал общим, охарактеризовал им быт племен: «убивали друг друга». А впрочем, что же, если и убивали друг друга? Конечно, тут уже слишком много природы, но все же ведь это природа! Главное — господствовало однообразие, простота, одним словом, жизнь вне прогресса: «жили как звери», говорит летописец.

Но недолго блаженствовали предки; некоторым из них вздумалось поселиться неподалеку от моря, этой коварной, подвижной стихии, которой человечество так много обязано за бедствие прогресса. Благодаря морю и наши предки познакомились с чужим, новым, и это новое, чужое разъело старое, свое. Явилось недовольство старым бытом, сознание его недостатков: отсюда основная перемена в быте, явление князя и дружины. В земле великой и обильной, но *безнарядной* начался прогресс: в однообразной прежде массе народонаселения произошло расчленение на дружину и не дружину; скоро города, по крайней мере некоторые, стали резче различаться от сел; с принятием христианства выделилось духовенство; из белого духовенства выделились монахи; завязались взаимные отношения между этими членами, органами общественными.

Я не буду распространяться, любезный друг, о вещах уже известных; не стану повторять и то, что пора бросить старые толки о различии наших и западных общественных отношений на основании завоевания и незавоевания — на том основании, будто бы что на Западе было завоевание, а у нас его не было. И у нас было завоевание: этого факта нельзя вычеркнуть из летописей, несмотря ни на какие натяжки. Дело в том, как происходило завоевание, в какой стране, при каких природных и общественных условиях: от этих условий и происходит все различие в общественных отношениях на Западе и у нас. Там, на Западе, члены завоевательной дружины прежде всего стали землевладельцами и чрез это получили самостоятельное, независимое положение. Потом, при образовании феодализма, мелкий владелец свободного участка отдавал его богатому, сильному землевладельцу и получал его обратно уже в виде лена, владение которым налагало известные обязанности: везде здесь землевладение на первом плане, все делится между землевладельцами.

У нас же нет и помину о разделении земель между членами княжеской дружины; нет помину о их самостоятельном, независимом значении как землевладельцев, о их столкновениях друг с другом и с князьями в этом значении. Все споры, все усобицы идут только между князьями; дружинники по воле и поневоле переезжают с князьями из одной волости в другую, и это самое уже показывает отсутствие крепких, прочных отношений к известной местности, к земле, потому что подобные отношения необходимо прекратили бы ту сильную передвижку князей и дружин их, какую видим в древней России до XIII или XIV века. Есть, наконец, и прямое, ясное свидетельство в летописи о положении дружинника в отношении к князю. С сожалением вспоминая о старом времени, летописец говорит о прежних князьях: «Те князья не собирали много имения, вир и продаж неправедных не налагали на людей; но если случится правая вира, ту брали и тотчас отдавали дружине на оружие. Дружина этим кормилась. Не говорили дружинники князю: «Мало мне ста гривен»; не наряжали жен своих в золотые обручи; ходили жены их в серебре, — и вот они расплодили Землю Русскую». И в первой, и во второй половине этого важного известия говорится ясно о денежном жалованье, о том, что дружина содержалась, кормилась из доходов княжеских. Понятно, что возможность землевладения, как постоянного, так и временного, не исключалась для дружинника; но главное здесь то, что землевладение не было на первом плане.

«Мало мне ста гривен», мог говорить дружинник князю, и князь должен был исполнить его требование; князь не должен был ни в чем скупиться для дружинника, потому что последний при первом неудовольствии отъезжал к другому князю, более щедрому, более ласковому. Эта возможность отъезда при множестве князей служила полным ручательством выгодного положения дружинников: князья обращались с ними как с товарищами, как с братьями, не прятали от них богатств, не таили и дум своих: без совета дружины ничего не делалось.

Но вся выгода положения дружинника в древней России основывалась на этом внешнем, чуждом для него условии — на многовластии: исчезло многовластие — исчезло для дру-

жинника и всякое ручательство в его самостоятельном, независимом положении. Помешать утверждению единовластия он не мог, ибо при раздробленности дружин по князьям и при подвижности дружинников, при неимении постоянного места и в одной какой-нибудь дружине, в одном каком-нибудь княжестве дружинник должен был ограничиваться интересом личным или родовым; до сознания интереса сословного, до возможности общего действия он не достигал. Кроме старого права отъезда, он ничего не знал, и действительно, в старину это право обеспечивало ему все, и вот он в отчаянии, не видя выхода, вопиет о праве отъезда, не понимая, что это бессмыслица при единовластии. «Отъедешь от меня в Литву или в Крым, — говорит ему единовластец, — и будешь изменник». Отвечать на это было нечего, и после бесплодной борьбы все притязания замолкли. И вот, из князей Рюриковичей, потомства князей великих и удельных, из пришлых Гедиминовичей, из старой дружины Московской и из дружин всех присоединенных русских областей образовалось... что образовалось? Не знаем что: ни в одном древнем памятнике нет слова¹.

Нет слова, значит, не было и ясного понятия, не сложился и самый предмет определенно.

Что же было у нас, в Московском государстве? — спросишь ты у меня; что образовалось из князей, дружины Московской, дружин областных? Образовались *чины*, любезный друг! Но что такое *чины*? Тебе, вероятно, опять представляется Запад со своими *états*, которые у нас так невпопад переводятся словом *чины* вместо *сословия*. Там было три сословия: духовное, благородное и третье, — так представители их тремя отдельными группами и являлись в важных случаях. Но чтобы понять нашу старину, постарайся позабыть об этих западных явлениях, о западных сословиях; обрати внимание на ближайшее к нам явление, на то, что мы теперь называем *чинами*, — это поведет ближе к делу. В важных случаях, когда на Западе представители трех сословий со-

¹ Неопределенное название *дружина* исчезло, нового не образовалось. Совмещать все *чины* — от боярина до сына боярского — под общим именем служилых людей нельзя, ибо в памятниках высшие *чины* под именем ближних людей противопоставляются низшим служилым людям.

бирались в три отдельные группы, как собирались наши чины (наши древние Соборы имеем полное право называть *собранием чинов?*). Собирались митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, старцы, бояре, окольничии, казначеи, думные дьяки, думные дворяне, стольники, стряпчие, дворяне, дети боярские, дьяки, гости, торговые люди, всяких чинов люди. Эти всяких чинов люди не соединялись в несколько групп, представлявших сословия, они оставались в своем чиновном раздроблении, ибо понятия о сословном единстве, об общих сословных интересах не существовало. Боярин не имел ничего общего с окольничим, тем менее с думным или простым дворянином, еще менее с сыном боярским; сколько чинов, столько отдельных кругов, не связанных друг с другом.

Жили розно, «особе, кождо с родом своим». Действительно, при отсутствии сословного интереса господствовал один интерес, родовой, который в соединении с чиновным началом породил местничество. Все внимание чиновного человека сосредоточено было на том, чтобы при чиновном распорядке не унижить своего рода. Но понятно, что при таком стремлении поддерживать только достоинство своего рода не могло быть места для общих сословных интересов, ибо местничество необходимо предполагало постоянную вражду, постоянную родовую усобицу между чиновными людьми: какая тут связь, какие тут общие интересы между людьми, которые при первом назначении к царскому столу или береговой службе перессоривались между собою за то, что один не хотел быть ниже другого, ибо какой-то его родич когда-то был выше какого-то родича его соперника?

Приведу примеры, как начала чиновное и родовое господствовали над началом сословным. В 1613 году князь Иван Михайлович Воротынский, высчитывая по наказу неправды короля Сигизмунда, должен был сказать, что король посажал на важные места в московском управлении людей недостойных, худородных, и в числе последних упомянул двоих князей. Другой пример еще поразительнее, потому что относится ко временам Петра Великого, когда родовое начало было, по-видимому, совершенно поражено. Петр велел записывать дворянских детей в Москве и определять на Су-

хареву башню для изучения мореплавания. Родители вопреки указу отдали детей в Заиконоспасское училище; тогда рассерженный царь велел взять молодых дворян из Спасского монастыря в Петербург и там заставил их бить сваи на Мойке, где строились пеньковые амбары. Адмирал граф Апраксин, один из сильных приверженцев старины, узнав, что царь едет осматривать амбары, поспешил туда, снял с себя андреевскую ленту, мундир, повесил их на шест и начал сам вбивать сваи. Царь приехал и с удивлением спросил его: «Федор Матвеевич! Ты адмирал и кавалер: как же ты вбиваешь сваи?» «Государь, — отвечал Апраксин. — Здесь бьют сваи мои племянники и внучата; а я что за человек? Какое имею в *роде* преимущество?» Не сказал он: «Здесь бьют сваи дворяне, люди одинакового со мною сословия и происхождения, и это занятие их унижает все наше сословие»; нет, он говорит: «Здесь бьют сваи мои племянники и внучата, а я какое имею в *роде* преимущество?» Каждому было дело только до своего рода; до понятия о высшем частном союзе, союзе сословном, еще не достигли. Отсюда понятно, почему так долго держался у нас обычай, по которому вместе с виновным подвергались опале и родичи его: от понятия о родовом единстве трудно было освободиться.

В силу местничества наверху чиновной лестницы постоянно являлись *огне* и те же фамилии. «Бывали на нас опалы и при прежних царях, — говорит известный нам князь Воротынский польским панам, — но правительства у нас не отнимали». Действительно, и Грозный, заподозривая, *опалаясь* беспрестанно на вельмож своих, окружив себя опричниною, не отнял у бояр земского управления. Бояре, оставшиеся после Грозного, были, разумеется, не похожи даже на тех, которые пережили опалы Иоанна III и сына его Василия: у этих было еще в свежей памяти прежнее положение князей и дружины; они помнили, что еще Иоанн III обращался с ними не так круто, как сын его Василий, поведение которого поэтому представлялось чем-то новым, еще случайным, но поведение Грозного отняло последние надежды, сломило все притязания, всякое сопротивление. Иные, с иным духом вышли поэтому бояре из тяжелого испытания; но все еще у них оставалась старина: несмотря на опалы, правитель-

ства с них не снимали. Понятно, какое важное значение должны были приобрести фамилии, которые постоянно находились у правительственного дела, *всякую думу ведали*, как они сами выражались: при отсутствии просвещения подобная практика заменяла все; знание обычая предания при исключительном господстве обычая и предания — такое знание было верховною государственною мудростию, и люди, которые сами, которых отцы и деды думу ведали, казались нижестоящим, непосвященным, столпами государства, особенно же те из них, которые отличались умом и деятельностью. Так, мелкочиновный по-тогдашнему человек, *стольник князь Дмитрий Михайлович Пожарский*, говорил о великочиновном человеке, *боярине князе Василии Васильевиче Голицыне*: «Если б теперь такой столп, как князь Василий Васильевич, то за него бы вся Земля держалась и я бы при нем за такое великое дело не принялся». После самого внимательного изучения событий мы никак не можем понять, отчего князь В. В. Голицын мог казаться так высок знаменитому воеводе-освободителю? Но сам Голицын объяснит нам дело: «Нас из думы не высылавали, мы *всякую думу ведали*», — говорит он.

Но Голицын погиб в плену литовском; брат его Андрей погиб, отстаивая честь думы, оскверненной присутствием Федьки Андропова с товарищи; оба они погибли вследствие событий смутной эпохи, которая имеет важное значение в судьбах древней московской знати. Такая буря не могла пройти без того, чтобы не растрясти многого; особенно сильно было потрясение, когда после гибели первого Лжедмитрия началась усобица между двумя царями — царем Московским, Шуйским, и царем таборским, или Тушинским, вторым самозванцем: последний, чтобы иметь средство бороться с Шуйским, чтобы иметь и двор, и думу, и войско, обратился к людям, которые не могли быть при дворе, в думе, в войске Московского царя или по крайней мере не могли получить в них важного значения. Тушинский самозванец и воеводы его восстанавливали не одни самые низшие слои народонаселения против высших, предлагая первым места последних; сильное брожение поднялось во всех сферах: все, что только хотело какими бы то ни было средствами выдвигать

нуться вперед, получить чины высшие, каких при обыкновенном порядке вещей получить было нельзя, — все это бросилось в Тушино, от князей, которые хотели быть поскорее боярами, до людей из черни, которые хотели быть дьяками и думными дворянами, и все эти люди получили желаемое.

После Клушинской битвы, уничтожившей окончательно средства Шуйского, бояре, чтобы не подчиниться холопскому царю, второму Лжедмитрию, провозгласили царем королевича Польского. Но тушинские выскочки уже прежде забежали к королю и, готовые на все, чтобы только поддержать приобретенное в Тушине положение, присягнули самому королю вместо королевича, обязались хлопотать в Москве в пользу Сигизмунда, и вот бояре, которые готовы были на все, чтоб отделаться от ненавистного Тушина, с ужасом увидали, как тушинцы ворвались в Московскую думу под прикрытием поляка Гонсевского; как торговый мужик Федька Андронов засел вместе с Мстиславским и Воротынским. Это была уже им смерть, по их собственным словам; но делать было нечего, они были в плену у поляков; кто из них поднимал голос, того сажали за приставов, как посадили Андрея Голицына и Воротынского. А между тем Земля поднималась во имя православия; за неимением *столлов* Земля должна была обратиться к людям незначительным, и вот опять пошли вперед незначительные люди. Начальниками первого восстания были: Ляпунов, один из первых, который воспользовался Смутным временем, чтобы выдвинуться вперед, — Ляпунов, враждебно ставший к боярам и вообще *отецским детям*; подле Ляпунова тушинские бояре, князь Трубецкой и казак Заруцкий.

«Как таким людям, как Трубецкому и Заруцкому, государством управлять? Они и своими домами управлять не могут», — писали бояре из Москвы по областям. Русские люди были согласны в этом с боярами, но никак не хотели согласиться в том, что надобно держаться Владислава, то есть дожидаться, пока придет сам старый король в Москву с иезуитами, — выставили второе ополчение. И здесь то же явление: главный воевода — член захудалого княжеского рода, малочиновный человек, *стольник* Пожарский, а подле него мясник Минин.

Ополчение успело в своем деле: государство было очищено; избран царь; большинство, лучшие люди, истомленные смутю, громко требовали, чтобы все было по-старому; старина была восстановлена, но по-видимому только, ибо в народе историческом никакое событие не проходит бесследно, не подействовав на ту или другую часть общественного организма. Новое с новыми людьми просочилось всюду, а старое со старыми людьми, носителями старых преданий, спешило дать место новому. В первенствующих фамилиях оказался недочет: Романовы перешли на престол, исчезли Годуновы, исчезли Шуйские беспотомственно, за ними Мстиславские, за теми Воротынские; изгибли самые видные, самые энергичные из Голицыных; а при чиновном, несловном составе тогдашнего общества, при малочисленности фамилий, стоявших наверху и хранивших старые предания, исчезновение важнейших из этих фамилий имело решительное влияние. Любопытно видеть, как при царе Михаиле Федоровиче оставалось мало людей, которые знали предания и обычаи: при каждом случае делались длинные выписи, как поступали в подобных случаях прежде, точно Смутное время отшибло память о старине.

И потому нам уже неудивительно видеть, что при втором государе из новой династии на самом видном месте являются люди новые, не из столповых фамилий — сын незначительного областного дворянина Ордын-Нащокин, человек неизвестного происхождения Матвеев. Браки царей выводят также на вид незначительные фамилии. А тут новые нудящие требования государственные, которым во что бы то ни стало надобно было удовлетворить: надобно было преобразовать войско; видели ясно, что с местничеством воинский успех невозможен, — и местничество рухнуло, рухнуло потому, что было уже подкопано. Но когда местничество рухнуло, что же осталось? Чины, прохождение по которым теперь уже не встречало никакого препятствия ни для кого, ибо дорога в служилые люди во все продолжение нашей древней истории оставалась незапертою; и Московский государь, царь всея Руси, сохранял в этом отношении характер старого князя киевского или черниговского: всех охотно принимал к себе в дружину, только служи, сейчас же да-

дуг землю, поместья; давно уже с особенною охотою принимали на службу иностранцев, делали их также землевладельцами²; в конце XVII века потребность в них сильно увеличилась, и их начали принимать на службу толпами. Таким образом, ворота государевой службы оставались отворенными и в XVII и в XVIII веках, как в X.

В таком положении находились дела, когда наступил XVIII век, когда наступила эпоха преобразования. Что же сделал преобразователь относительно предмета, нами рассматриваемого? Он потребовал от людей, не имевших никакого значения, кроме служебного, — он потребовал от них постоянной службы, постоянного нахождения налицо при знамени, ибо постоянное войско было нудящею потребностью государства. Но постоянного войска только было мало; надобно было, чтобы это постоянное войско не уступало в искусстве войскам других европейских народов, с которыми оно должно переведываться: отсюда необходимость для ратных людей быть грамотными и образованными, знать известные науки; без этого они опять теряли всякое значение, ибо теряли значение без службы, а понятие о службе теперь тесно соединилось с понятием об известном искусстве, об известном знании, об известном приготовлении. Чтобы уяснить для себя явления первой половины XVIII века в нашей истории, перенесись, любезный друг, к началам истории обществ, представь себе образование громадной дружины около могущественного вождя, безусловно повелевавшего; материал для образования дружины налицо, но это только материал, не сложившийся вследствие вышеприведенных причин, не принявший определенного образа.

Петр Великий не был здесь собственно преобразователем, ибо прежнего образа, который бы он изменил, не было: если что и было прежде, то разрушилось до него. И вот преобразователь или, лучше сказать, образователь распорядится материалом, сортирует его: подобно древним вождям дружин, он принимает каждого и дает ему место по мере

² О землевладении будет сказано в следующих письмах по отношению к земледельческому народонаселению.

способности. В древних дружинах большая или меньшая храбрость определяла место дружинника, степень приближения его к вождю; в дружине Петровой одной храбрости было мало, прежде всего требовалось искусство, образование; и так как иностранцы превосходили в этом отношении русских, то понятно, почему так много их вошло в дружину Петрову. Но Петр, как царь Русский, при распоряжении своим материалом, который давал ему так мало твердого, сложившегося, определившегося, перед чем бы он должен был остановиться, — Петр остановился, преклонился перед одним — перед народностию. В летах зрелых у него было правило: высшие места в управлении поручать русским, хотя бы они и уступали способностями и знанием иностранцам; последним же давать только места второстепенные; от этого, хотя дело Петра и совершено было при помощи иностранцев, явившихся учителями, руководителями, однако не только при самом Петре, но и после, в продолжение двух царствований, Екатерины I и Петра II, иностранцы не могли выдвинуться на первый план, — этого они могли достигнуть только при императрице Анне.

Итак, настоятельная государственная нужда заставила потребовать наших старых ратных людей к постоянной службе, заставила потребовать от них известного искусства, образования, делавшего их способными к службе при новых условиях: отсюда естественно соединение понятий образованного и служащего человека, образованного и благородного человека, — соединение, которое до сих пор еще у нас существует: на целый народ нельзя было наложить обязанности приобрести известные знания; но на известную часть народа, призванного на службу государственную, *обязаны* были положить эту обязанность.

До сих пор шла речь о войске, ибо основное разделение народа в древней России — это войско и не войско, дружина и не дружина; слово *служба* означало преимущественно военную службу, что и теперь сохранилось в народных словах *служба*, *служивый* — для означения ратника, солдата. Но как в особе князя соединилось два значения — вождя дружины и правителя гражданского, то такое же двойственное значение должна была носить и дружина. Князь из членов

своей дружины назначал в правительственные должности; и как вначале военный характер, характер вождя дружины, преобладал в князе над характером правителя гражданского, так преобладал он и в дружиннике, который был постоянно преимущественно воин; правительственное его значение было случайное, подчиненное. Но легко понять, что даже и в обществе, не отличавшемся высоким развитием, правитель, назначаемый из дружины, не мог обойтись без людей невоенных, которые знали обычаи управления и суда, а главное — без людей грамотных.

Так, с самых древних времен должен был явиться особый класс людей, дьяки и подьячие, которые при лице правительственном из дружины, каким бы именем он ни назывался (посадник, наместник, воевода), заправляли всем, ибо знали законы, формы, были грамотны. Последнее условие, грамотность, — громадная сила в обществе неграмотном — не замедлило обнаружить свою важность и у нас точно так же, как и на Западе, хотя нашим дьякам и подьячим при их грамотности недоставало просвещения, недоставало научной обработки права. Дьяки, несмотря на всю свою необходимость для дружинников, придавленные значением последних, увидели, что пришло их время, когда московские государи начали борьбу против дружинных притязаний. При великом князе Василии Ивановиче, при Иоанне Грозном дьяки становятся самыми доверенными людьми, захватывают в свои руки большую власть в Москве и областях, заведывают Приказами; в царствование Феодора Ивановича Годунов, стремившийся к месту правителя, должен был для достижения своей цели соединиться с дьяком Щелкаловым, назвать его себе отцом. Значение дьяков несколько не уменьшилось ни в Смутное время, ни при первых государях из дома Романовых: стоит только вспомнить о значении знаменитого Ивана Тарасовича Грамотина в царствование Михаила Феодоровича, Грамотина, человека безнравственного, но считавшегося необходимым по уму, ловкости, знанию дел, наконец, по той способности, от которой получил свое знаменательное прозвание.

В царствование же Михаила, когда по известным обстоятельствам голос разных чинов людей раздавался слышнее,

высказалась вражда разных людей к дьякам, людей меча к людям пера. На Соборе 1642 года дворяне и дети боярские говорили: «Твои государевы дьяки и подьячие пожалованы твоим государским денежным жалованьем, поместьями и вотчинами, а будучи беспрестанно у твоих государевых дел и обогатев многим богатством несправедливым, своим мздоимством, купили многие вотчины и дома построили многие, палаты каменные такие, что неудобосказаемые; при прежних государях и у великородных людей таких домов не бывало, кому было достойно в таких домах жить».

Таким образом, у дьяков была сила, они заправляли всем и пользовались своею силою для приобретения огромных материальных средств, и в то же время это были люди худородные, которым, по мнению дворян и детей боярских, неприлично было жить в каменных палатах, в каких и великородные лица прежде не жилали. Это господствовавшее в древней России понятие, что дружинник есть военный человек, что гражданское значение он может получить только случайно, между прочим, высказалось в приговоре первого ополчения под Москвою, при Ляпунове, когда определено было, чтобы все служилые люди находились налицо, а правительственные должности раздавались бы только неспособным к военной службе (инвалидам). На упомянутом Соборе 1642 года дворяне и дети боярские говорили: «Которые ныне в твоих государевых городах по воеводствам и по Приказам у твоих государевых дел: вели, государь, тем быть на свою государеву службу против нечестивых бусурман».

Но такое дружинное первобытное безразличие, смешение служб, господствовавшее в древней России, должны были уступить место прогрессу, явственные признаки которого замечаемы еще в царствование Феодора Алексеевича. Безразличие служб в древней России, естественно, поддерживалось отсутствием постоянного войска. Сознанная в XVII веке необходимость последнего вела, с одной стороны, к уничтожению местничества, с другой — к различению служб военной и гражданской. И вот, в царствование того государя, при котором уничтожено местничество, видим и проект различения служб. По проекту уже Феодора Алексеевича о чинах, первую степень занимает сановник граж-

данский — боярин, предстатель и рассматритель над всеми судьями царствующего града Москвы, который вместе с 12 заседателями из бояр и думных людей должен постоянно пребывать в устроенной к тому палате и ведать, чтобы всякий судья исполнял царского величества повеление и градский суд правильно и рассудительно.

Вторую степень занимает сановник военный — боярин и дворовый воевода, который во время похода должен быть при государе, охранять последнего, но, кроме того, промышлять о всяких воинских околичностях, сиречь смету ратям и устройство и приготовление оружия и всяких хлебных и воинских запасов. Третью степень занимает опять сановник гражданский — боярин и наместник Владимирский, занимающий первое место между наместниками, заседающими в Совете государственных дел. Четвертую степень занимает военный сановник — боярин и воевода Северского разряда, имеющий постоянное пребывание в Севске; он оберегает польскую (степную) Украину, имеет у себя многих воевод и ратных людей всегда в готовности к отпору неприятеля. Пятая степень — боярин и наместник Новгородский; занимает второе место между титулярными наместниками в государственном Совете. Шестая степень — боярин и воевода Владимирского разряда; всегда пребывает во Владимире, устраивает рати конные и пешие, всегда пребывает во всяком воинском приуготовлении и, получив государское повеление, идет против неприятеля со своим разрядом куда потребуется. Седьмая степень — боярин и наместник Казанский и т. д. и т. д. Таким образом, табель о рангах, где подле чинов военных видим и чины гражданские, уже не поразит нас как нечто совершенно новое.

Вследствие нудящих потребностей государственных, которым спешила удовлетворить так называемая эпоха преобразования, служащие люди были собраны, выделены, разделены на чиновников военных и гражданских. От них потребованы известные знания, так называемая образованность, которою они стали отличаться от остального народонаселения; одновременно с этим стали отличаться от него и внешним видом, платьем, бритою бородою, стали отличаться тем, что, как обязанные службою и получающие за нее

жалованье, не платили подушного оклада. Петр Великий обратил внимание и на хозяйственное положение служащих, на материальное их обеспечение и для этого ввел майорат. Побуждения, которыми они руководили при этом, были следующие: 1) один лучше может льготить подданных; 2) фамилии не будут упадать; 3) младшие не будут праздны, но будут приносить пользу государству. Но, вводя майорат, Петр вводил то, для чего не была приготовлена почва историей: майорат есть учреждение чисто сословное, плод ясного сознания членов высшего сословия о своем сословном положении, об отношениях к другим сословиям, о необходимости поддержать сословное значение, сословные интересы, о необходимости для этого поддержания делать пожертвования нравственные и материальные.

Но как могло явиться это сознание, эти побуждения в древней России, где понятие о сословии, о сословных интересах и отношениях еще не выработалось; где были только чины и каждый жил розно, особо с родом своим, сохраняя равенство между всеми членами этого рода? Могла ли быть приготовлена почва для майората между подданными в той стране, где и в роде владельческом майорат утвердился еще недавно и с таким трудом, с таким кровопролитием? Как могло явиться побуждение к майорату между старинными русскими дворянами и детьми боярскими, обязанными службою и получающими за эту службу поместья, денежное жалованье, доходные места? Они были обеспечены сами, были обеспечены и все дети их, сколько бы их ни было: каждый будет служить, за службу будет получать поместья и жалованье. Вследствие этого жили они день за день, не заботясь ни о чем, безо всякого понятия о сословных интересах, сословных обязанностях; да и как было им много заботиться об улучшении своего хозяйства, об увеличении доходов при той промышленной неразвитости, какая господствовала в древней России?

Впрочем, как обыкновенно бывает, неразвитость эта, будучи, с одной стороны, причиною общественной неразвитости, с другой стороны, была ее следствием. И вот, при таком-то состоянии русских помещиков и хозяйств их вдруг на них налагают майорат, который, разумеется, ведет вовсе не к тем явлениям, каких ожидал от него законодатель. От-

сюда постоянная служба и майорат были самым тяжелым бременем для русского *шляхетства* в первой четверти XVIII века; это чужое слово *шляхетство* входит теперь в употребление, ибо сословие возникает, является понятие о нем, но слова русского нет; чужое слово *шляхетство* могло быть вытеснено русским *дворянство* только впоследствии, когда уже изгладилось из памяти, что *дворянство* означало только один из чинов, и чинов вовсе не высоких.

В 1730 году для шляхетства представился случай высказаться против постоянной службы и майората, получить ограничение первой и совершенное уничтожение второго. По старой привычке каждому чину жить особо и высшим чинам смотреть с презрением на низшие, не обращая внимания на одинаковость происхождения, члены Верховного тайного совета вздумали захватить в свои руки правление, ограничив власть избранной ими императрицы Анны. Сенаторы, генералитет и остальное шляхетство, оскорбленные попыткой *верховников* (так тогда называли членов Верховного тайного совета) и не находя выхода из разногласия проектов нового государственного уложения, восстановили прежний порядок. При этом случае они просили ограничения постоянной службы и уничтожения майората — и получили желаемое. В декабре 1736 года издан был манифест о шляхетской службе, которым постановлялось: 1) Кто имеет двух или более сыновей, из них одному, кому отец заблагорассудит, остаться в доме для содержания экономии; также которые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для смотрения деревень и экономии кого из себя одного, в том давать им на волю, но с тем, чтобы эти оставшиеся в домах довольно грамоте и по последней мере арифметике обучены были, дабы к гражданской службе годны были. 2) Прочие все братья, коль скоро к воинской службе будут годны, должны вступать на военную службу. Но понеже какое время быть в воинской службе по сие время определения было не учинено, и отставляются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои дома, экономию домашнюю как надлежит смотреть уже в состоянии не находятся; для того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в военную

службу, и всякий должен служить в военной службе от 20 лет возраста всего 25 лет; а по прошествии 25 лет всех, хотя бы кто еще и в службе был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в дома; а кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю. 3) За болезнями и ранами могут быть отпущены до урочных лет.

Но гораздо раньше, еще в декабре 1730 года, уничтожен был майорат. В докладе сказано, что пункты Петра Великого «по состоянию здешнего государства не по пользе происходят, а именно: 1) Отцам не точию естественно есть, но и закон Божий повелевает детей своих всех равно награждать, и для того, которые у себя имеют по два или по три сына и по несколько дочерей, те всячески ищут, каким бы образом всех равно удовольствовать, рассуждая, ежели по тем пунктам в недвижимом наследника учинить кого одного, а прочим движимым наградить нечем, то принуждены с крестьян излишнее брать, и тем им тягость наносить, или те деревни, которые надлежит дать меньшим детям, продать в чужой род, чтобы деньги на раздел прочих оставить или те же деревни перепродавать чрез несколько персон для укрепления меньшим детям, и для того в платеже пошлин несут великие убытки; а буде кто того при себе не учинит, то принужден написать в духовной чей-нибудь на себя немалый долг и с клятвою наследнику завещать под тем образом заплатить меньшим своим детям, и некоторые, исполняя волю отеческую, платят, продав тоже отцовские деревни, а иные наследники, ведая, что на отце их такого долгу не было, такие духовные спорят, и происходят между ними ненависти и ссоры и продолжительные тяжбы с великим с обеих сторон убытком и разорением, и в такой ненависти и злобе вечно принуждены оставаться и не безызвестно есть, что не токмо некоторые родные братья и ближние родственники между собою, но и отцов дети побивают до смерти. 2) В деревнях обретающийся хлеб, лошади и всякий скот за движимое почитают и отдают меньшим братьям с сестрами, и тако у наследника без хлеба и без скота деревни в состоянии быть не могут, а у меньших братьев без деревень хлеб и скот пропадают, а как наследники, так и кадеты от того в разорение приходят; и хотя по тем пунктам оп-

ределено, дабы те, которые по деревням не наследники, искали б себе хлеба службою, учением, торгами и прочим, но того самым действием не исполняется, ибо все шляхетские дети, как наследники, так и кадеты, берутся в одну службу сухопутную и морскую в нижние чины, что кадеты за двойное несчастье себе почитают, ибо и отеческого лишились и продолжительной солдатской или матросской службе бывають, и тако в отчаяние приходят, что уже все свои шляхетские поступки теряют. 3) Деревень за дочерьми в приданое давать не велено, чтоб оные в чужие роды не выходили; сие такоже с немалою тягостию происходит, ибо вместо того, чтоб дать в приданое деревни, принуждены оные продавать и те деньги за дочерьми давать, понеже, кроме такой продажи, дать нечего, и потому такие деревни стали больше выходить из роду, нежели как давать приданое, а от того фамилиям нималого умаления быть не может, потому: когда кто деревни отдает за дочерью, то вместо того сын его возьмет за женою из другого рода, 4) Сверх всего вышеписаного в делах превеликое затруднение и волокита происходят, понеже те пункты, яко необыкновенные сему государству, разными образы толкуют, и хотя в прошлом 1725 году выданы еще пополнительные пункты, но и тех недовольно, и, хотя бы от времени до времени еще как не пополнять, едва ли к пользе что уповать можно».

Действительно, трудно понять, как при вечно обязательной службе всех членов русского дворянства, или шляхетства, и при введении постоянного войска можно было говорить о той пользе от майората, что младшие будут добывать себе хлеб службою, наукою, торговлею? Где были у них средства и где время заниматься наукою или торговлею? Еще у богатого помещика были бы к тому средства, было бы время; вспомним, что рассказывает Данилов в своих записках о зяте своем Астафьеве, которому досталось после брата 900 душ:

«В вотчинной коллегии учинены были от родственников его споры. Зять мой Астафьев подарил свою прежнюю вотчину бывшему тогда в вотчинной коллегии секретарю Каменеву: Каменев, получа деревню себе во владение, рассмотрел дело в коллегии вправду и утвердил законным наследником зятя моего. Зять мой Астафьев, получа большое наследство, не прилежно стал уже в полку служить; а как

тогдашнее время отставки от службы не было или трудно ее получить было, то он нашел милостивца в полковом секретаре, который его отпускал в годовые отпуска за малые деревенские гостинцы. Секретарь доволен был, когда за паспорт получит душек двенадцать мужеска пола с женами и с детьми, с обязательством таковым, когда зять мой Астафьев на срок оных подаренных крестьян не вывезет, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкою к двенадцати душам. Чтобы не потерять дружбы, таковым полезным от секретаря отпуском зять мой пользовался каждый год по договору. Случалось мне и то видеть самому, при самом его уже в отпуск отъезде из полку, не оставят у него писари полковые и ротные постели и подушек, хотя он даже сидел в кибитке: и то вытаскивали из-под него и делили по себе, как завоеванную добычу. Полковой писарь был гораздо совестнее секретаря своего: он брал только по одному человеку за паспорт». Такими средствами богатые могли еще получать годовые отпуска; а бедные, младшие? «В отчаяние приходили и все свои шляхетские поступки теряли».

Несмотря на то что гражданская служба была поставлена при Петре рядом с военной, дворянскою, или шляхетскою, службою продолжала считаться военная по укоренившемуся в древней России взгляду на дружинника как на воина. Но мы уже видели, что при императрице Анне, когда дворянство испросило позволение некоторым членам семейства оставаться дома для смотра за деревнями, выговорено было правительством, чтобы эти оставшиеся обучены были грамоте и арифметике, дабы годными были к гражданской службе. В следующем же году (1737) велено было недорослей из дворян, более способных к гражданской, чем к военной, службе, распределить по коллегиям; секретари обязаны были обучать их приказному порядку, знанию указов и прав государственных, уложения и прочего; оным же дворянам назначить два дни во всякой неделе обучаться арифметике, геометрии, геодезии, географии и грамматике, и обучаться им грамматикою один день в неделю, а другой день прочим наукам. Но еще в 1731 году учрежден был Кадетский корпус, который при отсутствии университетов не мог быть специальным военно-учебным заведением, и по-

тому говорилось, что корпус учреждается, «дабы шляхетство от молодых лет к военному искусству в теорию обучены, а потому и в практику годны были. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, також и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение: того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцования, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, потому ж и к учению определять».

В 1737 году дан был указ Кадетскому корпусу: «Понеже нам известно учинилось, что в оном находящихся кадетов наиболее и почитай ежедневно обучают токмо воинской экзерциции, отчего им в обучении прочих наук немалое препятствие происходит, и хотя оным весьма надлежит достаточно обученным быть воинской экзерциции, однако ж прочие науки весьма полезнее как в обращениях при воинской, так и при гражданской службах, а помянутой воинской экзерциции могут довольно обучены быть, хотя бы оные учились и не по всякой день. Того ради одного корпуса командирам чрез сие от нас повелевается с сего времени впредь кадетов воинской экзерциции обучать в каждую неделю по одному дню, дабы оным оттого в обучении других наук препятствия не было».

Но, открывая для дворянства одинаково оба служебные поприща, и военное и гражданское, правительство с прежнею строгостию требовало, чтобы оно приготавливалось к тому и другому образованием. В 1737 году встречаем указ: «Недорослей, шляхетских детей, которые обучаются в родительских домах, свидетельствовать дважды, после 12 и 16 лет»; если некоторые из них по последнем свидетельстве окажутся невеждами в Законе Божиим, арифметике и геометрии, таких определять в матросы без выслуги. Руководясь с конца XVI века одною постоянною мыслию, «что всякое добро происходит от просвещенного разума и зло искореняется; что наука везде нужна и полезна, ибо посредством нее просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми», правительство, карая, с одной стороны, дворян за недостаток необходимых сведений, с другой — не могло стеснять их в стремлении

приобретать дальнейшие сведения. В 1756 году позволено недорослям из шляхетства обучаться в новоучрежденном Московском университете до 16, а смотря по их склонности к наукам — и до 20 лет; кроме того: «Которые ж из тех обучающихся в Московском университете действительно в воинской и гражданской службе записаны и впредь будут записаны же, а лета и склонности их дозволяют им обучаться наукам, таким для обучения дозволить при университете остаться до вышешоказанных же лет возраста их; а чтоб они не могли чрез то потерять свое произхождение, оные как в воинских, так и в гражданских командах; где они в службу записаны, в повышении старшинством не обходить, а произхождение им с прочими в тех командах чинить по указам».

Таким образом, обязательная служба для дворян с известных лет должна была необходимо повести к известным распоряжениям при поступлении их в высшие учебные заведения, — к распоряжениям, клонившимся к тому, чтобы они ничего не теряли пред сверстниками, поступившими с определенных лет в действительную службу. Но приближалось время, когда обязательная служба должна была прекратиться. В царствование императрицы Анны дворянство исходатайствовало уничтожение майората и ограничение обязательной службы; уже и при этом мы не можем не заметить, как сословные понятия начинают укореняться: кроме того что начинают употреблять слово для означения целого сословия, говорится уже о шляхетских поступках; жалуются, что младшие дворянские сыновья при обязательной службе в нижних чинах теряют шляхетские поступки. Может быть, ты мне заметишь, что эти понятия идут сверху только, разделяются немногими членами сословия, наверху стоящими: тем важнее это для нас, любезный друг! Очень важно, что члены сословия, наверху стоящие, принимают к сердцу не одни интересы племянников и внучат своих, но интересы всех членов сословия, оскорбленные тем, что некоторые из этих членов подвергаются искушениям вести себя не так, как прилично члену этого сословия. Желая уничтожить майорат также очень важно в этом отношении, ибо невыгоды майората, на которые жаловалось шляхетство, вовсе не были так тяжки для богатых и знатных дворян, как для незначи-

тельных и бедных; ясно, что понятие о своем перешло узкие грани естественного, родового, союза и прилагается к членам союза сословного.

Прошло около 30 лет от этого первого шага к ограничению обязательной дворянской службы; прошли суровые, оскорбительные для русских людей времена Бироновские; прошло царствование Елизаветы, замечательное по распространению лучших понятий о человеке и его общественных отношениях: в это время воспиталось новое поколение людей с нравами более мягкими — людей, которые должны были действовать во второй половине века, в царствование Екатерины II. И вот, в преддверии этого знаменитого царствования, 18 февраля 1762 года, при императоре Петре III издается манифест, в котором говорится, что «при Петре Великом и его преемниках нужно было принуждать дворян служить и учиться, отчего последовали неисчетные пользы, истреблена грубость в нерадивых, о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножили в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставили сведущих и годных людей к делу; одним словом, благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность, *а потому и не находим мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна была*». Так произошел этот великий переворот в судьбе русского дворянства, — переворот, по которому оно слагало с себя древний характер дружины. Но это новое положение дворянства потребовало необходимо сословно-общинного устройства, чему и было удовлетворено в знаменитом устройстве губерний при Екатерине II, которым закончилось сословное образование дворянства.

Из всего сказанного ты можешь видеть, любезный друг, на какие три периода распадается история русского дворянства. В первом периоде мы видим его в неопределенной форме дружины, привязанной к своему князю, зависимой от него в средствах жизни, следующей за ним из одного княжества в другое, наконец, переходящей свободно от одного

князя к другому. С образованием Московского государства начинается второй период: дружина усаживается вследствие единовластия и вместе с тем распадается на множество отделов, которые живут розно. Наконец, в третьем периоде, во времена Российской империи, вырабатывается из этих отделов общая сословная связь, образуется дворянство.

III

Ты меня спрашиваешь, любезный друг, откуда происходит то явление, что немцы и славяне одинаково хлопочут об общине и каждое из этих племен хочет присвоить себе общину как произведение своей национальности. Где взять нового Соломона, говоришь ты, который бы решил этот спор о дорогом детище. Я не думаю, любезный друг, чтобы нужна была мудрость Соломонова при решении этих вопросов. В одном из прежних писем моих к тебе я старался показать, что вопросы о частных союзах стали главными вопросами настоящего времени; историю же вопроса об общине ты знаешь хорошо: сначала поднялся вопрос о городской общине вследствие того, что среднее сословие в Европе приобрело такое важное значение с конца прошлого века; это сословие хотело знать свою историю. Ты знаешь заслуги знаменитых французских историков в этом отношении для их истории; знаешь, как немецкие ученые обработали этот предмет; помнишь спор, поднятый о том, какого происхождения городская европейская община, римского или германского, — спор, нашедший отголосок в книге нашего Кудрявцева («Судьбы Италии»).

Но к вопросу об истории среднего сословия скоро присоединился вопрос о судьбах сельского народонаселения, важный вопрос о землевладении, поднятый страшилищем пролетариата; таким образом, выдвинулся вопрос и о сельской общине. Русская жизнь и русская наука не могли остаться чуждыми этих вопросов. Здесь дело не в подражании — дело в том, что волею-неволею мы вошли в семью европейских народов, живем общею с ними жизнью: «Мы европейцы, и ничто европейское не может быть нам чуждо». Но при этом мое положение будет всегда одно и то же: нет пользы,

взявши вопрос из жизни, насильно навязывать его науке. Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки споры долгие, и беда, если она ускорит эти споры; и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное, вследствие господства того или другого взгляда, жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее.

Что же касается вопроса, составляет ли община явление германской или славянской народности, то об этом говорить много не нужно: всякий, кто хотя сколько-нибудь знаком со сравнительным изучением истории общественных форм и явлений у разных народов, знает хорошо, что общинный быт есть столько же национальное явление и у славян, как у германцев. Вопрос может идти только об особенностях и степени развития. Решением этого-то вопроса я и хочу теперь занять тебя.

С половины IX века через внесение новых общественных элементов вследствие появления князей Варяжских произошло между нашими восточными славянами движение, поведшее необходимо к ослаблению первоначального родового быта и к развитию быта общинного. Перед нами община новорожденная, община первобытная, со всею простотою и неопределенностью отношений. Определение было впереди. Определение более или менее точное есть следствие более или менее ясного сознания отношений, прав и обязанностей; сознание в последующие времена является как результат науки, но в древние времена, о которых идет речь, более или менее ясное сознание есть следствие более или менее резких столкновений, резких сопоставлений общественных элементов и равномерно сильного их развития; сознание добывается тут путем факта. Завоеватель и завоеванный лицом к лицу в ежедневной жизни... вот резкое сопоставление и отсюда резкое определение отношений; у одного все права, у другого одне обязанности; сознание этих отношений ясно и у того, и у другого. Если завоеванный с

течением времени приобретает силы для борьбы с завоевателем, то оба вступают в борьбу при ясном определении своих отношений, и изменение в этих отношениях происходит также сознательно и потому резко определено; все происходит выпукло и крепко. Кто осилил окончательно в борьбе — это другой вопрос; иногда осиливает третий элемент, не вступавший первоначально в борьбу; иногда между борющимися сторонами заключаются сделки; мировые относительно третьей стороны, с ясным определением отношений к последней и друг к другу: во всяком случае, борьба не остается без влияния на укрепление общественного организма. Иначе бывает, когда в первоначальном, неразвитом обществе элементы общественные находятся в неопределенном, мягком отношении друг к другу. При таких условиях определение отношений идет очень медленно, прерывчиво, нетвердо; сознание общественного человека не ясно. Это медленное, без всякого сознания, ощупью идущее внутреннее движение еще более затрудняется, останавливается, когда происходит сильное внешнее государственное движение, когда внутреннее движение не уравнивается со внешним, общественное — с государственным; отсюда при неразвитости форм общество готово принять чужие формы, выработанные чужою жизнью. Здесь, разумеется, спасение в просвещении: наука дает ясность сознанию; но теория не так спора без практики.

Но обратимся к древней русской общине, посмотрим, как были определены отношения к князю и наместнику. Говорили ли славянские послы Рюрику, что его призывают для *правды*, или не говорили — для нас это все равно; для нас важно то, что в словах летописца высказалось сознание современного ему общества об отношениях князя к подвластному народонаселению. Действительно, как бы князь или посадник его сами ни смотрели на свои отношения к общине, община видела в них людей, призванных для правды. Но как производилась правда, какое участие, какое значение имел здесь князь или его посадник? Это было лицо постороннее, чужое, обязанное смотреть: чтобы в общине была правда, чтобы все споры и столкновения решались по правде, чтобы лихим людям не было воли делать дурно; чтобы

вред, ими причиненный, был вознагражден. Но это лицо должно было смотреть, чтобы сама община, сам мир судил и рядил по правде, чтобы община не держала у себя лихих людей безнаказанными, чтобы община хлопотала о сохранении порядка. Князь или посадник вовсе не хотели брать на себя обязанности или присваивать себе право самим все судить и рядить, не имели понятия о необходимости этой обязанности, о выгоде этого права для себя, наконец, не имели материальных средств пользоваться этим правом.

Ложность современных взглядов на древнее состояние общества происходит оттого, что мы никак не можем отрешиться от своих понятий, от своих привычек к определенности, к резкому разграничению между правами и обязанностями, тогда как в древнем обществе этой определенности, этого разграничения вовсе не было: что теперь считается правом, то прежде считалось обязанностью — и обязанностью тяжелою. Первоначально суд принадлежал миру, общине; когда община не могла решить дела, когда являлась жалоба на неправду, на насилие сильных, тогда решал дело наместник или сам князь. Первоначальный вид мирских или общинных судов представляют нам суды сельских общин Западной России, как они существовали еще в XVI веке: на вече, купу, копу или громаду сходились все домохозяева; их сыновья и братья, не имевшие отдельных хозяйств, также женщины являлись на сходку только по особому требованию копы, и не для совещания, а только для свидетельских показаний. Между домохозяевами, сходатаями или судьями копными отличались старцы, которых мнение пользовалось уважением особенно в таких случаях, когда нужно было постановить приговор на основании давних решений. В древности, когда родовой быт был крепче, роды были обширнее, родоначальники, старцы, имели все представительство, и в Советах первых князей наших подле бояр мы находим этих старцев городских, представителей мира, общины. После, с ослаблением родového быта, с размельчением родов, представителями общины являются домохозяева, многочисленнейшие прежних родоначальников, и Совет их принимает необходимо вид веча, купы, громады, скупчины, особенно в больших общинах; отсюда мы видим естественный,

незаметный переход от решения дел князем в Совете с боярами и старцами к решению дел на вече. С дальнейшим развитием общин место старцев, имеющих превосходство по естеству, по возрасту, заступают лучшие люди, имеющие превосходство не по одному возрасту; с появлением этого аристократического элемента в общине лучшие люди являются представителями общины; без них нет суда. Что было сказано относительно суда, то же самое соблюдалось и относительно всех важных дел, касающихся одной общины и целой волости княжеской: сперва эти дела решались князем в Совете с боярами и старцами, потом на вече.

Таковы были первоначальные отношения действующих сил в древней русской общине. Но теперь рождается самый важный вопрос: подобные отношения служили ли ручательством за благосостояние общины, были ли они в состоянии препятствовать той или другой силе уклониться от правды, от насилия? Очень рано слышатся уже жалобы на несправедливые поступки посадников и тиунов: при Всеволоде I слышатся жалобы, что до людей перестала доходить княжая правда; слышатся жалобы, что посадники своими неправдами опустошили целые волости; при Всеволоде II Ольговиче тиуны княжеские — один разорил Киев, другой — Вышгород. Откуда же проистекали такие явления? Человек, посылаемый князем в общину для правды, был членом дружины княжеской; князь давал ему это назначение вместо жалованья, как кормление; отсюда естественное стремление в этом человеке кормиться как можно сытнее, вместо соблюдения правды потворствовать кривде, притягивать невинного к суду, чтобы заставить его платить штраф. Что же община? Какие у нее были средства освободиться от подобного блюстителя правды? Для уяснения дела сравним или противоположим западные общины. Там вследствие хорошо известных тебе явлений вельможа духовный или светский, какое бы название ни носил он, владел общиною наследственно или пожизненно, имел силу, власть сам по себе, имел известное право владеть общиною; над ним был верховный повелитель, глава государства.

Но власть этого главы государства была очень слаба именно вследствие большой власти, самостоятельности вель-

мож, номинально ему подчиненных, номинально зависимых; между главою государства и этими вельможами, которые были сильны сами по себе, при первом случае, при первом столкновении — открытая борьба. Община, выведенная из терпения насилиями своего непосредственного владельца, восстанет на него, обращаясь к главе государства, верховному блюстителю правды, и, опираясь на его высокое право, с его согласия определяет в свою пользу отношение к непосредственному владельцу, определяет крепко, точно, ибо эти отношения постоянные, тут нет ничего личного, случайного. В Древней Руси лучшие, богатейшие, более развитые общины были под непосредственным управлением князей, совершенно самостоятельных в делах внутреннего управления, без всякой зависимости, даже и номинальной, от старшего в роде, или великого князя.

Чиновники княжеские были слуги князя или, лучше сказать, товарищи, дружинники; интересы князя не находились в противоположности с их интересами — напротив, были тесно соединены; князь нуждался в них как в защитниках, людях, с которыми мог приобрести серебро и золото. По словам св. Владимира, князь содержал этих нужных, близких ему людей на счет общин, и потому последним, в своих столкновениях с ними, трудно было найти себе управу, если князь не обладал таким широким нравственным взглядом, как, например, Владимир Мономах. Возможность, однако, выйти из этого положения представилась для общины в соперничестве князей друг с другом, в усобицах между ними. Вследствие появления многих князей-соперников, из которых каждый предъявлял свое право, общины получили возможность выбора между князьями, не восставая нисколько против власти княжеской, против князя вообще.

Общины (киевская и новгородская, ибо о других нам ничего не известно по неимению полных летописей их) вследствие соперничества, усобицы князей, приобрели себе право выбора правительственных лиц: Игорь Ольгович, слыша неудовольствия киевлян на тиунов и грозимый движениями Изяслава Мстиславича, к которому киевляне обнаруживали расположение, — Игорь Ольгович дал им право выбирать тиунов; после видим, что киевляне заключают ряды с новыми

князьями. Новгородцы, восставшие против князя своего Всеволода Мстиславича за то, между прочим, что он не блюдет смердов, благодаря соперничеству князей, возможности находить у одного помощь против другого, утвердили за собою право выбора правительственных лиц, право сажать в суде подле самого князя своего выборного посадника, наконец, право выбирать самих князей, право, которое потом было отнесено как пожалование ко временам Ярослава I.

Таким образом, древние русские общины определили свои отношения выбором правительственных лиц. Что касается других подробностей общинного быта в старых русских городах, то он нам известнее в Новгороде и Пскове. Известны также и причины падения этих общин: неумение уладить отношения между лучшими и меньшими людьми к выгоде обоих, причем большинство легко отказалось от тех форм быта, которые были выгодны только для меньшинства. Что же касается до форм общинного быта в других городах, то мы не имеем права предполагать здесь сильное развитие. Не надобно забывать продолжительности особого существования Новгорода и Пскова, тогда как Киев, Чернигов и другие города Юго-Западной Руси были разрушены татарами еще в XIII веке, да и те старые города, которые избегли этого разрушения, например Полоцк с своими белорусскими сородичами, принимают чужое, немецкое общинное устройство, так называемое магдебургское право; но дело очень хорошо известное, что чужие формы, чужие определения принимаются только тогда, когда нет своих форм и определений, выработавшихся самостоятельно: чужие формы и определения могут быть даны насильственно; но дело также очень хорошо известное, что магдебургское право не было насильственно дано русским городам.

Так было в древней Западной Руси, отошедшей к Литве, и в обломках древней Руси, сохранивших связь с новою, Восточною Россиею, в Новгороде и Пскове. Теперь обратимся к общинному быту в Восточной России, в которой совершилось дело собрания Земли и дело централизации. Сказавши это, я уже определил значение общинного быта в Восточной России, ибо здесь на очереди другое начало, которое усиливается беспрестанно и позволяет присутствие при себе

других начал только в той степени, в какой они не мешают ему усиливаться. Возникновение и усиление одного какого-нибудь начала необходимо предполагает слабость других начал, не могущих ему препятствовать, не могущих заявить свою силу, свою способность к одновременному и одностороннему с ним существованию.

Какие же были причины усиления централизации и причины слабости других начал? Причины, могшие замедлять централизацию, могли заключаться или в географических, или в этнографических, или в политических особенностях частей, причем должно заметить, что эти причины особенности обыкновенно соединяются. Кто знаком хотя бы сколько-нибудь с географией областей, составивших Московское государство, тот знает, что здесь нет природных препятствий к централизации: нет высоких гор, нет степей, столько же разделяющих народы, как и горы; нет резких переходов; здесь одна речная область, область Верхней Волги. Особенность больших, издавна самостоятельных племен могла препятствовать централизации: так, на особенность больших племен в Германии указывают как на условие, помешавшее государственному соединению этой страны. Но в Восточной России и этого условия, препятствовавшего централизации, не было. В древней Западной России видим отдельные племена, из которых составила Русь; но и здесь, без натяжки, мы не можем указать значение этих племен в истории; ибо для того, чтоб особенность племен имела влияние в истории, надобны еще другие условия: надобно, чтобы эти племена изначала имели особое свое правительство; чтобы эти правители племен только насильственно подчинялись общему правительству и стремились к независимости при первом удобном случае; надобно, чтобы стремления правителей совпадали с стремлениями самих племен, из которых ни одно не хотело бы подчиниться другому.

Но ничего подобного не было у нас в Древней Руси, где племена одновременно получили правителей из чужого народа, где не поляне завоевали северян и древлян, где в Чернигове, например, сидел не князь из племени северян и не вельможа варяг, который, из стремления к самостоятельности, тесно соединил бы свои интересы с интересами северян. Мы

знаем, что в Чернигове сидел князь, который очень мало обращал внимания на единство своих интересов с интересами черниговцев или северян, который постоянно думал, как бы поскорее бросить Чернигов и перебраться в Киев. Полная независимость младших княжеств от старшего относительно внутреннего управления уничтожала враждебное столкновение между ними. Но если и на Юго-Западе, где видим вначале отдельные племена, невозможно указать влияние этих племен на судьбу страны, то на Северо-Востоке и племен-то вовсе не было. Здесь вначале были племена финские; но напор славянской колонизации, совершившейся уже в исторические времена, или отодвинул финнов, или ослабил их; движение же славян происходило не целыми отдельными племенами, но вразброд. Да и поселившись в новой стране, славяне не могли развить здесь племенного быта, ибо условия общества были уже иные: здесь владели князья, которые строили города, куда приглашали насельников.

Племенную противоположность нельзя даже положить одною из причин вражды между старым городом Ростовом и молодыми городами, которых Ростов был представителем, ибо нельзя предположить Ростов во времена Андрея Боголюбского финским городом в противоположность новым славянским городам — Владимиру, Переяславу и другим. Причина вражды прямо указана в источниках, причина политическая, а не племенная; ростовцы говорят: «Сожжем Владимир или посадим в нем своих посадников, потому что владимирцы наши холопы каменьщики».

Новые города, следовательно, принимали в себя ту часть народонаселения старых городов, которая называлась меньшими, младшими людьми в противоположность лучшим людям. Этот вывод колонии из меньших людей не всегда происходил с согласия лучших людей, ибо не всегда уходили в новые города только свободные меньшие люди, уходили и несвободные, желавшие этим уходом достать себе свободу. Вспомни, любезный друг, предание о Холопьем городке, предание, которое ясно произошло от названия города; но это название не нуждается ни в каком предании для своего объяснения, ибо нам известен общий закон переселений, и в частности нам известно происхождение вятского

народонаселения, происхождение казачества. Наконец, слова ростовцев, что владимирцы их холопы, не оставляют никакого сомнения насчет того, как образовывалось народонаселение новых городов хотя отчасти, ибо не принимать слов, сказанных ростовцами, буквально — будет уже натяжка с нашей стороны.

Андрей Боголюбский и братья его утвердились в новых городах, в пригородах, дали им первенство, и Ростов Великий не устоял в борьбе с ними. Пал город старый, вечевой, остались города, не привыкшие к вече, к самостоятельности. Что же нас останавливает в этой борьбе Ростова с Владимиром, Переяславлем? Что представляют ростовцы и что владимирцы? Первые представляют лучших людей, вторые — меньших. Ростовцы вместе с боярами противятся централизации, начинаемой Боголюбским и братьями его. Владимирцы с братиею, не имея никаких выгод поддерживать те формы быта, которые выгодны только для ростовцев, дают поддержку централизующей силе, ибо все выпуклое мешает централизации, ровное же представляет самый крепкий фундамент для нее. То же самое случилось после, в XV веке: Новгород потерял свои особенности, приравнялся к другим городам, к городам низовым: лучшие люди, выпуклая часть новгородского народонаселения, стояли за особность; но большинство, ровная часть народонаселения, тянуло к приравнению, ибо не видало для себя в особности тех выгод, какие имело меньшинство, выпуклая часть народонаселения.

Не знаю, любезный друг, какое впечатление производимо было на тебя возражениями, направленными будто бы против моей *гипотезы* об отношениях между старыми и новыми городами и важном значении этих отношений. Никогда не думал я строить гипотезу, указывая на ясную, в глаза бросающуюся связь судеб Новгорода Великого с судьбами других русских общин, указывая в XII веке на начало борьбы, которая кончилась в XV; никогда не думал я строить гипотезу, решившись на живой борьбе общественных отношений, решившись показать, как подле междукняжеских отношений образовывалась почва, складывался внизу фундамент, на котором построилось здание Московского государства. Ты

помнишь, как восстали на меня за это перенесение истории из воздушных пространств на твердую почву, за это обращение внимания на другие явления, без которых от смены начала родового вотчинным или семейным решительно ничего бы не вышло. Ты помнишь, как упрекали меня за то, что у меня между родовым и государственным началом целая пропасть. Возражатели, исключительно носясь в высоких воздушных сферах начал, не хотели заметить, что эта пропасть наполнена щебнем из развалин Ростова и Новгорода.

Теперь взгляд переменился; но теперь новые странности в нашем незрелом, зеленом обществе: слышится голос капризного ребенка, который кричит на весь дом, требует у няньки, чтоб она дала ему то, чего нет. «Ступай, нянька, зимою в сад и сорви яблоко!» Ловкая нянька вынимает из кармана сухую заморскую сливу. «Ах, душенька, какая добрая сестрица! Сбегала в сад и вот что сорвала! Ах, что выросло у нас в садике; ах, какая вкусная ягодка!» Честь и слава ловкой няньке! Она хорошо знает, что с ребенком нельзя рассуждать о том, что зимою яблоки не растут. Так нечего противопоставлять разным крикам серьезные рассуждения о том, что если одно начало усиливается, то это происходит необходимо вследствие слабости других начал, которые все более и более ослабляются вследствие большего и большего усиления одного начала; что, ослабляясь все более и более, они тем самым уходят на задний план, все менее и менее действуют, следовательно, все менее и менее заявляют себя перед историею, и если действуют, то по отношению к господствующему началу; что их развитие, если оно происходит, подчиняется влиянию господствующего начала, влиянию того хода событий, который обуславливается движением господствующего начала; что историк не имеет права, бросивши то, что действует, и своим действием объясняет нам все в прошедшем и настоящем, обратить внимание преимущественно на то, что находится в бездействии или действует слабо, развивается медленно; что обязанность историка — показать причины, почему одно начало действует на первом плане, а другие действуют слабо, медленно; что здесь обязанность его оканчивается, ибо этим он вполне освещает настоящее как результат прошедшего; что историк, увлек-

шись каким-нибудь сочувствием, не смеет перемешивать явления по произволу, не смеет выставить на первом плане то, что на нем не находится, ибо настоящее сейчас же обнаружит фальшь: настоящее есть такая же поверка прошедшего и наоборот, как в арифметике вычитание поверяется сложением, сложение — вычитанием.

Но возвратимся к нашему делу. Главное явление, которое останавливает нас на севере, — это неразвитость городских общин вследствие неразвитости промышленности и торговли, вследствие бедности городов. Факт неоспоримый, что развитие общинного быта везде и у нас в России основывалось на материальном благосостоянии, на развитии промышленности и торговли. Почему Новгород, Псков, Киев, Полоцк, Смоленск вписали свое имя в историю общинного быта в России? Потому что это были самые богатые, самые торговые города. Путь из Варяг в Греки, западная полоса России от Балтийского до Черного моря, — это главный торговый путь и главная историческая сцена в нашей древней истории; на ней богатые торговые города и сильные городские общины, обнаруживающие свою самостоятельность. Чем далее к востоку, тем страна дичее и беднее, торговля и промышленность слабее, народонаселение реже. Отсюда необходимое следствие, что когда историческая сцена перенесется на этот восток, то здесь ход истории будет иной, чем на западе; что на востоке мы не встретим тех явлений, которые характеризовали нам древнейшую историю, историю Западной России, новое начало необходимо должно было явиться и усилиться там, где старое было слабо и потому не могло выставить новому сильных препятствий. Новгород отбил от Андрея Боголюбского, от Всеволода III и сына его Ярослава и до половины XV века мог сохранить свою самостоятельность; Ростов же пал скоро перед Юрьевичами — знак того, как лучший, старший город на востоке был беднее, слабее лучшего города на западе.

После падения Ростова восток не представляет нам вовсе таких выпуклых явлений в городской жизни, какие представляет запад: здесь бедность развития промышленного и торгового привела уровень между городами и даже между городами и селами. Судьба городов в Московском государ-

стве одинакова с судьбою дружины: для силы как дружины, так и городов необходимо было одно и то же условие — богатство, а его-то и не было. Когда начало слагаться государство, мы не видим членов дружины, вельмож, богатых, имеющих обширные земельные владения, имеющих в своей наследственной власти целые области и города, могущих приобрести многочисленных подручников, которые бы получали от них земли, недвижимое, так могущественно содействующее скреплению всяких связей и отношений. Не было больших частных союзов, не было того, чтобы множество малых сил группировались около больших сил. Не забудь, любезный друг, что я говорю: не было больших частных союзов, ибо частные союзы были у нас в древней России в разных видах, а именно: на первом плане союз родовой, самый могущественный в старину частный союз во всех слоях народонаселения.

О силе родового союза между людьми высших чинов не нужно распространяться, эта сила слишком резко отметила себя в истории; укажу только на самые характеристичные черты родового союза даже в XVII веке: знаменитый Шеин в то время, когда шло дело об освобождении его из польского плена, желая сообщить боярам важные известия, прислал в русский стан спросить их, нет ли с ними какого-нибудь его, шеинского, человека или человека родичей (*повинных*) его, Салтыковых или Морозовых, ибо только такому он может поверить тайну. В XVII же веке Милюков, женившийся на рабе князя Сонцева-Засекина, должен был заплатить за это сто рублей, и эти сто рублей были разложены на весь многочисленный род Милюковых. На силу родового союза вообще во всех слоях народонаселения ясно указывает то, что государство смотрит на гражданина не иначе как на родоначальника, представителя своего рода, обязанного отвечать за своих младших родичей: всякий не представлялся один с своею семьей, но с братьями и племянниками, и князь Пожарский, жалуясь государю на дурное поведение своего взрослого племянника, описывая, что никакие строгости и наказания, употребляемые дядьями, не помогают, обнаруживает в конце жалобы боязнь, чтобы государь не положил на него опалы за дурное поведение племянника.

Но кроме родового союза существовали и другие частные союзы, необходимые при государственной неразвитости, когда правительство, закон не имеют достаточно силы, чтобы дать каждому защиту, вследствие чего слабый стремится приютить себя под защиту ближайшего сильного: таково происхождение наших старинных *закладников, соседей, погососедников и захребетников*. Все это начало тех самых отношений, которые на Западе развились в феодализм; у нас же не развились именно потому, что у нас сильные не были достаточно сильны для соделания себя центрами больших частных союзов; что эта сила сильных ослаблялась постоянно присутствием и непосредственным влиянием централизующей силы, начавшей развиваться очень рано.

Дружинники были бедны своими вотчинами; самыми богатыми землевладельцами должны были быть князья, вступившие в службу к государям Московским; но они вступили в московскую службу не как владельцы своих прежних княжеств, своих прежних городов, от которых удержали только одно прозвание; их города, их княжества отошли к Московскому государю; у них оставалась только частная княжеская собственность; но эта собственность дробилась и умалялась вследствие сильного расположения членов княжеских родов, вследствие отсутствия майората и вследствие обычая давать вотчинные земли монастырям на помин души.

Но дружинники составляли войско. В старину на Юго-Западе дружинники говорили князю при начале предприятия: «Ты это, князь, сам по себе задумал, мы об этом не знали; так не идем за тобою». Князь, покинутый дружиною, лишался средств действовать и поддерживать свое значение. На Северо-Востоке централизующая сила скоро нашла возможность освобождаться из-под влияния старой дружины, и эта возможность, разумеется, нанесла окончательный удар старым дружинным княжеским и боярским притязаниям. Централизующая сила имела возможность создать большое войско, вполне от нее зависящее. Эту возможность доставило огромное количество земель, находившихся в полном распоряжении централизующей власти, и вот явилась по-

местная система, имевшая такое могущественное влияние на судьбы Московского государства.

Дружинники были бедны, не могли выделять из своих вотчин участков другим с условием подручных, вассальных обязанностей; один только Московский государь был так богат землею, что мог выделять из нее многочисленные участки желавшим служить у него с полной и непосредственной зависимостью от него. Охотников нашлось много. Иоанн III, приведши Новгород в свою волю, сказал его жителям: «Великий Новгород должен нам дать волости и села, без того нам нельзя держать государства своего в Великом Новгороде» — и взял волости владычьи и монастырские; эти земли были розданы детям боярским в поместья. Иоанн показал, что значило, по его выражению, держать государство. Иоанн не был брезглив в выборе тех людей, посредством которых хотел держать государство: он велел распустить из княжеских и боярских дворов служилых людей, *послужильцев*, и дать им поместья. Таким образом у князей и бояр отнималось средство быть самостоятельными чрез своих *послужильцев*; великий князь переводил посредством раздачи поместий этих *послужильцев* в непосредственную зависимость от себя, делал их своими *послужильцами*. Польские вельможи, приобретшие самостоятельность и силу именно через земельное богатство, через возможность сосредоточивать около себя большое количество *послужильцев*, — польские вельможи ясно понимали различие положения своего от положения вельмож московских и одним из препятствий к избранию Московского царя в короли Польские представляли то, что царь богат и потому будет иметь возможность отвлечь от них всю бедную шляхту и превратить ее в своих *послужильцев*.

Вопрос о земле, о владении ею сделался господствующим вопросом в Московском государстве начиная с половины XV века, начиная именно с образования государства. После хаотической эпохи движений, переходов, когда *недвижимое* — земля — было далеко не на первом плане, наступила эпоха оседлости, и земля получает важное значение, цена ее начинает сильно чувствоваться. Вспомни, любезный друг, какой вопрос могущественно занимает русское общество с

половины XV века до конца XVI века, с каким вопросом встречаешься ты постоянно при всех важных спорах, при всех движениях, в которых сказывалась умственная жизнь русских людей, при всех движениях, в которых принимали участие самые живые, самые выпуклые личности: это вопрос о том, следует ли владеть монастырям селами. Неужели один чистый вопрос монастырской дисциплины и нравственности мог так сильно волновать общество?

Дело в том, что теперь и централизирующая сила, и люди, желающие воспрепятствовать централизации, понимают силу землевладения. За землю начинается спор. С одной стороны, Московские государи видят, какое могущественное средство доставляет возможность распоряжаться большим количеством земли, приобретать через нее непосредственных послужильцев. Но количество земель, которыми могло располагать правительство, могло уменьшиться; государство владело и приобретало все более и более земель на Юге, Юго-и Северо-Востоке; но эти громадные пространства были не населены, тогда как для испомещения послужильцев необходимы были земли, ближайšie к государственному центру, способные иметь население, ибо только эта способность давала помещику средства нести службу; но такими именно землями были архиерейские и монастырские вотчины, расположенные в старых областях, а не в степной уkraine и не в безлюдных пустынях вятских и пермских. И монастырские вотчины продолжали увеличиваться подобными же землями вследствие отказа по душе старинных вотчин землевладельцами разного звания. Таким образом, правительству чрезвычайно выгодно было бы иметь в своих руках монастырские земли для цели испомещения служилых людей, и потому не могло оно равнодушно смотреть на то, что служилые люди, через отказ вотчин в монастыри, все более и более оскудевали наследственными землями, следовательно, все более и более нуждались в поместьях; и эти требования переходили наконец уже границу выгод, происходивших для правительства от нужды служилых людей в поместьях: ибо вотчина не очень крупная не могла быть опасна, а служила только подспорьем для поместья, и ее исчезновение из рук человека было только вредно для правительства.

С другой стороны, самые видные представители вельможных родов, яснее других понимавшие в чем дело, — князь Патрикеев с товарищами — также вооружились против права монастырей владеть селами, ибо хорошо видели, какой ущерб проистекает для знатных родов от обычая отказывать вотчины монастырские и от права монастырей покупать вотчины, причем монастыри, не делившие своих имений и постоянно богатевшие, разумеется, имели важное преимущество перед беднейшими вследствие разделения имений светскими вотчинниками. Таким образом, против монастырских вотчин был интерес централизующего начала вместе с интересом людей, вовсе не сочувствовавших централизации. Иоанн III прямо вооружился против монастырских вотчин, но счел за нужное уступить сильному сопротивлению, встреченному в духовенстве. При сыне Иоанна III Василии вопрос был поднят с новою силою князем Патрикеевым (Вассианом Косым) и Максимом Греком, но не получил окончательной поддержки от великого князя вследствие вражды, которую стал питать Василий к Патрикееву и Максиму по делу о разводе.

Иоанн IV вследствие ожесточенной вражды своей к вельможам и вследствие непрерывных и тяжелых войн, им веденных во все царствование, решительно выдвинул на первый план землевладельческий интерес служилых людей, войсковой массы. Отбирая вотчины у богатых князей, объявляя себя наследником вотчин после бездетных князей, с исключением дочерей, сестер и родственников, Иоанн в то же время вооружился и против увеличения монастырских вотчин в ущерб служилым людям: в 1551 году запрещено было архиереям и монастырям покупать вотчины без царского позволения; в 1573 — запрещено давать вотчины по душе в большие монастыри, велено отдавать их роду и племени служилых людей, чтобы в службе убытку не было и земля из службы не выходила бы; позволено было давать вотчины только монастырям малым с позволения государства; в 1580 году запрещено было вовсе отказывать вотчины по душам в монастыри, велено брать их наследникам, хотя бы кто и далеко был в роду. Наконец, при сыне Грозного, вследствие того что, как указано выше, был выдвинут интерес служилых людей на первый

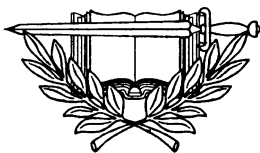
план, последовало прикрепление сельского народонаселения, опять по поводу столкновения этого интереса с интересами церкви по вотчинам. «Земли митрополичьи, архиерейские, владычни и монастырские в тарханах никакой царской дани и земских разметов не платят, а воинство, служилые люди эти земли оплачивают; оттого большое запустение за воинскими людьми в отчинах их и поместьях; а крестьяне, вышедши из-за служилых людей, живут за тарханами в льготе, и от того великая тощета воинским людям пришла», — говорилось на Соборе 20 июля 1584 года.

Но в то время как поместье — это могущественное средство централизации в Московском государстве — сыграло такую важную роль наверху и внизу, в судьбах старших членов дружины, с одной стороны, и в судьбах сельского народонаселения — с другой, в то же время оно сыграло не менее важную роль и в судьбах городов, ибо уничтожило необходимость в городском войске или необходимость обращаться к городам за деньгами для содержания наемного войска. В Древней Руси князь имел нужду, во-первых, в дружине, с которою мог приобрести серебро и золото и которая уходила, если с нею не спрашивались; но дружина не была многочисленна: для больших походов против внешнего врага или против родича-соперника князь нуждался в городском ополчении; известно, например, какую помощь оказывал любимым князьям *сильный полк* киевский. Главным содержанием обращений князя к городскому вечу был призыв к походу, на что, по разным обстоятельствам и отношениям, следовало согласие или несогласие. На севере же возможность создать войсковую массу посредством поместья уничтожила необходимость в городских полках. В начале княжения Иоанна III мы встречаем последнее известие о походе московской городской рати, с особенным воеводою, ибо звание тысяцкого, постоянного воеводы городских полков, было еще прежде уничтожено прадедом Иоанна III. Возможность иметь свое войско посредством поместья уничтожила необходимость в наемном войске.

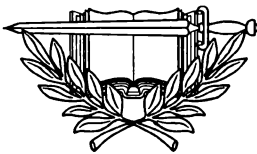
Таким образом, в Московском государстве в XV веке мы видим то же явление, те же отношения по землевладению между государем и служилыми людьми, какие видим в

западных европейских государствах в первом веке их существования, то есть отношения бенефициальные, или поместные. Но разница в том, что на Западе отношения по землевладению выдвигаются на первый план при самом образовании государств; после того, в силу столкновения разных начал в новорожденном государстве, отношения по землевладению проходят разные фазы и содействуют образованию разных новых отношений, пока государство, выходя из средних веков, окончательно складывается. Но у нас первые века после рождения государства проходят в брожении и передвижке князей и дружин их, причем отношения по землевладению на первый план не выдвигаются, получают они важное значение только тогда, когда передвижка прекращается. Московское государство слагается окончательно с громадным перевесом централизующей силы, которая теперь имеет возможность все отношения употреблять в свою пользу. «У вас войска чужие, наемные, — говорят московские послы послам западных соседних государств, — а у нашего государства свои бесчисленные рати». Печальный опыт показал, что эта бесчисленность не помогала: малочисленные, но искусные отряды западных наемников разбивали московские полки почти при каждой встрече. Видя это, начали принимать в службу иноземцев, но старались и их ввести в поместные отношения...

1858 г.



ПРОГРЕСС И РЕЛИГИЯ



Десять лет тому автор предлагаемой статьи считал нужным вооружиться против нападков на прогресс, которые находил вредными для правильного исторического понимания. Тогда он писал: «К каким невероятным странностям и к какому бесплодию ведет антиисторическое направление и этот буддистский протест против прогресса, это стремление возвратиться к первоначальной простоте отношений, — стремление, обличающее недостаток нравственных сил, неумение сладить с прогрессом, материализм, неверие в нравственные силы человека, который, по мнению новых буддистов, тогда только чист и свеж, когда живет в лесу, и портится, когда выступает на высшее общественное поприще». Теперь чувствуется надобность вооружиться против крайностей направления противоположного, против обоготворения прогресса, которому должно быть подчинено все, которому должна быть подчинена религия, из чего выводится необходимость новой религии, ибо христианство, говорят, не соответствует более той степени прогресса, на которой находится теперь человечество. Мы не берем на себя задачи, которая не по силам нашим, — задачи защищать христианство; мы не коснемся богословских вопросов; мы ограничимся одною на-

учную историческую средою и ее средствами постараемся уяснить вопрос об отношении прогресса к религии, и именно к христианству, потому что без решения этого вопроса невозможно и решение других важных исторических вопросов.

Люди, с мнениями которых мы будем иметь дело, глубоко, как говорят они сами, убеждены, что «религия есть неистребимая потребность натуры человеческой; если иногда кажется, что потребность эта ослабевает и будто засыпает, то потом она вдруг пробуждается с большею силою. Ясно также, что новые учения не представляют достаточной пищи для веры, для потребности верить. Те, для которых религия есть вдохновение чисто индивидуальное, могут довольствоваться верованиями, которые теперь существуют в общем сознании. Но религия прежде всего есть связь душ: отсюда необходимость церкви и богослужения. Человек не довольствуется проходящим существованием на земле, как бы оно прекрасно ни было; он жаждет вечности. И дело идет не об одном бессмертии, которого он желает: дело — в связи с бесконечным Существом, от Которого он получил свое существование и без Которого он не сумеет жить. Кто будет его руководителем по тернистому пути жизни? Кто будет его вдохновлять в борьбе страстей против требований долга? Где найдет он опору и утешение в неизбежных бедствиях, которые сопровождают самые нежные привязанности? Кто будет поддерживать его надеждой? Кто укрепит его веру в минуты сомнений, изнеможения нравственного? Бог — и только один Бог.

Следовательно, связь между существом конечным и Существом Бесконечным необходима, и эта связь составляет сущность религии. Не признавая этой связи и отвергнув идею религии, философы XVIII века тщетно поставили на ее место человечество: одни обязанности к человечеству не составляют религии. Пусть человек посвятит всего себя ближним; эти действия любви недостаточны для наполнения его души. Если в человеке не удовлетворяется потребность стремления к бесконечному, потребность самая сильная; если бы как-нибудь можно было уничтожить всякую идею, которая не относится к сему должному

миру; если бы человек не видал другого горизонта, кроме того, который пред его глазами, то не иссяк ли бы источник самопожертвования? Что осталось бы душе, заключенной в такую тесную темницу, кроме эгоизма, кроме наслаждения удовольствиями этой кратковременной жизни? Если не таков был плод ложных учений философов XVIII века, так это потому, что человек никогда не даст себя изувечить нравственно. Он носит в себе знамение своего божественного происхождения, элемент бесконечного, и не расстаётся с этим стремлением даже в заблуждениях своих. Это не мешает, однако, заблуждению быть гибельным, и потому надобно возвратиться к истине. Если б учение о чувствах не смутило свободных мыслителей XVIII века, вера в бесконечный прогресс, которая их воодушевляла, должна была бы повести их к верованию в бесконечное существование. В самом деле, если допускается, что развитие наших способностей есть цель нашей жизни, то невозможно допустить остановки. Таким образом, идея прогресса, приложенная к индивидууму, тождественна с идеей его бессмертия. В этом философия и христианство сходятся; материализм с своими странностями и пантеизм с своими мечтами не найдут никогда доступа в общее сознание. Общество не может жить без религиозных верований: ему нужна вера, как нужен хлеб»¹.

Итак, мы имеем дело не с материалистами и их странностями, не с пантеистами и их мечтами, а с людьми верующими, верующими в личное существование Бога и в бессмертие души человеческой. Мало того, мы имеем дело с людьми, которые требуют положительной религии. «В двух противоположных движениях разрушения и реакции, которые мы видим в XVIII и XIX веках, заключается великое поучение. Разрушение не удовлетворяет: люди никогда не покинут веры, как бы она ни была несовершенна, для ничтожества; они говорят, что лучше иметь какое-нибудь убежище против бурь жизни, чем выставлену быть на ненастье без одежды и крова. Пока длится борьба, люди, при-

¹ Laurent. Etudes sur l'histoire de l'humanité, XII, p. 9, 51, 63, 68, 71, 78, 183, 221.

нимающие в ней участие, могут вдохновляться разрушением, ими совершаемым; но когда почва усеяна развалинами и осколками и воинский жар потух, что остается борцам? Что остается тем, которые, будучи чужды борьбе, не хотят покинуть своего жилища, как бы оно ни было неудобно, чтобы расположиться под открытым небом на развалинах? Время разрушения прошло, и, только застроивши вновь, мы можем уничтожить то, что осталось от ударов XVIII века. Возведем величественное здание, которое может принять всех требующих убежища, и они поспешат покинуть свои избышки. Как построить это новое здание? Достаточно ли собрать безобразные камни, которые лежат здесь и там, — печальные остатки старой религии? Прочное здание не строится из ветхих, гнилых материалов. Когда хотим восстановить религиозные верования, то надобно вдохновляться не прошедшим, а будущим. Надобно, чтобы прошедшее преобразовалось под влиянием чувств и идей, семена которых Бог вложил в недра человечества. Воспользуемся уроком и примемся за работу; Бог не оставит нас своею помощью²».

Где-то на Западе хотят строить величественный храм новой религии; по какому плану и рисунку, из каких материалов — не открывают, говорят только отрицательно, что старого не будет. Конечно, можно было бы сказать: подождем, увидим. Но дело в том, что мы принадлежим к страстным приверженцам прогресса, а дожидаться — значит остановиться. Нам скажут: «Зачем останавливаться, сидеть сложа руки и дожидаться — ступайте к нам строить величественный храм!» Мы бы охотно пошли, но прежде позвольте предложить два самых простых вопроса: возможна и нужна ли эта постройка?

Вера признается необходимо несокрушимою в человечестве, но что такое вера? Я знаю то, что совершенно ясно понимаю; чем мой разум овладел вполне собственными средствами; я верю тому, чего понять не мог, для овладения чем средства моего разума несостоятельны. Все, что подлежит моим чувствам, все, что существует материаль-

² Laurent, XII, p. 223.

но, подчиняется общим законам бытия, — все это я могу знать. Но для мыслящего существа есть необходимость признавать разумную причину причин, Высшее Существо, есть необходимость в самом себе признавать то, что не подлежит уничтожению, что должно существовать и по разрушении видимого организма; таким образом, есть необходимость признавать существование особого мира, который мы называем духовным. Явления этого мира и его отношения к подлежащему нашим чувствам миру для нас непостижимы — и здесь-то область веры. Но кому же мы будем верить относительно этих явлений и отношений? Никакому человеку мы не поверим, ибо ни один человек собственными средствами постичь их не может. Отсюда необходимость религии откровенной: только Сам Бог может открыть о Себе и наших отношениях к Нему, сколько для нас нужно и возможно. Но что сам Бог нам откроет, то есть истина вечная и неизменная, ибо только в таковую мы можем верить. Язычник или магометанин нынче верит так, завтра он убеждается в превосходстве христианского учения — и принимает его, потому что верит ему, как единому истинному и божественному. Но если вы скажете человеку, что то, во что он верует теперь, упраздняется; что будет религия высшая, но и эта другая, высшая религия упразднится в свою очередь вследствие прогресса человечества, то кто будет верить, кто согласится признавать известное учение истинным, будучи убежден, что спустя некоторое время это учение будет отвергнуто как ложное и заменится другим, а это в свою очередь сменится третьим и т. д.! Нас приглашают строить храм новой религии и позволяют себе толковать о прочности этого здания, не подозревая, что смеются сами над собою самою злою насмешкой: кто пойдет строить *прочное* здание с убеждением в его непрочности? Вся эта бессмыслица происходит оттого, что люди, взявшиеся толковать о вере, не взяли труда уяснить себе сущность предмета, не спросили у первого верующего, будет ли он верить, когда убедится в изменности вероучения. Для каждого понимающего сущность веры очевидно, что она не может подчиняться прогрессу.

Религия предполагает неизменяемость, прогресс предполагает изменение; но это различие обуславливает ли их взаимное исключение? Нисколько, если не смешивать насильственно области религии и прогресса. Это будет очевидно из разбора мнений писателей, виновных в таком насильственном смешении, — из разбора их мнений относительно прогресса и христианства, которое они хотят упразднить как не удовлетворяющее более потребностям времени. Они обращаются к христианству с упреками за то, что оно есть — религия! «Философия и религия, — говорят они, — могут жить в согласии только под одним условием, чтобы религия не происходила путем чудесного откровения и не провозглашала догматов, которых разум принять не может. Если же, напротив, религия считает за собою божественное происхождение; если как основание для своего учения устанавливает таинства, которые разум человеческий не понимает или отвергает, то согласие между философией и религией невозможно»³.

Но разум не помешал вам признать бытие Бога и бессмертие души? И разве в то же время разум дал вам средства изучить этот иной, совершенно различный от нашего мира, мир, который мы называем духовным? Разве вы посредством разума узнали существо Бога и существо души человеческой, отдельно от тела пребывающей? Разве разум не признает все это непостижимым, невозможным для изучения, неизвестным? Но какое же мы имеем право заключать от известного к неизвестному, не имея возможности проверить этого заключения опытом? Какое право мы имеем требовать, чтобы условия этого совершенно иного существования были тождественны с условиями известного нам существования? Вы смеетесь над легендами, порожденными детскою фантазией толпы, в которых отношения духовных существ представляются в формах здешней жизни; а сами что делаете, требуя, чтобы там не было ничего такого, что бы не походило на здешнее, что бы было непонятно нам, знающим только здешние условия бытия?

³ Laurent, XII, p. 68, 69.

Верам, догматам христианским противопоставляют какие-то философские верования и догматы — относительно чего же? Относительно будущей жизни. Говорят: «Если признано, что развитие наших способностей есть цель нашей жизни, то невозможно, чтобы была остановка в этом развитии; следовательно, идея прогресса, приложенная к индивидууму, тождественна с идеей его бессмертия». В этом пункте философия согласна с христианством; но философы, соглашаясь с христианами относительно признания жизни бесконечной, сильно расходятся с ними относительно условий жизни будущей, и причиною тому опять идея прогресса. Христианство учит, что будущая жизнь есть состояние неизменяемое; философы думают, что будущая жизнь для всех существ сотворенных есть продолжение их предшествовавшего существования, непрерывное движение к совершенствованию. Тварь, будучи несовершенна по своей сущности, будет всегда приближаться к цели, никогда ее не достигая; но и никогда не может быть приведена в такое состояние, где бы всякое развитие сделалось невозможным. Нет, следовательно, ни ада, ни рая, но жизнь прогрессивная, имеющая целью идеал совершенства. Прогрессивное существование индивидуума принадлежит к области веры; наука не может утверждать, существовал ли человек прежде чем родился; равно она не знает, где и в каких условиях будет препровождаться будущее его существование⁴.

Итак, вы признаетесь, что не знаете условий будущей жизни; по какому праву вы утверждаете, что там будет такая же форма бытия, какая заключается здесь, именно форма прогресса? Вы сами говорите, что прогрессивное существование человека принадлежит к области веры: но кто открыл вам эту тайну? Кто проповедал этот догмат? Кому вы поверили? Каким-то философам, которые из идеи прогресса вывели личное бессмертие! Но другие философы, очень известные, вовсе не считали нужным с идеею прогресса соединять личное бессмертие: кому же мы должны верить? В этих вещах можно верить только одному Богу; христиане и

⁴ Laurent, XII, p. 217.

верят Ему Одному, не считая для себя позволительным мечтать о формах загробной жизни и переносить в нее формы здешней жизни, ибо это позволительно только детской фантазии необразованной толпы да, как видно, еще каким-то философам.

Последуем за проповедниками прогрессивной религии и будущей жизни в настоящую. Они переносят дело на историческую почву и считают себя здесь твердыми. «Религия подчиняется ли общему закону прогресса?» — спрашивают они и отвечают: «Защитники христианства говорят, что нет, и с их точки зрения они правы, ибо они думают, что обладают истиною абсолютною, а совершенное совершенствоваться не может. Разумеется, те, которые отвергают абсолютную истину, должны по этому самому допустить прогресс истины религиозной как всякой другой истины. Христианство не есть ли прогресс относительно язычества и даже мозаизма? Как этот прогресс совершился? Философы говорят, что переворот совершился работою человечества; верующие утверждают, что христианская религия есть чудесное откровение Божества. История за философов: она учит нас, что прогресс совершался в области религии, как во всех сферах человеческой деятельности. Это решительно для великого вопроса, поднятого нами. Если был религиозный прогресс в прошедшем, то почему он невозможен в будущем?»⁵

Во-первых, здесь незаконное смешение области религии с другими сферами *человеческой деятельности*. Если в известной сфере совершилось что-нибудь похожее на совершающееся в другой сфере, из этого не следует еще, что обе сферы сходны и в обеих господствует один закон. Мы видели, что веровать можно только в абсолютно истинное. Мы знаем одну откровенную религию, в двух заветах состоящую: в Ветхом Завете основным верованием было верование в будущее, в исполнение обетований и завершение всего; в Новом, когда исполнилось и завершилось все, не говорится ничего о возможности будущей новой религии, говорится о будущей жизни в совершенно иных пред ны-

⁵ Laurent, XII, p. 72.

нешними условиях, но в необходимой связи с христианскими верованиями.

Но как скоро наши философы апеллировали к истории, то мы с этою апелляцией расстаться не можем. Что такое прогресс, как нам показывает его история? История показывает нам, что все органическое, к которому принадлежат народы и целое человечество, проходит одинаково чрез известные видоизменения бытия, рождается, растет, дряхлеет, умирает. История показывает нам различные степени развития у разных народов, сошедших с исторической сцены и пребывающих на ней; показывает высокую степень развития народов арийского племени, особенно тех, которые поселились в Европе. История этих народов представляет два отдела — древний и новый, языческий, или греко-римский, и христианский. Народы, действовавшие в первом отделе, прошедши известные видоизменения бытия, умерли, передав богатое наследство своим преемникам; те в свою очередь пережили возраст детства; когда пришло время учиться, принялись за книги, оставленные древними, воспользовались богатым наследством и обнаружили блестящие успехи, явили сильную степень развития.

Но в христианстве нет догмата, чтобы народы, его исповедующие, не сходили никогда с исторической сцены, никогда не дряхлели и не умирали, и потому имеем обязанность признать и относительно народов, теперь действующих, общий закон. Когда-нибудь и они перестанут действовать, перестанут существовать. Придет ли очередь кочевникам Средней Азии, неграм Африки, патагонцам Америки — мы не знаем; но закон остается неизменен: человечество в своих настоящих условиях на обитаемой им планете должно одряхлеть и умереть. Христиане веруют, что человечество будет жить иною, высшею жизнью; и наши философы говорят, что веруют в то же самое; но поступают при этом самым непростительным для философов образом: хотят на эту новую жизнь распространить законы и формы жизни иной, старой, прекратившейся — жизни, протекавшей в совершенно других условиях. Прогресс как условие жизни здешней должен прекратиться с ее прекращением, *если не ранее*. Когда последует это прекра-

щение, мы не знаем; с историческою, до сих пор прогрессивною жизнью человечества на земле находится в связи то явление в области откровенной религии, что Ветхий Завет сменяется Новым; связь видимая, для нас доступная, состоит в том, что смена Ветхого Завета Новым условила сильнейший прогресс у народов, принявших христианство, — и только. Но из этого никак не следует, чтобы человечество для своего земного бытия нуждалось не в двух заветах, а в пяти или шести. Таким образом, то, что мы называем прогрессом человечества, в историческом смысле условилось тем, что даровитые и в выгодное положение поставленные народы по смерти своей были сменены даровитыми же и в еще более выгодное положение поставленными народами. Идти дальше этого явления историк не имеет никакого права.

Человечество нуждается, говорят, в новой религии, ибо христианство не удовлетворяет более, и вот его вина: «Есть прогресс индивидуальный и прогресс социальный; какое же между ними отношение? Ограничивать прогресс учреждениями социальными и политическими есть заблуждение, в котором виновны социалисты. Социалисты забывают, что человек есть виновник прогресса; следовательно, он должен совершенствовать общество; но как он это сделает, если сам останется неподвижен? Пусть поместят дикаря в самое совершенное общество; он возвратится в свои леса, ибо найдет там существование, более соответствующее своим вкусам и понятиям. Хотите преобразовать общество — начинайте с преобразования человека. Есть еще погрешность более важная в учении социалистов: они низводят человека до животного или до машины; нет нужды до умственного и нравственного развития, лишь бы машина была искусно устроена; человек низведен до инструмента; не он становится целью, но общество, вследствие чего индивидуум поглощается обществом, уничтожается. Но есть другая крайность, состоящая в том, чтобы все приписывать индивидууму, его совершенствованию и равнодушно смотреть на социальные учреждения. Это — стремление стоицизма, и в известных отношениях христианское учение воспроизвело ошибки стоиков. Эпиктет равнодушно сносил свое раб-

ское состояние, ибо внутренне он был свободен, освободившись от тиранства страстей. И христианину не было нужды до деспотизма Римской империи: гражданин небесного Иерусалима, пришлец в мире сем, он имел одну цель — обеспечить спасение души. Христиане, подобно стоикам, забывали, что человек по своей природе — существо общественное, точно так же, как одаренное разумом. Совершенствовать общественные учреждения — значит трудиться для своего собственного совершенствования. Общество и индивидуум находятся под взаимным влиянием друг друга»⁶.

Итак, выходит, что христиане равнодушны к общественным учреждениям, к их усовершенствованию. Но вы сами признаете, что общественное совершенствование находится в необходимой связи с индивидуальным, именно в связи следствия и причины: общественное совершенствование невозможно без индивидуального; человек, неспособный, не подготовленный к лучшим учреждениям, уйдет от них; каким же образом учение, имеющее целью нравственное совершенствование индивидуума, может не иметь приложения к совершенствованию общественному; как может быть мыслима причина без следствия и следствие без причины? Эпиктет мог быть равнодушен к своему рабскому состоянию, освобождая себя, как ему казалось, от господства страстей; христианин-раб так же может быть равнодушен к своему состоянию; но у него есть обязанность любить своего ближнего как самого себя; точно такая же обязанность лежит и на его господине. Если бы слабость человеческая допустила на земле такое общество, все члены которого были бы проникнуты христианским чувством, все любили бы друг друга как сами себя и желающие быть большими были бы всем слугами, то спрашивается: какой бы имели смысл слова: раб, господин, деспотизм и т. п. — спрашивается, какая была бы нужда изменять общественные и политические формы? Но христианство именно ставит такое требование от общества и государства, такой идеал; изменения форм, прогресс в

⁶ Laurent, XII, p. 75.

этом отношении происходит от более или менее ясного сознания этого идеала и от невозможности приблизиться к нему по недостатку средств человеческих, от невозможности достигнуть высокой степени индивидуального совершенствования, при которой формы не требовали бы изменений. К чему, например, нужны были бы законные гарантии, ограничения власти, если бы все, владеющие и подчиненные, любили друг друга, как сами себя?

Христианство, постановив такое высокое нравственное требование, которому человечество, по слабости своих средств, удовлетворить не может — а если бы удовлетворило, то упразднились бы изменения форм и прогресс, — христианство, по тому самому, есть религия вечная. Известная религия тогда только может уступить место другой, высшей, когда человечество в своем развитии переступит ее требования, которые окажутся ниже его нравственных стремлений, как и действительно случилось с религиями наиболее развитых народов древности перед пришествием Спасителя. Но когда требования, выставленные религиею, так высоки, что пребудут для человечества недостижимым идеалом, то какое основание мечтать о какой-то новой высшей религии? Позволительна ли такая мечта на основании прогресса, когда прогресс именно условливается недостижимостью идеала? Таким образом, прогресс нисколько не противоречит христианству, ибо он есть произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных христианством; христианство поднимает человечество на высоту, и это-то стремление человечества к идеалу, выставленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и общественном.

Прогресс освящается христианством и противоречить ему не может. Но в то же время христианство, ставя высший идеал, не может иметь дела непосредственно ни с какими обществами и политическими формами, потому что если бы христианство остановилось на каких-нибудь формах и освятило их, то этим самым оно прекратило бы прогресс. Нашим философам желательны теперь известные общественные и политические формы, и они негодуют на

христианство, зачем оно не освятило их; но хороши поклонники прогресса, которые думают, что развитие этих форм уже закончилось! Если же оно не закончилось, то зачем требовать от христианства, чтобы оно освящало формы переходящие и, связываясь с ними, делалось бы необходимою религиею временною? Наши философы чувствуют свою опасность в этом вопросе и стараются избежать ее; они говорят: «Справедливо, что Иисус Христос произносит глубокомысленное слово, которое служит как бы постоянным побуждением к совершенствованию: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Если человек, существо несовершенное по своей природе, должен беспрестанно приближаться к совершенству Создателя, то чрез это ему задается бесконечная работа совершенствования. Вот, по видимому, прогресс, и прогресс бесконечный. Но он не производится работою человека, и поэтому здесь не может быть речи о совершенствовании. Как нет прогресса, если Бог открывает истину миру путем чудесным, так точно нет прогресса, если человек получает сверхъестественный свет благодати. Философы также допускают божественное вдохновение, руководство Провидения; но они допускают их чрез посредство человечества, и разум есть орудие индивидуального совершенствования, точно так же, как и социального прогресса»⁷. Отчаянное средство не удалось: хотя и есть прогресс, да нет его; хотя мы и допускаем божественное действие, божественную помощь, божественное руководство, но не допускаем ничего иначе как через разум человеческий. Вам так угодно, гг. философы; вам не нравится средство совершенствования, признаваемое христианами; но своим непозволительным уклонением от настоящего дела к вопросу о средствах вы не достигаете цели: остается очевидным, что христианство требует бесконечного прогресса: «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен».

Удар, направленный против христианства во имя прогресса, не достигает цели: оказывается, что христианство требует бесконечного прогресса. Для наших философов ос-

⁷ Laurent, XII, p. 85, 86.

тается ряд жалких придирок, издавна повторяемых. Рассмотрим и эти придирки.

«Зачем, — говорят, — Иисус Христос и апостолы не осудили рабства? Из этого ясно, что христианство есть религия индивидуальная, имеет дело только с отдельным человеком, занимается только его спасением, введением его в общение святых: вот единственная свобода, единственное равенство, единственное братство, которые имеют в виду ученики Христа. Мир политический они оставляют кесарю и прилаживаются ко всем формам правления»⁸.

Отвечаем: если религия требует, чтобы я видел в рабе брата, то этим она укрепляет или ослабляет, подкапывает рабство? Разумеется — второе. Если бы христианство обратилось к народам с требованием уничтожения рабства, то прежде всего они не признали бы такой религии; но христианство, отрекаясь от всяких политических форм, обратилось к человеку со своими требованиями индивидуального совершенствования. Лучшие люди, наиболее способные к совершенствованию, послушались призыва, христианство утвердилось и начало подкапывать не нравственные явления в обществах, в том числе и рабство. Что частные люди перед смертью начали отпускать рабов, думая видеть в этом дело, угодное Богу, очищающее грехи, показывает лучше всего, как христианство действовало против рабства, как приготавливало его уничтожение, воспитывая народ в том понятии, что рабство — дело нехорошее; что нельзя иметь рабом человека, искупленного кровию Спасителя, — человека, который есть храм Духа Святого, и т. д. Христианство, отрекаясь от временных политических форм, доступно всем векам, всем народам, на какой бы степени развития они ни находились, и ведет их к возможному совершенствованию, не насилуя их, не требуя от младенца того, что доступно только взрослому, но во всякое время, во всяком возрасте отдельного человека и целого народа, действуя благодетельным, смягчающим образом.

В то время, когда экономические и другие препятствующие развитию условия не позволяют народу освободить-

⁸ Laurent, XII, p. 21.

ся от рабства, христианство действует, смягчая отношения, преклоняя на милосердие господ, доступных его внушениям, и поднимая нравственно рабов. Рабство и теперь не исчезло из христианских стран, в разных своих видах, и неизвестно, когда исчезнет; но христианство будет всегда обнаруживать свое смягчающее влияние. Известно, что в странах наиболее развитых и обильных народонаселением, где предложение труда превышает требование, владелец промышленного заведения может относиться к работникам совершенно как господин к рабам и может позволять себе в отношении к ним безнаказанно такие же безнравственные поступки, если отказался от христианства, как религии, не удовлетворяющей более его высоким потребностям, и ждет построения храма новой, высшей религии.

Упрекают христианство за нетерпимость и говорят, что терпимостью мы обязаны философии XVIII века. Здесь видно также отсутствие правильного исторического взгляда. Христиане считали и считают своею обязанностью проповедовать, распространять свою религию и охранять ее; в века грубости то и другое могло совершаться средствами насилия; во времена, отличающиеся большею мягкостью нравов, это совершается другими средствами; но эту мягкость произвело то же христианство, по своей сущности как религия любви. Утверждать противное — значит отказаться от исторического и всякого смысла, отнять у христианства его историческое значение и пойти прямо к отрицанию прогресса. Христианство ведет борьбу с неверием, и не должно думать, что эта борьба недавняя, что ее надобно начинать с XVIII века. Мы встречаемся с неверием во все века; во все века встречаемся с людьми, которые говорят: «Жестоко слово это; кто его может послушать?» Но в одни времена более неверующих тайно: одни — люди равнодушные, исполняющие религиозные обязанности по привычке, ибо все окружающие так делают; нет движения, которое возбуждало бы их к противоположному, не слышится вопроса: «Ты на какую сторону?»; другие из страха выдают себя за верующих; третьи — из политического убеждения, что для массы надобно поддерживать религию, как начало консервативное. В иной

век более видимой религиозности — вследствие материальных сдержек правительства и общества; в иной — вследствие нравственных сдержек, то есть более людей, сильных словом и делом, которые ратуют за религию, как, например, в XVII веке на Западе; а иногда таких людей нет, и перевешивает другая сторона, как было там же в XVIII веке.

В это же самое время обнаруживается в обществе стремление к свободе и терпимости, что дает неверию возможность высказаться. Но это стремление произошло вследствие долгой работы веков под влиянием христианства, а не было произведено вдруг учением философов XVIII века, ибо успех на неприготовленной почве есть чудо; а философы чудесного не допускают; да и философы XVIII века, проповедуя терпимость *для себя*, в минуту откровенности признавались, что если бы можно, то они охотно стали бы действовать против христианства диоклециановскими средствами. Вольтер в письмах своих к Фридриху II жалеет, что философы не довольно многочисленны и не довольно ревностны, чтобы произвести возрождение мира *огнем и мечом*. Понятно, что свобода и терпимость суть важные благоприятствующие условия для христианства в борьбе его с неверием, ибо они всего яснее обнаруживают могущество его средств. Могущество это обнаруживается тем сильнее, чем сильнее напор враждебных сил. Христианство вышло с торжеством из эпохи материального гонения. Философы во Франции воспользовались своим временем в конце XVIII века и возобновили было материальное гонение; но дух нового времени не дает возможности продолжаться этому гонению, и наши философы должны прибегнуть к другим средствам — к гонению насмешками над суеверием, над верою в чудесное, к гонению во имя науки, разума, против верующих, как против невежд и слабоумных, что сильно действует на толпу полубразованных людей, не могущих вникнуть в дело и определить правильно отношение науки к религии. Тяжесть этого гонения усиливается еще друзьями, которые хуже врагов, — людьми, которые в защите религии не разбирают средств и тем самым показывают слабость своей веры, ибо кто верит в божественность и вечность христианства,

тот не станет поддерживать его мелкими, нечистыми средствами.

Несмотря на то, дело наших философов находится, по их же словам, не в желанном положении. Так называемые философы XVIII века сказали все, что можно было, против христианства, так что их последователи XIX века должны утверждать только зады. Но как же эти последователи смотрят на деятельность своих предшественников и ее результаты? «Философия, — говорят они, — не считала разрушение исключительным своим делом; если она разрушила, то для того, чтобы на месте старого здания воздвигнуть новое»⁹. Теперь послушаем, чем дело кончилось. «Начавшись против суеверия, борьба кончилась враждою ко всякой религии и даже нравственности. Дошли до материализма, до отрицания Бога, духовной стороны в человеке, до отрицания свободы, нравственного закона, дошли до фатализма. Все эти выводы были допущены свободными мыслителями XVIII века, правда, не без протеста. Руссо и Вольтер протестовали против атеизма и его губительных последствий, но их голос не был услышан; самые смелые шли до конца и на конце находили то, что по справедливости можно назвать ничтожеством. Если здесь вся философия XVIII века, то надобно осудить ее решительно, ибо она ложна в основании. Поспешим сказать, что то, что принимают за учение философов, не есть их настоящее учение: это только оружие против христианства, искаженного церковию. В глазах XVIII века религия была синонимом суеверия, жреческих плутней, господства духовенства; он не хотел этого ни под каким видом и потому не хотел поддерживать идеи Бога, бессмертия души, то есть основных догматов всякой религии, потому и пристал преимущественно к материалистическому учению»¹⁰.

Хорошо объяснение и вместе оправдание! Люди шли последовательно от одного вывода к другому и дошли до ничтожества. Но это, говорят, не есть учение, это только оружие. А в XIX веке разве найдут тою же дорогой и не до-

⁹ Laurent, XII, p. 56.

¹⁰ Laurent, XII, p. 42, 43.

ходят точно таким же образом до ничтожества? Где же настоящее-то учение? Где же новое здание, имеющее быть построенным из ничтожества, ибо ничего другого в результате не оказалось? Материал отличный! Пора, кажется, приниматься за работу. А между тем старое здание все стоит невредимо; оружие, против него направленное, оказывается недействительным.

Повторяют, что христиане равнодушны к миру сему, ибо религия Христа есть религия другого мира; христианам нет дела до известных политических и общественных форм. Но мы уже говорили о том, что религия вечная не должна быть связана ни с какими временными, преходящими формами, ибо в противном случае она остановила бы прогресс и упразднила бы свободную волю человека или перестала бы быть вечною. Говорят: «Надобно достигнуть такой религии, которая бы давала удовлетворение натуре конечной человека и вместе его натуре бесконечной: человеку нужна религия этого и другого мира; противоположность между этим и другим миром должна исчезнуть»¹¹.

Спрашивается, какое другое удовлетворение может дать религия конечной натуре человека, кроме того, которое дается ей в христианстве? Кинут темную фразу об уничтожении противоположности между настоящею и будущею жизнью, об удовлетворении потребностям конечной и бесконечной природы и думают, что сказали что-нибудь, решили что-нибудь. Человек при условиях земной жизни стремится к подчинению себя потребностям своей конечной природы; чтобы не допустить его до совершенного подчинения этим потребностям, надобно его беспрестанно будить, указывать ему на необходимость удовлетворять потребностям бесконечной его природы, что и есть дело религии. Религии не нужно внушать человеку, чтобы он удовлетворял потребностям своей конечной природы: это он сделает без всякого внушения; но величайшего труда стоит ему оторваться от удовлетворения этим потребностям и удовлетворить других; религия напоминает ему об этом; но одних напоминаний

¹¹ Laurent, XII, p. 53.

мало: нужен пример — и являются избранники, которые показывают возможность для человека освободиться из-под гнетущего влияния потребностей конечной природы и удовлетворять преимущественно потребностям природы бесконечной по предписаниям религии. Против этих-то людей и вооружаются наши философы, их-то и упрекают в оставлении мира сего для мира иного, в нарушении равновесия между потребностями двух природ человека, конечной и бесконечной.

Но посмотрим, может ли быть и должно ли быть поддерживаемо это равновесие? Как скоро вы произнесли эти два слова: *конечное* и *бесконечное*, то вы уже определили, что одно, бесконечное, выше другого, конечного, и последнее необходимо должно находиться в подчиненном отношении к первому. Наши философы утверждают, что человека по смерти ждет не рай и не ад, но прогресс, дальнейшее развитие. Им при этом выгодно скрыть правду, правосудие; но такой отчаянный способ пользы им не приносит. Кто из людей, убежденных в существовании будущей жизни, может отрешиться от представления, что в этой высшей жизни будет господствовать правда, что каждому, следовательно, воздается по делам его? Умалчивая об этом, наши философы делают упрек христианству в том, будто оно внушает своим последователям корыстное побуждение к добру: поживешь хорошо, будешь в раю; станешь вести себя здесь дурно — попадешь в ад. Но философы наши умалчивают и здесь о главном, а именно о том, что христианство предписывает своим последователям любовь, исключаящую всякое корыстное побуждение; в христианстве проповедуется и величайшее милосердие в случае обращения от зла к добру, но вместе проповедуется и правда: иначе не была бы удовлетворена одна из самых важных потребностей нравственной природы человека.

Наши философы утверждают, что нет ни рая, ни ада, но есть прогресс в будущей жизни; но так кидать словами нельзя, надобно объясниться. Если человек не исчезнет по смерти, но будет продолжать существование, и притом будет развиваться, совершенствоваться, прогресс должен находиться в необходимой связи со здешним его существова-

нием. На какой ступени развития переняла его смерть, от той он должен поступать к дальнейшему совершенствованию. Но одних смерть застает на самой низкой ступени духовного развития, других — на высокой; так как в развитии скачков быть не может и на этом основании нельзя предположить, чтобы по смерти все люди были равны, то необходимо следует допустить, что существование людей по смерти будет различное на основании той степени развития, какой они достигли в здешнем мире; существование того человека, который начинает свое развитие с высшей ступени, будет естественно выше и блаженнее существования того человека, который должен будет начинать с низшей ступени, первый уйдет далеко перед вторым. А высшая ступень развития что-нибудь да значит; ведь это высшая ступень блаженства. Если человек, принявший учение наших философов о прогрессе в будущей жизни, сделает приведенный вывод (а не сделать его он не может), то он непременно скажет самому себе: за гробом ждет меня дальнейшее развитие на основании здешнего, но ясно, что при других условиях; тело свое оставлю здесь; следовательно, там будет развиваться только моя духовная сторона, на основании того развития, какое я дам ей здесь; следовательно, я должен преимущественно заботиться о том, что останется со мною, а не о том, что погибнет; и, по христианскому учению, будет тело — да другое; условий здешней жизни не будет, люди будут жить, как ангелы.

Таким образом, если наши философы, отвергая, как они говорят, странности материализма и мечты пантеизма, основываясь на общем сознании, допустят будущую жизнь; как скоро подле смертности тела, подле прекращения условий здешней жизни будет поставлено бессмертие души, то, как бы ни представляли они будущую жизнь, никто не придет к заключению, что возможна религия, в которой исчезла бы противоположность между этим и другим миром.

Необходимый вывод будет тот, что надобно принять между обоими мирами отношение, постановленное в христианстве: «Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и вся сия приложатся вам». «Вся сия», то есть удовлетворение потребностям конечной природы человека; условия здеш-

ней жизни не отвергаются, благословляются, но поставлены в правильное отношение к бесконечному, то есть — в подчиненное, зависимое. Правильность этого отношения складывается на ежедневном опыте: только удовлетворительное нравственное состояние человека и общества обеспечивает им и материальное благосостояние; и до какой бы степени могло достигнуть последнее, если бы вместо мечты о построении храма новой религии побольше людей занялись исполнением предписаний старой, занялись бы водворением любви и правды между ближними. «Вся сия» приложились бы.

Итак, как скоро предполагается будущая жизнь, то конечное необходимо становится в подчиненное отношение к бесконечному. Вот почему люди, желающие, как они говорят, *восстановить права материи*, так вооружаются против бессмертия; отсюда все «странности материализма и мечты пантеизма». Но, удерживая веру в бессмертные души, требовать, чтоб уничтожена была противоположность между здешнею и загробною жизнью, — это всего страннее и мечтательнее; отношение между ними может быть только такое, какое постановлено в христианстве. Здешняя жизнь необходимо является временною и слишком кратковременною в сравнении с вечностию, с будущим, является необходимо приготовлением к этому будущему; следовательно, все внимание должно быть обращено на эту цель. Но так как стремления, отвлекающие внимание человека от этой цели и погружающие его вполне в здешнюю земную жизнь, страшно могущественны, то религия постоянно возвращает его внимание к настоящей цели бытия, причем сильно действует пример людей, богатых духовными средствами, которые умели не терять из виду этой цели. Упрекать этих людей, то есть истинных христиан, в том, что они для будущего забывают настоящее, есть бессмыслица. Надобно поставить вопрос прямо: забывают ли эти люди свои обязанности к настоящему? И как они могут забыть их, когда главная обязанность, им предписанная, есть любовь к ближнему; когда, по их учению, блаженная будущность будет для них потеряна, если они в каждом страждущем ближнем не будут видеть Бога

и откажут ему в помощи? Разве можно истинного христианина приравнять к тем безнравственным лицам, которые выражали свой крайний эгоизм, свое равнодушие к участи ближних, долженствовавших остаться после них на земле, знаменитым выражением: «После нас потоп»? Разве та же самая любовь не заставляет христианина заботиться и о будущности общества, где после него остаются те же ближние? И разве исполнение обязанности к ближнему, предписываемое христианством, не ведет прямо к благосостоянию общества?

Христианин, говоря, должен, по своему учению, терпеть обиды и потому не может содействовать утверждению правды в обществе, обузданию насилий сильного. Но говорить таким образом — значит самым недобросовестным образом притворяться не понимающим дела, самым недобросовестным образом обходить сущность его. Действительно, христианин обязан терпеть обиды, ему наносимые; но разве он обязан терпеть обиды, нанесенные его ближнему? Разве тут не предписано ему положить душу свою за него? Христианство предписывает своему последователю то, что мы называем великодушием, и то, что мы называем гражданским мужеством, — добродетели, на которых зиждется благосостояние общества. Доходят до того, что упрекают христианство в стремлении уничтожить идею права, потому что апостол Павел упрекает коринфских христиан за их любовь к тяжбам! Говорят: «Если бы все христиане последовали апостолу, то что бы случилось с правосудием?» Скажут: в нем бы не было нужды. Да, не было бы нужды, если бы мы были на седьмом небе; но мы на земле — мы существа несовершенные, хотя и стремящиеся к совершенству, и потому правосудие есть необходимость нашей природы. Религия, которая уничтожает идею права, годна не для общества, годна только для монахов»¹². Хорош вывод! Мы на земле, мы существа несовершенные, хотя и стремящиеся к совершенству; но спрашивается: большое количество тяжб есть ли признак общества более совершенного? Что же, по-вашему, апостолу Павлу следовало похвалить коринфян за то, что

¹² Laurent, XII, p. 204.

между ними было много тяжб? Не беспокойтесь, тяжбы не прекратятся; но важно то, чтобы судьи следовали предписаниям христианства, подчинялись требованиям своей бесконечной природы, и тогда будет правосудие; если же они будут подчиняться потребностям своей конечной природы, то правосудие исчезнет.

Но любопытнее всего то, что подобные выходки против христианства, против его неспособности удовлетворять более потребностям общества, против его стремления отвлечь людей от исполнения их гражданских обязанностей делают писатели, занимающиеся историею; делая эти выходки, они совершенно забывают, что сами прежде говорили о деятельности христиан на общую пользу. Вот что они, например, говорили:

«Провинции Римской империи, беспрестанно опустошаемые народами Севера, ежедневно призывали на помощь мирное вмешательство епископов. Некоторые из них нашли славную смерть, идя против ярости варваров, еще язычников, и потому нечувствительных к увещаниям, которых не понимали. Но иногда мужество епископа поражало победителя: варвары изумлялись, когда их останавливал старик; они удивлялись душевной силе — и повиновались иногда, как дети. В древности не было связи между народами, паганизм был источником ненависти и угнетения, тогда как христианство сделало из всех людей братьев. Благотворительность святых целила язвы, которых они не могли предотвратить. Св. Амвросий беспрестанно взывал к благотворительности в пользу пленных. «Самое богоугодное дело, — говорит он, — возратить отечеству гражданина, отцу его ребенка и спасти целомудрие женщин». Он жертвовал церковными сосудами для выкупа пленных. «Лучше, — говорил он, — сберечь души для Бога, чем золото. Он не дал своим апостолам золота для проповедания Евангелия». Нужна была благотворительность, доведенная до героизма, для облегчения таких страшных страданий. Св. Епифаний стоял в уровень своему положению; но он нашел себе достойного соперника в апостоле Норики, Св. Северине. Северин

¹³ Laurent, XII, p. 70, 71.

удалился сначала в одну из восточных пустынь; но неодолимое призвание извлекло его из приятного уединения и поставило среди варваров. Ему предложили епископство; он отказался, чтобы посвятить всего себя подвигам благотворительности. Он утвердил свое пребывание в странах придунайских, где происходило непрерывное движение варварских народов; опустошения, резня, пленение были событиями ежедневными. Северин поднял мужество побежденных, человек мира явился сильнее воинов. При виде его варвары испытывали чувства уважения и страха: святой пользовался этим, чтоб удалять их или заставлять их отпускать пленных. Апостол Норики поучал побежденных сносить лишения их бедственной жизни, налагал на самого себя произвольные лишения, и т. д.»¹³.

Слишком долго было бы исчислять примеры исполнения гражданских обязанностей во всех общественных положениях, которые представляет нам история христианства. И после этого решиться толковать, что христианство есть религия другого мира; что оно препятствует исполнению наших обязанностей здесь на земле! Как будто основная заповедь любви не условливает необходимо исполнения этих обязанностей, ибо, требуя самоотверженности, христианство требует самого горячего участия к судьбе ближних; а разве человек может быть отделен от общества? Указывают на людей, бежавших от общества, удалившихся в пустыни, и упрекают их за то, что в этом удалении они видели наивысшее исполнение требований христианства; но забывают, что пустыня не оставалась запертою для общества, которое нуждалось в примере людей, сильных духом, могущих, во имя высших требований, отказаться от всего того, что имеет для большинства неотразимую прелесть. Разве ежедневный опыт не показывает нам, что привязанность к телу, чем пренебрегли пустынноики, служит для человека побуждением ко всему дурному, ко всякой неправде, именно заставляет его изменять общественным интересам, не исполнять гражданских обязанностей, отчего и страдает общество: отсюда необходимость и высокое значение явления, что человек может стать выше всех этих мелких интересов и привязанностей. Разве история не показывает нам,

что в этих пустынях и монастырях воспитывались герои христианства, проповедники, совершавшие такие подвиги, какие были не под силу людям, остававшимся в обществе? Пусть человек, называющий себя историком, скажет, положив руку на сердце, что монашество даром приобрело важное значение и могущественное влияние на общество. Если же не даром, то для чего эти выходки против него, выходки против христианства за то, что оно произвело и осватило такое явление?

В заключение мы можем посоветовать одно нашим философам: не становиться на историческую почву — это для них крайне опасно.

1868 г.

СОДЕРЖАНИЕ

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ НАРОДОВ	3
Часть первая	
[ДРЕВНИЙ МИР]	5
I. ВОСТОК	19
1. КИТАЙ	19
2. ЕГИПЕТ	28
3. АССИРИЯ И ВАВИЛОН	37
4. ФИНИКИЯ	40
5. АРИЙЦЫ В АЗИИ	42
а) Индийцы	42
б) Мидяне и персы	49
II. ЗАПАД	55
1. АРИЙЦЫ ДРЕВНЕГО МИРА	55
а) Греки	55
б) Рим	97
в) Разложение Древнего мира и начало нового	124
Часть вторая	
НОВЫЙ МИР	151
1. ВАРВАРЫ	151
2. НОВЫЕ НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА	185
а) Италия и Галлия до Каролингов	185
б) Политическое соединение Италии, Галлии и Германии при Каролингах	213
в) Франция и Германия до теснейшего соединения последней с Италией	234

МОИ ЗАПИСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МОИХ, А ЕСЛИ МОЖНО, И ДЛЯ ДРУГИХ	255
I	257
II	261
III	265
IV	269
V	272
VI	281
VII	290
VIII	300
IX	308
X	317
XI	323
XII	328
XIII	333
XIV	343
XV	354
XVI	360
XVII	369
XVIII	378
XIX	384
XX	391
XXI	399
XXII	406
XXIII	410
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА	415
I	417
II	442
III	464
ПРОГРЕСС И РЕЛИГИЯ	483

Историческая библиотека

Соловьев Сергей Михайлович

Наблюдения над исторической жизнью народов.

**Мои записки для детей моих,
а если можно, и для других.**

Исторические письма.

Прогресс и религия

Редактор *Е. Б. Васильева*

Технические редакторы: *Н. И. Духанина, Г. А. Этманова*

Корректор *И. Н. Мокина*

Компьютерная верстка *А. П. Сорманов*

ООО «Издательство Астрель»

143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81

ООО «Издательство АСТ»

368560, Республика Дагестан, Каякентский р-н,
сел. Новокаякент, ул. Новая, 20

Наши электронные адреса: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.02.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

В книгу включены четыре работы знаменитого историка XIX века Сергея Соловьева.

Работа «Наблюдения над исторической жизнью народов» посвящена цивилизациям Древнего Востока (Китая, Египта, Ассирии, Вавилона, Мидии, Финикии) и античности (Древней Греции и Древнего Рима).

В автобиографической работе «Мои записки для детей моих...» содержатся впечатления детства, размышления о судьбе духовенства в России, словесные портреты старых московских профессоров, впечатления о поездке в Западную Европу.

«Исторические письма» — обстоятельное доказательство неизбежности исторического прогресса в обществе.

В статье «О прогрессе и религии» ученый пытается решить вопрос о соотношении прогресса и религии, который до сих пор волнует человечество.

Историческая библиотека

ISBN 5-17-017475-6



9 785170 174751